This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

863,494

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817
LIBRARIES

СТАРИННЫЕ

ПОРТРЕТЫ

Е. А. БАРАТЫНСКІЙ, Д. В. ВЕНЕВИТИНОВЪ, КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ
В. Г. БѢЛИНСКІЙ, И. С. ТУРГЕНЕВЪ, ГР. А. К. ТОЛСТОЙ

Н. КОТЛЯРЕВСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. М. Стасюлевича Вас. остр., 5 л., 28
1907

891.79
K55st

3640

Shchedrin St. Pub. Lib
28-75
991-293

Въ составъ этой книги вошли статьи, написанныя въ разное время. Онъ однородны по своему содержанію. Автору хотѣлось напомнить читателю о нѣкоторыхъ литературныхъ дѣятеляхъ, недостаточно, какъ ему казалось, оцѣненныхъ во всемъ объемѣ ихъ таланта или въ какомъ-нибудь частномъ проявленіи ихъ дарованія. Къ числу такихъ писателей могутъ быть отнесены Е. А. Баратынскій, Д. В. Веневитиновъ, В. Ѳ. Одоевскій, Тургеневъ какъ драматургъ и гр. А. К. Толстой. Всякая работа въ области ихъ творчества есть лишь уплата съ давнихъ лѣтъ накопившагося за нами долга.

Если къ этимъ именамъ авторъ присоединилъ имя В. Г. Бѣлинскаго, о которомъ такъ много было говорено и писано, то онъ это сдѣлалъ потому, что смотрѣлъ на свою работу какъ на попытку подвести итогъ окончательнымъ выводамъ, къ какимъ пришла критика и наука въ оцѣнкѣ дѣятельности Бѣлинскаго.

Перепечатка старыхъ, хотя бы и обновленныхъ статей представляетъ всегда много неудобствъ, изъ которыхъ наиболѣе ощутимы невозможность избѣжать повтореній и трудность придать журнальнымъ статьямъ, изслѣдованіямъ и рѣчамъ на случай однородную внѣшнюю форму.

Въ концѣ сборника читатель встрѣтится съ портретомъ одного лица, имя котораго едвали ему даже извѣстно. Бываютъ надежды, которыя смерть коситъ очень рано: къ числу такихъ надеждъ нашей науки принадлежалъ и покойный Василій Петровичъ Преображенскій. Авторъ глубоко убѣжденъ, что только безпощадная случайность не позволила этому человѣку занять цѣлую страницу въ исторіи развитія нашей философской мысли.

Оглавленіе

стран.

Е. А. Баратынскій

Звѣзда разрозненной плеяды 3

Д. В. Веневитиновъ

Пушкинъ и Д. В. Веневитиновъ 75

Кн. В. Ѳ. Одоевскій

„Русскія ночи“ 135

В. Г. Бѣлинскій

Памяти Бѣлинскаго 157

И. С. Тургеневъ

Тургеневъ драматургъ 259

Гр. А. К. Толстой

Графъ А. К. Толстой и его время 275

Историческіе мотивы въ стихотвореніяхъ графа А. К. Толстого 311

Трилогія графа А. К. Толстого какъ національная трагедія 343

Графъ А. К. Толстой какъ сатирикъ 362

Приложеніе

Воспоминанія о В. П. Преображенскомъ . . . 419

Евгеній Абрамовичъ

Баратынскій

Звѣзда разрозненной Плеяды.

I.

Рѣдко кто умираетъ во́-время. Есть раннія смерти, на самомъ порогѣ дѣла, въ преддверьѣ жизни—и такія смерти очень трагичны. Ими богата наша литература; но тѣ, кому пришлось хоронить Веневитинова, Лермонтова, Станкевича, Добролюбова, Писарева... могли все-таки умиротворить свою скорбь надеждой или вѣрой въ будущую жизнь—если не самого человѣка, то его идеаловъ. И самъ умирающій могъ найти утѣшеніе въ этой вѣрѣ. Умереть среди друзей и сознавать, что твоему „я“ дано если не безсмертіе, то по крайней мѣрѣ долгая жизнь въ сердцахъ и дѣяніяхъ ближнихъ—одно изъ великихъ, хотя бы и призрачныхъ утѣшеній, которыми скрашивается страшная тайна смерти.

Она страшнѣе для тѣхъ, кто говоритъ свое послѣднее убѣжденное слово и не видитъ вокругъ себя никого, кто принялъ бы это слово изъ его устъ... Такая печаль о близкой или уже наступившей смерти дорогихъ убѣжденій и настроеній тягостнѣе страха передъ собственнымъ конечнымъ исчезновеніемъ изъ міра. Привѣтствовать новыя грядущія поколѣнія и въ этомъ привѣтствіи хоронить самого себя — мужественно и благородно, но тяжело и грустно.

Е. А. Баратынскій — одинъ изъ тѣхъ, кому пришлось выстрадать такую грусть.

Въ ряду поэтовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ Баратынскому принадлежитъ почетное мѣсто, которое за нимъ признали и современники, и потомство. Пушкинъ любилъ его музу; его цѣнилъ Гоголь; Бѣлинскій считался съ нимъ какъ съ силой, съ которой онъ спорилъ, но которую въ то же время и уважалъ.

И эта сила еще въ полномъ своемъ цвѣту почувствовала себя одинокой и лишней...

Пушкинъ умеръ рано. Почти всѣ его сверстники его пережили. Съ его смертью осиротѣлъ ихъ кружокъ. Новые люди стали тѣсниться вокругъ нихъ, и русская жизнь, правда, сохраняя неизмѣннымъ свой внѣшній обликъ, начала мѣнять свое внутреннее содержаніе, и ждала новыхъ пѣсенъ. Людямъ двадцатыхъ годовъ, отживающимъ свой вѣкъ, пришлось считаться съ новыми людьми и новыми вкусами, и каждый изъ нихъ счелся по своему съ этимъ напоминаніемъ о смерти. Кто встрѣтилъ это „новое“ язвительной насмѣшкой и дидактической проповѣдью, какъ напр., кн. Вяземскій; кто растерялся какъ Языковъ, не зная, куда приложить силу своего вдохновенія, которое такъ легко находило себѣ пищу и мѣсто въ былые годы; кто, наконецъ, какъ Баратынскій, сталъ скорбѣть и гнѣваться на то, что новизна жизни не укладывалась въ старыя художественныя рамки и даже надъ ними глумилась. Будь Пушкинъ живъ, онъ вѣроятно нашелъ бы богатыя слова и мысли, чтобы воспѣть этотъ закатъ своего поколѣнія; но Пушкинъ смолкъ рано, и сумерки жизни окутали его друзей безъ него, предоставивъ имъ, слабѣйшимъ по духу, произнести надъ собой надгробное слово. Самыя художественныя пѣсни Баратынскаго были такимъ похороннымъ пѣньемъ, и въ этомъ ихъ историческое значеніе.

II.

Жизнь русскихъ художниковъ слова вообще бѣдна событіями и монотонна въ своемъ движеніи. Тотъ, кто при-

выкъ встрѣчать своихъ героевъ не только въ литературномъ обществѣ или за письменнымъ столомъ, но и дѣйствующими на широкой общественной аренѣ,—тотъ мало вынесетъ впечатлѣній изъ жизнеописаній писателей русскихъ,—гдѣ отъ первой страницы до послѣдней онъ будетъ имѣть дѣло почти исключительно съ кабинетнымъ человѣкомъ. Правда, этотъ труженикъ мысли и вдохновенія будетъ радоваться или сердиться, созерцая мимо него плетущуюся жизнь, но въ сущности что́ ей до его слезъ умиленія или до его разлившейся желчи? Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, когда желчь всего сильнѣе разлилась у писателей, жизнь и тогда еле прислушивалась къ ихъ голосамъ и, конечно, еще меньше считалась съ ними раньше, когда они въ ея честь сыпали цвѣтами поэзіи.

Эта особенность русской жизни, которая сразу ставитъ писателя или публициста на очень почтительное отъ себя отдаленіе, конечно, не могла не оказать своего вліянія на ихъ творчество. Но даже предполагая, что эта особенность для творчества ихъ и прошла безслѣдно, ему не помѣшала,—на ихъ біографію она безспорно наложила печать однообразія. Если не считать исключительныхъ случаевъ,—жизней, полныхъ опасной борьбы, мученій и гоненій, то въ общемъ біографія нашихъ писателей—разсказъ монотонный.

Въ дѣтствѣ дворянская усадьба, затерявшаяся гдѣ-нибудь въ глуши Россіи, или домъ священника, а иногда и просто деревенская хата, затѣмъ какой-нибудь благородный пансіонъ въ Петербургѣ или Москвѣ, а иногда семинарія или городское училище, потомъ университетъ или академія—вотъ что́ можетъ вспомнить русскій писатель о первой порѣ своей жизни. Воспоминанія эти, для нѣкоторыхъ веселыя, для другихъ печальныя, спокойны и почти всегда мало содержательны, если принять во вниманіе, какъ патріархально-глухо текла, въ особенности въ былые годы, русская жизнь не только въ деревнѣ, но и въ благородныхъ пансіонахъ и университетахъ. Далѣе судьба нашихъ писателей извѣстна: быть

можетъ рядъ заботъ по службѣ, заботъ формальныхъ, скучныхъ и педантичныхъ, которыя всегда идутъ въ разрѣзъ съ темпераментомъ художника, затѣмъ хотя и болѣе живые, но также однообразныя заботы семейныя, и впереди всего, на первомъ планѣ, писательское дѣло, т.-е. возня съ редакціями, съ цензурой, еще бо́льшая возня съ своеобразными критиками, и все это затѣмъ, чтобы придти къ выводу, что и десятой доли не сказалъ того, что̀ хотѣлъ сказать, и что даже и на эту десятую долю не обратили должнаго вниманія. Такъ до могилы тянется эта монотонная жизнь, гдѣ минуты вдохновенія однѣ сами по себѣ должны искупить всю тяготу существованія, и гдѣ развѣ только завязавшаяся журнальная перестрѣлка вноситъ неинтересное разнообразіе. Кончается эта жизнь писателя пожеланіемъ ему на кладбищѣ вѣчнаго покоя, т.-е. того, что̀ при жизни онъ такъ ненавидѣлъ.

Ничего любопытнаго не представляетъ собой и біографія Баратынскаго.

Родился Евгеній Абрамовичъ вмѣстѣ съ нашимъ столѣтіемъ, въ 1800 году, 19-го февраля, въ имѣніи своего отца, Вяжлѣ, тамбовской губерніи, и здѣсь прожилъ онъ все свое дѣтство, пока на восьмомъ году не попалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ сначала въ нѣмецкій пансіонъ, а затѣмъ, спустя очень короткій срокъ, въ пажескій корпусъ. За безсознательно совершенный проступокъ онъ изъ корпуса былъ исключенъ [1815], какъ говорится, съ волчьимъ паспортомъ, безъ права опредѣленія на службу. Три года послѣ этого несчастія поэтъ прожилъ въ тамбовской, затѣмъ въ смоленской губерніи, а въ 1818 году мы встрѣчаемъ его снова въ Петербургѣ простымъ рядовымъ егерскаго полка. Этотъ рядовой сводитъ знакомство съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ, и въ ихъ кругу впервые начинаетъ лепетать его муза. Отъ лепета она очень быстро переходитъ къ связной и красивой рѣчи.

Въ періодъ отъ 1820-го по 1824-й годъ, нашъ поэтъ—уже унтеръ-офицеръ нейшлотскаго полка, квартирующаго въ

Финляндіи—пишетъ цѣлый рядъ стихотвореній, которыя пользуются большимъ успѣхомъ у его очень взыскательныхъ критиковъ и друзей. Въ чинѣ офицера онъ покидаетъ свой полкъ, селится въ Москвѣ [1825], гдѣ въ слѣдующемъ году женится и поступаетъ въ межевую канцелярію на службу. На ней онъ, конечно, остается недолго, выходитъ въ отставку, и этимъ его служебная карьера кончается. Въ Москвѣ, частнымъ человѣкомъ, живетъ онъ многіе годы въ кружкѣ литераторовъ преимущественно славянофильскаго лагеря. Литературная работа идетъ сначала очень успѣшно до 1831 года, затѣмъ слегка ослабѣваетъ. Въ 1839 году Баратынскій покидаетъ Москву и цѣлыхъ четыре года проводитъ въ деревнѣ. Здѣсь, въ деревнѣ, пишетъ онъ свои „Сумерки", эту панихиду о себѣ самомъ и о своихъ друзьяхъ, и осенью 1843 года ѣдетъ за границу, чтобы черезъ годъ умереть совершенно случайно въ Неаполѣ.

Вся внѣшняя, тлѣнная оболочка жизни Баратынскаго укладывается въ эти узкія рамки. Но поэтъ жилъ двойной жизнью, и вторая — богатая жизнь въ мечтахъ — спасла его имя навсегда отъ забвенія.

На этихъ мечтахъ неизмѣнно лежалъ отпечатокъ глубокой умственной и сердечной печали, совсѣмъ не обычной для того времени.

III.

Среди немногочисленныхъ писемъ поэта есть нѣсколько очень любопытныхъ, писанныхъ имъ въ ранніе годы его дѣтства и его юношества. Мальчикъ писалъ ихъ изъ Петербурга своей матери; писалъ по-французски. Письма, безъ сомнѣнія, очень искреннія, но не безъ реторическихъ прикрасъ, вполнѣ понятныхъ, если принять въ соображеніе, что эти посланія были, вѣроятно, въ одно и то же время, и письмами, и стилистическими упражненіями во французскомъ діалектѣ. Для насъ эти письма имѣютъ боль-

шую цѣну, такъ какъ они—первые и безспорно искренніе показатели настроенія поэта въ самые ранніе годы его жизни.

Мальчику было восемь лѣтъ когда онъ началъ переписываться съ матерью, съ которой разстался, покинувъ деревню... Онъ любилъ деревню и всегда ему казалось, что истинно счастливое время прожито имъ въ дѣтствѣ, тамъ въ глуши подъ родной сѣнью, въ тѣни рощъ, на лонѣ „уединенной природы“, гдѣ уста его впервые залепетали о „свободѣ“. Тамъ, думалось ему—

Едва вздохнувъ для жизни неизвѣстной
Я съ тихой радостью взглянулъ на міръ прелестный;
Не зналъ я радостей, не зналъ я мукъ другихъ;
За мигомъ не умѣлъ другой предвидѣть мигъ;
Я слишкомъ счастливъ былъ спокойствіемъ незнанья;
Блаженства чуждые и чуждые страданья,
Часы невидимо мелькали надо мной... [«Воспоминанія», 1819].

Всегда вспоминалъ поэтъ объ этихъ годахъ съ такой нѣжностью. Еще совсѣмъ юношей, „испивъ безвременно всю чашу испытаній“, онъ мечталъ о томъ, какъ „до ветхихъ дней“ будетъ „воздѣлывать отеческое поле“ и какъ его трудолюбивые сыны помогутъ ему „утучнять наслѣдственныя нивы“. Конечно, когда онъ ребенкомъ покидалъ деревню, вся эта идиллическая грусть должна была переполнить его душу,—это такъ естественно! Но неестественно, что, попавъ въ новую обстановку, въ столицу, въ пансіонъ онъ долго не переставалъ грустить и въ ребяческомъ умѣ силился всѣ печальныя ощущенія осмыслить почти что „философически“.

Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ его переписки: они поразительны по мыслямъ и по настроенію; можно подумать, что они исправлены, ретушированы, а можетъ быть и совсѣмъ передѣланы въ поздніе годы — до того необычно серьезно для ребенка и печально ихъ содержаніе. Въ первомъ же письмѣ мальчикъ такъ разсуждаетъ на тему о дружбѣ: „Каждый изъ моихъ товарищей — пишетъ онъ — играетъ другъ съ другомъ какъ съ игрушкой, безъ всякой

дружбы... Увы! maman, я сильно ошибся, я думалъ, что найду дружбу, но я нашелъ только холодную, аффектированную вѣжливость, или неискреннюю дружбу".

Самая простая дѣтская мысль о разлукѣ съ родительскимъ домомъ, — мысль, которая приходитъ въ голову каждому новичку-гимназисту, съ тоской смотрящему на часовую стрѣлку,—для нашего молодого философа становится какой-то философской проблемой, чуть ли не вѣковымъ вопросомъ о соотношеніи между познаніемъ и сердечнымъ влеченіемъ, о плодахъ цивилизаціи и личномъ счастіи. „Не лучше ли—спрашиваетъ онъ—обрѣтаться въ счастливомъ невѣдѣніи, чѣмъ быть несчастнымъ умникомъ? Не вѣдая того, что̀ есть добраго въ наукахъ, я не буду знать и утонченностей порока. Я буду неучемъ, дорогая мать, но зато какъ глубоко проникну я въ чауку любить васъ. А развѣ эта наука не сто̀итъ всѣхъ другихъ; мое сердце мнѣ говоритъ, что сто̀итъ, потому что это есть наука счастія". Во французскихъ романахъ, вышедшихъ изъ-подъ пера учениковъ и ученицъ Руссо, мы могли бы подобрать къ этимъ строкамъ много параллелей.

Но, вотъ, вопросы, затронутые въ этой перепискѣ, становятся все серьезнѣе и серьезнѣе: четырнадцатилѣтній мальчикъ узнаетъ о смерти своей бабушки. Онъ бабушки своей совсѣмъ не зналъ или не помнилъ, и потому спокойно разсуждаетъ о смерти и утѣшаетъ свою мамашу совсѣмъ пасторской проповѣдью. „Мы рождаемся для смерти—пишетъ ребенокъ—и нѣсколько часовъ позже или раньше, а все-таки придется покинуть этотъ маленькій атомъ грязи, который мы называемъ землей. Богъ, конечно, не пожелаетъ дать намъ несчастную вѣчность послѣ жизни, которая полна столькихъ несчастій". Къ этой мысли о несчастіи бытія возвращается онъ и въ другомъ письмѣ. Дѣло идетъ уже не объ утѣшеніи ближняго, а объ его собственной участи. Ему очень хотѣлось поступить въ морскую службу, но его мать, кажется, на это никакъ не хотѣла согласиться, боясь опасностей, какія сопряжены съ морскимъ дѣломъ. „Скажите мнѣ—

пишетъ онъ, намекая на эти страхи—знаете ли вы какое-нибудь мѣстечко во всей вселенной, кромѣ океана, гдѣ бы жизнь человѣческая не была подвержена тысячи опасностямъ? вездѣ самое малѣйшее дуновеніе способно разрушить тонкую ткань, которую мы называемъ нашимъ существованіемъ"... Онъ объясняетъ матери, почему онъ избралъ бы этотъ родъ службы: она обѣщаетъ движеніе и борьбу, а ему именно этого-то и хочется. „Я не могу служить въ гвардіи; постоянный покой — это не существованіе; можно ко всему привыкнуть, за исключеніемъ покоя и скуки; я предпочелъ бы быть скорѣе совсѣмъ несчастнымъ, чѣмъ совсѣмъ спокойнымъ. Ощущеніе моихъ страданій напоминало бы мнѣ о томъ, что я существую. Я чувствую, что мнѣ всегда необходима извѣстнаго рода опасность, которая бы меня занимала,—безъ этого я скучаю. Вообразите себѣ, дорогая мать, страшную бурю, меня на палубѣ, какъ бы повелѣвающаго взволнованнымъ моремъ; одна доска между мною и смертью; морскія чудовища удивляются этому чудному сооруженію, плоду человѣческаго генія, который повелѣваетъ стихіями"...

Вотъ въ какихъ мечтахъ мальчикъ нѣжился... но, увы! вмѣсто любопытства морскихъ чудовищъ, онъ одной ребяческой продѣлкой навлекъ на себя гнѣвъ своего начальства; и оно поступило съ нимъ очень круто, исключивъ его изъ заведенія. Ударъ подѣйствовалъ очень сильно на юнаго пессимиста и подтвердилъ ему на дѣлѣ нѣкоторые a priori имъ усвоенные взгляды на жизнь. Волчій паспортъ—это было уже не размышленіе, а осязаемый фактъ. И вотъ что̀ пишетъ онъ на ту же старую тему о человѣческомъ счастіи, черезъ годъ, живя въ имѣніи своего дяди, куда онъ спасся послѣ крушенія.

„Дорогая мать! — пишетъ онъ — много было споровъ о счастіи; не кажется ли вамъ, что люди, спорящіе о немъ, похожи на нищихъ, размышляющихъ о философскомъ камнѣ? Человѣкъ, который, кажется, живетъ въ условіяхъ самыхъ счастливыхъ, носитъ въ себѣ скрытый ядъ, который гло-

жетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ ощущать радости; — печально настроенный духъ, родникъ скуки и печали, вотъ съ чѣмъ онъ вступаетъ въ круговоротъ жизни—и я хорошо знаю такого человѣка". Этотъ человѣкъ, конечно, — онъ самъ съ давнишними своими думами о недостижимомъ счастіи и о ничтожествѣ всего земного..

Вопросъ о счастіи упорно мучитъ мальчика. Въ томъ же самомъ письмѣ, откуда мы взяли предъидущую выписку, онъ опредѣляетъ счастіе какъ отсутствіе рефлексіи. Онъ хорошо ставитъ діагнозъ собственной болѣзни. „Сочетаніе идей—говоритъ онъ—которыя не позволяютъ намъ думать ни о чемъ другомъ, какъ только о томъ, чѣмъ въ данную минуту полно наше сердце, — вотъ истинное счастіе! Безпечность; не въ ней ли счастіе? И не должно ли Существо всѣхъ существъ сдѣлать нашу душу воспріимчивой для этого ощущенія, когда оно хочетъ наградить насъ—насъ, этихъ ничтожныхъ атомовъ, вырвавшихъ на свою долю былинку изъ грязи—нашей общей матери? О атомы, живущіе единый день! О! мои товарищи по безконечному ничтожеству — могли ли вы когда-нибудь нащупать невидимую руку, которая направляетъ насъ въ этомъ муравейникѣ рода человѣческаго?!!"

Позднѣе, много лѣтъ спустя, на вопросъ, что̀ такое поэзія, Баратынскій отвѣчалъ въ этомъ же духѣ. „Поэзія есть полное ощущеніе извѣстной минуты"—говорилъ онъ—т.-е. самозабвеніе въ одномъ какомъ-нибудь ощущеніи, полнѣйшее отсутствіе неизбѣжнаго вопроса—къ чему и куда?

Всѣ эти размышленія молодого человѣка, ничего пока не видавшаго въ жизни, ничего отъ нея не взявшаго, естественно все болѣе и болѣе укрѣпляли его въ его меланхолическомъ міросозерцаніи, если міросозерцаніемъ можно назвать рядъ печальныхъ размышленій скучающаго мальчика, живущаго теперь въ деревнѣ безъ всякаго дѣла и безъ всякихъ видовъ на будущее.

Не измѣняется этотъ печальный взглядъ на жизнь и въ

тѣхъ письмахъ, которыя писаны рядовымъ егерскаго полка изъ Петербурга. Да и странно было бы, если бы они измѣнились. Томительное ощущеніе пустоты въ сердцѣ и несоотвѣтствіе внѣшней обстановки съ внутреннимъ міромъ человѣка не могли исчезнуть въ лагерѣ, въ казармахъ, къ которымъ у Баратынскаго никакой профессіональной любви никогда не было. Онъ сталъ рядовымъ только потому, что, по приговору начальства, онъ не имѣлъ права поступить ни на какую службу, кромѣ военной, и то только простымъ солдатомъ. Солдатскій мундиръ былъ единственный, который онъ могъ надѣть, если хотѣлъ вступить въ жизнь — а вѣдь въ тѣ времена служба и жизнь были понятія почти однозначащія.

И вотъ здѣсь, въ Петербургѣ, въ 1819 году, Баратынскій познакомился съ кружкомъ молодыхъ поэтовъ, во главѣ которыхъ стоялъ Жуковскій; это знакомство было самымъ рѣшающимъ событіемъ всей его жизни. Оно дало ему надежду на возможность новаго счастія, дало новое рѣшеніе занимавшей его проблемы жизни. Рѣшеніе это было чисто эстетическое. Жизнь, понятая, объясненная или пересозданная поэзіей, отнынѣ должна была замѣстить для него ту реальную жизнь, теченіе которой отъ насъ не зависитъ, гдѣ намъ всѣмъ такъ душно, и гдѣ не можетъ быть никакого „полнаго ощущенія минуты“.

Среди этихъ новыхъ лицъ, совсѣмъ юныхъ, но уже увѣнчанныхъ лаврами, Баратынскій заговорилъ новымъ языкомъ, и съ тѣхъ поръ къ его рѣчи стали прислушиваться современники. Изъ дошедшей до насъ переписки Пушкина, Дельвига, Жуковскаго и Баратынскаго видно, что, несмотря на кратковременное пребываніе въ Петербургѣ [Баратынскій уже въ 1820 году покинулъ столицу и, какъ унтеръ-офицеръ нейшлотскаго полка, квартировалъ въ Финляндіи], дружескія связи поэта съ петербургскимъ литературнымъ кружкомъ были очень крѣпки; правда, никакой особенно видной роли Баратынскій въ этомъ кружкѣ не игралъ, но его лю-

били, и главное—цѣнили. Ближе всѣхъ онъ стоялъ, кажется, къ Дельвигу, съ которымъ его сроднила прирожденная имъ обоимъ меланхолія *).

Изъ стихотвореній и посланій, какія писались тогда въ изобиліи нашими поэтами въ подражаніе древнимъ, мы можемъ себѣ составить понятіе о господствовавшемъ въ томъ кружкѣ настроеніи. Это была любопытная смѣсь упоенія молодостью и преждевременныхъ мыслей о бренности и непостоянствѣ всѣхъ благъ міра.

Тотъ, кто вчитывался въ нашу поэзію двадцатыхъ годовъ, долженъ былъ остановиться передъ этимъ страннымъ сочетаніемъ безграничнаго веселья и глубокой грусти, которыя чередуются и живутъ такъ согласно вмѣстѣ. Юношескіе стихи Баратынскаго,—очень цѣнный памятникъ этого лирическаго настроенія русской молодежи двадцатыхъ годовъ. Веселая сторона жизни нашла въ нихъ, правда, лишь случайное отраженіе. Гораздо богаче по мотивамъ — какъ и слѣдовало ожидать — и гораздо глубже по мысли тѣ стихотворенія, въ которыхъ Баратынскій говоритъ о своей печали. Всѣ эти стихотворенія были изданы самимъ поэтомъ отдѣльной книжкой, въ 1827 г., уже въ Москвѣ, куда онъ, выйдя въ отставку, переселился.

IV.

Молодые пѣвцы двадцатыхъ годовъ любили рядить свое веселое настроеніе въ стихотворныя формы, завѣщанныя античной древностью. Читая эту русскую лирику съ ея

*) Я погибалъ: ты дýхъ мой оживилъ
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввелъ меня въ семейство добрыхъ Музъ...
Ты самъ порой глубокую печаль
Въ душѣ носилъ, но что? не мнѣ ли ввѣрить
Спѣшилъ ее?..
Судьей души моей
Ты долженъ быть и въ вёдро и въ ненастье...

эпистолами, эпиграммами, мадригалами, сатирами, элегіями, идилліями,—видишь, что наши поэты были хорошо знакомы съ классическимъ Парнасомъ.

Горацій, Ювеналъ, Тибуллъ, Катуллъ, Марціалъ, Виргилій и въ особенности Овидій, даже Апулей, читались охотно и, какъ говорилъ Пушкинъ, вѣроятно, въ ущербъ Цицерону. Такимъ образомъ, русская лирика при рожденіи своемъ была крещена въ языческую вѣру и долго молилась всѣмъ греко-римскимъ богамъ, ожидая отъ нихъ вдохновенія. Боги и полубоги, герои, нимфы, сатиры, фавны, Аглаи, Хлои и другія прелестницы, очень занимали воображеніе нашихъ поэтовъ, и мы ошибемся, если скажемъ, что всѣ эти имена и связанные съ нимъ образы были лишь риторическими украшеніями или звонкими риѳмами. Въ любви нашихъ поэтовъ къ этимъ традиціямъ и лицамъ была доля житейской правды, хотя, конечно, всѣмъ античнымъ богамъ и героямъ жилось у насъ въ Россіи тоскливо. Имъ было холодно, какъ тѣмъ мраморнымъ изваяніямъ, которыя, почернѣвшія и разбитыя, мерзнутъ въ своихъ греческихъ хитонахъ на нашихъ сѣверныхъ кладбищахъ.

Но русскій поэтъ Александровской эпохи любилъ классическую древность, и по весьма многимъ причинамъ. Онъ любилъ ее за ея символизмъ и ея идеальную красоту. Она въ своемъ весельѣ, въ своей грусти, своемъ гнѣвѣ и радости, слезахъ и смѣхѣ, была такъ величественна, спокойна и, повидимому, стояла такъ высоко надъ жизнью. Конечно, при историческомъ взглядѣ на нее и она оказалась бы „злобой“ своего дня, но историческій взглядъ былъ для поэта въ тѣ времена роскошью. Лирикъ двадцатыхъ годовъ находилъ въ классической поэзіи наиболѣе подходящее выраженіе многихъ своихъ чувствъ, выраженіе „поэтическое“, передававшее всю сущность его настроенія, и не затрогивавшее мелочей жизни, изъ которыхъ данное настроеніе вытекало. Сказать: меня разсердилъ Булгаринъ или Гречъ, или пятый, десятый непонятливый критикъ,—значило унизить свя-

щенное чувство поэтическаго гнѣва, а потому и красивѣе, и сильнѣе — возгласить вмѣстѣ съ Гораціемъ: „прочь, непросвѣщенная чернь!“ Возвести свѣтскую даму или просто любую изъ своихъ знакомыхъ въ званіе Деліи или Хлои и написать ей посланіе, гдѣ упомянуть объ ея соперничествѣ съ Кипридой или Граціями, значило возвысить, освятить свое чувство и пріобщить свою возлюбленную къ сонму богинь. Въ застольной пѣснѣ помянуть Вакха и Киприду было также какъ будто благороднѣе, чѣмъ прямо написать тостъ въ честь шампанскаго.

Но кромѣ этой традиціонной красоты и идеальной возвышенности, какія въ готовыхъ образцахъ были даны въ классической литературѣ, само міросозерцаніе римской и греческой поэзіи одной своей стороной подходило къ жизни нашихъ лириковъ начала XIX столѣтія. Хваленая гармонія духа древнихъ была сердцу русскаго поэта въ то время гораздо ближе, чѣмъ этикетная поэзія французскихъ классиковъ или нѣмецкая сентиментальность и болѣзненная тоска.

Побѣды увѣнчали родину; слава ея гремѣла во всей Европѣ, она была самымъ сильнымъ изъ всѣхъ государствъ. Мрачныя стороны ея государственнаго устройства,—всѣ аномаліи, таившіяся внутри, — были сознаны лишь немногими. Всѣ сердца были полны надеждъ самыхъ разнообразныхъ, люди мечтали и надѣялись, что Россія нетолько заставитъ торжествовать правду и истину въ своихъ границахъ, но явитъ истину и сосѣдямъ; залогъ этого былъ уже данъ въ низверженіи Наполеона. Мечтали о томъ, что Провидѣніе ведетъ насъ вѣрнымъ путемъ къ великой цѣли; и въ покорности этому пути, указанному властью, и въ личномъ совершенствованіи—полагали залогъ дальнѣйшаго благоденствія. Мало ли о чемъ не мечтали тогда не только поэты, но и государственные мужи, и люди непосредственнаго дѣла! Прибавимъ къ этому полное обезпеченное положеніе нашихъ молодыхъ лириковъ, молодость въ полномъ расцвѣтѣ и талантъ, который давалъ имъ сознаніе ихъ силы,—и тогда станетъ

понятно, почему эта Пушкинская плеяда въ первые годы своей молодости умѣла такъ веселиться, и быть такой бодрой. Всѣ задачи жизни сводились для художника къ одному требованію—быть искреннимъ служителемъ отвлеченной идеи добра, которая находитъ свое воплощеніе въ красотѣ. „Слова поэта—дѣла его"—такъ говорили эти люди, подражая Ювеналу и Марціалу въ своихъ сатирахъ и эпиграммахъ, Горацію—въ своихъ одахъ и посланіяхъ, Виргилію—въ идилліяхъ и буколикахъ, Анакреону — въ застольныхъ и любовныхъ пѣсняхъ; и ничто тогда не нарушало ихъ вѣры въ святое призваніе и въ чудотворную силу ихъ краснваго слова.

При всѣхъ этихъ условіяхъ веселая бодрость духа была законна; можно было не читать нѣмцевъ, предпочитать французовъ и почитать грековъ и римлянъ,—ихъ въ особенности, такъ какъ они съумѣли спокойно и величественно выразить не только веселую сторону жизни, но и печальную; а эту послѣднюю наши поэты, при всемъ ихъ весельѣ, умѣли также понимать и чувствовать, хотя—по-своему.

„Мы—товарищи умственной службы, умственныхъ походовъ—писалъ Баратынскій въ 1829 г. И. В. Кирѣевскому—и чѣмъ больше я размышляю, тѣмъ тверже увѣряюсь, что въ свѣтѣ нѣтъ ничего дѣльнѣе поэзіи... Люди, которыхъ охлаждаетъ суетный опытъ, показываютъ не проницательность, а сердечное безсиліе. Вынесть сердце свое свѣжимъ изъ опытовъ жизни, не позволить ему смутиться ими, вотъ на что мы должны обратить всѣ наши нравственныя способности. Прекрасное положительнѣе полезнаго; оно принадлежитъ намъ въ большей собственности, оно проникаетъ все существо наше, между тѣмъ какъ остальное едва нами осязается".

Этотъ культъ поэзіи не спасъ однако Баратынскаго отъ разочарованія и охлажденія; и именно потому, что изъ всѣхъ своихъ сверстниковъ онъ одинъ обладалъ удивительнымъ даромъ чуять и чувствовать скорбь, разлитую въ мірѣ. Глубже всѣхъ понималъ онъ эту сторону жизни. Его грусть была въ немъ даромъ природы — благословеніемъ или про-

клятьемъ [какъ кто смотритъ], какимъ она его напутствовала при его вступленіи въ жизнь.

Страннымъ можетъ показаться такое смѣшеніе необузданнаго веселья съ искренней и глубокой скорбью, какое мы встрѣчаемъ въ нашей лирикѣ двадцатыхъ годовъ; съ одной стороны полное упоеніе жизнью, ея надеждами и радостями, съ другой—неотвязная мысль о тщетѣ всего земного, скорбные помыслы о непостоянствѣ всѣхъ благъ. Это противорѣчіе вполнѣ естественно, и нѣтъ необходимости предполагать, что въ томъ или другомъ случаѣ наши пѣвцы гонялись за модой или повторяли чужія слова. Ихъ грусть — самая законная и понятная, никогда не покидавшая человѣка и вѣчная его спутница—скорбь о мимолетности всѣхъ наслажденій, о раннемъ увяданіи, объ исчезновеніи всего дорогого и о безмолвномъ неизвѣстномъ, которое ожидаетъ насъ за рубежомъ жизни: печаль этихъ вѣтрениковъ и молодыхъ повѣсъ не есть печаль сентиментальнаго юноши, обманутаго въ своихъ надеждахъ и испытавшаго два-три разочарованія на порогѣ жизни; она не есть печаль романтика, томящагося по идеалу, мечтателя, упавшаго съ небесъ на землю; она не есть, наконецъ, гнѣвная печаль оскорбленнаго человѣка, сознающаго свою силу, но связаннаго и отверженнаго — нѣтъ — всѣ эти разновидности человѣческой скорби, какими такъ богато XIX столѣтіе, имѣютъ мало общаго съ грустнымъ настроеніемъ нашихъ поэтовъ Александровской эпохи. Они въ своей первоначальной печали—ни сентименталисты, ни романтики, ни байронисты, они скорѣе всего классики, вѣрующіе въ неумолимую судьбу, тяготѣющую надъ міромъ, и въ боговъ, которые завидуютъ людямъ и притомъ лучшимъ людямъ; они — классики, съ жадностью пользующіеся даннымъ моментомъ и съ грустью смотрящіе впередъ на необходимость оторвать скоро свои уста отъ сладкой чаши жизни. Они въ своей грусти скорѣе мыслители, чѣмъ люди чувства, люди трезваго взгляда, чѣмъ нервные мечтатели, какими были ихъ плачущіе современники на Западѣ. Понятно, почему они

любили такъ классическую поэзію. У Платона, у древнихъ трагиковъ, у Виргилія, Овидія и Горація, находили они тѣ мысли о бренности всего земного, о страшномъ, неотразимомъ приговорѣ судьбы, находили тотъ крикъ страданія, который рано или поздно долженъ прервать всѣ веселыя рѣчи, пѣсни и бесѣды. Этотъ пессимистическій взглядъ на жизнь, не мѣшавшій однако пользоваться минутою, легъ въ основаніе всѣхъ печальныхъ стихотвореній нашей молодой лирики и потому эти стихотворенія носятъ такой общій характеръ: они очень неопредѣленны, почти всегда однообразны, за ними не видно житейскаго опыта, котораго, конечно, не могло быть, такъ какъ эти пѣсни вытекали изъ размышленія о жизни, а не изъ нея самой. Позднѣе, когда эти люди обогатились опытомъ, когда жизнь ихъ поломала и обманула, грустныя пѣсни ихъ стали болѣе содержательны, а ихъ печаль болѣе опредѣленна: они тогда непосредственно послѣ классиковъ принялись ревностно вчитываться въ Байрона.

Баратынскій уберегъ себя отъ подражанія Байрону, и это потому, что онъ самъ самостоятельно пережилъ трагедію человѣка, въ которомъ рефлексія отравляетъ самое чувство бытія. Онъ былъ сродни Гамлету и у Байрона ему было нечему учиться.

На мигъ забывшись въ „классическомъ“ веселыи, онъ продумалъ и усвоилъ всю глубину того скорбнаго ученья, которое античные трагики облекали въ хоровую пѣсню. Для него, пессимиста отъ рожденія, эта скорбная пѣсня была основнымъ мотивомъ, а веселая—случайностью.

V.

Отъ веселой жизни въ Петербургѣ, продолжавшейся всего только годъ, у нашего поэта осталось хорошее воспоминаніе. Въ своихъ юношескихъ стихотвореніяхъ онъ нерѣдко возвращается къ этому счастливому времени и воспѣваетъ его по примѣру своихъ товарищей въ вакхическихъ пѣсняхъ и

даже въ цѣлой застольной поэмѣ „Пиры“. Тотъ, кто читалъ застольныя и любовныя пѣсни Пушкина, найдетъ въ этихъ стихотвореніяхъ мало новаго. Тема одна и та же — веселіе, наслажденіе молодостью, культъ Вакха, если не въ смыслѣ древнихъ таинствъ, то въ смыслѣ обильныхъ возліяній. Ночная бесѣда въ дружескомъ кружкѣ за столомъ, бесѣда непринужденная, быть можетъ совсѣмъ пустая, но бесѣда игривая, гдѣ шутки и пѣсни запивались виномъ и чередовались со стихами, только-что сочиненными, а можетъ быть и сказанными экспромтомъ — вотъ та обстановка, среди которой раздавалась эта молодая русская пѣсня.

По своеволію страстей
Себѣ мы правилъ не слагали,
И пылкой жизнью юныхъ дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселыхъ той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили. [«Б—ну» 1821].

Баратынскій очень откровенно говорилъ объ этихъ веселыхъ минутахъ:

— Что̀ въ славѣ!? что̀ въ молвѣ!?—на время жизнь дана!
За полной чашей мы твердили,
И весело въ струяхъ блестящаго вина
Забвенье сладостное пили.
Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блаженъ кто легкою рукою
Весной умѣлъ срывать весенніе цвѣты
И въ мирѣ жилъ съ самимъ собою;
Кто безъ унынія глубоко жизнь постигъ
И, равнодушіемъ богатый,
За царство не отдастъ покоя сладкій мигъ
И наслажденья мигъ крылатый! [«Дельвигу» 1820].

„Друзья веселья и забавъ“, они брали безъ труда отъ ранней молодости все, что она давала, и брали „безъ угрызеній совѣсти“. Даже жажда славы, какъ видимъ,—и та въ этотъ мигъ покидала ихъ честолюбивыя сердца; и что зна-

чила эта слава, когда въ безднѣ лѣтъ должны исчезнуть и „мигъ незнаемой забавы, и годы шумные побѣдъ“. Даже страшная мысль о смерти—и та въ эти минуты стихала; разгоряченнымъ молодымъ людямъ казалось, что и въ загробномъ мірѣ, въ бесѣдѣ съ Катулломъ и Парни, они будутъ пѣть дружбу и вино и неприхотливую свою любовь къ Дафнѣ и Темирѣ. Да! были веселыя минуты, но онѣ быстро пролетѣли.

Самъ поэтъ въ эти дни веселья какъ-то порой не вѣрилъ своему счастью. Это странное интимное чувство „тоскливой радости“ онъ выразилъ въ прелестномъ стихотвореніи:

Онъ близокъ, близокъ, день свиданья.
Тебя, мой другъ, увижу я!
Скажи, восторгомъ ожиданья
Что-жъ не трепещетъ грудь моя?
Не мнѣ роптать: но дни печали,
Быть можетъ, поздно миновали:
Съ тоской на радость я гляжу,
Не для меня ея сіянье,
И я напрасно упованье
Въ больной душѣ моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполнѣ:
Все мнится, счастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ.

[«Онъ близокъ, близокъ день свиданья» 1820].

Было бы ошибочно предполагать, что эти юные беззаботные годы были лишены идейныхъ увлеченій. Насколько можно судить по ничтожнымъ, правда, намекамъ въ его стихотвореніяхъ, Баратынскій при всемъ эпикуреизмѣ въ своемъ настроеніи, былъ достаточнымъ стоикомъ въ мысляхъ. „Свободный гордый Римъ и блестящіе Аѳины“ привлекали его воображеніе; онъ припоминалъ, какъ съ юныхъ дней онъ „внималъ съ волненіемъ безсмертнымъ повѣстямъ Плутарха и Ѳукидида“, „какъ поражалъ персовъ съ дружиной Леонида“, какъ, „подданный царя, защитникъ вѣрный трона, онъ въ восторгѣ трепеталъ при имени Катона“. Онъ плакалъ о по-

гибшей древней Элладѣ, глядя на ея униженіе; онъ, скромно преклоняясь передъ своей судьбой, привѣтствовалъ „Геній того человѣка, который опережаетъ свой вѣкъ и слышитъ рукоплесканія грядущихъ поколѣній".

Кажется, что въ эти же годы и либеральная мысль Александровскаго царствованія стала смущать Баратынскаго. Объ этихъ либеральныхъ разговорахъ въ кружкѣ товарищей мы знаемъ только то, что сообщаетъ сынъ поэта въ своихъ воспоминаніяхъ. „Въ это время, въ Петербургѣ, разсказываетъ онъ, Евгеній Абрамовичъ познакомился съ нѣкоторыми изъ Декабристовъ, съ Кюхельбекеромъ ближе чѣмъ съ прочими: но ни онъ, ни Дельвигъ не были посвящены въ тайны существовавшаго уже тогда политическаго общества, хотя Баратынскій, въ молодыхъ годахъ, не раздѣляя ихъ цѣли, со всѣмъ увлеченіемъ своихъ лѣтъ сочувствовалъ тому, что заключается великодушнаго въ обширномъ, неопредѣленномъ и гибкомъ значеніи слова: „свобода" *).

Въ годы изгнанія, когда Баратынскій жилъ въ Финляндіи, онъ въ своей поэмѣ „Пиры" простился съ буйной молодостью. Это его послѣдняя беззаботная пѣснь, подводящая итогъ улетѣвшему веселому мгновенію. Судьба разъединила друзей, каждый побрелъ своей дорогой; улетала молодость; многія тайны бытія обнажались и много иллюзій разсѣялось. Тоска все чаще стала стучаться друзьямъ въ сердце, и имъ

---

*) Сынъ поэта приводитъ также нѣсколько стиховъ, которые дошли до него по воспоминаніямъ, на тему о «свободѣ», стиховъ, внушенныхъ Баратынскому на одномъ изъ товарищескихъ ужиновъ:

Съ неба чистая, золотистая,
Къ намъ слетѣла ты;
Все прекрасное, все опасное
Намъ пропѣла ты!

Въ этихъ воспоминаніяхъ не все ясно. Въ 1819—1820 году будущіе декабристы [и въ томъ числѣ Кюхельбекеръ] еще не вошли въ политическое общество и потому посвящать Баратынскаго имъ было не во что. Но что на товарищескихъ ужинахъ шла вольная рѣчь, это—вполнѣ естественно и допустимо.

съ грустью припоминалось то время, когда, поборовъ раздумье, они съ бокаломъ въ рукѣ кричали:

«Слѣпая чернь, благогонѣй».

VI.

Цѣлыхъ пять лѣтъ провелъ Баратынскій въ Финляндіи. Если поэтамъ необходимо одиночество, котораго они часто ищутъ, и которое въ стихахъ воспѣваютъ очень умильно, то временное одиночество и продолжительный плѣнъ духа и тѣла—двѣ вещи совсѣмъ разныя. А Финляндія была для нашего поэта плѣномъ, и тѣлеснымъ, и духовнымъ. Въ то время какъ петербургскіе друзья вели живую бесѣду, нашъ поэтъ былъ осужденъ на молчаливое созерцаніе и на бесѣду съ дикой природой. Онъ долженъ былъ пустоту окружавшей жизни населять образами собственной фантазіи. Онъ и жилъ въ мірѣ призраковъ. Минувшее стало для него дороже настоящаго, и мало-по-малу печальное одиночество стало гасить въ немъ искры веселья, которое въ Петербургѣ скрашивало его міросозерцаніе.

Затерянный среди дикой природы, онъ на первое время, однако, нашелъ въ ней отраду:

Какъ все вокругъ меня плѣняетъ чудно взоръ!
Тамъ необъятными водами
Слилося море съ небесами;
Тутъ съ каменной горы къ нему дремучій боръ
Сошелъ тяжелыми стопами,
Сошелъ—и смотрится въ зерцалѣ гладкихъ водъ.
Ужь поздно, день погасъ, но ясенъ неба сводъ,
На скалы финскія безъ мрака ночь нисходитъ
И только что себѣ въ уборъ
Алмазныхъ звѣздъ ненужный хоръ
На небосклонъ она выводитъ! [«Финляндія» 1820].

Грустный взглядъ поэта на міръ такъ совпадалъ съ этимъ сѣвернымъ моремъ, въ которомъ купались дикія, полуголыя скалы съ меланхолическими соснами на ихъ вершинахъ!

Пейзажъ былъ, правда, не классическій, но имѣвшій свою прелесть. Какъ легко было, вспомнивъ прочитанные въ Петербургѣ отрывки изъ Оссіана, населить эту пустынную мѣстность причудливыми образами старинныхъ героевъ и сдружиться съ ними. И эта дружба становилась родникомъ новой печали:

И вы сокрылися въ обители тѣней!
И ваши имена не пощадило время!
Что жъ наши подвиги, что слава нашихъ дней,
Что наше вѣтренное племя?
О, все своей чредой исчезнетъ въ безднѣ лѣтъ!
Для всѣхъ одинъ законъ, законъ уничтоженья,
Во всемъ мнѣ слышится таинственный привѣтъ
Обѣтованнаго забвенья! [«Финляндія» 1820].

Кругомъ одно забвеніе, однѣ молчаливыя грозныя скалы съ вѣчно шумящимъ моремъ у ихъ ногъ...

Поэта пугала болѣе всего мысль о томъ, что здѣсь ему суждено проститься съ жизнью, что весь итогъ его кратковременнаго безцѣльнаго существованія на землѣ будетъ подведенъ въ этой пустынѣ. Мысль о смерти стала страшнѣе теперь, когда она не заглушалась стукомъ бокаловъ, и поэтъ, примирившись съ этой мыслью, молилъ только объ одномъ, чтобы кончить жизнь не здѣсь, а хоть по крайности въ отеческихъ дубравахъ. Во многихъ стихотвореніяхъ высказывается это желаніе: шумъ отеческихъ дубравъ напоминаетъ ему его дѣтство, и ему кажется, что разстаться съ жизнью всего легче тамъ, гдѣ впервые испыталъ хоть относительную ея прелесть.

Сумракъ духа становился все гуще, и какое-то тайное непонятное чувство сердечной боли овладѣвало мечтателемъ.

Поэтъ попытался-было утѣшить себя тѣмъ, что страданіе намъ необходимо, такъ какъ безъ него мы не поймемъ и счастія, что оно есть источникъ „сладострастія“ для тѣхъ, кто способенъ его чувствовать, что счастливцевъ тяготитъ бездѣйственность души, что имъ неизвѣстна сила жизни, что счастливцамъ праведные боги дали чувственность, а людямъ

страдающимъ—чувство [„Къ Коншину“ 1820]. Но Баратынскій не удовлетворился этими размышленіями. Тайна его грустнаго сердца оставалась попрежнему тайной, и онъ чистосердечно признался, что размышленіями тутъ ничего не подѣлаешь и оправдываться незачѣмъ:

Того не пріобрѣсть, что̀ сердцемъ не дано,
Рокъ злобный къ намъ ревниво злобенъ:
Одну печаль свою, унынiе одно
Унылый чувствовать способенъ. [«Лагерь» 1821].

И вотъ—итогъ раздумья, высказанный этимъ „унылымъ“ человѣкомъ, итогъ, поражающій насъ своей безотрадностью:

Нашъ тягостный жребій: положенный срокъ
Питаться болѣзненной жизнью,
Любить и лелѣять недугъ бытія,
И смерти отрадной страшиться.
Нужды непреклонной слѣпые рабы,
Рабы самовластнаго рока!
Земнымъ ощущеньямъ насильственно насъ
Случайная жизнь покоряетъ.
Но въ искрѣ небесной пріяли мы жизнь,
Намъ памятно небо родное,
Въ желанiи счастья мы вѣчно къ нему
Стремимся неяснымъ желаньемъ!..
Вотще! Мы надолго отвержены имъ!
Сiяя красою надъ нами,
На бренную землю безпечно оно
Торжественный сводъ опираетъ...
Но намъ недоступно! Какъ алчный Танталъ
Сгораетъ средь влаги прохладной,
Такъ, сердцемъ постигнувъ блаженнѣйшiй міръ,
Томимся мы жаждою счастiя. [«Дельвигу» 1821].

Но не всегда такъ ужъ мрачно смотрѣлъ поэтъ на наши неясныя желанія и мечты. Если въ былые годы, когда ребенкомъ онъ мечталъ несвязно, ему казалось, что эти мечты разсѣются, какъ дымъ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ сожалѣнія, то теперь, когда его дѣтскія мечты стали художественной пѣснью, онъ понялъ, что въ этихъ пѣсняхъ заключена своего рода жизнь, и пожалуй единственная жизнь, да-

рующая счастье. Въ одномъ искусствѣ, по его мнѣнію, заключается разгадка человѣческаго счастія, такъ какъ и добро и красота сливаются въ немъ воедино и даютъ человѣку высшее блаженство, а именно—полное поглощеніе его данной минутой; они ставятъ его внѣ времени и пространства, дѣлаютъ его царемъ и устроителемъ своего собственнаго волшебнаго замка, на который власть безпощадной судьбы не простирается.

Положимъ —

Не многимъ избраннымъ понятенъ
Языкъ поэтовъ и боговъ [«Лидѣ» 1821].

но къ чему гоняться за славой? Надо любить поэзію ради нея, въ тиши своего сердца. Въ посланіи къ Гнѣдичу Баратынскій пытается опредѣлить роль искусства въ жизни. Не безъ намека на самого себя и на всю свою братію онъ говоритъ:

Живитель сердца—трудъ; искусства—наслажденья.
Еще не породивъ прямого просвѣщенья,
Избытокъ породилъ бездѣйственную лѣнь..
На міръ снотворную она нагнала тѣнь,
И чадамъ роскоши, обремененнымъ скукой,
Довольство бѣдности тягчайшей было мукой;
Искусства низошли на помощь къ нимъ тогда:
Уже отвыкнувшихъ отъ грубаго труда
Къ трудамъ возвышеннымъ они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть можетъ счастіемъ обязаны мы имъ.
[«Н. И. Гнѣдичу» 1823].

Мы ошибемся, однако, если подумаемъ что Баратынскій не подозрѣвалъ міровой силы искусства, или цѣнилъ его только со своей личной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія больного человѣка, который пьетъ въ искусствѣ чашу забвенія; какъ всѣ его товарищи, онъ въ поэзіи чуялъ присутствіе сильнаго, безсмертнаго бога; онъ избѣгалъ только длинныхъ разсужденій о немъ и объ его посланникахъ на землѣ, избѣгалъ несмотря на то, что глубоко проникалъ духомъ въ тайну этого назначенія. Самъ онъ чувствовалъ,

что въ творчествѣ дано ему единственное ощущеніе счастія — таинственое, но внятное ощущеніе, и что въ искусствѣ—залогъ его собственнаго безсмертія, его силы, которую онъ можетъ противопоставить всѣмъ ударамъ рока.

Не вѣчный для временъ, я вѣченъ для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза ихъ что-то говоритъ?
Мгновенье мнѣ принадлежитъ,
Какъ я принадлежу мгновенью.
Что нужды для былыхъ иль будущихъ племенъ?
Я не для нихъ бренчу незвонкими струнами;
Я, не внимаемый, довольно награжденъ
За звуки звуками, а за мечты мечтами.
[«Финляндія» 1820].

Успокоиться на этихъ утѣшеніяхъ поэту было, однако, трудно, тѣмъ болѣе, что если его, какъ сына своего времени, и не мучилъ вопросъ о поэзіи какъ „общественной дѣятельности", то мучилъ другой еще болѣе тревожный вопросъ объ истинѣ, „угрюмой истинѣ" жизни и о поэтической „лжи".

Вся трагедія Баратынскаго какъ поэта заключалась въ этомъ вопросѣ... Что въ жизни истина и что заблужденіе? мечта — истина она или ложь? и покрывается ли поэзія жизнью?—постоянно спрашивалъ себя поэтъ и мучился этой нерѣшимой загадкой. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, она его очень занимала—какъ видно изъ философской статейки „о заблужденіяхъ и истинѣ", напечатанной имъ въ 1821 г. въ журналѣ „Соревнователь Просвѣщенія и Благотворенія". Статейка съ виду очень веселая и спокойная, но она скрываетъ въ себѣ большую и печальную тревогу мысли. Нѣтъ въ сущности ни истинъ, ни заблужденія—утѣшаетъ себя поэтъ. Для ребенка изловленная имъ бабочка составляетъ счастіе и почему же такое счастье будетъ заблужденьемъ? потому ли что оно проходчиво? но что же въ мірѣ не проходчиво? Молодость называютъ временемъ слѣпоты и заблужденія и самовластная старость претендуетъ знать истину, но вѣдь у старости глаза слабые, а она хочетъ видѣть лучше

юности, чувства ея завяли, а она желаетъ лучше чувствовать Неужели потому что въ старости воображенье угасаетъ, мы должны назвать мечтательными тѣ цвѣты, которые мы видимъ при свѣтѣ собственнаго воображенія? Разсудокъ, говорятъ, съ годами становится зорокъ. А что такое разсудокъ? не то ли же это самое чувство, которое вслѣдствіе пріобрѣтенныхъ мною понятій, чрезъ размѣрныя впечатлѣнія заставляетъ меня видѣть предметы въ томъ порядкѣ, въ какомъ я въ сію минуту ихъ вижу? И какъ отдѣлить разсудокъ отъ мечты и страсти, составляющихъ необходимую часть самого меня? И зачѣмъ мѣнять мечты свои на разсудокъ? Говорятъ, что предметы, которые существуетъ для одного только воображенія—мечтательны. Но развѣ природа дѣлаетъ что нибудь безъ цѣли? Воображеніе есть такое же свойство какъ и другія свойства. Опытъ, положимъ, разрушаетъ его призраки. Но вѣдь мы съ годами лишаемся и зрѣнія и слуха, иногда и разума. Не все ли равно лишиться физически способности видѣть, или метафизически—способности воображать? Говорятъ,— мечты обманываютъ, но мы въ правѣ сказать, что обманываютъ и умозрѣнія. Дѣтство забавляется мечтами, старость забавно важничаетъ мнимою своею мудростью и каждый играетъ свойственною ему игрушкой. Истина [ежели въ самомъ дѣлѣ есть какое-то отвлеченное благо, которое мы называемъ истиною] не должна ли быть нѣкоторымъ верховныхъ наслажденіемъ, способнымъ замѣнить намъ всѣ прочія мечтательныя или, лучше сказать, недостаточныя наслажденія? Но мы видимъ совершенно противное. Мы теряемъ, удостовѣряясь въ томъ, что привыкли называть истиною; мы уважаемъ аксіомы опыта и между тѣмъ часто сожалѣемъ о прелестныхъ заблужденіяхъ, которыя нѣкогда составляли наше счастіе. Мы называемъ старость временемъ благоразумья и мудрости. Но положимъ, что она со своей опытностью будетъ первымъ періодомъ нашей жизни, что за нею послѣдуетъ мужество, юность и наконецъ дѣтство; въ заключеніяхъ чудака, переходящаго отъ старости къ дѣтству

будетъ почти болѣе логики, нежели въ заключеніяхъ отрока, переходящаго отъ дѣтства къ старости..

Не странно ли—кончаетъ Баратынскій свои разсужденія—не странно ли писать разсужденіе объ истинѣ, когда доказываешь, что каждый изъ насъ имѣетъ собственныя свои истины?

Конецъ, какъ видимъ очень характерный: „философъ“ оборвалъ свои разсужденія на полушуткѣ, либо испугавшись трудности поставленой задачи, либо не желая слѣдовать дальше за своей логикой, которая навязывала ему безотрадный выводъ объ „относительной“ цѣнности рѣшительно всего въ нашей жизни.

Но изъ всѣхъ этихъ разсужденій читателю становилось ясно, что поэтъ до послѣдней крайности будетъ отстаивать по меньшей мѣрѣ равноправность всѣхъ „поэтическихъ заблужденій“ наряду съ „истиной“ и „опытомъ“.

Конечный выводъ этой довольно безотрадной философіи облеченъ поэтомъ въ красивую форму въ стихотвореніи „Истина“.

Съ младенчества, говоритъ поэтъ, тосковалъ онъ о счастіи и до сихъ поръ имъ бѣденъ. Молодые сны отлетѣли. Коечто въ мірѣ разгадано, прежнихъ надеждъ нѣтъ, нѣтъ и новой цѣли—первое же столкновеніе съ опытомъ разбило всѣ его мечты, и всѣ желанія оказались безумными. Но для чего, спрашиваетъ онъ, не вполнѣ совершилось это разувѣреніе?—такъ было бы легче, чѣмъ носить въ сердцѣ своемъ слѣдъ сожалѣнія о прежнихъ сновидѣніяхъ...

Такъ нѣкогда обдумывалъ съ роптаньемъ
Я жребій тяжкій свой,
Вдругъ Истину (то не было мечтаньемъ)
Узрѣлъ передъ собой.
„Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью!
(Вѣщала) „захочу—
„И страстнаго отрадному безстрастью
„Тебя я научу.
„Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь;
„Пускай, узнавъ людей,

„Ты, можетъ быть, испуганный, разлюбишь
„И ближнихъ, и друзей.
„Я бытія всѣ прелести разрушу,
„Но умъ наставлю твой;
„Я оболью суровымъ хладомъ душу,
„Но дамъ душѣ покой".
Я трепеталъ, словамъ ея внимая,
И горестно въ отвѣтъ
Промолвилъ ей: — О, гостья роковая!
Печаленъ твой привѣтъ!
Свѣтильникъ твой, свѣтильникъ погребальный
Всѣхъ радостей земныхъ!
Твой міръ, увы! могилы міръ печальный,
И страшенъ для живыхъ.
Нѣтъ, я не твой! въ твоей наукѣ строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-какъ моей дорогой
Одинъ я побреду.
Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ
Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило,
Забыть придется мнѣ,
Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти:
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти.

[«Истина» 1824].

Итакъ, истина призывается въ тотъ моментъ, когда она больше не нужна, призывается для того, чтобы прочитать отходную надъ человѣкомъ и облегчить ему переселеніе въ обитель ночи.

Доколѣ живешь—есть потребность въ счастіи, и потому на смертномъ одрѣ только рѣшаешься принять эту страшную гостью, которая скажетъ, что ни одно твое желаніе не исполнимо, ни одна надежда не сбудется, что все вокругъ тебя обстоитъ иначе, чѣмъ тебѣ казалось, и что всѣ дорогіе образы, съ которыми сдружилось твое сердце, лживы

Если ужъ быть послѣдовательнымъ, то лучше и умереть въ объятьяхъ привидѣній. Но въ томъ-то и дѣло, что истина жизни всегда входитъ безъ доклада, и съ каждымъ шагомъ человѣкъ идетъ ей на встрѣчу, даже тогда, когда думаетъ,

что, повернувъ къ ней спину, отъ нея удаляется. Пока еще этотъ призракъ житейской истины не принялъ для нашего поэта опредѣленной формы и не поставилъ еще опредѣленныхъ требованій. Но въ сороковыхъ годахъ онъ сталъ грозить всѣмъ его поэтическимъ сновидѣніямъ, и тогда Баратынскій не на шутку разсердился на эту безпощадную и надоѣдливую „истину".

Пока еще онъ только предугадывалъ такое полное распаденіе поэта съ трезвой дѣйствительностью и хотѣлъ предостеречь себя отъ безплодныхъ попытокъ раздумья надъ этимъ вопросомъ. „Кого смирила жизнь, тотъ пусть ужъ не бунтуетъ"—думалъ онъ и писалъ:

Дало двѣ доли Провидѣнье
На выборъ мудрости людской:
Или надежду и волненье,
Иль безнадежность и покой
Вѣрь тотъ надеждѣ обольщающей,
Кто бодръ неопытнымъ умомъ,
Лишь по молвѣ разновѣщающей
Съ судьбой насмѣшливой знакомъ,
Надѣйтесь, юноши кипящіе!
Летите: крылья вамъ даны;
Для васъ и замыслы блестящіе,
И сердца пламенные сны.
Но вы, судьбину испытавшіе
Тщету утѣхъ, печали власть,
Вы, знанье бытія пріявшіе
Себѣ на тягостную часть!
Гоните прочь ихъ рой прельстительный
Такъ! доживайте жизнь въ тиши,
И берегите хладъ спасительный
Своей бездѣйственной души.
Своимъ безчувствіемъ блаженные,
Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ,
Волхвы словами пробужденные,
Встаютъ со скрежетомъ зубовъ;
Такъ вы, согрѣвъ въ душѣ желанья,
Безумно вдавшись въ ихъ обманъ,
Проснетесь только для страданія,
Для болп новой прежнихъ ранъ

[«Двѣ доли» 1823].

Въ основѣ своей, какъ видимъ, міросозерцаніе поэта было глубоко грустное. Земная жизнь, отданная во власть безпощадному року, который обращаетъ ее въ долину слезъ и печали — она безпомощная, лишенная счастія жизнь, которой только осталось вспоминать о своей небесной отчизнѣ и видѣть ежедневно всю пустоту своихъ мечтаній и сознавать свое безсиліе. Только на зарѣ жизни дано нѣкоторымъ насладиться блаженствомъ молодого и беззаботнаго существованія—и то только нѣкоторымъ: есть „унылые" люди, которымъ отказано и въ этомъ краткомъ наслажденіи. Единственное возможное примиреніе, это — примиреніе въ „заблужденіяхъ", въ искусствѣ, и то оно не полное, такъ какъ жизнь ежедневно подчеркиваетъ свою вражду съ этимъ міромъ гармоніи.

Съ такими глубоко печальными взглядами на жизнь покидалъ Баратынскій Финляндію, и 25-ти лѣтъ мѣнялъ свой офицерскій мундиръ на вицмундиръ чиновника.

„Какой несчастный даръ, воображеніе слишкомъ превышающее разсудокъ! — писалъ поэтъ въ одномъ изъ своихъ писемъ этихъ годовъ. Какой несчастный плодъ преждевременной опытности, сердце жадное счастія, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся въ толпѣ безпредѣльныхъ желаній! Таково положеніе большей части молодыхъ людей нашего времени".

Этимъ думамъ соотвѣтствовала и внѣшность поэта. „Онъ былъ худощавъ, блѣденъ, и черты его выражали глубокое уныніе"—говоритъ о немъ Н. В. Путята, тогда [1824] впервые съ нимъ встрѣтившійся и впослѣдствіи близкій его пріятель.

VII.

Среди дикой и грустной финляндской природы, кромѣ лирическихъ стихотвореній, родились и двѣ поэмы: „Пиры" и „Эда". Поэма „Пиры" была посвящена воспоминанію о промелькнувшихъ веселыхъ годахъ; „Эда" воспѣвала страну и

людей, среди которыхъ Баратынскій прожилъ грустные годы своей солдатской службы.

Красивая картинка привольной литераторской жизни сохранена въ „Пирахъ“.

Въ углу безвѣстномъ Петрограда,
Въ тѣни древесъ, во мракѣ сада,
Тотъ домикъ, помните ль, друзья,
Гдѣ наша вѣрная семья,
Оставя скуку за порогомъ,
Соединялась въ шумный кругъ
И безъ чиновъ съ румянымъ богомъ
Дѣлила радостный досугъ?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блестки острыхъ словъ,
И вѣки сердце проживало
Въ немного пламенныхъ часовъ.
Столъ покрывала ткань простая;
Не восхищался на немъ
Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоцѣннымъ хрусталемъ:
И между тѣмъ сынамъ веселья
Въ стекло простое, богъ похмѣлья
Лилъ черезъ край, друзья мои,
Свое любимое Ай...

Компанья была избранная:

Ты, вѣрный мнѣ, ты Дельвигъ мой,
Мой братъ по музамъ и по лѣни,
Ты, Пушкинъ нашъ, кому дано
Пѣть и героевъ и вино
И страсти молодости пылкой
Дано съ проказливымъ умомъ
Быть сердца вѣрнымъ знатокомъ
И лучшимъ гостемъ за бутылкой...

Теперь всѣ эти веселыя минуты отошли въ область воспоминаній:

Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетѣли,
И разгадать у бытія
Мы много тайнаго успѣли:
Что ни ласкало въ старину

Что прежде сердцемъ ни владѣло
Подобно утреннему сну
Все измѣнило, улетѣло!

Но почему было не вспомнить добромъ старое время? Въ немъ была своя поэзія.
„Пиры“ понравились читателямъ.
Понравилась и „Эда“.

Литературная критика охотно говорила объ этой второй поэмѣ молодого писателя, съ легкой руки Пушкина, который ее похвалилъ.

Тогда была мода на поэмы. Лордъ Байронъ и Вальтеръ-Скоттъ заинтересовали ими всю Европу; Пушкинъ также любилъ эту форму творчества, и Баратынскій увлекся его примѣромъ.

Съ „Эдой“ Баратынскій вступилъ въ совершенно новую для него область творчества и удачно одолѣлъ трудности, какія представляло созданіе большого стихотворнаго произведенія: „Эда“ вышла нерастянута, и описательная и драматическая ея часть искусно другъ друга дополняли. Но тщетно будемъ мы искать въ этой поэмѣ того, что мы привыкли находить въ лирическихъ стихотвореніяхъ нашего автора, а именно, глубины чувства и мысли. Это самая незатѣйливая повѣсть, повторявшая одинъ, уже и въ то время, довольно заигранный мотивъ.

Въ суровый финляндскій край, въ страну печальныхъ мховъ и безмолвнаго гранита, судьба занесла молодого гусара; мы могли бы подумать—нашего автора, если бы только дальнѣйшее поведеніе этого храбраго воина не было такъ предосудительно. Этотъ гусаръ, какъ всѣ герои того времени, исполненъ „смутной думы“—о чемъ?—мы этого не знаемъ, да и вѣрнѣе будетъ предположить, что эту думу ему навязалъ нашъ задумчивый мечтатель. Гусаръ просто скучаетъ. Мы заранѣе угадываемъ, что малютка Эда, съ ея „летучимъ станомъ, златыми волосами и блѣдно-голубыми, какъ финское небо, очами“ должна будетъ поплатиться за эту скуку.

И, дѣйствительно, наивная, добродушная Эда, на самой зарѣ своей весны извѣдала муки страсти; ея веселье исчезло, умолкъ ея смѣхъ, пропалъ ея сонъ. Она стала робка и смущенна въ своихъ движеніяхъ, задумчива и т. д. Замѣтилъ эту перемѣну и ея отецъ, такой же сынъ природы, какъ и она. Онъ, правда, не тиранъ; въ немъ очень много природнаго добродушія — но онъ не смогъ предотвратить, ни угрозой, ни убѣжденіемъ, страданій и разочарованія своей дочери. Это разочарованіе наступило очень быстро. Протекли минуты идиллическаго счастья, и военный человѣкъ — если не перемѣнилъ своей привязанности, то долженъ былъ перемѣнить квартиру. Война увлекла его, а Эда упокоилась на кладбищѣ.

Надо было много умѣнья, чтобы обработать этотъ слишкомъ несложный сюжетъ такъ, какъ обработалъ его Баратынскій. Достоинство поэмы не въ содержаніи, хотя это содержаніе не лишено интереса, какъ симптомъ времени. Гибель наивной финляндки въ сѣтяхъ гусара—далекій и слабый отголосокъ осужденія цивилизаціи и прославленія „природнаго человѣка“ — литературной темы, которая не такъ давно занимала всю Европу. Но достоинство поэмы, повторяемъ, не въ этомъ — оно въ описаніяхъ, въ пейзажахъ и въ нѣжномъ идиллическомъ тонѣ. Психологія географически, быть можетъ, и не вѣрна, и финляндская дѣва болѣе похожа на романтическую грезу, чѣмъ на живое лицо, но кто станетъ обвинять автора за подобную вольность?

„Эда“ была граціозной игрой скучающаго воображенія.

Но если это воображеніе создавало не людей, а призраки, оно въ описаніяхъ природы было необычайно колоритно и величественно:

Суровый край: его красамъ,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменныя тамъ
Поверглись каменныя горы;
Синѣя всходятъ до небесъ
Ихъ своенравныя громады;
На нихъ шумитъ сосновый лѣсъ;

Съ нихъ бурно льются водопады;
Тамъ долъ очей не веселитъ;
Гранитной лавой онъ облитъ;
Главу одѣвши въ мохъ печальный,
Огромнымъ сторожемъ стоитъ
На немъ гранитъ пирамидальный;
По дряхлымъ скаламъ бродитъ взлядъ;
Пришлецъ исполненъ смутной думы:
Не міра-ль давняго лежатъ
Предъ нимъ развалины угрюмы?...

VIII.

Простившись со своимъ полкомъ, поэтъ, уже офицеръ, послѣ кратковременнаго пребыванія въ Петербургѣ, поселился въ Москвѣ и спустя годъ [1826] женился. Тихая семейная обстановка смѣнила скитальческій образъ жизни: затишье наступило и во внѣшнихъ условіяхъ его существованія, и въ его сердцѣ.

„Я живу потихоньку, какъ слѣдуетъ женатому человѣку — писалъ онъ изъ Москвы одному изъ своихъ друзей — но очень радъ, что промѣнялъ безпокойные сны страстей на тихій сонъ тихаго счастья: изъ дѣйствующаго лица я сдѣлался зрителемъ и, укрытый отъ ненастья въ моемъ углу, иногда посматриваю—какова погода на свѣтѣ".

Это спокойное настроеніе сказывается и на нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Баратынскаго, написанныхъ въ первые годы его московской жизни. Поэту кажется, что онъ достигъ мирнаго берега, что для него кончились тѣ тревожные годы, когда мечты и надежды такъ спорятъ съ дѣйствительностью и не идутъ ни на какое примиреніе. Онъ мнитъ себя вполнѣ созрѣвшимъ, опытнымъ человѣкомъ, который, не сердясь и не мучаясь, можетъ смотрѣть прямо въ глаза житейской истинѣ; онъ какъ будто хоронитъ свою молодость.

„Я правды красоту даю стихамъ моимъ"—пишетъ онъ—

Желаю доказать людскихъ суетъ ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселѣй

Я славилъ на зарѣ своихъ цвѣтущихъ дней
Законы сладкіе любви и наслажденья:
Другія времена, другія вдохновенья
Теперь важнѣй мой умъ, зрѣлѣе мысль моя...
[«Богдановичу» 1827].

„Законы сладкіе любви и наслажденья" вносили раньше, дѣйствительно, не малую тревогу въ его жизнь и усиливали его печаль разными неизбѣжно грустными ощущеніями.

Онъ говорилъ — конечно по собственному опыту — что мы „въ любви пьемъ сладкую отраву, что за короткую радость мы платимъ безвесельемъ долгихъ дней". Пусть огонь любви и будетъ огнемъ живительнымъ, но онъ опустошаетъ и разрушаетъ душу, имъ объятую. Любовь есть очарованье, за которымъ по пятамъ слѣдуетъ разувѣреніе. Такъ думалъ поэтъ въ молодые годы, и при всей силѣ своего таланта не смогъ пропѣть ни одной веселой, восторженной любовной пѣсни. Но всѣ мы помнимъ, съ какой искренностью и глубокой меланхоліей онъ воспѣлъ именно „Разувѣренье":

Не искушай меня безъ нужды
Возвратомъ нѣжности твоей:
Разочарованному чужды
Всѣ обольщенья прежнихъ дней!
Ужъ я не вѣрю увѣреньямъ,
Ужъ я не вѣрую въ любовь
И не могу предаться вновь
Разъ измѣнившимъ сновидѣньямъ!
Слѣпой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнемъ слова,
И, другъ заботливый, больного
Въ его дремотѣ не тревожь!
Я сплю, мнѣ сладко усыпленье.
Забудь бывалыя мечты:
Въ душѣ моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты. [«Разувѣренье» 1821].

Теперь [1826], когда поэтъ женился, онъ конечно, вновь въ любовь увѣровалъ, и тихій миръ снизошелъ въ его душу.

Я твой родимая дуброва!
Но отъ насильственныхъ судьбинъ

Молить хранительнаго крова
Къ тебѣ пришелъ я не одинъ
Привелъ подъ сѣнь твою святую
Я соучастницу въ мольбахъ,
Мою супругу молодую
Съ младенцемъ тихимъ на рукахъ
Пускай, пускай, въ глуши смиренной,
Съ ней, милой, бытъ мой утая,
Другихъ урочищей вселенной
Не буду помнить бытія.
Пускай, о свѣтѣ не тоскуя,
Предавъ забвенію людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни, въ любви моей. [«Родина» 1828].

„Любовь по природѣ своей — чувство исключительное, писалъ Баратынскій въ одномъ изъ своихъ писемъ къ И. В. Кирѣевскому [1831], чувство, не терпящее никакой совмѣстности" — и жизнью своей поэтъ доказалъ правоту этихъ словъ: современники съ умиленіемъ говорили объ его семейномъ счастьи.

Тихая жизнь въ семьѣ, частью въ Москвѣ, а частью въ деревнѣ, заботы по хозяйству — своему и крестьянскому [а нашъ поэтъ въ своемъ обращеніи съ крѣпостными былъ очень гуманнымъ человѣкомъ и стоялъ въ ряду тѣхъ идеалистовъ, которые мечтали о скорѣйшемъ упраздненіи крѣпостного порядка], тихая кабинетная работа, и мечты, мечты...—вотъ что наполняло миромъ его душу.

Много яркихъ звѣздъ свѣтило ему съ небесъ въ былые годы.

Теперь поэтъ предостерегалъ самого себя:

Не первой вставшей сердце ввѣрь,
И, суетный въ любви,
Не лучезарнѣйшую всѣхъ
Своею назови.
Ту назови своей звѣздой,
Что съ думою глядитъ,
И взору шлетъ отвѣтный взоръ,
И нѣжностью горитъ [«Звѣзда» 1825].

Баратынскій даже отъ самой поэзіи сталъ требовать сдержанности и возможно менѣе печальнаго тона. Онъ съ недовольствомъ замѣчаетъ [въ посланіи къ Богдановичу 1827 г.], что всѣ новѣйшіе поэты влюбились въ печаль, перестали улыбаться, что все въ мірѣ стало не по нимъ, что нѣмецкая хандра ихъ охватила, по пагубному примѣру Жуковскаго, что у всѣхъ отцвѣло сердце и душа увяла. Если читателямъ такое нытье можетъ нравиться, то это, по словамъ нашего самобичующаго критика, доказываетъ только, что у дряхлаго вѣка [1825 г.!] испортился вкусъ. Идеаломъ поэзіи и идеаломъ жизни кажется Баратынскому теперь XVIII вѣкъ, вѣкъ съ бодрымъ умомъ и неразвращеннымъ вкусомъ. Онъ желалъ бы жить въ этомъ вѣкѣ, у котораго можно научиться „давать своимъ стихамъ красоту правды и хладной мудрости".

Какъ однако поэтъ ошибался, считая себя способнымъ воспѣвать хладную мудрость!

Но онъ продолжалъ прописывать себѣ рецепты поэтическаго воздержанія отъ всякихъ современныхъ темъ и писалъ одному изъ своихъ пріятелей:

Ты мнѣ велишь оставить мирный слогъ
И ѣдкой желчію напитывая строки,
Сатирою возстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нравъ дала судьбина мнѣ,
И счастья моего искалъ я въ тишинѣ;
Зачѣмъ я удалюсь отъ столь разумной цѣли?
И, звуки легкіе пастушеской свирѣли
Въ неугомонный лай неловко превратя,
Зачѣмъ себѣ враговъ надѣлаю шутя?
Страшусь ихъ множества и злобы ихъ опасной.
[«Гнѣдичу» 1827].

Конецъ этого посланія еще болѣе любопытенъ по своей кротости:

Нѣтъ, нѣтъ! разумный мужъ идетъ путемъ инымъ
И, снисходительный къ дурачествамъ людскимъ,
Не выставляетъ ихъ, но сноситъ благонравно:
Онъ не пытается, увѣренный забавно
Во всемогуществѣ болтанья своего,
Имъ въ людяхъ измѣнить людское естество.

Изъ насъ, я думаю, не скажетъ ни единой
Осинѣ: дубомъ будь, иль дубу—будь осиной;
Межъ тѣмъ, какъ странны мы! Межъ тѣмъ любой изъ насъ
Переиначить свѣтъ задумывалъ не разъ.

[«Гнѣдичу» 1827].

Рѣшившись сносить благонравно людскія дурачества, поэтъ углубился въ самого себя, читалъ много, писалъ также не мало [въ 1827 году вышло первое собраніе его стихотвореній, затѣмъ въ 1835—второе. Въ 1828 году напечаталъ онъ поэму „Балъ", въ 1831 году поэму „Наложница". Кромѣ того имъ была въ это же время написана драма, которая до сихъ поръ неиздана].

Судя по его письмамъ онъ въ эти годы очень заинтересовался Жанъ-Жакомъ Руссо. „Руссо пробудилъ во мнѣ много чувствъ и мыслей. Человѣкъ отмѣнно замѣчательный и болѣе искренній, нежели я сначала думалъ. Его „Confessions"—огромный подарокъ человѣчеству". „Романъ «Новая Элоиза» дуренъ, но Руссо хорошъ какъ моралистъ, какъ діалектикъ, какъ метафизикъ"... „Всѣ другія его произведенія увлекаютъ меня неодолимо. Теплота его слова проникаетъ мою душу, искренняя любовь къ добру меня трогаетъ, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу"— писалъ Баратынскій И. В. Кирѣевскому въ 1831 году.

Вотъ какъ поздно иногда знакомишься со своими учителями!

IX.

Вопросъ объ искусствѣ попрежнему занималъ Баратынскаго и въ этотъ періодъ его жизни.

Поэтъ поклонялся своему богу, о которомъ другіе и въ стихахъ и въ полемическихъ статьяхъ тогда громко спорили. Этотъ богъ въ его глазахъ не нуждался въ апологетахъ.

„Надо тебѣ сказать, писалъ Баратынскій Пушкину въ 1826 году, что московская молодежь помѣшана на трансцендентальной философіи. Не знаю, хорошо ли это или худо: я

не читалъ Канта и, признаюсь, не слишкомъ понимаю новѣйшихъ эстетиковъ. Галичъ выдалъ піитику на нѣмецкій ладъ. Въ ней поновлены откровенія Платоновы и съ нѣкоторыми прибавленіями приведены въ систему. Не зная нѣмецкаго языка, я очень обрадовался случаю познакомиться съ нѣмецкой эстетикой. Нравится въ ней собственная ея поэзія, но начала ея мнѣ кажется можно опровергнуть философически".

Самъ Баратынскій въ эти дебри трансцендентальной философіи однако не забирался, но неоднократно пытался отдать себѣ отчетъ въ томъ чувствѣ, какое „прекрасное" производило на его душу.

Какъ прежде, такъ и теперь поэзія была для него высшимъ синтезомъ жизни и разрѣшеніемъ всѣхъ скорбей.

„Поэзія для меня не самолюбивое наслажденіе, писалъ онъ Кирѣевскому въ 1831 году. Прекрасное не что иное какъ высочайшая истина".

Болящій духъ врачуетъ пѣснопѣнье.
Гармоніи таинственная власть
Тяжелое искупитъ заблужденье
И укротитъ бунтующую страсть.
Душа пѣвца, согласно излитая,
Разрѣшена отъ всѣхъ своихъ скорбей;
[«Болящій духъ...» 1835].

Его самого, какъ ему казалось, поэзія спасла отъ демона искусителя. Вспоминая, вѣроятно, „Демона" Пушкина, Баратынскій писалъ:

Въ дни безграничныхъ увлеченій,
Въ дни необузданныхъ страстей,
Со мною жилъ превратный геній
Наперсникъ юности моей.
Онъ жаръ восторговъ несогласныхъ
Во мнѣ питалъ и раздувалъ;
Но соразмѣрностей прекрасныхъ
Въ душѣ носилъ я идеалъ:
Когда лишь праздниковъ смятенья
Алкалъ безумецъ молодой,
Поэта мѣрныя творенья

Блистали стройной красотой.
Страстей порывы утихаютъ,
Страстей мятежныя мечты
Передо мной не затмѣваютъ
Законовъ вѣчной красоты:
И поэтическаго міра
Огромный очеркъ я узрѣлъ,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотѣлъ.

[«Въ дни безграничныхъ...» 1832].

Въ томъ же году, когда были созданы эти чудесныя строфы, умеръ Гете, и Баратынскій написалъ на его смерть свое извѣстное стихотвореніе, которое мы всѣ помнимъ наизусть. Гете былъ именно тотъ чародѣй, который съумѣлъ безъ особыхъ терзаній подчинить всѣ явленія своему уравновѣшенному духу, и носилъ въ душѣ своей высшій идеалъ „прекрасныхъ соразмѣрностей".

Погасъ, но ничто не оставлено имъ
Подъ солнцемъ живыхъ безъ привѣта;
На все отозвался онъ сердцемъ своимъ
Что̀ проситъ у сердца отвѣта...
Крылатою мыслью онъ міръ облетѣлъ,
Въ одномъ безпредѣльномъ нашелъ ей предѣлъ.
Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья;
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ...
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.
Извѣданъ, испытанъ имъ весь человѣкъ!
И ежели жизнью земною
Творецъ ограничилъ летучій нашъ вѣкъ,
И насъ за могильной доскою,
За міромъ явленій, не ждетъ ничего:
Творца оправдаетъ могила его.

[«На смерть Гете» 1833].

Это былъ самый величественный и возвышенный похоронный плачъ, когда либо раздавшійся въ Европѣ надъ великимъ мертвымъ.

X.

Семейное счастіе, тихая кабинетная жизнь, спокойное раздумье надъ любимыми вопросами должны были мирно настраивать неизмѣнно печальную душу Баратынскаго. Случалось, положимъ, что поэтъ какъ будто бы возмущался своимъ покоемъ и говорилъ:

Отъ медленной отравы бытія
Въ покоѣ раболѣпномъ я
Ждать не хочу своей кончины.
На яростныхъ волнахъ, въ борьбѣ со гнѣвомъ ихъ,
Она отраднѣе гордынѣ человѣка!
Какъ жаждалъ радостей младыхъ
Я на зарѣ младого вѣка:
Такъ нынѣ, океанъ, я жажду бурь твоихъ.
[«Буря» 1825].

Но въ этихъ словахъ было больше поэтической образности чѣмъ искренняго чувства. Въ общемъ тонъ стиховъ Баратынскаго за это время примиренный и спокойный.

Живи живой, спокойно тлѣй мертвецъ!
Всесильнаго ничтожное созданье,
О человѣкъ! увѣрься наконецъ:
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!
Природныхъ чувствъ мудрецъ не заглушитъ
И отъ гробовъ отвѣта не получитъ:
Пусть радости живущимъ жизнь даритъ
А смерть сама ихъ умереть научитъ.
[«Черепъ» 1825].

Въ глуши лѣсовъ счастливъ одинъ
Другой страдаетъ на престолѣ;
На высотѣ земныхъ судьбинъ,
И въ незамѣтной, низкой долѣ,
Всѣхъ благъ возможныхъ тотъ достигъ,
Кто духъ судьбы своей постигъ.
Хвала вамъ боги! предо мной

Вы оправдался отнынѣ!
Готовъ я съ бодрою душой
На все угодное судьбинѣ,
И никогда сей лиры гласъ
Не оскорбитъ роптаньемъ васъ!
[«Въ глуши лѣсовъ...» 1825].

Какъ! не терпящая смѣшенья
Въ слѣпыхъ стихіяхъ вещества,
На хаосъ нравственный воззрѣнья
Не броситъ мудрость Бо́жества!
Какъ! между братьями своими
Мы видимъ правыхъ и благихъ,
И превзойденъ дѣтьми людскими,
Не правъ, не благъ Создатель ихъ?..
Нѣтъ! мы въ юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья:
Тамъ, за могильнымъ рубежемъ,
Сіяетъ день незаходимый,
И оправдается Незримый
Предъ нашимъ сердцемъ и умомъ...
Премудрость вышняго Творца
Не намъ изслѣдовать и мѣрить:
Въ смиреньи сердца надо вѣрить
И терпѣливо ждать конца. [«Отрывокъ» 1830].

Наслаждайтесь: все проходитъ!
То благой, то строгій къ намъ,
Своенравно рокъ приводитъ
Насъ къ утѣхамъ и къ бѣдамъ.
Чуждъ онъ долгаго пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.
Не ропщите: все проходитъ,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводитъ
Насъ суровая бѣда.
И веселью, и печали,
На измѣнчивой землѣ,
Боги праведные дали
Одинакія крылѣ.
[«Наслаждайтесь: все проходитъ...» 1835].

Можно подумать, что мы слышимъ звуки пѣсенъ Жуковскаго: такъ мягки и примиренно грустны эти утѣшенія, и

такъ чиста ихъ „музыкальная и мечтательно-просторная атмосфера“ — какъ опредѣлилъ П. В. Кирѣевскій сущность поэзіи своего друга.

И все-таки, несмотря на этотъ спокойный и мягкій тонъ прежнія тревоги и сомнѣнія не утихли. Примиреніе, высказанное въ только-что приведенныхъ стихахъ, было вовсе не окончательнымъ выводомъ трезваго, невозмутимаго взгляда на мірскую юдоль, а скорѣе результатомъ глубоко грустнаго отказа отъ попытокъ оправдать земную жизнь передъ сердцемъ, требовавшимъ счастія. Міросозерцаніе поэта въ основѣ своей оставалось грустнымъ, порой до отчаянія.

Набѣгала иногда волна такой печали, которая уносила съ собой даже вѣру въ свое призваніе и въ силу своего таланта; и Баратынскій писалъ:

Когда исчезнетъ омраченье
Души болѣзненной моей?
Когда увижу разрѣшенье
Меня опутавшихъ сѣтей?
Когда сей демонъ, наводящій
На умъ мой сонъ его мертвящій,
Отъидетъ, чадный, отъ меня,
И я увижу лучъ блестящій
Всеозаряющаго дня?
Освобожусь воображеньемъ
И крылья духа подыму
И пробужденнымъ вдохновеньемъ
Природу снова обниму?
Вотще-ль мольбы? напрасны-ль пени?
Увижу-ль снова ваши сѣни
Сады поэзіи святой?
Увижу-ль васъ, ея свѣтила?
Вотще! я чувствую, могила
Меня живого приняла
И, легкій даръ мой удушая,
На грудь мнѣ дума роковая
Гробовой насыпью легла

[«Когда исчезнетъ омраченье...» 1835].

И что можетъ дать „примиренье“ и „смиренье“, когда сознаешь, что передъ силой страсти нужно также смириться

какъ предъ неизбѣжностью, потому что всякая страсть есть могучая волна, которая не желаетъ примириться съ узкими берегами, въ какіе она втиснута судьбою?

Къ чему невольнику мечтанія свободы?
Взгляни: безропотно текутъ рѣчныя воды
Въ указанныхъ брегахъ по склону ихъ русла;
Ель величавая стоитъ, гдѣ возросла,
Не властная сойти. Небесныя свѣтила,
Назначеннымъ путемъ, невѣдомая сила
Влечетъ. Бродячій вѣтръ неволенъ, и законъ
Его летучему дыханью положёнъ.
Удѣлу своему и мы покорны будемъ:
Мятежныя мечты смиримъ иль позабудемъ;
Рабы разумные, послушно согласимъ
Свои желанія со жребіемъ своимъ,
И будетъ счастлива, спокойна наша доля.
Безумецъ! не она ль, не вышняя ли воля
Даруетъ страсти намъ?...
О, тягостна для насъ...
Жизнь, въ сердцѣ бьющая могучею волною
И въ грани узкія втѣсненная судьбою.
[«Къ чему невольнику...» 1835].

Въ странное состояніе впадаетъ иногда человѣкъ:

Есть бытіе, но именемъ какимъ
Его назвать? Ни сонъ оно, ни бдѣнье
Межъ нихъ оно, и въ человѣкѣ имъ
Съ безуміемъ граничитъ разумѣнье.
Онъ въ полнотѣ понятья своего,
А между тѣмъ какъ волны на него
Одни другихъ мятежнѣй, своенравнѣй
Видѣнія бѣгутъ со всѣхъ сторонъ:
Какъ будто-бы своей отчизнѣ давней,
Стихійному смятенью отданъ онъ;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Онъ видитъ свѣтъ другимъ не откровенный.
[«Послѣдняя смерть» 1828].

Въ одну изъ такихъ минутъ поэту было откровеніе и передъ нимъ обнаружилась таїна грядущаго. Онъ видѣлъ счастіе и блаженство на землѣ и понялъ, что оно—источникъ смерти.

Нашъ міръ, гордящійся своей цивилизаціей, своими успѣхами знанія во всѣхъ областяхъ, ожидаетъ страшное будущее — пророчилъ поэтъ. Не то бѣда, что всякая жизнь въ концѣ концовъ находитъ свое разрѣшеніе въ смерти,—ужасно то, что чѣмъ совершеннѣе становится человѣкъ, чѣмъ меньше преградъ ему ставитъ жизнь, чѣмъ онъ безопаснѣе и счастливѣе, тѣмъ ближе онъ къ истощенію. Двигатель всей жизни есть страданіе и трудъ. Живя въ вѣкѣ наибольшаго просвѣщенія, блаженствуя въ полнѣйшемъ покоѣ и счастіи, люди утратятъ всякую энергію и, привыкшіе къ обилію благъ, станутъ спокойно взирать на все, что прежде ихъ волновало. Уснутъ всѣ ихъ желанія, и все ихъ бытіе превратится въ какіе-то миражи, въ какую-то фантазію; всѣ заботы о земномъ будутъ позабыты и заглохнутъ. Пройдутъ года, и надъ этимъ одряхлѣвшимъ человѣчествомъ, изжившимъ свой мракъ, воцарится глубокая тишина. Люди умрутъ, и только одна державная природа, облеченная въ порфиру древнихъ лѣтъ, останется безмолвнымъ свидѣтелемъ общаго крушенія.

Страшно не самое исчезновеніе, — страшно то, что работа надъ усовершенствованіемъ и просвѣщеніемъ міра приближаетъ его къ духовной смерти. Страданіе провозглашается необходимымъ условіемъ жизни — солью, закваской нашего существованія:

И тишина глубокая вослѣдъ
Торжественно повсюду воцарилась
И въ дикую порфиру древнихъ лѣтъ
Державная природа облачилась.
Величественъ и грустенъ былъ позоръ
Пустынныхъ водъ, лѣсовъ, долинъ и горъ.
Попрежнему животворя природу,
На небосклонъ свѣтило дня взошло;
Но на землѣ ничто его восходу
Произнести привѣта не могло:
Одинъ туманъ надъ ней, синѣя, вился
И жертвою чистительной дымился.

[«Послѣдняя смерть» 1828].

Но что такое смерть? развѣ она не великая наша утѣши-

тельница? Зачѣмъ рисовать ее страшной, когда она лучезарна?

О дочь верховнаго эфира!
О свѣтозарная краса!
Въ рукѣ твоей олива мира
А не губящая коса.
Когда возникнулъ міръ цвѣтущій
Изъ разновѣсья дикихъ силъ,
Въ твое храненье Всемогущій
Его устройство поручилъ.
И ты летаешь надъ твореньемъ,
Согласье прямъ его лія
И въ немъ прохладнымъ дуновеньемъ,
Смиряя буйство бытія.
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою-же рукою
Ты властелина и раба.
Недоумѣнье, принужденье —
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей.

[«Смерть» 1829].

Какъ глубока печаль этихъ стихотвореній, которыми разобщены, разъединены всѣ примиренныя и спокойныя пѣсни поэта! Искра скорби неизмѣнно тлѣетъ въ его душѣ. Ни философская мысль, ни узорная мечта не въ силахъ затушить ее, и случается иногда, что эта тревожная печаль не находитъ себѣ подходящей художественной формы. Тогда она выливается въ форму условную.

Такъ случилось съ поэтомъ когда онъ сочинялъ свою поэму „Наложница“ или „Цыганка“ [1835]—поэму въ старыхъ байроническихъ тонахъ, совсѣмъ не свойственныхъ его таланту. Но Баратынскій нѣжно любилъ эту повѣсть, повторяя ошибку многихъ художниковъ, которые съ особенной нѣжностью относятся къ своимъ менѣе совершеннымъ произведеніямъ.

XI.

Байронизмъ, въ духѣ котораго написана „Цыганка" — чрезвычайно характерный эпизодъ въ исторіи нашей словесности того времени. Свести его на простое литературное подражаніе иностранному образцу было бы ошибкой; русскій байронизмъ, при всѣхъ его смѣшныхъ сторонахъ, на которыя неоднократно указывали, — явленіе очень серьезное. Это ни болѣе, ни менѣе, какъ литературная оболочка, въ которую временно облеклось все болѣе и болѣе пробуждавшееся въ насъ сознаніе нашей личности. Тѣ русскіе писатели, которые впервые преклонились передъ англійскимъ лордомъ, были первыми писателями, заявившими у насъ громко о своихъ правахъ не только литературныхъ, но и общественныхъ. Современники либеральной эпохи Александра I-го, наши байронисты въ юности своей были угадчиками его общественныхъ замысловъ и свидѣтелями его славы; они знали про его широкіе планы и вмѣстѣ съ нимъ мечтали о либеральномъ и просвѣщенномъ будущемъ своей родины. Среди этихъ мечтаній о будущемъ, ихъ застали реакціонные годы того же царствованія; имъ пришлось пережить, въ слабой, конечно, степени, то, что переживали идеалисты на Западѣ послѣ крушенія своихъ гуманныхъ идеаловъ — подъ гнетомъ Наполеона или въ безотрадную эпоху реставраціи. Русскіе идеалисты, положимъ, не имѣли такого грознаго и кроваваго прошлаго, и требованія ихъ были умѣреннѣе, но годы реакціи, какъ извѣстно, были встрѣчены ими далеко не со смиреніемъ—слѣдствіемъ чего и была гибель нѣкоторыхъ изъ нихъ и нѣмой испугъ другихъ.

Когда этимъ „либералистамъ", какъ ихъ звали, случалось говорить о своихъ чувствахъ въ поэтическихъ образахъ, образы эти, при всей ихъ неопредѣленности, отразили правду своего времени. Излюбленными героями ихъ пѣсенъ стала выдающаяся сильная личность — въ большинствѣ случаевъ

одинокая, непонятая другими, съ затаенной думой, загадочная въ своемъ поведеніи; пока еще болѣе энергичная и озлобленная, чѣмъ пассивно-разочарованная, носящаяся со своими великими планами, очень часто ищущая свободы и идущая къ ней иногда путемъ насилія. Для этой личности, отдѣльныя черты которой попадаются такъ часто въ думахъ и поэмахъ Рылѣева, въ романахъ Марлинскаго, и у Пушкина въ періодъ его жизни на югѣ, поэмы лорда Байрона давали готовые костюмы, обстановку и даже готовыя рѣчи.

Условія Николаевской эпохи далеко не благопріятствовали развитію байроническаго образа мыслей; новый режимъ былъ принципіально ему враждебенъ и развѣ только одному разочарованію предоставлялъ полный просторъ. Оно и было въ большомъ ходу и въ большомъ почетѣ, и вся серьезная энергичная сторона байроновскаго настроенія скоро въ немъ растворилась.

Литературное поле, вплоть до появленія Лермонтова, который замыкаетъ собою исторію этого настроенія въ Россіи, осталось за второстепенными и измельчавшими поклонниками англійскаго поэта.

Умъ и характеръ Баратынскаго имѣли мало точекъ соприкосновенія съ Байрономъ. Одинъ былъ крайне энергичная натура, другой—пассивная; одинъ—протестующій сатирикъ, другой—пессимистъ-философъ, но ихъ сроднилъ скорбный итогъ всего ихъ міровоззрѣнія. Баратынскій никогда не увлекался Байрономъ, хотя и прославлялъ возставшую Грецію вѣроятно съ его голоса; онъ отнесся къ нему очень хладнокровно и сердился на сильныхъ людей, которые ему поклонялись [какъ онъ сердился, напр., на Мицкевича]. Баратынскій прошелъ мимо байронизма со свойственной ему самостоятельностью; только въ періодъ, на которомъ мы остановились, онъ въ поэмѣ „Наложница“ подошелъ къ нему на довольно близкое разстояніе.

Поэма любопытна, какъ показатель неспокойнаго настроенія духа въ писателѣ, и какъ литературный памятникъ, въ

которомъ ходячій типъ измельчавшаго байрониста нашелъ себѣ выраженіе.

Еще раньше, въ 1824 году, Баратынскій написалъ поэму „Балъ", въ которой попытался вывести однородный типъ. Онъ ему тогда не удался.

Сравнимъ обѣ поэмы. Содержаніе ихъ не замысловато — это двѣ печальныхъ любовныхъ исторіи, въ которыхъ женщина становится жертвой эгоизма демоническихъ мужскихъ натуръ. Психологія этихъ мелкихъ бѣсовъ не прибавляетъ никакихъ новыхъ чертъ къ традиціонному типу русскаго байрониста, въ которомъ всѣ серьезныя и глубокія мысли стерлись.

Герой „Бала" Арсеній — виновникъ страданій и смерти великосвѣтской львицы Нины — съ виду совсѣмъ похожъ на Лару или на Корсара:

Слѣды мучительныхъ страстей,
Слѣды печальныхъ размышленій
Носилъ онъ на челѣ; въ очахъ
Безпечность мрачная дышала,
И не улыбка на устахъ,
Усмѣшка праздная блуждала.
Онъ незадолго посѣщалъ
Края чужіе; тамъ искалъ,
Какъ слышно было, развлеченья, и т. д.

Трагедія его сердца, однако, совсѣмъ не соотвѣтствуетъ его наружности: его грусть, разочарованіе и безсердечное отношеніе къ женщинѣ, которая увлеклась его позой, объясняются дѣтской несчастной любовью къ какой-то Оленькѣ, „жеманной дѣвчонкѣ съ сладкой глупостью въ глазахъ и съ сонной улыбкой". Эта Оленька влюбилась въ его друга, котораго онъ же ввелъ въ ихъ домъ. Съ этимъ другомъ они стрѣлялись: Арсеній былъ раненъ и, возставъ съ одра болѣзни, поѣхалъ въ чужіе края разгулять свою скуку. Теперь онъ вернулся и играетъ въ любовную игру съ несчастной свѣтской дамой. Въ концѣ концовъ онъ ее бросаетъ, встрѣтившись съ Оленькой и убѣдившись въ ея невиновности и

ея неизмѣнной любви къ нему. Нина, какъ и слѣдуетъ, умираетъ отъ яда.

Подражательная работа видна во всей поэмѣ. Истинное вдохновеніе выразилось развѣ только въ художественной отдѣлкѣ нѣкоторыхъ деталей; характеры, какъ совсѣмъ не соотвѣтствующіе психическому міру самого автора, вышли блѣдны, а содержаніе въ достаточной степени тривіально.

Почти то же можно сказать и о поэмѣ „Наложница", которую Баратынскій имѣлъ терпѣніе передѣлать одиннадцать лѣтъ спустя послѣ ея появленія въ свѣтъ [1831—1842]. Опять хороши детали, описанія и элегическія мѣста поэмы; сама же драма—таже скучная любовная исторія разочарованнаго человѣка. На этотъ разъ герой—Елецкой—не ищетъ уединенья, а предается разгулу:

Ему въ гостиныхъ стало душно:
То было глупо, это скучно.
Изъ нихъ Елецкой мой исчезъ,
И на желанномъ имъ просторѣ
Житьемъ онъ новымъ зажилъ вскорѣ
Между буяновъ и повѣсъ
. . . . . .
Съ Москвой и Русью онъ разстался,
Края чужіе посѣтилъ:
Тамъ промотался, проигрался,
И въ путь обратный поспѣшилъ.
Своимъ Пенатамъ возвращенный,
Всему рѣшительнымъ вѣнцомъ,
Цыганку взялъ къ себѣ онъ въ домъ,
И, общимъ мнѣньемъ пораженный,
Самъ рушилъ онъ, надъ нимъ смѣясь,
Со свѣтомъ остальную связь.

Эта цыганка, въ дикой и искренней любви которой Елецкій находилъ утѣшеніе отъ томящей его пустоты и бездѣлья, наконецъ ему надоѣла. Онъ встрѣтилъ подъ Новинскимъ какую-то барышню съ чистыми очами, дѣтскими устами и спокойной красотой. Она напомнила ему видѣніе его весны, и за нимъ, за этимъ невиннымъ созданіемъ, сталъ нашъ гуляка бѣгать какъ тѣнь. Онъ преслѣдовалъ ее всюду, появ-

лялся передъ ней неожидано какъ привидѣніе, нашептывалъ ей, какъ Лермонтовскій демонъ, слова любви и намекалъ на свою тайну. Наконецъ, когда онъ признался ей въ своихъ грѣхахъ и далъ понять, что она одна можетъ спасти его— Вѣра была побѣждена. Все шло отлично, былъ даже назначенъ часъ, когда онъ долженъ былъ увезти свою невѣсту и тайкомъ съ ней обвѣнчаться, но въ эту самую ночь онъ умеръ, нечаянно отравленный цыганкой, которая напоила его какимъ-то зельемъ, надѣясь вернуть его любовь.

Вотъ какими странными лицами было занято воображеніе Баратынскаго въ годы его московской жизни, когда онъ, въ любви столь счастливый, былъ такъ далекъ отъ всякихъ любовныхъ измѣнъ, демоническихъ рѣчей, ядовъ и любовныхъ напитковъ.

XII.

Годы текли, и къ общей суммѣ безотрадныхъ мыслей и чувствъ присоединились скоро еще два новыхъ ощущенія, также очень грустныхъ.

Поэтъ старился, его жизнь окончательно сложилась, мирная и тихая жизнь, но очень замкнутая; Баратынскій могъ мысленно обозрѣть длинный рядъ грядущихъ лѣтъ, отъ которыхъ нельзя было ему ждать ни разнообразія, ни приращенія счастія. Помимо этого ощущенія улетающей жизни и не дающей въ своемъ полетѣ желаннаго удовлетворенія, еще одно новое ощущеніе давало себя сильно чувствовать. Это было сознаніе своего одиночества, которое испытываетъ каждый человѣкъ, постепенно затериваясь съ своимъ міросозерцаніемъ въ толпѣ подростающей молодежи. Кружокъ друзей рѣдѣлъ [смерть давно унесла Дельвига и успѣла унести Пушкина], съ новыми друзьями, при всемъ единодушіи и единой вѣрѣ, жилось все-таки не такъ тепло и сердечно, а кругомъ уже пробивалась и распускалась новая жизнь, выросли и уже заговорили новые люди, призванные произнести свой судъ надъ поэтомъ и надъ всей его отжи-

вающей эпохой. Становилось грустно и обидно, когда новые люди начинали колебать треножникъ, съ которымъ у Баратынскаго и у людей его времени было связано столько свѣтлыхъ воспоминаній и въ вѣчную незыблемость котораго они слѣпо вѣрили. А разные треножники начали колебаться прежде всего въ Москвѣ, гдѣ нашъ поэтъ нашелъ себѣ тихую пристань. Присматриваясь къ молодому поколѣнію и прислушиваясь къ тому, что оно начинало говорить объ искусствѣ, чего оно отъ него требовало, и видя, какъ усложнялась жизнь въ матеріальномъ, прозаическомъ смыслѣ, какъ наростали кругомъ вопросы общественные, Баратынскій мрачнѣлъ и сталъ сердиться.

Пѣсни, въ которыхъ эти вспышки гнѣва прорываются сквозь печальныя жалобы объ одиночествѣ, вышли въ свѣтъ въ 1842 году подъ заглавіемъ: „Сумерки“.

Цѣлыхъ семь лѣтъ жизни [1835—42] нашли себѣ отраженіе въ этомъ маленькомъ сборникѣ — гдѣ, какъ говорилъ поэтъ:

Отразилась жизнь моя
Исполнена тоски глубокой,
Противорѣчій, слѣпоты,
И между тѣмъ любви высокой,
Любви добра и красоты... [«кн. П. А. Вяземскому»].

Въ „Сумеркахъ“ очень мало страницъ, но въ нихъ очень много мыслей. Всего 26 стихотвореній, написанныхъ въ продолженіе семи лѣтъ! Прежде стихъ былъ свободнѣе; теперь онъ болѣе сжатъ, въ него вложено больше мысли, но зато теченіе его не такъ плавно. Чувствуется усталость, отсутствіе прежняго размаха, прежней увѣренности. Это— лебединая пѣснь Пушкинскаго поколѣнія, пропѣтая Баратынскимъ одиноко, безъ поддержки товарищей.

„Сумерки“, какъ извѣстно, были встрѣчены недружелюбно молодымъ поколѣніемъ. Бѣлинскій, который говорилъ отъ его лица, усмотрѣлъ въ книжкѣ отсталость автора отъ стремленій и идей современнаго ему общества, боязнь и

робость передъ вновь открывшимися вопросами жизни и хулу на прогрессъ, на науку, на знаніе, которое лежитъ въ основаніи всякаго движенія впередъ. Если вспомнить, какой крутой переворотъ произошелъ во взглядахъ Бѣлинскаго въ это время [1841—42], то легко понять, почему грустная, иногда гнѣвная пѣснь послѣдняго пѣвца Пушкинской эпохи не нашла оправданія въ глазахъ передового критика сороковыхъ годовъ.

Что же было сказано въ этихъ „Сумеркахъ"?

Прежде всего, привѣтствіе князю П. А. Вяземскому. Ему, старому пѣвцу и сотоварищу, съ полнымъ правомъ посвящался этотъ сборникъ послѣ смерти Дельвига и Пушкина. Ему, „звѣздѣ разрозненной плеяды", посылался изъ „глуши" привѣтъ отъ другой звѣзды, столь же одинокой. Ему, „понимающему обаяніе мечты и всѣ дуновенія, подъ которыми когда-то плавалъ ихъ корабль въ морѣ бытія", поэтъ напоминалъ о себѣ, давно позабывшемъ „шумный свѣтъ, вѣтренные сны сердца и праздныя стремленія мысли".

Безотраденъ былъ судъ, который изрекалъ поэтъ теперь надъ жизнью.

Всѣ впечатлѣнія бытія становились для него крайне тягостны. Онъ говорилъ „мудрецу", т.-е. въ данномъ случаѣ самому себѣ:

Тщетно межъ бурною жизнью и хладною смертью философъ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой
Намъ, изволеньемъ Зевеса, брошеннымъ въ міръ коловратный
Жизнь для волненья дана; жизнь и волненье одно [«Мудрецу»].

А къ чему это волненье? Что обѣщаетъ оно?

На что вы, дни! Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнитъ!
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулитъ.
Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!

И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно
Безсмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ,
Безъ нужды ночь смѣня;
Какъ въ мракъ ночной безплодный вечеръ канетъ,
Вѣнецъ пустого дня!

Но эта скука и безцѣльность бытія скрашивалась—какъ прежде думалъ поэтъ — искусствомъ, минутой творчества, которое, парализуя въ насъ всѣ чувства и мысли, кромѣ эстетическаго созерцанія, даетъ намъ возможность быть счастливымъ украдкой, на нѣсколько мгновеній. Поэтъ и теперь держится этого же мнѣнія; ему его мечты стали еще дороже, чѣмъ были прежде.

Эти порывы восторга пріобрѣли для него особенно священный характеръ теперь, когда онъ остался одинокимъ среди новаго поколѣнія. Онъ сталъ таить ихъ отъ взоровъ ближнихъ. Бывало прежде, молодой и беззаботный мечтатель, онъ требовалъ отъ черни благоговѣнія передъ охватившимъ его поэтическимъ настроеніемъ, — теперь онъ ничего не требуетъ и одинъ сидитъ за пиршественнымъ столомъ со своимъ бокаломъ. Попрежнему этотъ бокалъ своей дивной силой будитъ „небесныя мечты и откровенья преисподней“, но это не прежняя чаша веселья, которую онъ въ юности съ гордостью выставлялъ напоказъ,—теперь это грустная чаша уединенья. Вдали отъ людского шума, въ нѣмой пустынѣ — говоритъ онъ—сходитъ свѣтъ на пророка и—

Не въ безплодномъ развлеченьи
Общежительныхъ страстей,
Въ одинокомъ упоеньи
Мгла падетъ съ его очей! [«Бокалъ»].

Прежде, въ старину, въ античномъ мірѣ, художникъ былъ увѣренъ въ сочувствіи народа. Толпа была окована вниманьемъ и вдохновляла пѣвца. Художникъ зналъ, кто онъ

и могъ вѣдать какой могучій Богъ правитъ его торжественнымъ глаголомъ. А нынѣ?!

Межъ насъ не вѣдаетъ поэтъ,
Высокъ полетъ его иль нѣтъ,
Велика-ль творческая дума?
Самъ судія и подсудимый:
Скажи твой безпокойный жаръ—
Смѣшной недугъ иль высшій даръ?
Рѣши вопросъ неразрѣшимый! [«Рифма»].

Среди безжизненнаго сна и гробового холода свѣта развѣ одна только рифма способна лаской своей обрадовать поэта. Поэтъ разобщенъ съ остальными людьми; они живутъ даже не въ единомъ времени:

Толпѣ тревожный день привѣтенъ, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится въ ней она
Раскованной мечты видѣній своевольныхъ.
Не легкокрылыхъ грезъ, дѣтей волшебной тьмы,
Видѣній дня боимся мы,
Людскихъ суетъ, заботъ юдольныхъ.
[«Толпѣ тревожный день»].

Лишь въ заоблачномъ мірѣ поэтъ—веселый семьянинъ и привычный гость на пирѣ „неосязаемыхъ“ властей. Земнымъ заботамъ лишь мечта даетъ исполинскій видъ. Отъ прикосновенія нетрепетной руки онѣ исчезаютъ какъ облако и за ними открываются „врата обители духовъ“.

Грустно читать эти съ виду бодрыя утѣшенія. Въ нихъ такъ слышна искренняя жалоба на одиночество. Что̀ всего хуже, это—то, что это одиночество не внѣшнее, но одиночество духа. Поэтъ пришелъ къ выводу, что въ новой жизни, которая кипитъ вокругъ него, нѣтъ мѣста его богу, что истинный жрецъ этого бога обреченъ на молчаніе.

Баратынскій со свойственной ему склонностью на все смотрѣть очень мрачно—преувеличилъ опасность, хотя вѣрно угадалъ ее. Отъ его поэтическаго чутья и его глубокой мысли не ускользнула перемѣна, совершавшаяся въ жизни художника: періодъ спокойнаго, въ извѣстномъ смыслѣ наив-

наго творчества на его глазахъ сходилъ въ могилу. Открывались новыя области жизни и духа, и онѣ не легко поддавались художественному обобщенію. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ было даже очень много оскорбительнаго для тонкаго слуха и зрѣнія поэта; вѣкъ становился матеріальнѣе, или, вѣрнѣе, матеріальная подкладка, которая всегда каждому вѣку присуща, стала яснѣе выступать наружу. Казалось съ виду, что „духовное“ и „небесное“ въ жизни испарялось, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно только распространялось на бо̀льшее количество житейскихъ явленій, за которыми раньше поэтъ не признавалъ никакой духовной или поэтической цѣнности. Какъ легко могло показаться одинокому поэту, что отъ него отвернулись и его перестали слушать, тогда какъ ему предъявляли только законное требованіе, чтобы онъ въ своемъ поэтическомъ міросозерцаніи отвелъ мѣсто новымъ фактамъ жизни и доказалъ самъ „что ничто на землѣ не осталось у него безъ отвѣта“.

Отвѣтъ на запросы новаго времени далъ и Баратынскій, но это былъ отвѣтъ жесткій, желчный, обидчивый отвѣтъ, который извиняется только глубокимъ страданіемъ поэта.

Прислушиваясь къ тому, о чемъ говорили въ его время, слѣдя за тѣмъ, какъ интересы новаго дня начинали волновать людскіе умы и сердца, Баратынскій произнесъ огульное осужденіе всѣмъ тенденціямъ новой эпохи. Въ стихотвореніи: „Послѣдній поэтъ“—онъ такъ говорилъ о своемъ времени:

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ;
Въ сердцахъ корысть, и общая мечта
Часъ отъ часу насущнымъ и полезнымъ
Отчетливѣй, безстыднѣй занята.
Исчезнули при свѣтѣ просвѣщенья
Поэзіи ребяческіе сны,
И не о ней хлопочутъ поколѣнья,
Промышленнымъ заботамъ преданы.

И въ этотъ практическій вѣкъ, мечтаетъ нашъ поэтъ, въ Греціи, въ нѣкогда первобытномъ раѣ поэзіи, родился послѣдній пѣвецъ. Онъ долженъ произнести судъ надъ на-

шимъ вѣкомъ и указать, кто виноватъ въ томъ, что поэзія исчезаетъ, что насущное и полезное такъ заняло всѣ умы! Этотъ послѣдній пѣвецъ—

Воспѣваетъ простодушной
Онъ любовь и красоту,
И науки, имъ осушной,
Пустоту и суету.

И говоритъ онъ людямъ:

Мимолетныя страданья
Легкомысліемъ цѣля,
Лучше, смертный, въ дни незнанья
Радость чувствуетъ земля!

Виноватой оказывается наука: она разрушила наши „улыбчивые“ сны, она привела насъ отъ поэтическаго свѣта къ мраку. Къ чему она, эта наука?

Вѣрьте сладкимъ убѣжденьямъ
Васъ ласкающихъ очесъ
И отраднымъ откровеньямъ
Сострадательныхъ небесъ!—

Такъ говорилъ послѣдній поэтъ, но на это воззваніе люди отвѣтили суровымъ смѣхомъ.

Пѣснь его умолкла, и онъ остался одинъ среди толпы ему совершенно чуждой. Одно спасеніе—бѣжать въ нѣмую глушь въ безлюдный край—

Но свѣтъ
Ужъ празднаго вертепа не являетъ,
И на землѣ уединенья нѣтъ!

Такъ глубоко и повсемѣстно охваченъ новый міръ новыми прозаическими тенденціями!

Одна лишь природа остается неизмѣнной въ своемъ блескѣ:

Человѣку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И привѣтливо оно;

И лица не измѣнило
Съ дня, въ который Аполлонъ
Поднялъ вѣчное свѣтило
Въ первый разъ на небосклонъ...
И попрежнему блистаетъ
Хладной роскошію свѣтъ;
Серебритъ и позлащаетъ
Свой безжизненный скелетъ.
Но въ смущеніе приводитъ
Человѣка гласъ морской,
И отъ шумныхъ водъ отходитъ
Онъ съ тоскующей душой!

Трудно было понять одностороннѣе требованія и тенденціи наступавшей эпохи, и трудно было менѣе удачно указать на врага, который грозилъ поэзіи. Признать науку и знаніе за могилу восторга и вдохновенія — значило, вдохновеніе сдѣлать синонимомъ наивнаго невѣденія. У Баратынскаго въ пылу гнѣва и печали сорвался съ языка этотъ парадоксъ á la Руссо, и, какъ можно судить по нѣкоторымъ другимъ стихотвореніямъ, онъ довольно упорно занималъ его мысли. Въ стихотвореніи „Примѣты“, повторена ясно та же мысль:

Пока человѣкъ естества не пыталъ
Горниломъ, вѣсами и мѣрой;
Но дѣтски вѣщаньямъ природы внималъ,
Ловилъ ея знаменья съ вѣрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала:
О немъ дружелюбной заботы полна,
Языкъ для него обрѣтала.
Но, чувство презрѣвъ, онъ довѣрилъ уму,
Вдался въ суету изысканій,
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ прорицаній.

Суета изысканій, это — та же суета науки, о которой говорилось выше: она стираетъ поэтическія краски съ жизни.

И въ самомъ дѣлѣ, сколько дорогихъ иллюзій стала какъ будто постепенно уносить и уничтожать наука! Она подкапывалась подъ всѣ поэтическіе миражи. Въ поэзію прошлаго

она внесла свой историческій методъ; благодушное довольство настоящимъ она потрясла вѣрною картиной его несовершенствъ и неурядицъ нравственныхъ и матеріальныхъ; вѣру въ человѣка, какъ въ существо разумное и богоподобное, она ограничила, указавъ на его ничтожество; поэзію космоса и таинственныхъ силъ природы она стала оскорблять химическими и физическими законами.—И нашему поэту пришлось быть безпомощнымъ зрителемъ всѣхъ этихъ дерзкихъ попытокъ ума! Было за что разсердиться на физику, химію и политическую экономію, въ особенности когда чувствовалось, что передъ ними ты безоруженъ!

Можно было, конечно, не сердясь включить всю эту новизну жизни въ свое поэтическое міросозерцаніе и, вооружась наукой, взглянуть на міръ и человѣка съ болѣе широкой точки зрѣнія, но для этого нуженъ былъ талантъ болѣе крупный и менѣе субъективный. Поэтическому чутью Баратынскаго и силѣ его художественнаго творчества было доступно лишь то, что не нарушало его нѣжной вѣры въ преобладаніе на землѣ высокаго надъ низкимъ, добраго надъ злымъ, духовнаго надъ тѣлеснымъ.

А именно эта его вѣра и подверглась строгому испытанію въ тѣ годы, когда онъ заговорилъ о „сумеркахъ“ своего поколѣнія.

Въ числѣ „сумерочныхъ“ стихотвореній Баратынскаго есть одно, нѣсколько туманное, въ которомъ поэтъ кажется намекалъ на свою пѣсню, повисшую теперь между небомъ и землей. Стихотвореніе носитъ очень характерное заглавіе „Недоносокъ“.

Я изъ племени духовъ,
Не не житель эмпирея,
И едва до облаковъ
Возлетѣвъ, паду слабѣя.
Какъ мнѣ быть? я малъ и плохъ;
Знаю: рай за ихъ волнами
И ношусь, крылатый вздохъ,
Межъ землей и небесами.

Когда блещетъ солнце я веселыми крыльями ластюсь, какъ облако, къ его животворнымъ лучамъ; пью счастливо воздухъ тонкій —

Мнѣ свободно, мнѣ легко,
И пою я птицей звонкой;
Но ненастье зареветъ,
И до облакъ сводъ небесный,
Омрачившись вознесетъ
Прахъ земной и листъ древесный
Бѣдный духъ! ничтожный духъ!
Дуновенье роковое
Вьетъ, крутитъ меня какъ пухъ,
Мчитъ подъ небо громовое.
Обращусь-ли къ небесамъ,
Оглянуся ли на землю:
Грозно, черно тутъ и тамъ;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно порой слышитъ этотъ духъ кличъ враждующихъ народовъ, вой безпечныхъ поселянъ, громъ войны и крикъ страстей, плачъ недужнаго младенца; слезы тогда льются изъ его очей и ему жаль людей:

Изнывающій тоской
Я мечусь въ поляхъ небесныхъ,
Надо мной и подо мной
Безпредѣльныхъ — скорби тѣсныхъ!
Въ тучу кроюсь я, и въ ней
Мчуся, чуждъ земного края,
Страшный гласъ людскихъ скорбей
Гласомъ бури заглушая
Міръ я вижу какъ во мглѣ;
Арфъ небесныхъ отголосокъ
Слабо слышу... на землѣ
Оживилъ я недоносокъ.
Отбылъ онъ безъ бытія:
Роковая скоротечность!
Въ тягость роскошь мнѣ твоя,
Въ тягость твой просторъ, о вѣчность!

Стихотвореніе съ очень глубокой мыслью о трагизмѣ человѣческой пѣсни, которая, оторвавшись отъ земли, не въ силахъ заглушить въ себѣ земныя печали, и приблизясь къ

небу не въ силахъ побороть въ себѣ ощущенія страха передъ зіяющей вѣчностью.

И при такомъ міросозерцаніи понимать и чувствовать приближеніе заката, и творческихъ своихъ силъ, и жизни своей, и всего своего поколѣнія!

Какъ грустно смотрѣлъ поэтъ на этотъ приближавшійся закатъ—видно изъ его прелестной элегіи „Осень". Зима идетъ, и всѣ образы минувшаго года засыпаются однообразной снѣжной пеленой. Такая зима ждетъ и поэта, но только за ней для него нѣтъ грядущей жатвы...

Твой день взошелъ, и для тебя ясна
Вся дерзость юныхъ легковѣрій;
Испытана тобою глубина
Людскихъ безумствъ и лицемѣрій.
Ты, нѣкогда всѣхъ увлеченій другъ,
Сочувствій пламенный искатель,
Блистательныхъ тумановъ царь, и вдругъ
Безплодныхъ дебрей созерцатель,
Одинъ съ тоской, которой смертный стонъ
Едва твоей гордыней задушонъ...
Зима идетъ, и тощая земля
Въ широкихъ лысинахъ безсилья,
И радостно блиставшія поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство съ нищетой,
Всѣ образы годины бывшей
Сравняются подъ снѣжной пеленой,
Однообразно ихъ покрывшей:
Передъ тобой таковъ отнынѣ свѣтъ,
Но въ немъ тебѣ грядущей жатвы нѣтъ. [«Осень»].

XIII.

Поэтъ подготовлялъ себя къ прощанью съ жизнью. „Опять весна"—писалъ онъ

Но нѣтъ уже весны въ душѣ моей,
Но нѣтъ уже въ душѣ моей надежды,
Ужъ дольный міръ уходитъ отъ очей,
Предъ вѣчнымъ днемъ я опускаю вѣжды
[«На посѣвъ лѣса» 1842—3].

Онъ жаловался, что и весна новыхъ поколѣній цвѣтетъ не для него:

Летѣлъ душой я къ новымъ племенамъ,
Любилъ, ласкалъ ихъ пустоцвѣтный колосъ;
Я дни извелъ, стучась къ людскимъ сердцамъ,
Всѣхъ чувствъ благихъ я подавалъ имъ голосъ.
Отвѣта нѣтъ! [«На посѣвъ лѣса» 1842—3].

Поэтъ фантазировалъ, конечно. Молодой колосъ былъ не „пустоцвѣтный", и поэтъ не изводилъ своихъ дней, стучась въ холодныя сердца. Онъ съ новымъ поколѣніемъ не соприкасался и жилъ совсѣмъ въ отдаленіи отъ той арены, на которой шумѣли новые люди. Онъ понималъ, что онъ и не можетъ пойти имъ на встрѣчу...

„Мы такъ далеко отъ сферы новой дѣятельности, писалъ онъ своему другу И. Кирѣевскому въ 1832 г., что весьма неполно ее разумѣемъ и еще менѣе чувствуемъ; на европейскихъ энтузіастовъ мы смотримъ почти такъ, какъ трезвые на пьяныхъ, и ежели порывы ихъ иногда понятны нашему уму, они почти не увлекаютъ сердца. Что для нихъ дѣйствительность, то для насъ отвлеченность. Поэзія индивидуальная одна для насъ естественна, эгоизмъ наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не увѣровали въ новые. Человѣку, ненаходящему ничего внѣ себя для обожанія, должно углубиться въ себя. Вотъ покамѣстъ наше назначеніе".

Годъ спустя онъ писалъ ему-же: „Ты принадлежишь новому поколѣнію, которое жаждетъ волненій, я—старому, которое молило Бога отъ нихъ избавить. Ты назовешь счастіемъ пламенную дѣятельность; меня она пугаетъ, и я охотнѣе вижу счастіе въ покоѣ. Каждый изъ насъ почерпнулъ сіи мнѣнія въ своемъ вѣкѣ. Но это—не только мнѣнія, это—чувства. Органы наши образовались соотвѣтственно понятіямъ, которыми питался нашъ умъ. Ежели бы теоретически каждый изъ насъ принялъ систему другого, мы все бы не перемѣнились существенно. Потребности нашихъ

душъ остались бы тѣ же. Подъ уединеніемъ я не разумѣю одиночества; я воображаю

Пріютъ отъ свѣтскихъ посѣщеній
Надежной дверью запертой,
Но съ благодарною душой
Открытый дружеству и дѣвамъ вдохновеній...

Таковой я себѣ устрою рано или поздно"...

Такой уголокъ онъ себѣ, дѣйствительно, и создалъ.

„Рожденный для истиннаго круга семьи и друзей—говорила про него его жена Настасья Львовна—необыкновенно чувствительный къ сочувствію людей ему близкихъ, онъ охотно и глубоко высказывался въ дружескихъ бесѣдахъ, и тѣмъ заглушалъ въ себѣ иногда потребность выражаться для публики. Изливъ свою задушевную мысль въ дружескомъ разговорѣ, живомъ, разнообразномъ, невыразимо-увлекательномъ, исполненномъ счастливыхъ словъ и многозначительныхъ мыслей, согрѣтомъ теплотою чувства, проникнутомъ изяществомъ вкуса, умною, всегда умѣстною шуткою, дальновидностью тонкихъ замѣчаній, поразительною оригинальностью мыслей и особенно поэзіей внутренней жизни, Евгеній Абрамовичъ часто довольствовался живымъ сочувствіемъ своего близкаго круга, менѣе заботясь о возможно-далекихъ читателяхъ".

Что Баратынскій при такомъ настроеніи избѣгалъ всякой журнальной полемики, это вполнѣ естественно. Только разъ, выпуская въ свѣтъ „Наложницу", онъ предпослалъ ей полемическое введеніе, въ которомъ старался оправдать себя передъ критиками, обвинявшими его въ пропагандѣ безнравственности. Послѣ этого онъ уже не дѣлалъ никакихъ попытокъ защищать свое творчество, изрѣдка только довѣряя стихамъ свои жалобы на желѣзный вѣкъ, который его оставилъ за флагомъ.

„Я думаю, писалъ онъ съ нѣкоторымъ ехидствомъ въ 1828 году Пушкину, что у насъ въ Россіи поэтъ только въ первыхъ незрѣлыхъ своихъ опытахъ можетъ надѣяться на боль-

шой успѣхъ: за него всѣ молодые люди, находящіе въ немъ почти свои чувства, почти свои мысли, облеченныя въ блистательныя краски. Поэтъ развивается, пишетъ съ большею обдуманностью, съ большимъ глубокомысліемъ: онъ скученъ офицерамъ, а бригадиры съ нимъ не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счетъ этихъ размышленій: они общія".

XIV.

Послѣдніе годы жизни поэта текли ровно, тихо и очень однообразно, частью въ Москвѣ, а съ 1839 по 1843 годъ въ деревнѣ.

Отъ этой жизни почти никакихъ слѣдовъ не осталось; она была посвящена семейнымъ заботамъ и радостямъ, а также чисто-хозяйственнымъ занятіямъ. Недовольный современнымъ направленіемъ жизни, поэтъ, насколько могъ, устранился отъ ея шума. „Я былъ бы очень доволенъ моей деревенской жизнью — писалъ онъ — еслибъ не частыя поѣздки въ Москву. Дома дни текутъ незамѣтно. Старшія дѣти начинаютъ уже заодно жить съ нами".

Впрочемъ, мысли о посѣвѣ, дождяхъ, стройкѣ, сводѣ рощи и посадкѣ деревьевъ не порвали всецѣло связи Баратынскаго съ міромъ. Онъ слѣдилъ съ большимъ вниманіемъ за однимъ, тогда еще очень неясно поставленнымъ вопросомъ нашей жизни — за освобожденіемъ крестьянъ. Онъ самъ, какъ говоритъ его близкій другъ Н. В. Путята, стоялъ на сторонѣ освобожденія съ надѣломъ землей, отданной крестьянамъ въ собственность. Этотъ вопросъ вызвалъ въ одномъ изъ его писемъ очень теплыя строки. „Благословенъ грядый во имя Господне, — писалъ Баратынскій по поводу манифеста объ обязанныхъ крестьянахъ [1842]. У меня солнце въ сердцѣ, когда думаю о будущемъ. Вижу, осязаю возможность великаго дѣла и скоро, и спокойно"... Поэтическое легковѣріе сказалась въ этихъ словахъ, но оно вполнѣ понятно

въ человѣкѣ, который провелъ такую рѣзкую грань между міромъ науки и міромъ надеждъ и чаяній.

Мирная уединенная жизнь поэта кончилась осенью 1843 года, когда Баратынскій уѣхалъ за границу.

Ему давно хотѣлось совершить это путешествіе и въ особенности повидать Италію. Съ Италіей онъ былъ связанъ еще дѣтскими воспоминаніями. Случай распорядился такъ, что первымъ его дядькой въ деревенской глуши былъ итальянецъ; носилъ онъ громкую фамилію Жьячинто Боргезе, а по профессіи былъ странствующій продавецъ картинъ. Въ трогательномъ посланіи, которое наканунѣ собственной смерти Баратынскій посвятилъ памяти этого перваго своего друга дѣтства, заброшеннаго въ Россію и мирно уснувшаго подъ русскимъ сугробомъ — поэтъ благодарилъ итальянца за то, что онъ далъ ему „благодать не русскаго надзора“, за то, что Везувій, Колизей, Капри, храмъ Петра съ дѣтскихъ лѣтъ обступили его воображеніе и вмѣстѣ съ историческими преданіями стараго и новаго времени тревожили его дѣтскій умъ. „Память живыхъ его рѣчей“ иногда воскресала въ Баратынскомъ и тогда ему грезилась далекая родина его друга:

Небо Италіи, небо Торквата,
Прахъ поэтическій древняго Рима,
Родина нѣги, славой богата,
Будешь-ли нѣкогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпѣньемъ объята,
Къ гордымъ остаткамъ падшаго Рима!
Снятся мнѣ долы, лѣса благовонны
Снятся упадшихъ чертоговъ колонны.

[«Небо Италіи...» 1831].

Такъ мечталъ Баратынскій въ 1831 году и двѣнадцать лѣтъ спустя онъ эту страну чудесъ увидѣлъ.

XV.

Чрезвычайно любопытны письма, которыя писалъ Баратынскій своимъ роднымъ и знакомымъ изъ-за границы. Онъ первый разъ въ жизни ступалъ за предѣлы своей родины.

Прежде всего оказалось, что желѣзный вѣкъ и наука вовсе не такъ непріятны. „Желѣзныя дороги — писалъ Баратынскій — чудная вещь, это — апоѳеоза разсѣянія. Когда онѣ обогнутъ всю землю, на свѣтѣ не будетъ меланхоліи“... По этимъ желѣзнымъ дорогамъ поэтъ быстро добрался до Парижа, гдѣ и остановился на нѣкоторое время [осень и зиму 1843—4 годовъ].

Въ оцѣнкѣ парижскихъ событій, крайне сложныхъ и запутанныхъ въ это время, Баратынскій обнаружилъ во многихъ случаяхъ большую проницательность. Попавъ на этотъ толкучій рынокъ всѣхъ европейскихъ интересовъ, онъ ко всему прислушивался и обо всемъ хотѣлъ сразу составить себѣ понятіе. Первое впечатлѣніе было довольно смутное. „По моему—писалъ онъ—всего замѣчательнѣе во Франціи самъ народъ—привѣтливый, умный, веселый и полный покорности закону, котораго онъ понимаетъ всю важность, всю общественную пользу. Нѣсколько ясныхъ мыслей общежитія сдѣлались достояніемъ каждаго и составляютъ такую массу здраваго смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народъ съ пути истиннаго его благосостоянія“,— но „между тѣмъ, партіи волнуются“. Объ этихъ партіяхъ понятія Баратынскаго были довольно правильны. Самъ онъ по рекомендательнымъ письмамъ попалъ сразу въ избранное аристократическое общество, въ Сенъ-Жерменское предмѣстье. „Тутъ—пишетъ онъ—собираются академики и католическіе прозелиты обоихъ половъ. Все это работаетъ вертограду Господню въ смыслѣ аббатовъ. По довольно уединеннымъ улицамъ славнаго предмѣстья бѣгаютъ съ озабоченнымъ видомъ латинскіе попы въ такомъ множествѣ, что еслибы по русскому обычаю отъ всѣхъ отплевываться, можно получить чахотку. Сиркуръ познакомилъ меня съ Виньи, съ двумя Тьери, Нодьé, Сентъ-Бёвомъ; Соболевскій— съ Меримé и M-me Ancelot; случай — съ прежнимъ издателемъ одного изъ крайнихъ республиканскихъ журналовъ, чрезъ котораго я надѣюсь добраться до Ж.-Зандъ“.

„Общества съ точки зрѣнія политической представляютъ самый печальный фактъ. Легитимисты, умные безъ надежды, безразсудные по неисправимой привычкѣ, преслѣдуютъ идею своей партіи и отслужили ей въ Лондонѣ трогательную панихиду. Республиканцы теряются въ теоріяхъ безъ единаго практическаго понятія. Партія сохранительная почти ненавидитъ ея настоящаго представителя, избраннаго ею короля. Всюду элементы раздоровъ. Движеніе поповъ, восресшихъ для надеждъ бѣдственныхъ, ибо подъ личиною мистицизма они преслѣдуютъ мысль возврата прежняго своего владычества: вотъ Франція! — а въ парижскихъ салонахъ конституція французской учтивости мирно собираетъ умныхъ, сильныхъ, страстныхъ представителей всѣхъ этихъ разнородныхъ стремленій".

Картина довольно вѣрная и далеко не отрадная, которая, конечно, сейчасъ же реагируетъ на русскій патріотизмъ нашего наблюдателя. „Поздравляю васъ — пишетъ онъ — съ новымъ годомъ... Поздравляю васъ съ будущимъ, ибо у насъ его больше, чѣмъ гдѣ-либо; поздравляю васъ съ нашими степями, ибо это просторъ, который никакъ незамѣнимъ здѣшней наукой; поздравляю васъ съ нашей зимой, ибо она бодрѣе и блистательнѣе, и краснорѣчіемъ мороза зоветъ насъ къ движенію лучше здѣшнихъ ораторовъ; поздравляю васъ съ тѣмъ, что мы въ самомъ дѣлѣ моложе двѣнадцатью днями другихъ народовъ и посему переживемъ ихъ, можетъ быть, двѣнадцатью столѣтіями"...

Московскія бесѣды слышатся во всѣхъ этихъ пожеланіяхъ; замѣтна также и растерянность передъ массой новыхъ впечатлѣній. „О Парижѣ мое мнѣніе всякій день мѣняется",—пишетъ Баратынскій въ одномъ письмѣ.

Различить въ этомъ водоворотѣ доброе отъ злого и переходящее заблужденіе отъ истины поэту, совсѣмъ неподготовленному, было трудно; хорошо еще, что онъ воздержался отъ огульнаго осужденія обреченнаго на „гніеніе" запада.

Читая эти путевыя замѣтки Баратынскаго и отмѣчая въ нихъ наблюдательность и самостоятельность мысли автора, невольно задумываешься надъ его стихами, въ которыхъ онъ высказалъ такой скорбный взглядъ на свое поэтическое призваніе среди новыхъ людей и взглядовъ. Будь притокъ европейской мысли болѣе силенъ въ Россіи, нашъ поэтъ едва ли бы рѣшился сказать, что мы просторъ нашихъ степей не замѣнимъ европейской наукой, и навѣрное иначе отнесся бы онъ къ тѣмъ людямъ, которые, идя вровень съ желѣзнымъ вѣкомъ, пытались обработать степи русской жизни, матерьяльной и духовной. Во всякомъ случаѣ, онъ не счелъ бы себя среди этихъ людей человѣкомъ лишнимъ.

Наконецъ, Баратынскій увидалъ и море, о которомъ такъ мечталъ въ юности. Онъ изъ Марсели поплылъ въ Неаполь. Въ стихотвореніи «Пироскафъ», которое онъ сочинилъ дорогой, онъ высказалъ еще разъ безумную надежду найти на землѣ Элизій. Когда подъ нимъ глубоко вздохнулъ пѣнящійся океанъ, когда онъ остался наединѣ съ морскими волнами, его охватило тихое, примиряющее настроеніе, и ему хотѣлось вѣрить, что богиня моря изъ лазоревой урны вынула ему, наконецъ, благой жребій.

Нужды нѣтъ: близко-ль, далеко-ль до брега:
Въ сердцѣ къ нему приготовлена нѣга.
Вижу Ѳетиду: мнѣ жребій благой
Емлетъ она изъ лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизій земной! [«Пироскафъ» 1844].

Съ этимъ лазоревымъ настроеніемъ Баратынскій причалилъ къ Неаполю.

Его ожидало тамъ краткое безмятежное мгновеніе полнѣйшаго душевнаго отдыха. Вотъ какъ онъ говоритъ объ этихъ послѣднихъ минутахъ своей жизни.

...„Каждый день два раза утромъ и поздно вечеромъ мы ходимъ на чудный заливъ, глядимъ и не наглядимся...

„Понимаю художниковъ, которымъ нужна Италія. Это освѣщеніе, которое безъ рѣзкости лампы выдаетъ всѣ оттѣнки, весь рисунокъ человѣческаго образа, во всей точности, легкости, мечтаемой артистомъ, находится только здѣсь, подъ этимъ дивнымъ небомъ. Здѣсь, только здѣсь можетъ образоваться рисовальщикъ и живописецъ; что здѣсь упоительно, это—то внутреннее существованіе, которое даруетъ небо и воздухъ. Если небо, подъ которымъ Филемонъ и Бавкида превратились въ деревья, не уступаетъ здѣшнему, Юпитеръ былъ щедро благъ, а они приснoблаженны".

„Мы живемъ въ Неаполѣ какъ въ деревнѣ; дни наши монотонны, но небо, но воздухъ, но море, но югъ вообще, не даютъ времени ни скучать, ни задуматься; каждый день наслаждаюсь однимъ и тѣмъ же и всегда съ новымъ упоеніемъ. Мнѣ эта жизнь отмѣнно по сердцу: гуляемъ, купаемся и ни о чемъ не думаемъ, по крайней мѣрѣ не останавливаемся долго на одной мысли".

Этотъ душевный миръ мыслителя и артиста былъ неожиданно прерванъ вѣчнымъ покоемъ. Поэтъ скоропостижно скончался 29 іюля 1844 года. Смерть была къ нему милостива,—она пришла тогда, когда онъ ее не ждалъ и не желалъ, т.-е. когда въ немъ не было ни страха передъ грядущимъ, ни злобы, ни презрѣнія къ настоящему.

XVI.

Баратынскій попытался однажды дать характеристику своей музы—и онъ скромно говорилъ:

Не ослѣпленъ я Музою моею:
Красавицей ее не назовутъ,
И юноши, узрѣвъ ее, за нею
Влюбленною толпой не побѣгутъ.
Приманивать изысканнымъ уборомъ,
Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ,
Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ;
Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица не общимъ выраженіемъ,

Ея рѣчей спокойной простотой;
И онъ, скорѣй чѣмъ ѣдкимъ осужденьемъ,
Ее почтитъ небрежной похвалой. [«Муза» 1830].

Дѣйствительно, на всей поэзіи Баратынскаго лежитъ печать „необщаго выраженія“, т.-е. оригинальности. Поэтъ сумѣлъ сохранить ее даже въ сосѣдствѣ съ Пушкинымъ: онъ глубже его понялъ печальную сторону жизни.

Есть особые люди на свѣтѣ: ихъ сердце—священный сосудъ философской скорби; со всѣхъ цвѣтовъ жизни они собираютъ не сладкій медъ, но горечь, и умѣютъ найти ее тамъ, гдѣ для другихъ она неощутима. Настоящаго веселья они не знаютъ. Ихъ веселье — какъ говорилъ про себя Баратынскій—„усиліе гордаго ума, а не дитя сердца“; „съ самаго дѣтства они тяготятся зависимостью и бываютъ угрюмы и несчастливы“. Предугадывая сердцемъ молчаливую тайну вѣчности, въ которой тонетъ все сущее, эти люди измѣряютъ высокимъ представленіемъ всѣ событія, и потому мимолетная радость и временный смыслъ житейскихъ явленій имѣетъ для нихъ малую цѣнность. Они живутъ своимъ внутреннимъ міромъ, безъ попытокъ и желанія согласовать его съ ходомъ кипящей вокругъ нихъ жизни. Вотъ почему, когда внѣшняя жизнь въ своемъ инертномъ, еле уловимомъ движеніи течетъ мимо нихъ, они со спокойной грустью слѣдятъ за ея теченіемъ, и вотъ почему они ожесточаются противъ нея, когда ея покой переходитъ въ волненіе. Они скорѣе готовы примириться со скукой бытія, чѣмъ съ безцѣльнымъ, по ихъ мнѣнію, движеніемъ. Они—большіе консерваторы въ мірѣ своей скорбной мечты. Они не любятъ въ немъ новыхъ усложненій, не любятъ новыхъ поводовъ къ его пересозданію. Такимъ сосудомъ скорби было сердце Баратынскаго.

„Душемутительный поэтъ, постигшій таинство страданія“—имѣлъ одну лишь отраду: мгновеніе поэтическаго восторга—„полное ощущеніе извѣстной минуты“. Но и это рѣдкое блаженство было для него отравлено тѣмъ, что въ самомъ

способѣ словеснаго претворенія жизни въ искусство мысль одерживала всегда верхъ надъ иными дарами духа. А мысль Баратынскаго была всегда глубокой и тревожной, разлагающей, многосторонней мыслью, проникающей въ тѣ тайники явленій, гдѣ скрытъ ихъ трагическій смыслъ... и художникъ мысли, облеченной въ слово, завидывалъ живописцу, музыканту и скульптору:

Все мысль, да мысль! художникъ бѣдный слова!
О жрецъ ея! тебѣ забвенья нѣтъ!
Все тутъ, да тутъ и человѣкъ, и свѣтъ,
И смерть, и жизнь, и правда безъ покрова,
Рѣзецъ, органъ, кисть! счастливъ кто влекомъ
Къ нимъ чувственнымъ, за грань ихъ не ступая!
Есть хмѣль ему на праздникѣ мірскомъ!
Но предъ тобой, какъ предъ нагимъ мечемъ,
Мысль! острый лучъ! блѣднѣетъ жизнь земная.
[«Все мысль...» 1835—1842].

Судьба безжалостно испытывала поэта. Одаривъ его этимъ даромъ прозрѣнія вглубь, вдаль и вширь явленій, даромъ разрушающимъ ихъ цѣлостность и омрачающимъ всякое непосредственное наслажденіе ими, она заставила его быть унылымъ и одинокимъ зрителемъ угасанія и смерти его поколѣнія. Съ этимъ поколѣніемъ онъ росъ и возмужалъ, съ кругомъ его понятій онъ сжился и свыкся, и онъ никакъ не могъ помириться съ неизбѣжностью новизны, вторгавшейся въ священный кругъ стараго поэтическаго міросозерцанія. Ему это вторженіе казалось оскорбленіемъ святыни, торжествомъ матеріи надъ духомъ, прозы надъ поэзіей, „науки“ надъ „прорицаніемъ“; и вмѣсто того, что бы пойти навстрѣчу новому и найти въ немъ поэзію—всегда и вездѣ присущую—художникъ въ самодовольствѣ отчаянія и печали сталъ оберегать себя отъ всякихъ новыхъ впечатлѣній...

Душа его съ дѣтства была сумрачна: и въ вечерней зарѣ отходящаго дня онъ не разглядѣлъ зари восходящаго.

1895.

Дмитрій Владиміровичъ

Веневитиновъ

Пушкинъ и Д. В. Веневитиновъ.

I.

Мы очень ревниво относимся къ Пушкину какъ къ поэту; настолько ревниво оберегаемъ мы его славу, что, въ преклоненіи передъ его оригинальностью и самобытностью, признаемъ лишь съ большими оговорками кратковременное плѣненіе его фантазіи нѣкоторыми міровыми геніями. Среди же своихъ современниковъ онъ для насъ всегда корифей и вдохновитель. И въ самомъ дѣлѣ, про кого изъ его сверстниковъ можно сказать, что онъ подчинилъ себѣ хоть на мгновеніе эту геніальную натуру? Когда рѣчь идетъ о направленіи мыслей Пушкина, то такіе вліятельные собесѣдники найдутся, въ очень, правда, ограниченномъ числѣ. Назовемъ хоть Чаадаева, Грибоѣдова. В. Одоевскаго и Императора Николая Павловича, который на своей утренней прогулкѣ въ Летнемъ саду любилъ встрѣчаться съ Александромъ Сергѣевичемъ. Но образъ мыслей не создаетъ поэта. А кто кромѣ нѣкоторыхъ старшаго поколѣнія--Жуковскаго и Батюшкова - могъ въ поэзіи Пушкина услыхать свои звуки, не говоря уже о лѣдой мелодіи? Никто повидимому.

II.

Въ 1828 году Пушкинъ написалъ свое извѣстное стихотвореніе „Чернь“. Оно въ разныхъ кругахъ нашло себѣ восторженныхъ декламаторовъ и на первыхъ порахъ не возбудило ни въ комъ никакого иного чувства, кромѣ эстетическаго. Стихотвореніемъ наслаждались, и въ него мало вдумывались. Затѣмъ, въ сороковыхъ годахъ, стали вдумываться и философски его истолковывать, а въ шестидесятыхъ на него озлобились. Поэта привлекли къ общественному суду за оскорбленіе словами—публики, „толпы“, и къ суду нравственному за чрезмѣрную гордыню и самомнѣніе. Разбирательство дѣла, за невозможностью выслушать самого обвиняемаго, тянулось долго и было въ концѣ концовъ не рѣшено, а предано забвенію. Судьи удовольствовались для виду однимъ объясненіемъ, которое было выдвинуто защитниками поэта. Защитники говорили, что Пушкинъ, такъ неучтиво обругавшій толпу, вовсе не имѣлъ въ виду народную толпу, непросвѣщенную, но алчущую свѣта; что онъ, сочиняя свой „Ямбъ“, совсѣмъ не думалъ о „массѣ читателей“, которая ждала его слова и просила его о помощи; и что всѣмъ своимъ гнѣвомъ и бранью поэтъ обрушился на голову той „улицы“ — хотя бы весьма фешенебельно одѣтой и даже съ лоскомъ культуры,—„улицы“, которая кишитъ самодовольными пошляками или поклонниками буржуазнаго pot au feu—того самаго „горшка“, о которомъ говорится въ стихотвореніи. Такое объясненіе стихотворенія могло быть принято только при желаніи поскорѣй покончить съ навязчивымъ вопросомъ. Оно неудачно. Едва ли улица станетъ расписываться въ томъ, что она „коварна, безстыдна, малодушна, глупа и на клевету способна“—какъ себя аттестуетъ толпа въ стихотвореніи, да и кромѣ того было бы очень обидно, если бы это глубокое по смыслу стихотвореніе было навѣяно лишь чувствомъ раздраженія поэта противъ пошляковъ, то есть противъ величины ирраціональ-

ной въ жизни; хотѣлось бы думать, что оно актъ глубокой мысли на тему вполнѣ раціональную.

III.

И мы имѣемъ всѣ основанія предположить, что стихотвореніе „Чернь“ возникло не случайно и что его созданію предшествовала долгая незримая работа ума и сердца поэта—работа, которая, легко могло быть, воспользовалась какимъ-нибудь подвернувшимся предлогомъ, чтобы заставить художника всѣ свои выводы сразу воплотить въ образахъ.

Если мы хотимъ озадачить художника, намъ стоитъ только обратиться къ нему серьезно съ вопросомъ, кто онъ, и какъ понимаетъ онъ свое призваніе въ мірѣ? Нѣтъ болѣе труднаго вопроса, быть можетъ потому, что таинство творчества для людей вообще неуловимо и необъяснимо, какъ самый актъ сознанія или познанія. И какъ говорить о назначеніи поэта въ жизни, когда назначеніе самой жизни намъ неизвѣстно? Правда, критики издавна объясняли это міровое назначеніе поэзіи и писали о немъ пространно въ увѣсистыхъ книгахъ, но этимъ постороннимъ рѣчамъ какъ-то плохо вѣрится. Правильнѣе было бы допросить самихъ поэтовъ, но почти всѣ они, за самыми ничтожными исключеніями, всегда уклоняются отъ прямого и исчерпывающаго отвѣта на этотъ вопросъ или говорятъ о томъ, чѣмъ бы они хотѣли быть въ мірѣ, т. е. фантазируютъ, и отсутствіе понятія замѣняютъ арабесками красивыхъ словъ...

Но отмахнуться отъ вопроса о своемъ призваніи поэтъ не можетъ; и отвѣчаетъ онъ на него по мѣрѣ силъ—тайно или гласно, наивно или глубокомысленно—но отвѣчаетъ. По этимъ отвѣтамъ можно судить о ростѣ его самосознанія, а по впечатлѣнію, какое эти отвѣты производятъ на его поклонниковъ, о степени ихъ сознательнаго отношенія къ искусству.

Первый изъ русскихъ художниковъ, который далъ на этотъ вопросъ отвѣтъ, достойный самого вопроса, былъ Пушкинъ,

й отвѣтъ этотъ, что̀ весьма характерно, сводился къ словамъ: „подите прочь“. Нужно замѣтить однако, что наши поэты не всегда были такъ сердиты, и что самъ Пушкинъ, прежде чѣмъ написать свой „Ямбъ“, былъ и нѣженъ и привѣтливъ со своими слушателями, даже съ такими, которые вокругъ него случайно „толпились“.

Карамзинъ – самъ не поэтъ, но влюбленный въ поэта—очень высоко ставилъ художника. „Кисть, рѣзецъ, струна и гласъ совершили въ мірѣ все великое—говорилъ онъ. Люди рычали какъ звѣри и какъ камень были ихъ сердца, пока поэзія не облагородила ихъ и не способствовала установленію среди нихъ общественно-гуманныхъ отношеній“ [Стихотвореніе „Дарованія“]. „Истинный поэтъ всегда хорошій человѣкъ — продолжалъ умиленно Карамзинъ—какъ дурной человѣкъ никогда не можетъ быть хорошимъ авторомъ [„Что нужно автору“]... Положимъ, поэтъ бываетъ капризенъ и измѣнчивъ какъ прудъ „подъ дыханьемъ вѣтерка“ [„Протей или несогласія стихотворца“], но эту вольность простить поэту можно. „Двѣ роли отведены художнику въ жизни. Онъ либо искусный лжецъ — тогда онъ „играетъ мечтой среди бѣдной существенности“, тогда онъ—хитрый чародѣй, который „изъ цвѣтка творитъ красавицъ, производитъ на соснѣ розы, находитъ въ крапивѣ нѣжный миртъ и строитъ замки изъ песка“ [„Къ бѣдному поэту“]. „Но поэтъ не только мечтатель, онъ и наставникъ, однако мирный наставникъ, чуждый гнѣва и воинственнаго пыла“.

Карамзинъ при его оптимизмѣ, при увѣренности, что Богъ все въ жизни обращаетъ къ цѣли общаго блага, и что вѣра должна успокоить доброе сердце, „возмущенное странными феноменами на театрѣ міра“ [„Филалетъ къ Мелодору“], рекомендовалъ поэту полное спокойствіе духа. „Безъ гнѣва обличай порокъ“, говорилъ онъ [„Опытная Соломонова мудрость“] и если нельзя уберечься отъ гнѣва, то уйди и стань поодаль и „взирай на обманчивый міръ“ [„Къ самому себѣ“]. Если мы не можемъ перемѣнить людей, то предадимъ на волю

рока мрачный свѣтъ, построимъ себѣ тихій кровъ за мирной сѣнію лѣсовъ, гдѣ бы мы могли издали гнушаться порокомъ [„Посланіе къ Дмитріеву"]. Все равно. Съ Платономъ и Питтакомъ и Зенономъ не учредишь республикъ, а потому уйдемъ подальше... Но остаться въ свѣтѣ мы все-таки должны, а потому смиримся. Блаженъ, у кого самыя скромныя желанія, кто подъ солнцемъ имѣетъ *свой* домикъ и мысли вдаль не простираетъ, кто *„отъ скуки"* призываетъ музъ и *забавляетъ* себя, домашнихъ и чужихъ стихами [„Посланіе къ А. Л. Плещееву"].

Неудивительно, что сентименталистъ, проповѣдуя такую эпикурейскую, хоть и безобидную мораль, готовъ былъ искусству, этому „глаголу боговъ", приписать въ обществѣ охранительную миссію и признать въ немъ панацею противъ возмущенія, уже не души человѣческой только, а всякаго возмущенія соціальнаго. Искусство должно было, по понятію Карамзина, служить къ умиротворенію умовъ и заглаживать шероховатости общественной жизни. „Всѣ люди, писалъ Карамзинъ, могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, а кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ, — спокойнѣйшимъ говорю: ибо, находя вездѣ и во всемъ тысячу удовольствій и пріятностей, не имѣетъ онъ причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь. Цвѣты граціи украшаютъ всякое состояніе—и просвѣщенный земледѣлецъ, сидя послѣ трудовъ и работы на мягкой зелени съ нѣжной своей подругой, не позавидуетъ щастію роскошнѣйшаго сатрапа". [„Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи"].

Такъ разсуждалъ о поэтѣ и объ искусствѣ тотъ писатель, на сентиментальномъ настроеніи котораго воспитались всѣ наши лирики начала XIX вѣка. Радость въ мечтахъ, а иногда и грусть въ мечтахъ, уединеніе и прежде всего доброе сердце,— вотъ душевный, внутренній міръ поэта,—оазисъ среди шумнаго и порочнаго міра внѣшняго...

Приблизительно этихъ же взглядовъ на роль поэта въ

жизни держался и Жуковскій—нашъ первый и истинный поэтъ—хотя онъ и признавалъ искусство, вопреки традиціи XVIII в., совсѣмъ особой самостоятельной областью духовнаго творчества, независимой и себѣ довлѣющей. Это признаніе свободной самобытности творчества Жуковскій, однако, въ своихъ стихахъ не оформилъ: только подъ конецъ своей жизни, когда мистика и піэтизмъ совсѣмъ овладѣли его душой, онъ нашелъ наконецъ формулу, въ которую задумалъ втиснуть все содержаніе поэзіи. Онъ сказалъ тогда, что поэзія есть „Богъ въ святыхъ мечтахъ земли", и хотѣлъ выразить этимъ, что какъ Богъ есть полнота всѣхъ совершенствъ въ мірѣ—сліяніе добра, красоты и истины, такъ и поэзія есть воплощеніе всѣхъ этихъ великихъ благъ въ звукахъ и образахъ, воплощеніе безкорыстное, служащее само себѣ цѣлью. Не своеволіе, не тщетный призракъ—поэта зоветъ самъ Богъ, и художникъ къ великому долженъ стремиться смиренно. Само творчество есть величайшая непроницаемая тайна. Вдохновеніе есть общеніе избраннаго человѣка съ Богомъ; молитва за людей, предвкушеніе лучшей жизни, даръ прозрѣнія будущаго, даръ пониманія прошлаго. Это великая тайна, безъ которой, однако, наша земная жизнь была бы лишена лучшаго своего украшенія, своего смысла и счастія... Такъ думалъ Жуковскій о поэзіи подъ старость, когда пытался осмыслить весь пройденный имъ путь; но въ юности онъ думалъ иначе. Поэтъ былъ тогда въ его глазахъ въ достаточной степени свѣтскимъ человѣкомъ. Правда, за поэтомъ оставалось въ жизни очень почетное мѣсто, которое его обязывало смотрѣть на міръ серьезными очами и ни на минуту не забывать, что онъ избранникъ. Въ людяхъ онъ долженъ былъ возбуждать самыя возвышенныя и добрыя чувства. Но въ общемъ эта отвѣтственная задача была ему облегчена тѣмъ, что само служеніе искусству было источникомъ великихъ радостей, великаго покоя. Муза для избранника всегда желанная гостья, мирная и добрая, и въ бесѣдѣ съ ней онъ страданій не знаетъ. А если онъ рѣшится совсѣмъ отстра-

ниться отъ толпы—въ чемъ вся высшая мудрость поэта,—то онъ счастливѣйшій изъ смертныхъ.

„Поэзія есть тихая прелесть и очарованіе души", говорилъ молодой Жуковскій; она веселая спутница: радость, фантазія; „веселая супруга", дающая неизмѣнное счастіе, „утѣха, прибѣжище, вѣрная спутница, и въ счастіи, и въ горести" [„Моя богиня" 1809 г.]. Она гостья, за которой по пятамъ слѣдуютъ любовь и дружба, всегда имѣющія „безсмѣнный постой" у поэта, за „заборомъ, которымъ онъ оградилъ себя отъ міра" [„Посланіе къ Батюшкову" 1812 г.]. Въ обитель поэта поэзія входитъ, конечно, не только въ сопровожденіи веселыхъ чувствъ, но и генія, науки и вкуса. Непосвященной толпѣ нѣтъ дороги туда, куда зашли эти гости [„Посланіе къ Батюшкову" 1812 г.].

Но радости и всякія преимущества обязываютъ. Служеніе поэта музамъ должно быть ихъ достойно. Музы дружатъ только съ „добромъ". Чистота младенца должна въ душѣ поэта слиться съ величіемъ свободы и только для неизмѣнныхъ благъ должна быть открыта его душа [„Посланіе къ Батюшкову" 1812 г.]. Кому дано „бряцаніемъ стройнымъ лиры переливать въ сердца любовь къ добру, тотъ на землѣ не тщетный обитатель". Въ стремленіи къ возвышенному и царь, и судья, и поэтъ, и воинъ—равны. „Всѣмъ на добро одни права даны: любить добро и пѣть его на лирѣ"; [„А. Н. Арбеневой" 1812 г.]. Такая роль требуетъ большого самообладанія: за славой не нужно гнаться. „Независимо, въ тиши уютнаго уединенія, съ ясной душой надо пѣть для музъ, для наслажденія" [„Къ Вяземскому и Пушкину" 1814 г.]. Тотъ, чью колыбель боги осѣнили парнасскимъ лавромъ, тотъ посреди общественныхъ явленій, невидимый толпѣ, идетъ куда влечетъ его крылатый геній и все наслѣдіе свое — великолѣпный свѣтъ — облетаетъ онъ на могучихъ крыльяхъ, повсюду зря красу и благо" [„Посланіе къ Вяземскому" 1814 г.].

Такъ размышлялъ Жуковскій о поэзіи, когда помыслы

его не были еще всецѣло обращены къ небу. Какъ видимъ, эти думы отличаются отъ думъ Карамзина лишь болѣе изящной, поэтической отдѣлкой и бо̀льшей поэтической глубиной. Поэтъ—тотъ же мечтатель, любитель уединенія, служитель добра по преимуществу. Правда—и въ этомъ Жуковскій былъ отчасти новаторъ—его пѣвецъ, слѣдуя примѣру самого автора, въ юности любилъ носить доспѣхи и сражался за родину. За вычетомъ этого „браннаго подвига“ пѣвецъ Жуковскаго – сентиментальный мечтатель, искренно и глубоко чувствующій, но о призваніи своемъ имѣющій представленіе довольно несложное и простодушное. Это представленіе не соотвѣтствовало той глубинѣ дарованія, какимъ располагалъ Жуковскій.

Силенъ былъ какъ талантъ и Батюшковъ, но и онъ не съумѣлъ опредѣлить себѣ цѣну. Его пластичная поэзія избѣгала разсужденій. Онъ хотѣлъ дѣйствовать не на умъ, а на зрѣніе и на слухъ своихъ слушателей. Когда же ему случалось прославлять свою богиню—„мечту, эту душу поэтовъ и стиховъ“, то новизной его гимны не блистали. Мечта утѣшала, мечта радовала, мечта требовала уединенія. Поэтъ презиралъ „свѣтъ и блескъ пустой славы“ и шелъ „забвенія тропой“ [„Мечта“ 1802—3, и 1817 г.]. Поэзія какъ сладостный нектаръ была пріятна и полезна.... и враждовала съ наукой, скучной и такъ часто возбуждающей въ насъ гнѣвное чувство противъ жизни [„Посланіе къ Н. Гнѣдичу“, 1805 г.]. Поэзія для Батюшкова — всегда мечта, словно въ мечтаніи заключена вся сущность искусства. Но Батюшковъ неохотно поручалъ поэту другія роли и говорилъ о нихъ вскользь—потому что самъ былъ по преимуществу тихій мечтатель и эстетикъ въ очень тѣсномъ смыслѣ этого слова.

IV.

О томъ, какъ должно понимать призваніе поэта, часто говорилъ и Пушкинъ, говорилъ при случаѣ, отдаваясь сво-

бодно впечатлѣніямъ бытія, пока для него еще новымъ. Никто до него не былъ о поэзіи столь высокаго мнѣнія, но и онъ скрывалъ тщательно въ обыкновенныхъ бесѣдахъ свои мысли объ этомъ предметѣ. Онъ боялся, должно быть, какъ бы ему не надоѣли разспросами. „Стихотворство мое ремесло—говорилъ онъ—отрасль чистой промышленности, доставляющая мнѣ пропитаніе; какъ скоро стихи написаны, я уже смотрю на нихъ какъ на товаръ, по столько-то за штуку“ [1824 г.]. Мы будемъ очень наивны, если надъ этими словами станемъ ломать голову. Они вѣроятно затѣмъ и сказаны, чтобы избавить себя и другихъ отъ необходимости подумать.

И Пушкинъ не думалъ, а творилъ, и въ этомъ творчествѣ открывались для поэта все новые и новые горизонты. Поэтъ въ его глазахъ сталъ очень рано существомъ, отъ всѣхъ прочихъ отличнымъ. Почести и богатства не прельщали его [„Къ другу стихотворцу“ 1814], жажда славы также не мучила. Въ своемъ царствѣ мечты, поэтъ былъ властелинъ неограниченный и всесильный. „Всѣ предметы были въ его волѣ“ и „все было ему позволено“ [„Къ Батюшкову“ 1814 г.]. Онъ „былъ всемощнѣе судьбы“ [„Посланіе къ Юдину“ 1815 г.]. Правда, этой властью поэтъ пользовался почти исключительно для личнаго счастія и наслажденія. Онъ былъ „питомецъ нѣгъ“ [„Мое завѣщаніе друзьямъ“ 1815], эпикурейскій отшельникъ, который въ свою пустыню звалъ веселую гостью, поэзію, для забавы конечно... [„Сонъ“ 1816 г.]. Иной разъ печаль любви была его вдохновительницей... [„Пѣвецъ“].

Но Пушкинъ возмужалъ очень скоро и на самой зарѣ своей сознательной жизни сталъ смутно понимать, къ сколь великой тайнѣ онъ приближался. Съ трепетомъ склонилъ онъ предъ музами колѣни, грудь его исполнилась отважной вѣры и мечтой полетѣлъ онъ къ „безвѣстному“. Это „безвѣстное“ чуялось ему въ твореніяхъ великихъ геніевъ. Оно было нѣчто непонятное, но таинственно величавое [„Къ Жу-

ковскому" 1817 г.]. Мало-по-малу подъ вліяніемъ идей и настроеній эпохи это таинственное начинало для Пушкина принимать опредѣленныя формы. Поэтъ разрѣшалъ себѣ проповѣдь общественныхъ взглядовъ [„Деревня" 1819 г.] и доходилъ въ этой проповѣди до рѣзкой политической пропаганды [„Вольность" 1817 г.], но онъ очень скоро и рѣшительно отъ такого расширенія компетенцій поэта отказался. Онъ съ благодарностью вспомнилъ вновь о „мирныхъ пѣсняхъ фригійскихъ пастуховъ" [„Муза" 1821 г.] и отдалъ въ послѣдній разъ должное поэту-борцу и общественному дѣятелю [„Кинжалъ" 1821 г.].

Пушкинъ склонился въ смиреніи передъ тайной искусства и сталъ говорить о призваніи художника въ очень неопредѣленныхъ словахъ, но все болѣе и болѣе подчеркивая ту рознь и то непониманіе, которое ссоритъ поэта съ его слушателями. Еще въ раннихъ своихъ стихахъ онъ училъ „презирать ревнивое роптаніе черни" [„къ П. П. Каверину" 1817 г.] „Непросвѣщенной" называлъ онъ толпу и въ стихотвореніи „Деревня".

Съ глубокой грустью писалъ онъ въ 1824 году:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья,
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ
И, терномъ славы не увитый,
Презрѣнной чернію забытый,
Безъ имени покинулъ свѣтъ [«Разговоръ» 1824 г.].

„Презрѣнная чернь", какъ видимъ, начинаетъ пугать поэта, и онъ понимаетъ, что онъ носитель какой-то тайны, которая дѣлаетъ его чужимъ для людей. Столь недавно еще любимый образъ поэта-мечтателя, въ уединеніи славящаго красу вселенной, смѣняется въ мечтахъ Пушкина кровавымъ призракомъ Андре Шенье, непонятаго толпой и казненнаго во имя той свободы, которой онъ служилъ всю свою краткую жизнь. Дикая, разбушевавшаяся толпа, она не пони-

маетъ, чью кровь она пролила на плахѣ [„Шенье“ 1825 г.], и правъ былъ мученикъ поэтъ, который не хотѣлъ имѣть ничего съ ней общаго.

Но какъ бы ни былъ великъ гнѣвъ поэта на толпу, неужели бросить ее на произволъ судьбы и не сказать ей того слова, которое въ сущности принадлежитъ не поэту, а дано ему свыше, вложено въ его уста шестикрылымъ серафимомъ? Каковы бы ни были страданія и разочарованія художника, онъ долженъ, обходя моря и земли, жечь сердца людей своимъ глаголомъ [„Пророкъ“ 1826 г.] *).

Онъ долженъ—это вѣрно, но онъ чувствуетъ иногда, что онъ этого не можетъ.

Стоитъ ли толпа любви, состраданья? Не лучше ли, отдавъ суетѣ міра—неизбѣжной, ежедневной суетѣ—слѣдуемую ей дань, бѣжать отъ людей, какъ только почувствуешь вѣяніе вдохновенія и приближающійся раскатъ божественнаго глагола? Какъ пробудившійся орелъ—поэтъ тоскуетъ среди людей:

Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы... [«Поэтъ» 1827].

Но бѣжать отъ вопроса, не значитъ рѣшить его. Дубрава не убережетъ пѣвца, потому что встрѣча съ людьми неизбѣжна. Народъ всетаки будетъ надменно и хладно внимать поэту, онъ будетъ приставать съ вопросами и глумиться надъ его „бренчаньемъ“. Онъ потребуетъ у поэта отчета въ томъ, что онъ говоритъ. Онъ пожелаетъ получить наставленіе, чтобы использовать его. Что сказать этой толпѣ? И у поэта сорвалось съ устъ жестокое слово: „подите прочь и

*) Если только это стихотвореніе можетъ быть истолковано въ этомъ смыслѣ и если оно не простое переложеніе библейскаго образа.

каменѣйте въ развратѣ смѣло"; „безумные рабы, довольствуйтесь бичами, топорами и темницами и оставьте мнѣ свободу сладкихъ молитвъ и звуковъ" [„Чернь" 1828 г.].

Кажется, что это былъ послѣдній отвѣтъ толпѣ, отвѣтъ, который художникъ не подвергалъ больше пересмотру. Въ своихъ стихахъ Пушкинъ этой темы о призваніи поэта коснулся еще только однажды и повторилъ свои прежнія слова, правда не столь гнѣвно. „Ты самъ свой высшій судъ—сказалъ онъ тогда поэту, какое тебѣ дѣло, тебѣ, взыскательному художнику, что толпа плюетъ на твой алтарь и въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ?" [„Поэту" 1830 г.].

Какой же смыслъ заключенъ въ этихъ горделивыхъ словахъ, а, главное, въ чемъ ихъ оправданіе?

V.

Изъ всѣхъ приведенныхъ стихотвореній видно, что художникъ никакъ не могъ примирить понятіе о поэтѣ какъ властителѣ съ понятіемъ о немъ какъ о служителѣ. Самостоятельный ли онъ хозяинъ въ своемъ царствѣ мечты, не отдающій никому ни въ чемъ отчета, или это самовластіе только призрачное, и поэтъ наравнѣ съ другими есть часть одного цѣлаго и потому ради этого цѣлаго живетъ и дѣйствуетъ? Пушкинъ въ концѣ концовъ призналъ себя вполнѣ самовластнымъ и самостоятельнымъ и на этомъ рѣшеніи успокоился, отдавая въ своей поэзіи Богу—Божье, а въ своей публицистикѣ, исторіи и критикѣ Кесарю то, что ему принадлежало.

Но едва ли это успокоеніе далось Пушкину такъ легко, какъ намъ это кажется. Да и вполнѣ понятно. Самовластно владѣть другими и давать имъ чувствовать свою власть—для художника высшая награда; но чувствовать себя самовластнымъ и не имѣть съ другими никакихъ точекъ соприкосновенія—быть царемъ въ царствѣ мечты и не существо-

вать для земли—было бы для поэта большимъ несчастіемъ. А между тѣмъ сказать всѣмъ людямъ: „подите прочь! какое мнѣ до васъ дѣло, оставьте мнѣ молитвы и каменѣйте въ развратѣ“, т.-е. и не дѣлайте никакой попытки понять меня—не значило ли это между собой и міромъ положить грань навсегда непереходимую? Могъ ли этого желать художникъ? Едва ли. Надо думать, что, отстраняя „чернь“ отъ себя и изгоняя ее изъ храма, онъ всетаки оставался при убѣжденіи, что этотъ храмъ построенъ для нея и ей нуженъ, и что онъ—молясь въ сладкихъ звукахъ—молится за нея и ей на пользу. Стихотвореніе „Чернь“ выражало не разрывъ съ толпой, а лишь приказаніе ей не мѣшать поэту дѣлать свое дѣло.

Естественно, что объ этомъ дѣлѣ надлежало поэту подумать и очень серьезно, прежде чѣмъ такъ категорически требовать невмѣшательства со стороны всѣхъ окружающихъ. Не забудемъ также, что это требованіе высказано Пушкинымъ въ 1828 году, когда еще не улеглась совсѣмъ тревога его юнаго духа, когда въ душѣ его была еще жива память о недавнихъ годахъ либеральничанья, политиканства, фрондерства и увлеченія байроническими мотивами всевозможнаго протеста. Если тотчасъ вслѣдъ за этими бурными годами художникъ вдругъ заговорилъ такъ увѣренно и убѣжденно о своемъ правѣ на „сладкія“ пѣсни, то, очевидно, онъ долго и много думалъ о цѣнѣ такихъ мирныхъ пѣсенъ, далекихъ отъ всякой злобы дня, злобы политической, общественной или просто суетливой.

А между тѣмъ ни въ стихахъ Пушкина, ни въ его перепискѣ тѣхъ лѣтъ слѣдовъ такихъ долгихъ думъ не осталось.

Все, что онъ до этого стихотворенія говорилъ о поэтѣ и его отношеніи къ толпѣ было—либо повтореніе сказаннаго старшими, Жуковскимъ и Батюшковымъ, либо воспоминаніемъ прочитаннаго въ образцахъ античной словесности, либо - какъ думаютъ нѣкоторые—отзвукомъ ученья Руссо. Въ первый разъ смѣло, а главное очень рѣзко, онъ выразился

въ „Черни“, и это указывало какъ будто на то, что онъ осилилъ задачу и рѣшилъ высказаться опредѣленно. Самъ ли онъ все это продумалъ или кто нибудь помогъ ему въ этомъ?

Давно уже изслѣдователи его жизни и творчества высказывали предположеніе, что въ стихотвореніи „Чернь“ поэтъ выразилъ итогъ чужой мысли, съ которой согласился. Одно обстоятельство въ жизни поэта дѣлало такое предположеніе вѣроятнымъ.

VI.

Въ 1826 году, доставленный по приказанію Императора Николая Павловича въ Москву—Пушкинъ старался наверстать потерянное въ деревнѣ время въ шумной бесѣдѣ въ свѣтскихъ и литературныхъ кругахъ первопрестольной столицы. Въ одномъ кружкѣ его можно было тогда встрѣтить довольно часто. Это былъ кружокъ молодыхъ московскихъ „любомудровъ“—первыхъ у насъ въ Россіи восторженныхъ послѣдователей нѣмецкой философіи. Въ общеніи съ этими философами Пушкинъ—какъ утверждаютъ — и зачерпнулъ отъ той мудрости, которая дала ему нравственное право говорить съ толпой такъ гордо. Дѣйствительно, въ этомъ кружкѣ, какъ извѣстно, излюбленной темой жаркихъ споровъ былъ вопросъ о поэтѣ и его назначеніи въ жизни. Поэтъ, какъ высшее воплощеніе всей міровой сущности, былъ предметомъ религіознаго культа среди этой молодой компаніи. Она привѣтствовала Пушкина, какъ воплощеніе своего идеала, а Пушкинъ нашелъ въ ней мудрецовъ, которые истолковали ему его собственное назначеніе. Слушая ихъ и претворяя ихъ теоретическія выкладки въ образы, Пушкинъ и создалъ свой „ямбъ“—свою „Чернь“.

Такъ иногда говорятъ, когда хотятъ разрѣшить загадку происхожденія этого стихотворенія. Такъ ли на самомъ дѣлѣ это было?

До насъ дошла только самая общая сущность споровъ, въ которыхъ этотъ веселый и вмѣстѣ съ тѣмъ серьезный кружокъ короталъ свои вечера и ночи. Въ какой мѣрѣ эти молодые философы на Пушкина повліяли—мы не знаемъ. Но мы знаемъ навѣрное, что Пушкинъ на чистую теоретическую философію всегда откликался туго, питалъ къ ней чувство уваженія и почтенія, но отнюдь не любви, и однажды, какъ разъ въ это время, послѣ одного изъ собраній этого кружка, пришелъ къ Погодину, декламировалъ противъ философія, и, какъ утверждаетъ Погодинъ, декламировалъ „нелѣпо". Очевидно, что молодые философы вывели Пушкина изъ терпѣнія когда плели свою тонкую паутину отвлеченностей на его глазахъ, привыкшихъ къ пластическимъ и осязаемымъ формамъ.

Есть поэты, для которыхъ отвлеченная мысль—родникъ вдохновенія. Но случается, что и великій поэтъ чувствуетъ себя неловко въ мірѣ отвлеченностей, и избѣгаетъ ихъ или путается въ нихъ. Пушкинъ въ нихъ не путался, но ставилъ ихъ всегда внѣ поля своего поэтическаго зрѣнія. Такъ, вѣроятно, поступилъ онъ и въ кружкѣ московскихъ философовъ. Онъ слушалъ ихъ, вставлялъ, вѣроятно, свою реплику въ ихъ споры, наслаждался ими какъ личностями—а они были вполнѣ достойны его дружбы и любви—и выходилъ изъ ихъ компаніи обогащенный, конечно, впечатлѣніями, быть можетъ и мыслями, но впечатлѣніями по преимуществу. Легко можетъ быть, что непосредственныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ общенія съ этими людьми и вызвали въ его фантазіи тотъ образъ художника на молитвѣ, который глухъ и нѣмъ для толпы и такъ краснорѣчивъ передъ алтаремъ своего бога.

VII.

Постараемся на основаніи дошедшихъ до насъ свѣдѣній возстановить то впечатлѣніе, которое произвели эти московскіе идеалисты на Пушкина.

Исторія кружка московскихъ идеалистовъ двадцатыхъ годовъ давно разъяснена, и болѣе полное разслѣдованіе ея едва ли возможно. Члены этого философскаго братства разсказали о немъ все, что знали, а архивъ ихъ собраній [если таковой дѣйствительно существовалъ] былъ сожженъ въ 1825 году изъ опасеній, которыя едва ли имѣли за собой какое-нибудь реальное основаніе. Все, чѣмъ можно было бы дополнить исторію кружка, это—разъясненіемъ вопроса о степени вліянія на него идей Шеллинга, которымъ члены этого философскаго братства тогда очень увлекались. Но такое разъясненіе дало бы не особенно богатые результаты.

Установить связь между идеями московскихъ поклонниковъ искусства и ученіемъ Шеллинга не трудно—но этимъ сущность ихъ бесѣдъ и ихъ культурной роли не опредѣлится. Этотъ союзъ философовъ давалъ русскому обществу нѣчто большее, чѣмъ простое теоретическое разсужденіе, хотя бы на столь важную тему, какъ вопросъ объ искусствѣ. Кружокъ московскихъ шеллингіанцевъ былъ прежде всего культурнымъ центромъ среди густой и непросвѣщенной толпы. Въ ихъ бесѣдахъ звучала та повышенная нота идеализма, которая, не выражая собой, быть можетъ, ничего опредѣленнаго, была и необходима, и благотворна какъ призывъ, какъ повышеніе требованій, которыя человѣкъ долженъ ставить жизни. Жизнь была такъ утилитарно прозаична, такъ плоска, такъ повседневна, сѣра, что углубленіе ея русла, ея возведеніе въ поэзію, ея аристократизація, если такъ можно выразиться, была истиннымъ служеніемъ минутѣ, хотя и казалась отрицаніемъ этой минуты и воинственнымъ походомъ противъ нея.

Такую повышенную идеалистическую ноту и брали въ своихъ бесѣдахъ и въ своихъ писаніяхъ тѣ юнцы,—которые въ Москвѣ, въ двадцатыхъ годахъ, учредили общину имени Шеллинга, состоя одновременно чиновниками на службѣ при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Имена ихъ нѣсколько стерлись отъ времени, хотя собирательное ихъ имя „архивные

юноши" живо и понынѣ въ памяти каждаго человѣка, знакомаго съ судьбами нашей словесности, и будитъ очень нѣжное воспоминаніе. Само слово „архивъ" какъ будто нѣсколько пыльное слово и мало поэтичное... но наши юноши съумѣли его опоэтизировать очень своеобразно. На свою службу въ архивѣ иностранной коллегіи они смотрѣли какъ на одолженіе, которое они дѣлаютъ начальству. На какой улицѣ архивъ помѣщается, это они, конечно, знали, но что въ немъ хранится, объ этомъ вѣроятно только догадывались. Собирались они въ его гостепріимныхъ стѣнахъ, болтали, спорили о только что прочитанныхъ книжкахъ, читали стихи—свои и чужіе, и съ благословенія ближайшаго начальства, къ театру весьма неравнодушнаго, переводили драмы Коцебу. Есть извѣстіе, что въ присутственные часы они даже сочиняли—о ужасъ!—сказки...

Въ обществѣ эти молодые архиваріусы были въ большомъ почетѣ. Уважали ихъ за ихъ умъ и знанія, за ихъ образованіе, за то, что, несмотря на свои молодые годы, они были „мудрецами". Объ ихъ мудрости были хорошо освѣдомлены въ городѣ. Знали, что они по вечерамъ и ночамъ ведутъ бесѣды на самыя головоломныя темы, что читаютъ книжки, другимъ недоступныя, и сами пишутъ образно, убѣжденно и глубокомысленно,—какъ это и теперь можно провѣрить по философскому альманаху „Мнемозина"—который при ихъ ближайшемъ участіи издавалъ тогда въ Москвѣ лицеистъ Кюхельбекеръ, ихъ большой пріятель и поклонникъ. Эту архивную молодежь не только уважали въ обществѣ, но и любили. Да и нельзя было не любить ее. Все, что мы знаемъ о членахъ этого философскаго дружества, рисуетъ намъ ихъ какъ людей утонченно деликатныхъ, людей необычайной душевной порядочности, какъ рыцарей въ самомъ возвышенномъ смыслѣ этого слова. Въ высшемъ кругѣ, у женской половины, они были на самомъ лучшемъ счету, какъ весьма пріятные кавалеры. Танцовали они, конечно, отлично, что̀ не мѣшало имъ на блестящихъ балахъ, между двумя кадрилями,

отойдя въ сторону къ окну, „углубивъ взоръ въ мракъ ночи, думать о тайнахъ бытія и о судьбахъ человѣчества"—какъ признавался одинъ изъ нихъ, кн. В. Одоевскій. Если что можно было поставить въ вину этимъ благовоспитаннымъ юношамъ, такъ, можетъ быть, излишекъ эстетизма:—онъ мѣшалъ имъ иногда сразу оцѣнить человѣка; такъ, напримѣръ, когда Татьяна Ларина изъ деревни пріѣхала въ Москву и не успѣла еще освободиться отъ провинціальной застѣнчивой простоты въ костюмѣ и манерахъ—архивные юноши, какъ увѣряетъ Пушкинъ, „смотрѣли на нее чопорно и говорили между собой про нее неблагосклонно".

За вычетомъ этого грѣшка, ихъ поведеніе, и въ умственномъ, и въ нравственномъ смыслѣ могло назваться безупречнымъ. Всѣ ихъ знакомые въ этомъ были согласны; одинъ только Грибоѣдовъ на нихъ косился и увѣрялъ, что въ ихъ архивѣ числится на службѣ и Алексѣй Степановичъ Молчалинъ. Но вѣдь Грибоѣдовъ говорилъ, что на собраніяхъ декабристовъ и Репетиловъ участвовалъ. Не каждому слову Грибоѣдова нужно вѣрить; онъ былъ человѣкъ желчный и хлесталъ своимъ сатирическимъ бичемъ, не всегда внимательно присматриваясь къ встрѣчнымъ; и къ тому же онъ былъ очень аккуратный чиновникъ, и архивные юноши могли ему показаться des étrangers aux affaires...

Этой архивной молодежи было предназначено свершить свое историческое дѣло... Съ этимъ согласится всякій, кто только вспомнитъ, какъ звались эти „обильные надеждами" юноши. Въ 1823 году на службѣ въ московскомъ архивѣ состояли П. и И. Кирѣевскіе, кн. В. Ѳ. Одоевскій, Д. и А. Веневитиновы, С. Шевыревъ, Мельгуновъ, Соболевскій, С. Мальцевъ, кн. Мещерскіе и другіе. Изъ этихъ именъ добрая половина стала именами историческими.

Въ эту среду литераторовъ и философовъ и попалъ въ 1826 году Пушкинъ.

VIII.

Онъ засталъ сплоченное и однородное по составу общество, въ которомъ, какъ это всегда бываетъ, имѣлись свои, если не руководители въ прямомъ смыслѣ слова, то излюбленные ораторы. Одинъ изъ нихъ пользовался тогда большой популярностью, которая скоро—съ благословенія смерти—стала настоящей славой... Это былъ Дмитрій Владиміровичъ Веневитиновъ.

Его пѣсни и рѣчи теперь полузабыты, вытѣснены изъ нашей памяти, но всетаки всякій разъ, когда заходитъ разговоръ о счастливыхъ дняхъ пушкинской поэзіи или о жизни стараго московскаго студенчества, всегда произносится его имя. Есть люди, имена которыхъ, какъ старыя знамена: всѣ отдаютъ имъ дань уваженія, всѣ на нихъ указываютъ, но рѣдко кто знаетъ, въ какихъ они были битвахъ и что на нихъ изображено и написано.

А въ свое время Веневитиновъ высоко держалъ свое знамя...

IX.

Короткая жизнь Дмитрія Владиміровича [родился въ 1805 г.] была полна волненія внутренняго, полна неуловимыхъ душевныхъ движеній, на которыя лишь намекаютъ недописанныя имъ статьи и недопѣтыя пѣсни.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, росъ онъ въ домѣ своей матери [отца онъ потерялъ въ раннемъ дѣтствѣ] окруженный всѣми благами беззаботнаго существованія, видя жизнь всегда съ ея лицевой стороны и привыкая любить въ ней ея красоту и изящество.

Съ дѣтства мальчикъ былъ окруженъ избраннымъ и интеллигентнымъ обществомъ; съ большой зоркостью и осторожностью были выбраны для него первые наставники, которые не въ примѣръ многимъ гувернерамъ того времени, съумѣли

сочетать знаніе иностранныхъ языковъ съ широкимъ литературнымъ образованіемъ.

Они ввели своего ученика въ цѣлый кругъ художественныхъ и умственныхъ интересовъ, и корень ученья былъ ему столь же сладокъ, сколь и плоды его. Еще совсѣмъ ребенкомъ, Веневитиновъ чувствовалъ себя своимъ въ мірѣ разнообразнѣйшихъ человѣческихъ интересовъ, самыхъ сложныхъ и глубокихъ психическихъ движеній. Если вѣрить его біографамъ, то первая его любовь была любовь къ античному міру, къ его идейной, возвышенной и трагической сторонѣ, не въ примѣръ другимъ его сверстникамъ, которые изъ школьныхъ классическихъ книгъ вычитывали лишь эпикурейскую мораль и восторженный культъ Вакха и Киприды. Въ ранніе годы былъ въ Веневитиновѣ пробужденъ интересъ и къ нѣмецкой словесности, которая со временемъ стала предметомъ его излюбленныхъ занятій. Къ французской литературѣ онъ особаго пристрастія не питалъ.

Литературное образованіе было дополнено занятіями музыкой и живописью. Какъ артистическая натура Веневитиновъ усвоилъ эти искусства очень быстро и легко: его друзья признавали за нимъ большой музыкальный талантъ, зная, съ какою легкостью онъ читалъ теоретическія сочиненія о музыкѣ и какія самъ писалъ трудныя композиціи.

Семнадцати лѣтъ отъ роду Дмитрій Владиміровичъ поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ былъ усерднымъ слушателемъ И. И. Давыдова и М. Г. Павлова—первыхъ насадителей шеллингіанскаго ученія на нашей университетской каѳедрѣ. Въ университетѣ оставался онъ недолго: всего два года и, быстро и легко сдавъ экзаменъ, поступилъ на службу въ архивъ. Здѣсь, въ кругу талантливыхъ товарищей, которыхъ ему судьба послала, онъ сталъ образовываться какъ мыслитель и какъ поэтъ. Съ перваго же года ихъ совмѣстной жизни „служеніе мудрости и музамъ“ замѣнило юношамъ оффиціальную службу. Веневитинову было 18 лѣтъ, когда его друзья произвели его въ санъ „мудреца“; и онъ поддер-

живалъ это званіе съ честью. Усидчиво работалъ онъ надъ своимъ самообразованіемъ, равномѣрно расширяя кругъ своихъ философскихъ интересовъ и эстетическаго созерцанія. Онъ одновременно совершенствовался и какъ поэтъ, и какъ мыслитель. Въ какіе-нибудь три года [1823—1826] достигъ онъ значительной высоты умственнаго развитія и творчества, имѣя руководителемъ лишь собственное дарованіе и непреодолимое тяготѣніе къ „высотамъ“ духа.

Былъ у него только одинъ недостатокъ, легко впрочемъ поправимый—онъ былъ непозволительно юнъ для выполненія тѣхъ требованій, которыя самъ себѣ ставилъ. Растеніе парниковое, выхоленное въ гостинныхъ и въ тиши или шумѣ кабинетной бесѣды—онъ не зналъ, что такое ударъ жизни; онъ зналъ только, какъ тѣ или другіе великіе люди отзывались на эти удары. На всѣ печали и радости бытія онъ смотрѣлъ сквозь дымку мечты, и ждалъ, когда ему самому суждено будетъ испить отъ той чаши горечи и меда, о міровомъ значеніи которой онъ такъ краснорѣчиво разсуждалъ и спорилъ. Ожиданія его должны были скоро сбыться.

На двадцать второмъ году покинулъ онъ Москву для настоящей службы въ Петербургѣ, гдѣ, пользуясь своими связями, онъ могъ быстро сдѣлать карьеру. Но не о ней онъ думалъ: онъ былъ полонъ поэтическихъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ дружескаго круга, полонъ воспоминаній о нѣжной страсти, которая въ Москвѣ, кажется, скрасила его прощальные дни. Прощаясь съ товарищами, онъ рѣшилъ усердно работать въ любимой области „философическаго“ умозрѣнія, чтобы поддержать хоть издалека своихъ друзей, которые тогда приступали къ изданію философскаго журнала.

Умныхъ мыслей и хорошихъ стиховъ было въ головѣ Веневитинова много, когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ тревожные дни, слѣдовавшіе за декабрьской смутой. Житейскій опытъ его обогатился сразу новыми впечатлѣніями: его по ошибкѣ арестовали, подозрѣвая въ сношеніяхъ съ декабристами. Никакихъ послѣдствій это дѣло для него впрочемъ

не имѣло, и петербургская свѣтская жизнь съ избыткомъ стала вознаграждать его за скучные часы ареста. Онъ увлекся ею, и зиму 1826–7 года прожилъ очень весело, безъ сожалѣнія объ утраченномъ времени, такъ какъ успѣлъ въ промежуткѣ между веселыми бесѣдами написать нѣсколько истинно-художественныхъ стихотворныхъ перловъ и двѣ, три умныхъ статьи, которыми могъ остаться доволенъ. И вотъ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1827 года, на одномъ балу онъ случайно простудился. Здоровья былъ онъ слабаго: въ немъ было предрасположеніе къ чахоткѣ,—и простуды, осложнившейся воспаленіемъ легкихъ, онъ не перенесъ. 15-го марта 1827 г. онъ скончался. Веневитиновъ какъ будто предчувствовалъ свою смерть и въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи предсказалъ ее. Но съ жизнью ему было всетаки трудно прощаться.

У него было кольцо, найденное въ какой-то геркуланской могилѣ; онъ носилъ его какъ брелокъ и называлъ своимъ талисманомъ. Онъ говорилъ, что надѣнетъ его въ день своей свадьбы или въ день смерти. Друзья это знали, и вотъ, когда началась его агонія, одинъ изъ нихъ надѣлъ ему это кольцо на палецъ. Больной почувствовалъ его и въ минуту просвѣтленія спросилъ: „меня обвѣнчали?“— Нѣтъ! торжественно отвѣтили ему, и Веневитиновъ заплакалъ.

Во время болѣзни онъ былъ въ постоянномъ поэтическомъ возбужденіи, и это возбужденіе было такъ сильно, что всѣ свои мысли онъ высказывалъ окружающимъ въ стихахъ. И друзья, съ своей стороны, почтили торжественность этихъ послѣднихъ минутъ умиравшаго поэта—служеніемъ той вѣчной идеѣ, о которой въ жизни такъ много думалъ ихъ товарищъ. А. И. Кошелевъ разсказываетъ, что въ теченіи нѣсколькихъ сутокъ, проведенныхъ имъ вмѣстѣ съ Хомяковымъ у постели Веневитинова, они въ третьей комнатѣ, среди тревогъ и страховъ, много толковали и спорили о философіи вообще и о Шеллингѣ въ особенности, о христіанствѣ и другихъ жизненныхъ вопросахъ.

„Долго, пока друзья не разбрелись по разнымъ сторонамъ, сохранился среди нихъ трогательный обычай: въ день кончины Веневитинова вечеромъ собирались они на грустный пиръ и въ числѣ приборовъ, предназначенныхъ для наличныхъ собесѣдниковъ, ставился одинъ пустой въ память усопшаго".

X.

На смерть Веневитинова вся русская литературная семья отозвалась единодушной печалью,—поразительно единодушной и искренней. Его гробъ поэты засыпали стихотвореніями, и еще въ шестидесятыхъ годахъ слышались отзвуки этой панихиды.

„Лучомъ божественнаго свѣта, звукомъ гармоніи небесъ" называли его; обѣщали ему „поцѣлуи ангеловъ", утѣшали себя тѣмъ, что „геній его не могъ принадлежать землѣ"; алтарю, который онъ воздвигъ, пророчили вѣчную жизнь до „смерти свѣта"; говорили, что „невольная тоска по небесному совершенству истерзала до смерти его самолюбивый духъ". Его сравнивали съ „Волгой тихой, свѣтлой и глубокой", говорили, „что орла должно созерцать только въ небесахъ"; Веневитиновъ былъ „снѣго бѣлый" лебедь, возвѣщающій звучною пѣснью свою кончину и съ улыбкой смотрящій на „сѣтующій міръ"; вѣрили, что онъ „одѣтый въ нетлѣніе, дослышитъ свою недопѣтую пѣсню въ небесахъ"; „счастливъ—говорили—кто прожилъ какъ онъ, вѣкъ соловьиный и розы". Плакали о томъ, сколько „поцѣлуевъ и пѣсенъ потеряла въ немъ любовь, сколько желаній и ласкъ новыхъ, прекрасныхъ какъ онъ"...

Поэты впрочемъ склонны преувеличивать, но въ данномъ случаѣ ихъ поэтическія метафоры подтверждаются отзывами всѣхъ суровыхъ зоиловъ. Журналы двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ въ одинъ голосъ признали общую потерю. По ихъ мнѣнію, Веневитиновъ призванъ былъ быть „украшеніемъ нашей поэзіи и, быть можетъ, создателемъ нашей

философіи; онъ былъ проникнутъ откровеніемъ своего вѣка; глубокій самобытный поэтъ—въ немъ каждое чувство было освѣщено мыслью, каждая мысль согрѣта сердцемъ; въ познаніи самого себя находилъ онъ разрѣшеніе всѣхъ тайнъ искусства и въ собственной душѣ прочелъ начертаніе высшихъ законовъ и созерцалъ красоту созданія. Созвучіе ума и сердца было отличительнымъ характеромъ его духа и самая фантазія его была болѣе музыкою мыслей и чувствъ, нежели игрою воображенія" [И. Кирѣевскій]. „Его поэтическій даръ развернулся вдругъ подобно тѣмъ раскошнымъ цвѣтамъ, которые цвѣтутъ въ продолженіи одного теплаго утренняго часа... Онъ все затронулъ съ глубокою и самосознательной симпатіей къ сущему" [Мельгуновъ]. „Съ него начинается новая эпоха для русской поэзіи, эпоха, съ которой красота формы уступаетъ первенство красотѣ и возвышенности содержанія" [Хомяковъ]. „Онъ обѣщалъ въ себѣ то блаженное соединеніе свѣта и теплоты, ту гармонію красоты и истины, которая одна составляетъ печать истинной поэзіи" [Надеждинъ]. „Въ самой цвѣтущей юности онъ умѣлъ понимать жизнь и преждевременно былъ одаренъ совершенною опытностью" [Булгаринъ]. „Какъ гармонія міра, всюду скрытая, теряется въ безконечно пестромъ разнообразіи предметовъ видимыхъ, безпорядочно разбросанныхъ по міру своевольной рукой человѣка — такъ поэты и художники, сіи отголоски гармоніи предвѣчной, сіи звуки неба, сіи избранные пророки, теряются въ нарядной толпѣ людей обыкновенныхъ. Веневитиновъ какимъ-то свѣтлымъ пророчествомъ души заранѣе постигалъ недоступныя тайны жизни, несмотря на недостатокъ опыта" [„Галатея"]. „Ему нельзя было долго жить, ибо духовная сила перевѣсила въ немъ тѣлесную и существо его потеряло равновѣсіе; онъ мгновенно перечувствовалъ все, и земное безсмертіе промѣнялъ на небесное" [Трилунный]. „Въ немъ было художнически-рефлективное направленіе въ родѣ Гете" [Станкевичъ]. „Изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ пушкинскаго періода онъ одинъ обнималъ природу не холоднымъ умомъ, а пла-

меннымъ сочувствіемъ, и силою любви могъ проникать въ ея святилище. Онъ самъ собою составилъ бы школу, еслибъ судьба не пресѣкла безвременно его прекрасной жизни" [Бѣлинскій]. „Въ двадцать лѣтъ онъ былъ уже болѣе нежели образованнымъ человѣкомъ—онъ былъ художникъ и мыслитель" [Полевой].

Во всѣхъ этихъ отзывахъ намъ дана, конечно, не только оцѣнка заслугъ Веневитинова какъ писателя, но и отзвукъ того обаятельнаго впечатлѣнія, какое онъ производилъ какъ личность, и именно какъ личность поэта и идеалиста. „Въ его углубленномъ въ себя взорѣ и живой физіономіи было нѣчто внушающее и привлекательное", „бесѣды его были полны той высокой чистоты и нравственности, которыми онъ отличался". „Онъ и въ жизни былъ поэтомъ, его счастливая наружность, его тихая и важная задумчивость, его стройныя движенія, вдохновенная рѣчь, свѣтская непритворная любезность ручались въ томъ, что онъ и жизнь свою образуетъ какъ произведеніе изящное". „Природа сама, кажется, съ удовольствіемъ приготовила это существо. Вѣрный и независимый вкусъ, благородный и открытый образъ мыслей, свѣтлый и живой умъ, дѣтское простосердечіе и знаніе потребностей лучшаго общества, дружелюбіе и мечтательность такъ плѣнительно сливались и обнаруживались въ немъ, что, узнавъ его, нельзя было не любить. Въ его сердцѣ, такъ же какъ и въ умѣ, соединялось все лучшее. По чистотѣ собственныхъ чувствованій онъ былъ довѣрчивъ и съ удовольствіемъ дѣлился всѣми благами души своей". Такъ говорили люди, лично его знавшіе.

Въ одной изъ своихъ повѣстей [„Адель"] Погодинъ разсказалъ трогательную исторію любви [конечно вымышленную] нѣкоего рано умершаго юноши Дмитрія. Ничего сходнаго между жизнью этого Дмитрія и жизнью Дмитрія Владиміровича не было, но нѣтъ сомнѣнія, что Погодинъ думалъ о своемъ недавно скончавшемся другѣ [повѣсть написана въ 1830 г.], когда писалъ: „сколько любви кипѣло у него въ сердцѣ!

Какими особенными прекрасными свойствами отличался его умъ! Онъ ясно видѣлъ священную цѣль, назначенную человѣчеству, и былъ убѣжденъ сердечно, что она будетъ достигнута. Въ восторгѣ преклонялъ онъ колѣна предъ тѣми помазанниками, коимъ Провидѣніе представляло славный жребій увлекать къ ней толпы за собою [т. е. передъ поэтами]. Онъ пламенно любилъ отечество и съ гордостью находилъ въ исторіи и настоящемъ времени залоги тѣхъ благодѣяній, которыя воздастъ оно нѣкогда роду человѣческому. Науку ставилъ онъ выше всего, но не въ мертвыхъ буквахъ, а въ живомъ умозрѣніи, съ сердечнымъ участіемъ; и въ самомъ дѣлѣ, знанія составляли часть его тѣла, часть его бытія. Онъ радовался младенчески всякому благому успѣху, общему и частному; любилъ людей и старался оправдывать ихъ даже въ самыхъ предосудительныхъ дѣйствіяхъ"...

Надо было обладать особой притягательной силой ума и характера, чтобы у всѣхъ вызвать такое признаніе при встрѣчѣ и такую печаль при разлукѣ.

XI.

Вскорѣ послѣ смерти Веневитинова друзья выпустили въ свѣтъ полное собраніе его сочиненій въ стихахъ и въ прозѣ. Это были два маленькихъ изящно отпечатанныхъ томика. Они не возбуждаютъ въ насъ теперь тѣхъ восторженныхъ чувствъ, съ какими они были нѣкогда встрѣчены. Многое, разумѣется, въ нихъ устарѣло, но кое-что сохранило свою свѣжесть и какъ художественно-совершенное никогда ея не утратитъ.

Проза Веневитинова сильно потускнѣла. Его философскіе діалоги и монологи, равно какъ и философскія стихотворенія въ прозѣ, сентиментально-романтическія по настроенію, съ кудряво-формулированной мыслью, навѣянной нѣмецкими идеалистами,—остаются, правда, любопытными матерьялами для исторіи воздѣйствія западной философіи на русскую и

хорошими образчиками стараго философскаго языка. Критическія же статьи о литературныхъ новинкахъ, какъ и статья о томъ, каково должно быть истинно-русское просвѣщеніе—въ свое время надѣлали много шума, но теперь совсѣмъ отошли въ область исторіи, растворившись безъ остатка въ пріемахъ и сужденіяхъ критики позднѣйшей.

Извѣстную стоимость сохранили переводы Веневитинова изъ Гете, но они—незначительный придатокъ къ его оригинальнымъ стихотвореніямъ.

Эти стихотворенія—единственное, что намъ осталось въ оправданіе той славы, которой Веневитиновъ нѣкогда пользовался. Ихъ немного — десятка два, и добрая половина ихъ—упражненія въ извѣстномъ стилѣ или стихи на случай, довольно обычныя.

Но есть въ этой тетрадкѣ нѣсколько стихотвореній, которыя опредѣлили навсегда физіономію поэта и заполнили въ исторіи развитія нашей лирики совершенно самобытную страницу.

Поэзія Пушкина, какъ извѣстно, вмѣщала въ себѣ мотивы и тональности пѣсенъ многихъ его современниковъ, и не было стихотворенія Дельвига, Языкова, Туманскаго, Козлова, которое въ стихахъ Пушкина не нашло бы себѣ достойной параллели или, чаще, болѣе совершеннаго образца. Стихи Веневитинова, какъ и стихи Баратынскаго составляютъ исключеніе: въ нихъ есть своеобразный элементъ, который въ нашей лирикѣ, не только тогдашней, но и позднѣйшей, попадается крайне рѣдко. Это — элементъ чистой философской мысли: умозрѣніе, переданное не только въ формѣ аллегорическаго или символическаго образа, но и въ своемъ чистомъ видѣ, въ видѣ мысли, втѣсненной въ размѣрную рѣчь и заостренной риѳмой...

Эта философская мысль сосредоточена въ стихотвореніяхъ Веневитинова вокругъ одного основного вопроса—о значеніи эстетическаго начала въ жизни. Трудная проблема, конечно, не рѣшена, даже не развита съ достаточной полнотой; она только намѣчена и служитъ лишь фономъ, на которомъ

авторъ вырисовываетъ свою любимую фигуру—образъ юноши-поэта, осужденнаго на раннюю смерть и носящаго въ опечаленномъ сердцѣ тяжесть сознанія своего мірового назначенія.

XII.

„Одно чувство наслажденія при взглядѣ на какое-нибудь изящное произведеніе для насъ неудовлетворительно—говорилъ Веневитиновъ. Мы хотимъ спросить, какою силою оно возбуждается, въ какой связи находится съ прочими способностями человѣка [„Письмо къ графинѣ А. И. Трубецкой"]. „Мы должны осмыслить наши эстетическія эмоціи и привести ихъ въ связь съ тѣмъ, что мы цѣнимъ въ насъ всего болѣе—съ нашей высшей духовной дѣятельностью, съ умозрѣніемъ. Всякое художественное произведеніе не есть вымыселъ, а есть правда жизни. Фантазія, эта волшебница, которой мы обязаны прелестнѣйшими минутами въ жизни, облекая высокое въ свою радужную одежду, не искажаетъ лицо свѣтлаго луча истины, но дробитъ его на всевозможные цвѣты. Не то ли же самое дѣлаетъ природа? Не для того ли созданы всѣ чувства человѣка, чтобъ на богатомъ древѣ жизни породить мысль, сей божественный плодъ, пріуготовленный цвѣтами фантазіи?" [„Утро полдень, вечеръ и ночь"]. „Искусство не придатокъ къ жизни, а настоящая творческая сила, которая вмѣстѣ съ философіей творитъ жизнь во всѣхъ ея даже реальныхъ проявленіяхъ". „Философія и всѣ искусства, тѣсно связанныя между собой, изъ общаго источника разливаютъ дары свои на смертныхъ и волшебная сила гармоніи, воздвигая стѣны и образуя общества, въ мѣрныхъ тонахъ преподавала человѣчеству простые, но безсмертные законы" [„Разборъ разсужденія г. Мерзлякова о началѣ и духѣ древней трагедіи"]. „Первое чувство никогда не творитъ, и не можетъ творить; потому что оно всегда представляетъ согласіе. Чувство только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ и тогда, уже снова

обратившись въ чувство, является въ произведеніи. И потому истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ, были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія" [„Нѣсколько мыслей въ планъ журнала"].

„Весь міръ—престолъ нашей матери, говорили устами Веневитинова три сестры, три искусства—скульптура, живопись, музыка; ее изображалъ и мраморъ и холстъ на землѣ: ее прославляли лиры пѣснопѣвцевъ; но она останется недосягаемою для чувствъ смертнаго; наша мать—Поэзія; вѣчность—ея слава; вселенная—ея изображеніе". [„Скульптура, живопись и музыка"]. „Всѣ дары духа, данные человѣку, сообща приближаютъ его къ золотому вѣку, нѣкогда дѣйствительно существовавшему и ожидающему насъ въ будущемъ. Она снова будетъ, эта эпоха счастія, о которой мечтаютъ смертные. Нравственная свобода будетъ общимъ удѣломъ—всѣ познанія человѣка сольются въ одну идею о человѣкѣ—всѣ отрасли наукъ сольются въ одну науку „самопознанія". „Что до времени?—говоритъ поэтъ. Меня давно не станетъ, но меня утѣшаетъ эта мысль. Умъ мой гордится тѣмъ, что я предузнавалъ, и, можетъ быть, ускорилъ будущее.—Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество. Пусть Солнце поглотитъ нашу планету, пусть враждебныя стихіи расхитятъ разнородныя части, ее составляющія!!! Она исчезнетъ, но, совершивъ свое предназначеніе, исчезнетъ какъ ясный звукъ въ гармоніи вселенной" [„Бесѣда Платона съ Анаксагоромъ"].

Всѣ эти красивыя строки не столько мысли, сколько поэтическія настроенія Къ такому краснорѣчію располагала Веневитинова и слишкомъ общая постановка вопроса, и поэтическое впечатлѣніе, вынесенное имъ изъ статей Шеллинга, откуда всѣ эти мысли взяты.

Но навертывалась одна мысль, болѣе опредѣленная, и она требовала болѣе яснаго отвѣта. Можно было признать искусство силой, которая наравнѣ съ другими участвуетъ

въ созданіи нашей жизни. Но въ какомъ отношеніи долженъ былъ стоять поэтъ къ тому, что называется злобой дня? Онъ могъ своими созданіями торопить наступленіе счастливаго времени, но какъ долженъ онъ былъ относиться къ самому переживаемому моменту, къ его нравственной, а потому и соціальной и политической сущности? Имѣлъ ли онъ право игнорировать моментъ въ этомъ именно смыслѣ, служа вѣчному и тѣмъ самымъ косвенно всетаки вліяя на современность? Веневитиновъ, несмотря на то, что въ 1825 году политическая лихорадка его слегка потрепала, рѣшилъ этотъ вопросъ безповоротно. Онъ оправдывалъ Платона за то, что онъ, увѣнчавъ истинныхъ поэтовъ цвѣтами, просилъ ихъ оставить предѣлы его государства. Вмѣстѣ съ Платономъ Веневитиновъ почиталъ поэзію не *вредною* для общества въ тѣсномъ смыслѣ слова, а *безполезною*. „Республика, говорилъ Платонъ устами Веневитинова, должна быть составлена изъ людей мыслящихъ, и потому дѣйствующихъ. Къ такому обществу можетъ ли принадлежать поэтъ, который наслаждается въ собственомъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и слѣдственно уклоняется отъ цѣли всеобщаго (?) усовершенствованія? Философія есть высшая поэзія“ [„Бесѣда Платона съ Анаксагоромъ“]. Веневитиновъ нѣсколько самоувѣренно позволилъ себѣ говорить въ данномъ случаѣ отъ лица Платона и, хоть въ дальнѣйшемъ теченіи своего монолога онъ и заставилъ греческаго мудреца восторженно говорить о поэтѣ, тѣмъ не менѣе не совсѣмъ понятно, какъ можетъ поэтъ уклоняться отъ цѣли *всеобщаго* усовершенствованія, когда именно въ этомъ все міровое назначеніе искусства, какъ насъ увѣрялъ Веневитиновъ. Очевидно—въ данномъ случаѣ допущена простая неточность выраженія. Если, какъ говорятъ Платонъ и Веневитиновъ, философія есть высшая поэзія, а философы призваны управлять государствомъ, то поэзія не вычеркнута изъ числа силъ, дающихъ направленіе нашей жизни; если же отъ *всеобщаго* усовершенствованія поэты уклоняются, то

это должно понимать въ томъ смыслѣ, что они не хотятъ участвовать въ усовершенствованіи *общемъ*, т.-е. общественномъ въ тѣсномъ значеніи этого слова. Съ такимъ толкованіемъ согласна и одна страница, вставленная Веневитиновымъ въ его полемику съ профессоромъ Мерзляковымъ. Возражая своему профессору на его мысли объ участіи поэзіи въ ходѣ развитія греческой политической жизни, нашъ эстетикъ восклицалъ: „кто ожидалъ бы, чтобъ въ нашемъ вѣкѣ взирали на поэзію какъ на „орудіе политики"? Какъ?! Поэзія должна влачить оковы рабства отъ самой колыбели? Безполезно опровергать эту мысль.—Тотъ, кто питаетъ въ сердцѣ страсть къ искусствамъ, страсть къ просвѣщенію самъ ее отброситъ". Веневитиновъ не мотивировалъ подробно этой мысли, но, очевидно, онъ былъ убѣжденъ, что искусство никакой суеты не терпитъ и отъ злобы дня сторонится.

XIII.

Всю совокупность только что изложенныхъ взглядовъ Веневитиновъ изъ области разсужденія перенесъ въ область чистой поэзіи.

Гимнъ поэту—вотъ сущность его самыхъ сильныхъ стихотвореній—тѣхъ, которыя въ тогдашней лирикѣ не имѣли себѣ равныхъ.

Въ преддверіи вѣчности поетъ пѣвецъ свою пѣсню любви и вѣры. Великій чистый духъ благословилъ его этимъ даромъ пѣснопѣнія и не только для міра юдоли, но для выполненія иной, болѣе великой задачи. Поэтъ переживетъ міръ. Среди развалинъ міра его пѣсня можетъ гремѣть столь же свободно во славу таинственнаго начала всей космической жизни:

Къ тебѣ, о чистый Духъ, источникъ вдохновенья,
На крыліяхъ любви несется мысль моя:
Она затеряна въ юдоли заточенья,
И все зоветъ ее въ небесные края.
Но ты облекъ себя въ завѣсу тайны вѣчной:

Напрасно силится мой духъ къ тебѣ парить.
Тебя читаю я во глубинѣ сердечной,
И мнѣ осталося надѣяться, любить.
Греми надеждою, греми любовью, лира!
Въ преддверьи вѣчности, греми его хвалой!
И если бъ рухнулъ міръ, затмился свѣтъ эфира
И хаосъ задавилъ природу пустотой,—
Греми! Пусть сѣтуютъ среди развалинъ міра
Любовь съ надеждою и вѣрою святой! [«Сонетъ»].

Если пѣснь пѣвца беретъ свое начало въ глубинахъ чистаго предвѣчнаго Духа, то обладаніе этимъ божественнымъ даромъ—удѣлъ немногихъ:

Блаженъ, кому судьба вложила
Въ уста высокій даръ рѣчей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила.
Какъ Прометей похитилъ онъ
Творящій лучъ, небесный пламень
И вкругъ себя, какъ Пигмальонъ
Одушевляетъ хладный камень.
Немногіе сей дивный даръ
Въ удѣлъ счастливый получаютъ,
И рѣдко, рѣдко сердца жаръ
Уста послушно выражаютъ. [«Поэтъ и другъ»].

Всякое избраніе обязываетъ. Думать, что можно сочетать блага земной жизни съ небесной миссіей, было бы безразсудно. Самое цѣнное земное благо—жизнь должна быть принесена въ жертву тайнѣ общенія съ Богомъ. Но для художника смерть есть лишь возрожденіе, и не возрожденіе за гробомъ, а вторая жизнь, здѣсь на землѣ: надъ истинно художественной пѣснью время не властно:

Природа не для всѣхъ очей
Покровъ свой тайный подымаетъ:
Мы всѣ равно читаемъ въ ней,
А кто, читая, понимаетъ?
Лишь тотъ, кто съ юношескихъ дней
Былъ пламеннымъ жрецомъ искусства,
Кто жизни не щадилъ для чувства,
Вѣнецъ мученьями купилъ,
Надъ суетой вознесся духомъ

И сердца трепетъ жаднымъ слухомъ
Какъ вѣщій голосъ изловилъ!—
Тому, кто жребій довершилъ,
Потеря жизни не утрата—
Безъ страха міръ покинетъ онъ.
Судьба въ дарахъ своихъ богата,
И не одинъ у ней законъ:
Тому—процвѣсть съ развитой силой
И смертью жизни слѣдъ стереть.
Другому—рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой [«Поэтъ и другъ»].

Но что же поэтъ имѣетъ сказать міру? Жизнь кипитъ передъ нимъ „какъ океанъ безбрежный". Найдетъ ли онъ надежный утесъ, на который могъ бы твердой ногой опереться?—

Иль вѣчнаго сомнѣнья полный,
Онъ будетъ горестно глядѣть
На перемѣнчивыя волны,
Не зная, что любить, что пѣть?

Но вотъ художникъ получаетъ приказаніе свыше:

Открой глаза на всю природу—
Но дай имъ выборъ и свободу,
Твой часъ еще не наступалъ;
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывной
Отзывной пѣснью отвѣчай!
Когда-жъ минуты удивленья
Какъ сонъ туманный пролетятъ
И тайны вѣчнаго творенья
Яснѣй прочтетъ спокойный взглядъ:—
Смирится гордое желанье
Обнять весь міръ въ единый мигъ,
И звуки тихихъ струнъ твоихъ
Сольются въ стройныя созданья [«Я чувствую, во мнѣ горитъ»].

Тихія струны, стройныя созданья, смиреніе гордыхъ желаній—все показываетъ, что истинный поэтъ не только разгадчикъ великихъ тайнъ, но и царь надъ страстями. Внѣшній міръ для него предметъ созерцанія, а не волненія; онъ не

рабъ минуты, онъ принадлежитъ самому себѣ и безраздѣльно:

Смири преступныя волненья:
Не ищетъ въ чужѣ утѣшенья
Душа богатая собой! [«Посланіе къ Рожалину»].

Для людей живетъ эта богатая душа, но какъ будто бы не среди нихъ: она очень аристократична; она сторонится отъ всѣхъ; всякое прикосновеніе толпы для нея почти что обида. Согрѣтая возвышенными страстями, она хочетъ казаться холодной и нѣмой. „Не отдавай души моей“, молится поэтъ своему ангелу—

На жертву суетнымъ желаньямъ,
Но воспитай спокойно въ ней
Огонь возвышенныхъ страстей.
Уста мои сомкни молчаньемъ,
Всѣ чувства тайной осени;
Да взоръ холодный ихъ не встрѣтитъ,
И лучъ тщеславья не просвѣтитъ
На незамѣченные дни. [«Моя молитва»].

Подальше отъ людей:

Не вѣрь, чтобъ люди разгоняли
Сердецъ возвышенныхъ печали.--
Гордись, что ими ты забытъ,
Ихъ равнодушное безстрастье
Тебѣ да будетъ похвалой.
Зарѣ не улыбался камень,
Такъ и сердецъ небесный пламень
Толпѣ бездушной и пустой
Всегда былъ тайной непонятной!
Встрѣчай ее съ душой булатной
И не страшись отъ слабыхъ рукъ
Ни сильныхъ ранъ, ни тяжкихъ мукъ.
[«Посланіе къ Рожалину»].

Всѣ эти мысли, въ которыхъ такъ поэтично оттѣнено одинокое положеніе поэта среди толпы, Веневитиновъ слилъ въ одномъ образѣ удивительно красивомъ и глубокомысленномъ:

Тебѣ знакомъ ли сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья?
Узналъ ли-бъ межь земныхъ сыновъ
Ты рѣчь его, его движенья?—
Не вспыльчивъ онъ, и строгій умъ
Не блещетъ въ шумномъ разговорѣ,
Но ясный лучъ высокихъ думъ
Невольно свѣтитъ въ ясномъ взорѣ.
Пусть вкругъ него, въ чаду утѣхъ,
Бунтуетъ вѣтреная младость,—
Безумный крикъ, нескромный смѣхъ
И необузданная радость:
Все чуждо, дико для него,
На все безмолвно онъ взираетъ;
Лишь что-то рѣдко съ устъ его
Улыбку бѣглую срываетъ.
Его богиня—простота,
И тихій геній размышленья
Ему поставилъ отъ рожденья
Печать молчанья на уста;
Его мечты, его желанья,
Его боязни, ожиданья,
Все тайна въ немъ, все въ немъ молчитъ;
Въ душѣ заботливо хранитъ
Онъ неразгаданныя чувства;
Когда-жъ внезапно что нибудь
Взволнуетъ огненную грудь,—
Душа безъ страха, безъ искусства,
Готова вылиться въ рѣчахъ
И блещетъ въ пламенныхъ очахъ.
И снова тихъ онъ, и стыдливый
Къ землѣ онъ опускаетъ взоръ,
Какъ будто бъ слышалъ онъ укоръ
За невозвратные порывы.
О, если встрѣтишь ты его
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ.
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья! [«Поэтъ»].

XIV.

Въ такомъ строгомъ и величественно печальномъ образѣ воплотились тѣ длинные споры, въ которыхъ Веневитиновъ и его друзья изощряли свой философскій умъ и свое остроуміе. Этотъ образъ, конечно, не исчерпываетъ содержанія всѣхъ тѣхъ мыслей, которыя волновали нашихъ молодыхъ философовъ. Но стоитъ только хоть бѣгло ознакомиться съ этими мыслями, чтобы увидать въ стихотвореніи Веневитинова попытку ихъ поэтическаго облеченія.

Мистическая любовь къ поэзіи, религіозное преклоненіе передъ ней, философское оправданіе ея какъ самой таинственной и животворной силы въ мірѣ—было, выражаясь старымъ словомъ, „вѣяніемъ“ той „романтической“ эпохи.

Вѣяніе это проникало къ намъ преимущественно изъ Германіи. Нѣмецкимъ поэтамъ и философамъ обязаны мы тѣмъ расширеніемъ взгляда на роль поэта въ жизни, которое исправило односторонность и узость эстетическаго міровоззрѣнія господствовавшихъ въ XVIII вѣкѣ классицизма и сентиментализма. Въ самомъ концѣ XVIII вѣка и въ началѣ XIX вѣка Германія была той страной, гдѣ на поэта была возложена самая святая миссія и гдѣ ему даны были самыя широкія полномочія. Германія имѣла право на такое обожествленіе поэта, потому что изъ всѣхъ культурныхъ странъ она въ тѣ годы была страной наиболѣе богатой истинными геніями. Шиллеръ только что умеръ, Гете и его сверстники были живы и цвѣла знаменитая „романтическая“ школа...

Разцвѣтъ этой школы совпалъ съ очень тревожнымъ историческимъ моментомъ. Во время и послѣ Революціи и Имперіи, въ эпоху затишья общественной жизни, въ годы упадка соціальныхъ страстей — появился въ Германіи этотъ новый герой, который долженъ былъ затмить всѣхъ недавно прославленныхъ героевъ и на котораго, какъ на

новаго реформатора міра, были теперь обращены всѣ взоры. Этотъ герой былъ—служитель искусства.

Люди какъ будто извѣрились въ силѣ и пользѣ непосредственнаго активнаго вмѣшательства человѣка въ ходъ событій, хотя и не утратили вѣры въ возможность мирнаго разрѣшенія тѣхъ нравственныхъ и соціальныхъ проблемъ, рѣшеніе которыхъ обходилось такъ дорого. Къ этой цѣли, думали они, должно идти инымъ путемъ, чѣмъ тотъ, который былъ избранъ раньше, и перевоспитать и осчастливить человѣка нужно иными, болѣе прочными и надежными средствами, чѣмъ тѣ, которыя были раньше испытаны. Этотъ новый путь къ свободѣ, къ счастію, къ братству пролегалъ—полагали они—черезъ область изящнаго, и *эстетическое* воспитаніе человѣчества должно было предшествовать воспитанію *цивическому*.

На первый взглядъ можетъ показаться совсѣмъ невѣроятнымъ, какъ люди—свидѣтели завершавшейся великой трагедіи, въ которой разыгрались всѣ человѣческія страсти и въ которой съ такой кровавой очевидностью обнаруживалась вся порывистость и сложность психической организаціи человѣка—какъ люди могли такъ наивно повѣрить въ спасительную силу искусства и подумать, что искусство осуществитъ то, чего не достигло совмѣстное дѣйствіе и борьба всѣхъ страстей въ человѣческомъ сердцѣ. А между тѣмъ нѣмецкіе художники конца XVIII и начала XIX вѣка въ это вѣрили, вѣрили со всей непринужденной искренней наивной вѣрой, и тѣмъ достигли того душевнаго покоя, той самоувѣренности и ясности взгляда на свое призваніе, отсутствіе которыхъ обыкновенно такъ болѣзненно ощущаетъ служитель красоты, затертый шумящей вокругъ него жизнью.

Если изъ этихъ мечтаній и разсужденій объ искусствѣ для самой жизни и не получилось никакой прямой выгоды, если поэты и не приблизили жизнь къ желанному нравственному и соціальному идеалу, то въ выгодѣ остались всетаки

художники, которые въ это мимолетное мгновеніе почувствовали себя столь счастливыми и властными.

Въ ихъ глазахъ всѣ люди дѣла, всѣ общественные дѣятели, всѣ трибуны, публицисты, ораторы, законодатели, вожди партій, вожди военные, всѣ ученые и мыслители были дискредитированы недавними событіями. Довѣрять кому-либо изъ прежнихъ общественныхъ дѣятелей они не могли. Всѣ герои оказались весьма грѣшными и несовершенными людьми, и только одинъ герой, менѣе всего стоявшій на виду, сохранилъ чистую совѣсть. Это былъ—поэтъ. На его ризѣ пятенъ крови не было; если подчасъ въ лицѣ кое-какихъ слабыхъ или слишкомъ увлеченныхъ членовъ своей семьи онъ и взывалъ къ возстанію, и дѣлалъ свою пѣсню рабыней минуты, пѣлъ вражду и ненависть, то въ лицѣ большинства онъ, и въ этотъ страшный часъ разгорѣвшихся страстей, успокаивалъ людей, умиротворялъ ихъ, взывалъ къ единенію, любви и братству.

Никогда еще вѣра во всемогущество искусства не была такъ сильна у нѣмецкихъ идеалистовъ—нашихъ ближайшихъ учителей—какъ въ эти годы, когда Германія одержала надъ цѣлымъ міромъ рѣшительную и единственную въ своемъ родѣ побѣду—покоривъ весь міръ силою своей философской мысли и силою своего художественнаго творчества; и думать такъ высоко о поэтѣ и объ искусствѣ она могла именно потому, что у ней налицо имѣлась поэзія огромной силы, и она располагала философской мыслью, единственной по своей глубинѣ.

Переживъ эпоху бури и натиска, нѣмецкій поэтъ причалилъ къ мирной пристани, и воздвигъ въ знакъ своего спасенія жертвенникъ языческимъ богамъ древности,—въ сущности великому пантеистическому богу. Этотъ жертвенникъ онъ впрочемъ скоро разрушилъ, и на его мѣсто поставилъ алтарь христіанскому Богу, окруживъ этотъ алтарь всей обстановкой рыцарской и монашеской и всей блестящей внѣшностью эпохи Возрожденія.

Наступили годы религіознаго „романтизма“, самаго глубокаго, туманнаго и мистическаго—отъ жизни дѣйствительной,

повидимому, совсѣмъ отрѣшеннаго. Поэтъ романтикъ, съ пренебреженіемъ относясь къ минутѣ, хотѣлъ жить для вѣчности, но, живя для вѣчности, онъ не отрекался отъ нравственнаго воздѣйствія на жизнь. Только не отъ моральной проповѣди, не отъ политическаго трактата, не отъ общественнаго движенія ожидалъ онъ этого воздѣйствія. Онъ ждалъ его отъ красоты и ея обнаруженія въ мірѣ. Утопая въ видѣніяхъ, поэтъ считалъ себя правымъ не только какъ художникъ, но считалъ себя и нравственно правымъ. Эстетическій миражъ сталъ для него панацеей всѣхъ золъ житейскихъ.

Отчужденіе отъ видимой дѣйствительности романтики возвели въ первое и неизбѣжное условіе всякаго истиннаго вдохновенія. Весь міръ превратился для нихъ въ видѣніе, въ сонъ красивый, а потому и истинный и добрый; и этотъ сонъ можно было принять за реальность — такъ онъ былъ поэтиченъ и такъ глубокомысленно былъ онъ истолкованъ.

Поэтамъ и прозаикамъ онъ приснился, а истолковалъ его Шеллингъ, поэтъ и философъ, какого міръ не видалъ со временъ Платона.

Въ заключительной главѣ своей „Системы трансцендентальнаго идеализма“ 1800 г. [Schellings Sämmtliche Werke. Erste Abtheilung. Dritter Band. Stuttgart, 1858] изложилъ Шеллингъ свою „философію искусства“.

Художественное произведеніе [die aestetische Production] признано было въ этой „Системѣ“ за единственное и вѣчное чудо, въ которомъ разрѣшается противорѣчіе свободнаго и не свободнаго дѣйствія; оно одно способно удовлетворить наше вѣчное безконечное стремленіе и только оно одно даетъ намъ чувство безконечной гармоніи, устраняющее противорѣчія между дѣйствіемъ сознательнымъ и безсознательнымъ. Не себѣ приписываетъ художникъ разрѣшеніе этого противорѣчія, но добровольной благодати своей природы, которая такъ милостиво утишила въ немъ болѣзненное ощущеніе этого противорѣчія. Каковы бы ни были намѣренія худож-

ника, но онъ находится подъ давленіемъ силы, которая отличаетъ его отъ всѣхъ людей, которая заставляетъ его высказывать и изображать то, въ чемъ онъ самъ не можетъ отдать себѣ полнаго отчета и смыслъ чего безконеченъ. Абсолютное совпаденіе и гармонія свободы и необходимости и гармонія сознательнаго дѣйствія и безсознательнаго въ произведеніи искусства—не могутъ быть разъяснены; они—явленіе, которое, хотя оно и непонятно, но отрицаемо быть не можетъ, и потому искусство и есть единственное чудо, единственное откровеніе [Werke III, 617—8]. Всякое эстетическое творчество въ своемъ принципѣ—говорилъ философъ—абсолютно свободно, такъ какъ художникъ побуждается къ такому дѣйствію противорѣчіемъ, которое лежитъ внутри его самого, въ самомъ святилищѣ его собственной природы, тогда какъ всякое другое произведеніе вызвано противорѣчіемъ, которое лежитъ внѣ человѣка, и потому дѣйствіе его имѣетъ внѣшнюю цѣль. Изъ этой независимости отъ внѣшнихъ цѣлей вытекаетъ святость и чистота искусства. Эта святость и чистота не позволяютъ признать родства искусства не только съ тѣмъ, что называется чувственнымъ удовольствіемъ [Sinnenvergnügen]—и чего развѣ только варварство можетъ требовать отъ искусства въ столѣтіе, которое въ экономическихъ измышленіяхъ [ökonomische Erfindungen] готово видѣть высшее проявленіе человѣческаго духа,—но эта чистота и святость кладутъ грань между искусствомъ и всѣмъ, что относится къ моральности, даже къ наукѣ, которая по своему безкорыстію всего ближе подходитъ къ искусству [Werke III, 622—623].

Эстетическое воззрѣніе, говорилъ философъ, есть тоже трансцендентальное, но ставшее объективнымъ, и потому искусство единственно вѣчный и истинный органъ и документъ философіи, который всегда и постоянно подтверждаетъ съизнова то, чему философія не можетъ дать внѣшняго выраженія, а именно—безсознательное въ поступкахъ и дѣйствіяхъ [im Handeln und Produciren] и его первоначальное

тожество съ сознательнымъ. Для философа искусство потому самое высшее, что оно отворяетъ ему святая святыхъ, гдѣ въ вѣчномъ и первоначальномъ сочетаніи, какъ бы въ единомъ огнѣ, горитъ то, что въ природѣ и исторіи разобщено, что въ жизни и дѣйствіи, равно какъ и въ мышленіи, должно вѣчно другъ друга отталкивать [ewig sich fliehen muss]. То воззрѣніе на природу, которое философъ искусственно для себя вырабатываетъ, — оно въ искусствѣ естественно и первоначально. То, что мы называемъ природой, это—стихотвореніе, написанное чудесными и таинственными письменами... Сквозь чувственный міръ [die Sinnenwelt] какъ сквозь слова проглядываетъ смыслъ, какъ сквозь полупрозрачный туманъ страна фантазіи, къ которой мы тяготѣемъ. Чудесная картина возникаетъ, когда падаетъ тотъ незримый покровъ [die unsichtbare Scheidewand], который отдѣляетъ міръ дѣйствительный отъ идеальнаго; она — какъ бы окно [die Oeffnung], сквозь которое намъ становятся видимы образы и страны того міра фантазіи, который только несовершеннымъ образомъ просвѣчиваетъ сквозь міръ дѣйствительный. Для художника природа не большее, чѣмъ она для философа, а именно, она—идеальный міръ, который намъ является при постоянныхъ ограниченіяхъ [unter beständigen Einschrenkungen]: она — только несовершенное отраженіе міра, который находится не внѣ ея, а въ ней самой [Werke III, 627—628].

Если къ этому поэтическому, хотя нѣсколько туманному славословію искусства, какъ высшаго откровенія мудрости, какъ высшей способности человѣка проникать въ тайну міра, какъ единственной данной человѣку возможности гармонически сочетать вѣчно разъединенное—свободу и необходимость, безсознательное и сознательное, — если ко всему этому мы добавимъ исторіософскіе взгляды Шеллинга, то первенствующее значеніе искусства въ жизни выступитъ съ еще большей опредѣленностью.

Хотя самъ Шеллингъ и не выяснялъ подробно вопроса о связи красоты и добра и о непосредственномъ вліяніи кра-

соты на этическій порядокъ міра, но его ученіе объ искусствѣ, какъ о высшемъ сочетаніи свободы и необходимости, оттѣняло достаточно ясно ту великую роль, которая въ ходѣ жизни отведена художнику. Смыслъ прогресса, по мнѣнію Шеллинга, заключался въ смѣнѣ царства Судьбы, подъ властью которой человѣчество въ древнѣйшія времена находилось, царствомъ Предопредѣленія, которое должно наступить въ будущемъ, и въ этомъ царствѣ божественнаго Предопредѣленія и должно было совершиться гармоничное примиреніе человѣческой свободы и необходимости, и восторжествовать истинно религіозное міросозерцаніе, одинаковое далекое и отъ фатализма и отъ атеизма [Werke III, 592—604]. Одному художнику было доступно, такимъ образомъ, какъ бы предвкушеніе этого грядущаго порядка, и моментъ художественнаго творчества, моментъ неизъяснимаго вдохновенія, былъ признанъ единственной минутой, когда человѣкъ можетъ заглянуть въ святая святыхъ жизни и почувствовать что „абсолютное“, не уничтожая его свободы и сознанія, находитъ въ немъ и его дѣятельности свое „Откровеніе“, такъ какъ вся исторія есть не что иное, какъ именно такое „откровеніе“, „обнаруженіе“ абсолюта.

XV.

Эти мысли нѣмецкаго философа нашли себѣ отзвукъ и въ нашей, тогда еще совсѣмъ скудной, философской литературѣ. А. Галичъ повторялъ и пояснялъ ихъ въ своемъ „Опытѣ науки изящнаго“ [Спб. 1825 г.]. Изящное онъ опредѣлялъ какъ „чувственно-совершенное проявленіе значительной истины свободною дѣятельностью нравственныхъ силъ генія“. „Въ ряду истиннаго и добраго“ ставилъ Галичъ красоту и полагалъ, что „изящное не можетъ служить никакимъ сторонним видамъ“; „изящное приводитъ всѣ силы души человѣка въ легкое и равномѣрное движеніе—говорилъ онъ—и погружаетъ въ чувство блаженства и самодовольствія, примиряя

ее съ жизнію, которая напрасно ожидаетъ подобныхъ выгодъ отъ науки даже нравственной".

Галичъ былъ, какъ извѣстно, лицейскимъ учителемъ Пушкина. Быть можетъ, еще въ тѣ годы онъ говорилъ своимъ ученикамъ о такомъ высокомъ призваніи художника, но ученики тогда едва ли могли заинтересоваться этими отвлеченностями. Въ ихъ глазахъ Галичъ былъ, кажется, не столько профессоромъ, сколько „младшимъ братомъ Эпикура" и „парнасскимъ бродягой"—какъ его прозвалъ Пушкинъ.

Московскіе шеллингіанцы въ своемъ преклоненіи передъ искусствомъ не ограничивались только разсужденіемъ; въ большомъ почетѣ былъ у нихъ и тотъ художественный комментарій къ словамъ Шеллинга, который они находили въ богатой нѣмецкой романтической поэзіи. Изъ нѣмецкихъ „романтиковъ" тогда имъ особенно нравились Лудвигъ Тикъ, Вакенродеръ и Новалисъ. Сочиненіе Вакенродера „Phantasien über die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder" была переведена друзьями Веневитинова на русскій языкъ подъ заглавіемъ „Объ искусствѣ и художникахъ". „Размышленія отшельника. любителя изящнаго" [Москва 1826 г.]. Изъ сочиненій Тика большимъ успѣхомъ пользовалось „Жизнеописаніе Франца Штернбальда". Усердно читался также и романъ Новалиса „Генрихъ фонъ Офтердингенъ".

Всѣ эти романы и разсказы были въ сущности философскіе трактаты на тему о призваніи художника въ мірѣ. „Только божественнымъ внушеніемъ—говорилось въ нихъ—дается художнику возможность создать великое; своимъ лучшимъ созданіемъ художникъ обязанъ непосредственному вмѣшательству чудеснаго и вся наша свѣтская болтовня о вдохновеніи художника—прямой грѣхъ, такъ какъ мы думаемъ судить о человѣкѣ, которому Богъ непосредственно оказываетъ поддержку. И отъ Бога не только способность творить изящное, но и способность имъ наслаждаться, такъ какъ истинное созерцаніе художника есть молитва, есть то чистое вознесеніе души къ Богу, въ которомъ связь наша съ нимъ всего

тѣснѣе и чище. Великіе художники, это—тѣ же пророки, которыхъ Богъ посылаетъ на землю, чтобы о себѣ напомнить" [Вакенродеръ]. „Это общеніе человѣка съ Богомъ происходитъ не только тогда, когда мысль и чувства художника устремлены на божественные предметы—нѣтъ! всякое художественное произведеніе есть откровеніе Божіе. Художникъ не столько человѣкъ, сколько воздушное созданіе, изъ семьи фей или кобольдовъ; но онъ во всякомъ случаѣ духъ добрый, а не призрачное созданіе темной силы для обольщенія человѣчества; онъ не можетъ быть такимъ, такъ какъ на немъ лежитъ особая религіозная миссія. Небеса съ магнетической силой притягиваютъ его сердце, притомъ небеса христіанскія. Его подвигъ, хотя бы тѣ краски, которыя онъ бросаетъ на полотно—тотъ-же подвигъ, что и смерть мученика во славу своего Бога. Можно сказать даже больше, что Богъ иногда разрѣшаетъ художнику проникнуть въ тайну своего творенія. Великій Творецъ для нашихъ слабыхъ чувствъ явилъ себя въ природѣ и не самъ Онъ говоритъ съ нами, такъ какъ мы слишкомъ слабы, чтобы уразумѣть его; въ каждой травкѣ, въ каждомъ камнѣ даетъ Онъ намъ намекъ на себя. Почти такъ же поступаетъ и художникъ: чуждые, чудные и незнакомые намъ лучи свѣтятся изъ него и онъ заставляетъ играть эти волшебные огни сквозь кристаллы искусства передъ глазами простыхъ смертныхъ, чтобы мы не пугались его и по своему его поняли. И тогда-то закончено его созданіе, и вся жизнь человѣческая, залитая небеснымъ свѣтомъ, лежитъ передъ глазами зрителя; и тайно вплетены въ эту жизнь цвѣты,—о которыхъ и самъ художникъ ничего не знаетъ, цвѣты, насажденные перстомъ Божіимъ: эѳирнымъ волшебствомъ вѣютъ они на насъ и говорятъ о томъ, что художникъ—Божій любимецъ" [Тикъ].

Если художнику дана возможность такого тѣснаго общенія съ Богомъ, то ему же данъ и даръ прозрѣнія всѣхъ самыхъ глубочайшихъ тайнъ природы, которая сама есть откровеніе Божіе. Искусство и природа, это два языка, какими

Богъ говоритъ съ людьми. Для поэта природа вѣчно живая ткань, живой покровъ, которымъ облечено Божество и который онъ одинъ дерзаетъ иногда приподнимать, чтобы заглянуть въ великое святилище, гдѣ живетъ неизреченная тайна.

Но и въ дѣлахъ чисто земныхъ поэтъ такой же ясновидящій, какъ и въ вопросахъ самыхъ таинственныхъ и высокихъ. „Его дѣтская непредубѣжденная наивность вѣрнѣе находитъ дорогу сквозь лабиринтъ событій чѣмъ мудрость, сбитая съ пути разсчетами на собственную выгоду и ослѣпленная безконечнымъ числомъ случаевъ и усложненій. Людямъ дано два пути—путь опыта, тяжелый съ безчисленными отклоненіями, другой, почти какъ скачекъ—путь внутренняго созерцанія. Идущій второй дорогой схватываетъ сущность каждаго событія и каждой вещи сразу въ ея живомъ и разнообразномъ единствѣ“ [Новалисъ]. „Одни поэты обладаютъ искусствомъ вѣрно связывать событія: въ ихъ разсказахъ и басняхъ замѣтна большая чуткость къ таинственному духу жизни. Въ ихъ сказкахъ больше истины, чѣмъ въ ученыхъ хроникахъ. Пусть вымышлены всѣ дѣйствующія лица ихъ разсказовъ и вся ихъ судьба; важно то, — что внутренній смыслъ разсказа истиненъ и естественъ. Намъ нужно созерцаніе великой и простой души историческихъ событій, а внѣшніе образы, въ которые эта душа облечена имѣютъ для насъ малое значеніе“ [Новалисъ].

Кромѣ области знанія, художнику открыто также необозримое, безбрежное царство чаяній, видѣній и предощущеній.

„Душа художника иногда въ плѣну у чудесныхъ сновидѣній; каждая частичка природы, каждый движущійся цвѣтокъ, каждое пролетающее облако для него воспоминаніе, либо намекъ на грядущее. Цѣлыя полчища воздушныхъ видѣній, для которыхъ душа остальныхъ людей закрыта, бродятъ въ его душѣ; духъ поэта вѣчно движущійся потокъ, неумолкающій ни на мгновеніе въ своемъ мелодичномъ шопотѣ, каждое дыханіе касается его и оставляетъ на немъ свой слѣдъ,

каждый лучъ свѣта въ немъ отражается; онъ менѣе всего нуждается въ досадной матеріи, всего болѣе зависитъ самъ отъ себя, ему дозволено одѣвать свои образы въ лунное сіяніе и закатъ зари, онъ одинъ можетъ извлекать изъ незримыхъ арфъ никогда не слышанные звуки, по которымъ скользятъ на землю ангелы и нѣжные духи, привѣтствуя каждаго слушателя какъ брата" [Тикъ].

„Времена чудесъ, положимъ, прошли, но были эти времена, когда художникъ былъ настоящимъ чародѣемъ и чудотворцемъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ намъ древнія преданія: художники своей игрой и пѣньемъ пробуждали къ жизни скрытыхъ въ лѣсахъ духовъ, пріучали дикихъ людей къ порядку и нравственности—возбуждали въ нихъ нѣжныя, миролюбивыя чувства, превращали кипящіе пороки въ тихія воды и даже заставляли двигаться въ плавныхъ движеніяхъ мертвые камни. Поэты были пророки и жрецы, законодатели и врачи, они умѣли вызывать своимъ волшебствомъ высшія существа, которыя учили ихъ тайнамъ грядущаго и всей земной мудрости. Они внесли порядокъ въ природу" [Новалисъ].

Этическое значеніе искусства нашло, конечно, свое оправданіе въ этихъ акаѳистахъ. „Любовь Божья равно разлита надъ всѣми людьми; Богъ для всѣхъ справедливый отецъ и молитва каждаго человѣка дойдетъ до него. А искусство есть именно такая молитва: она цвѣтокъ общечеловѣческаго чувства и во всѣхъ странахъ земли возносится она къ небу. Въ каждомъ произведеніи искусства, гдѣ бы оно ни произросло, Богъ видитъ небесную искру, отъ него исшедшую. Ему одинаково дорогъ готическій храмъ, какъ и храмъ греческій. Военная музыка дикарей ему также пріятна, какъ и церковное хоровое пѣніе. А между тѣмъ люди,—они такъ непохожи на своего отца, они вѣчно ссорятся другъ съ другомъ и не понимаютъ другъ друга и не видятъ, что они всѣ стремятся къ одной цѣли, такъ какъ каждый изъ нихъ стоитъ твердо на своей почвѣ и не хочетъ окинуть цѣлое своимъ взгля-

домъ. Но пусть они обратятся къ своему чувству, къ красотѣ и искусству, пусть увидятъ, что эта красота доступна всѣмъ людямъ и тогда они поймутъ, насколько они объединены одними движеніями сердца, насколько они братья. Намъ, дѣтямъ XIX вѣка, дано то преимущество, что мы стоимъ на вершинѣ высокой горы, и нашимъ глазамъ открыты многія страны и времена, лежащія у нашихъ ногъ. Воспользуемся этимъ и весело посмотримъ на времена и народы и будемъ стремиться почувствовать общечеловѣческое во всѣхъ ихъ чувствахъ и во всемъ, что ихъ чувствомъ создано. Поэтому-то въ искусствѣ данъ залогъ терпимости и любви къ человѣчеству" [Вакенродеръ].

Понятно, что при исполненіи такой священной роли, въ которой совмѣщено служеніе Богу и проповѣдь высшей мудрости и морали, художникъ не можетъ быть активнымъ участникомъ въ мелкой ежедневной житейской борьбѣ. Шумъ битвы долженъ его пугать и быть ему непріятенъ, такъ какъ онъ отрываетъ его отъ самопогруженія въ молитву, отъ созерцанія. Спокойствіе духа и безстрастіе—первое условіе для истинно величавой молитвы, которая не забываетъ о землѣ, но носится надъ ней какъ нѣкогда надъ хаосомъ носился духъ Божій.

„Первое, чему художникъ долженъ научиться, это способности побороть въ себѣ всякую душевную тревогу, потому что всякое рефлектирующее отношеніе къ дѣйствительности есть ядъ для вдохновенія. Этотъ покой духа не долженъ быть результатомъ какихъ-нибудь предшествующихъ психическихъ движеній; онъ—покой, самъ себя полагающій, особый даръ, особый актъ божеской благодати, который позволяетъ художнику стоять среди людей, но совсѣмъ внѣ ихъ интересовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ схватывать красоту и понимать сущность этой жизни лучше всякаго другого. Художникъ настоящій ясновидящій. Мы все говоримъ о золотыхъ временахъ—думаемъ, что они отъ насъ такъ далеки и рисуемъ ихъ себѣ въ такихъ чудесныхъ краскахъ. На самомъ

дѣлѣ эта чудная страна лежитъ у насъ иногда подъ ногами. Если мы ее не замѣчаемъ, то потому, что не совсѣмъ честно [redlich] обходимся сами съ собой. Отчего мы иногда не отрекаемся сами отъ себя, отчего не сбросимъ съ себя все то, что насъ давитъ и мучитъ, отчего не вдыхаемъ чистый воздухъ и не пріобщаемся къ небесной свободѣ, которая прирождена намъ? Мы должны забыть на нѣкоторое время и войны, и битвы, и перебранки, и клевету, оставивъ все позади себя и закрыть глаза на то, сколько дикаго, сумасброднаго и путаннаго въ нашей жизни—затѣмъ, чтобы доставить небесному миру случай снизойти на насъ и обнять насъ своими милыми крыльями. Но мы всегда предпочитаемъ путаться въ хитросплетеніи обычной житейской суеты, мы сами затягиваемъ флеромъ то зеркало, которое съ облаковъ къ намъ спускается, въ которомъ божество и природа являютъ намъ свои небесные облики—и все это мы дѣлаемъ за тѣмъ, чтобы все ничтожество міра намъ показалось чѣмъ-то важнымъ. При такихъ условіяхъ человѣческій духъ не можетъ подняться изъ пыли и смѣло взглянуть на звѣзды и почувствовать свое родство съ ними. Онъ не можетъ любить искусство, потому что онъ не любитъ того, что освобождаетъ его отъ путанной растерянности [Verworrenheit], въ которой онъ обрѣтается"... [Тикъ]. „Мы не можемъ сдержать себя въ уздѣ; всѣ наши планы, надежды и все довѣріе къ себѣ самому, все гибнетъ подъ наплывомъ новыхъ впечатлѣній, и въ душѣ нашей становится пусто и пустынно какъ въ дикой мѣстности, въ которой всѣ мосты сорваны яростнымъ потокомъ... стоитъ намъ посмотрѣть на этотъ городъ, на эти стѣны, на это трудолюбіе людей,—и всѣ наши видѣнія исчезаютъ; великіе чудесные образы въ нашей фантазіи гаснутъ и никакой просвѣтъ не озаряетъ нашей души" [Тикъ].

„Пусть въ государствѣ все служитъ къ единой цѣли; въ извѣстныя эпохи необходимо, чтобы граждане для своего блага или для своей независимости любили только свое отечество свое оружіе, гражданскую свободу и ничего иного; но вы за-

были, что въ такихъ государствахъ каждая отдѣльная душа [jedes eigene Gemüth] погибаетъ, чтобы поддержать лишь общій образъ цѣлаго. Блага, ради которыхъ свобода должна быть дорога человѣку, движеніе всѣхъ его силъ, развитіе всѣхъ богатствъ его духа, – эти самыя дорогія сокровища приносятся въ жертву, чтобы сохранить лишь эту свободу. Такимъ образомъ самая цѣль теряется ради средствъ. Развѣ это не чудное явленіе, когда человѣческій духъ смѣло, въ тысячи направленіяхъ, въ тысячи разнообразныхъ теченіяхъ, какъ струи искуснаго фонтана, бьетъ навстрѣчу солнцу? Именно то и утѣшительно, что не всѣ люди желаютъ одного и того же. А посему, оставьте невинному дѣтскому искусству идти своей дорогой, такъ какъ въ немъ всего чище, всего милѣе и наиболѣе непосредственно проявляетъ себя высота человѣческаго духа; искусство не строго какъ мудрость, оно — благочестивый ребенокъ, невинныя игры котораго должны трогать и увеселять каждое чистое сердце. Зачѣмъ искусству приносить пользу государству, обществу? Когда великое и красивое столь себя унизило, чтобы приносить пользу? Если такъ высоко цѣнить домашнюю пользу несчастнаго міра, то его благодѣтелями явились случай и всякія ничтожества; и что значитъ слово польза? Развѣ все должно имѣть своей конечной цѣлью ѣду, питье и одежду? Истинно высокое не можетъ и не должно быть полезно: такая полезность противна его божественной природѣ; и требовать этого, — значитъ лишать благородства все возвышенное и унижать его до самыхъ пошлыхъ потребностей. Искусство залогъ нашего безсмертія, тайный знакъ, по которому чудеснымъ образомъ узнаютъ себя вѣчные духи. Ангелъ въ насъ стремится проявить себя, но онъ находитъ въ насъ только силы человѣка, онъ не можетъ убѣдить насъ въ своемъ существованіи, а потому распоряжается и дѣйствуетъ самымъ нѣжнымъ, мягкимъ [lieblich] образомъ, чтобы, какъ въ чудесномъ снѣ, привить намъ сладкую вѣру. Въ порядкѣ, въ творческой гармоніи возникаетъ искусство“ [Тикъ].

Такъ говорили нѣмецкіе романтики, а вслѣдъ за ними и друзья Веневитинова, когда они старались уяснить себѣ роль художника среди макрокосма и выяснить общественную и божественную миссію этихъ странныхъ существъ, этихъ вдохновенныхъ сомнамбулъ, которыя съ глазами какъ бы закрытыми для міра безопасно бродятъ на высотѣ, съ которой всякій обыкновенный зрячій непремѣнно бы свалился.

XVI.

Выросшіе на нѣмецкой романтической почвѣ всѣ эти мысли, образы и настроенія нашли у нашихъ юношей съ „геттингенской душой" почетный и радушный пріемъ. Быть можетъ, московскимъ философамъ и не была вполнѣ ясна основная психологическая мотивировка нѣмецкаго культа поэта, но красота ритуала этого культа пришлась имъ по душѣ — тѣмъ болѣе, что нѣкоторыми внѣшними своими позами этотъ поэтъ всезнающій, всесильный, одинокій, въ разладѣ съ толпой или въ гнѣвѣ на нее, напоминалъ излюбленнаго, тогда еще очень популярнаго, героя въ гаральдовомъ костюмѣ. Въ глубинѣ ихъ духа эти два красивыхъ образа другъ на друга не были похожи: одинъ былъ апостолъ войны, другой апостолъ примиренія, но въ своихъ рѣчахъ и въ своемъ обращеніи съ людьми они иногда могли показаться родными братьями Во всякомъ случаѣ тотъ, кто увлекался Байрономъ [а кто имъ не увлекался у насъ въ двадцатыхъ годахъ?], могъ заинтересоваться этимъ романтическимъ типомъ вдохновеннаго молчаливаго поэта, который, какъ говорилъ Веневитиновъ, „не желая блеснуть принужденной личиной страсти, гдѣ-нибудь въ углу, уединенный, таилъ *вселюбящую грудь*".

Самъ Веневитиновъ въ своихъ раннихъ стихахъ обнаружилъ немалое пристрастіе къ байроническимъ мотивамъ прежде, чѣмъ полюбилъ нѣмцевъ и Гете. Большимъ поклон-

комъ Байрона былъ и Пушкинъ незадолго до своего ѣзда въ Москву и до своего знакомства съ московскими юбомудрами".

Веневитиновъ изъ первыхъ своихъ бесѣдъ съ Пушкимъ вывелъ то заключеніе, что прославленный поэтъ еще вполнѣ созналъ свою силу, что онъ еще во власти того олненія духа", которое вредитъ истинному творчеству, что ъ еще не вполнѣ разбайронился. Веневитиновъ писалъ гда Пушкину:

Когда пророкъ свободы смѣлый,
Тоской измученный поэтъ,
Покинулъ міръ осиротѣлый,
Оставя славы жаркій слѣдъ
И тѣнь всемірныя печали,—
Хвалебнымъ громомъ прозвучали
Твои стихи ему во слѣдъ.
Ты дань принесъ увядшей силѣ
И славѣ на его могилѣ
Другое имя завѣщалъ.
Ты тише, слаще воспѣвалъ
У Музъ похищеннаго Галла.
Но ты еще не доплатилъ
Каменамъ долга вдохновенья;
Къ хваламъ оплаканныхъ могилъ
Прибавь веселыя хваленья,
Ихъ ждетъ еще одинъ пѣвецъ:
Онъ нашъ:—жилецъ того же свѣта.
Давно блеститъ его вѣнецъ.
Но славы громкаго привѣта
Звучнѣй, отраднѣй гласъ поэта
Наставникъ нашъ, наставникъ твой
Онъ кроется въ странѣ мечтаній
Въ своей Германіи родной,
Досель хладѣющія длани
Но струнамъ бѣгаютъ порой,
И перерывчатые звуки,
Какъ послѣ горестной разлуки
Старинной дружбы милый гласъ,
Къ знакомымъ думамъ клонятъ насъ.

[«Къ Пушкину»].

Неизвѣстно, чѣмъ Пушкинъ отвѣчалъ на это предложе-

ніе привѣтствовать въ стихахъ Гете *), но для насъ имѣетъ цѣну не самъ по себѣ этотъ совѣтъ, а тотъ ходъ мыслей, который навелъ Веневитинова на это стихотвореніе. Философъ, признавая всю силу дарованія Пушкина, боялся какъ бы Пушкинъ не подчинилъ свою пѣсню тревогѣ страстей какъ Байронъ или мыслямъ о политикѣ, на которыя наталкивалъ Пушкина скорбный образъ Андрея Шенье, и совѣтовалъ ему вспомнить о Гете, объ этомъ великомъ мастерѣ смирять всѣ страсти, объ этомъ единственномъ поэтѣ, который съ истинной высоты умѣлъ смотрѣть на жизнь, на всѣ волненія толпы въ безмятежномъ покоѣ созерцающаго духа.

XVII.

Пушкинъ полюбилъ Веневитинова и уважалъ его; онъ хорошо помнилъ его стихи, но, конечно, едва ли вспоминалъ о нихъ, когда писалъ свои собственные. Онъ могъ сказать о Веневитиновѣ стихами самого Веневитинова:

Какъ я люблю его созданья!
Онъ дышетъ жаромъ красоты
Въ немъ умъ и сердце согласились,
И мысли полныя носились
На легкихъ крыліяхъ мечты,
Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!

[«Поэтъ и другъ»].

Эта краткая жизнь была, однако, мгновеніемъ въ исторіи развитія одной вѣчной идеи.

Въ сферу вліянія этой философской идеи Пушкинъ попалъ на собраніяхъ у Веневитинова [1826]. Пусть онъ и неохотно на нее отзывался—а отвлеченныхъ тонкостей Пушкинъ, дѣйствительно, не любилъ — но по своей способности не пропускать ни одного впечатлѣнія жизни безъ отклика, онъ спустя нѣкоторое время, отойдя на извѣстное

*) Существуетъ предположеніе, что отвѣтомъ на это стихотвореніе Веневитинова былъ отрывокъ Пушкина «Фаустъ».

ıзстояніе отъ лицъ и событій, въ стихотвореніи „Чернь“ 328], претворилъ въ образы нити новыхъ мыслей, его по-ıзившихъ.

Изъ тѣхъ вѣнковъ, какими друзья и почитатели убрали эгилу Веневитинова, многіе завяли, другіе исчезли; но нѣ-оторые сохранились... Ихъ стоитъ собрать, чтобы видѣть акъ глубока и искрення была любовь, которая пережила еневитинова въ памяти всѣхъ его знавшихъ.

Природа вновь цвѣтетъ, и роза нѣгой дышетъ!
Гдѣ-жъ юный нашъ пѣвецъ?—увы! подъ сей доской;
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишетъ!

И. Дмитріевъ [«Москвитянинъ» 1842, II, № 4, 294].

* * *

Дѣва.

Юноша милый! на мигъ ты въ наши игры вмѣшался!
Розѣ подобный красой, какъ Филомела ты пѣлъ,
Сколько любовь потеряла въ тебѣ поцѣлуевъ и пѣсенъ,
Сколько желаній и ласкъ новыхъ, прекрасныхъ, какъ ты.

Роза.

Дѣва! не плачь! я на прахѣ его въ красотѣ расцвѣтаю.
Сладость онъ жизни вкусивъ, горечь оставилъ другимъ.
Ахъ! и любовь бы измѣною душу пѣвца отравила!
Счастливъ, кто прожилъ, какъ онъ, вѣкъ соловьиный и мой.

А. Дельвигъ. 1827.

* * *

L'artiste a posé son ciseau,
A son talent il rend hommage.
«Je suis content. Oui, mon travail est beau,
«Le style et la forme et l'ouvrage,
«Tout en est pur, tout en est sage,
«Tout le rend digne des dieux!»
Il dit, saisit le vase et vole au sanctuaire
Du Dieu, qui répand la lumière;
Il le consacre... Et le fils de Latonne
Sourit à ce don précieux.
La foule accourt, elle admire, s'étonne;
Chacun vient y verser des présents ou des voeux:

L'enfance y place ses jeux,
Et le plaisir l'effreure de son aile;
La rêverie à l'oeil couvert et long
Y pose son voile fidèle,
Et le génie y jette une étincelle.
Du feu, qui sort de son front
Il est rempli... La mort s'avance,
Elle approche... tout fuit, hors du temple on s'élance,
Et la mort agite sa faux.
Elle frappe au hasard, elle brise, elle écrase...
Tout est détruit... Et les dons, et le vase
Réposent parmi les tombeaux.

Кн. Зинаида Волконская.

* * *

Всѣ впечатлѣнья въ звукъ и цвѣтъ
И слово стройное тѣснились;
И Музы юношей гордились,
И говорили: «онъ поэтъ!»
Но нѣтъ; едва лучи денницы
Моей коснулися зѣницы —
И свѣтъ во взорахъ потемнѣлъ;
Плодъ жизни свѣянъ недоспѣлой!
Нѣтъ! Сновъ небесныхъ кистью смѣлой,
Одушевить я не успѣлъ;
Гласъ пѣсни, мною недопѣтой,
Не дозвучитъ въ земныхъ струнахъ,
И я, въ нетлѣніе одѣтый —
Ее дослышу въ небесахъ.
Но на землѣ; гдѣ въ чистый пламень
Огня души я не излилъ,
Я умеръ весь.. И грубый камень,
Обычный кровъ нѣмыхъ могилъ,
На черепъ мой остывшій ляжетъ
И соплеменнику не скажетъ,
Что рано выпала изъ рукъ
Едва настроенная лира,
И не успѣлъ я въ стройный звукъ
Излить красу и стройность міра.

А. И. Одоевскій. 1831.

* * *

Блеснулъ онъ мнѣ какъ лучъ прелестный мая,
Пропѣлъ онъ мигъ какъ майской соловей,
И ни любви, ни славѣ не внимая,

Онъ воспарилъ въ страну мечты своей.
Не плачь о немъ, завѣтный другъ поэта!
Внѣ жизни, онъ изъ міра не исчезъ:
Онъ будетъ лучъ божественнаго свѣта,
Онъ будетъ звукъ гармоніи небесъ.
Благословимъ безъ малодушныхъ слезъ
Его полетъ въ страны эѳира
Гдѣ вѣчна мысль, гдѣ воздухъ слитъ изъ розъ,
И вѣчной жизнью дышетъ лира!
Друзья! онъ тамъ какъ-бы въ семьѣ родной,
Тамъ ангелы его цѣлуютъ,
Его поятъ небесною струей
И милымъ братомъ именуютъ.

В. Туманскій.

* * *

Какія думы въ глубинѣ
Его души таились, зрѣли?—
Когда-бъ онѣ сказалися вполнѣ—
Кого-бъ мы въ немъ, друзья, узрѣли?
Но онъ нашъ сѣверный поэтъ,
Какъ юный лебедь величавый
Средь волнъ, тоскуя, пѣсню славы
Едва началъ и стихъ средь юныхъ лѣтъ.

А. В. Кольцовъ.

* * *

Нѣтъ! жизнь, коварная сирена,
Не заключила дней твоихъ
Въ оковы гибельнаго плѣна
И Ангелъ смерти сбросилъ ихъ
На утренней зарѣ прелестной,
Сіявшей на твоемъ челѣ;
И геній твой, иль духъ небесной,
Не могъ принадлежать землѣ:
Онъ видѣлъ всю ея ничтожность,
Все обольщеніе, всю ложность,
Всѣ блага *жизни* оцѣнилъ—
И юными отъ насъ крылами
Въ свою отчизну воспарилъ!..
Но ты пребудешь вѣчно съ нами:
Жизнь у тебя не отняла
Любви, надежды, вдохновеній:
Ихъ спасъ, спасетъ высокій геній.
Твой даръ богиня приняла,
Навѣрно, съ клятвою взаимной:

Хранить на жертвенникѣ Музъ!..
Онѣ съ твоей цѣвницей дивной
Ввѣкъ не прервутъ священныхъ узъ!

«Дамскій журналъ» 1827. № 7

* * *

Отри слезу, мой другъ, я съ небомъ примирецъ,
Земный яремъ упалъ съ моихъ раменъ,
Къ лучамъ нетлѣнныя денницы
На крыльяхъ свѣтлыхъ голубицы
Въ полетѣ цѣпи сокруша,
Паритъ безсмертная душа.
Прости! вѣщалъ пѣвецъ, въ болѣзненномъ шептаньѣ
Изъ сердца вырвалось о матери стенанье.
На трепетныхъ устахъ дрожащій замеръ гласъ,
И въ голубыхъ очахъ послѣдній лучъ погасъ.—
Не плачь о немъ, о, другъ, на вѣкъ осиротѣлый,
Завидѣнъ юноши прекраснаго удѣлъ!
Отъ бренныя земли, какъ лебедь снѣго-бѣлый,
Стремился въ жизни онъ въ таинственный предѣлъ.
И пѣснью звучною кончину предвѣщая,
На сѣтующій міръ воззрѣлъ съ улыбкой онъ.
И—жертва чистая—къ лучамъ родного края,
Какъ лебедь улетѣлъ твой кроткій Агатонъ.

П. Ободовскій [«Славянинъ» 1829. Ч. XI. № 31—32.

* * *

Поэтъ! и я цвѣтокъ надгробный
На ранній гробъ твой принесу;
Твоей души святой, незлобной,
Я понялъ тихую красу;
Отъ любопытныхъ наблюденій
Какъ лучъ небесный ускользнулъ
Твой кроткій, твой безстрастный геній.

. . . . . .

Какъ въ ульѣ неповитый рой,
Твои мечты въ тебѣ звучали,
И взоръ небесно-голубой
Сіялъ, какъ ангелъ безъ печали.
Такъ Волга, добрая рѣка,
Тиха, свѣтла и глубока.
А я... я признакомъ безсилья
Твое спокойствіе почелъ!
Но ты въ гнѣздѣ скрывалъ, орелъ,

Неоперившіяся крылья;
Твой мигъ насталъ—ты къ небесамъ—
И я орла увидѣлъ тамъ!..

Трилунный [«Литературная Газета» 1831. Т. III, № 22. 177].

* * *

Чудесный жребій пѣснопѣнья
Младую жизнь его вѣнчалъ,
И дольней жизни огорченья
Небеснымъ свѣтомъ прояснялъ.
Любилъ онъ чары вдохновенья,
Его лелѣялъ чудный сонъ,
И свѣтлыя его видѣнья
Невинны были—какъ и онъ.
Объятъ невольною тоскою
Подъ сѣнью кипарисныхъ древъ,
Какъ часто тамъ ночной порою
Онъ слушалъ соловья напѣвъ.
Тамъ онъ мечталъ, какъ вдохновенный,
И слышенъ былъ невнятный стонъ...
Его мечты не стоитъ онъ,
Сей свѣтъ, развратомъ упоенный.
Ахъ, рано времени рука
Въ немъ прояснила умъ игривый;
Съ тѣхъ поръ невольная тоска
Терзала духъ самолюбивый
И онъ угасъ въ своей веснѣ!..
Его манилъ незримый геній
Толпой привѣтливыхъ видѣній
Къ своей надзвѣздной вышинѣ.
На землю брошенный судьбою,
Онъ музѣ жизнь свою дарилъ
И непритворною мечтою
Вѣнецъ безсмертія купилъ.
У рощи, гдѣ его гробница,
Я видѣлъ, утренней порой
Поетъ пернатая пѣвица
И плачетъ другъ его младой.

[«Мое Новоселье» Альманахъ на 1836 г. изд. В. Крыловскимъ. Спб. 1836. 115].

* * *

Твой гробъ межъ чуждыми гробами,
Едва знакомъ однимъ друзьямъ,
Поклонники къ твоимъ костямъ
Не собираются толпами;

Никто не шелъ твоей стезей
Въ пустыняхъ суетнаго свѣта:
На зовъ души, на голосъ свой
Ты не нашелъ себѣ отвѣта.

Съ послѣднимъ ропотомъ струны
Предъ говорливою молвою
Сокрылась пѣснь твоя съ тобою
Подъ кровъ могильной тишины,
Но не падетъ престолъ поэта:
На немъ возсядетъ новый царь,
И простоитъ до смерти свѣта
Тобой воздвигнутый алтарь.

«Москвитянинъ» 1842. IV. № 8. 2

* * *

Насъ всѣхъ собрала здѣсь утрата;
Десятки лѣтъ съ тѣхъ поръ прошли;
Но память милаго собрата
Пѣвца мы память сберегли.
Кружокъ друзей его столь тѣсенъ:
Одни вдали, другихъ ужъ нѣтъ!
Но вѣченъ міръ высокихъ пѣсенъ
И съ ними вѣчно живъ поэтъ:
Сегодня церковь совершила
О немъ молитвенный обрядъ—
Не все-жъ съ собой взяла могила!
Душа безсмертна.. Вслухъ звучатъ
Для насъ воздушной арфы струны.
Знакомый слышится намъ гласъ
И, мнится, самъ онъ, свѣжъ и юный,
Какъ бы присутствуетъ средь насъ!..
Смиримъ же скорбь, и Провидѣнье
За жизнь его благословимъ;
За то, что мы, хоть на мгновенье,
Могли порадоваться имъ!..

Ознобишинъ. 1

1906.

КНЯЗЬ

ВЛАДИМІРЪ ѲЕДОРОВИЧЪ

ОДОЕВСКІЙ

„Русскія ночи".

Съ давнихъ временъ въ нашемъ представленіи поэтъ и художникъ отожествился съ мыслителемъ. Бываютъ такія совпаденія; и иной разъ глубина отвлеченной философской мысли сочетается въ художникѣ съ необычайно смѣлымъ полетомъ и яркой живостью воображенія. Недовольный созерцаніемъ дѣйствительности и ея воплощеніемъ въ художественные образы, поэтъ стремится переступить за грань міра видимаго и стать посредникомъ между нами и той тайной, которой окутано все наше существованіе. Общія, самыя отвлеченныя начала жизни, предполагаемыя или такія, въ которыя онъ вѣритъ, замѣняютъ ему видимый міръ, или, вѣрнѣе, онъ интересуется этимъ міромъ постольку, поскольку видитъ въ немъ оправданіе или отрицаніе этихъ началъ. Все видимое становится для него символомъ невидимаго и во всемъ движеніи конечнаго онъ стремится уловить намеки на вѣчное.

Къ семьѣ такихъ поэтовъ и мыслителей принадлежалъ и князь Владиміръ Ѳедоровичъ Одоевскій, и среди всѣхъ нашихъ художниковъ слова, всѣхъ по сіе время, онъ больше чѣмъ кто-либо имѣетъ право на названіе глашатая и исповѣдника всевозможныхъ тайнъ, которыя нависли надъ нашимъ земнымъ существованіемъ.

Во всемъ остальномъ очень скромный человѣкъ, князь Одоевскій, какъ писатель, поставилъ себѣ грандіозную, почти

невыполнимую задачу. Всѣ усилія его мысли и фантазіи были направлены на то, чтобы на отдѣльныхъ частныхъ явленіяхъ нашей жизни, иногда явленіяхъ самыхъ незначительныхъ, показать—какъ глубокая тайна жизни проглядываетъ сквозь земную оболочку человѣческихъ мыслей, чувствъ и дѣяній; онъ хотѣлъ дать намъ узрѣть незримое, о неизреченномъ говорить въ конкретныхъ образахъ. При выполненіи такого плана художникъ долженъ былъ подчиняться философу и неравномѣрное распредѣленіе ролей между способностью отвлеченнаго мышленія и способностью поэтическаго созерцанія повліяли на литературную судьбу его произведеній. Для большинства читателей самое существенное въ его сочиненіяхъ было недоступно, а избранному меньшинству казалась слишкомъ простой и недостаточно совершенной та литературная оправа, въ которую онъ вставлялъ свои глубокія мысли.

Это могло быть для князя Одоевскаго обидно, потому что онъ самъ понималъ свою роль, какъ писателя, очень широко. Онъ хотѣлъ быть слышимъ многими; и былъ правъ такъ какъ смыслъ его произведеній былъ несравненно болѣе широкъ и глубокъ, чѣмъ ихъ видимое содержаніе.

Писатель желалъ заинтересовать насъ какъ психологъ и моралистъ; и кромѣ того провести въ публику цѣлую философскую систему — одну изъ самыхъ отвлеченныхъ наконецъ, онъ хотѣлъ направить наше вниманіе на нѣкоторые весьма важные нравственные вопросы общественнаго характера, увѣренный, что путь къ ихъ гуманному разрѣшенію лежитъ чрезъ область отвлеченнаго умозрѣнія.

Онъ стремился быть, какъ видимъ, поэтомъ, философомъ и публицистомъ сразу.

Онъ и выступалъ одновременно въ этихъ различныхъ ролляхъ, въ однѣхъ болѣе, въ другихъ менѣе замѣченный.

Литературная дѣятельность князя Одоевскаго началась очень рано. Еще совсѣмъ мальчикомъ, въ пансіонѣ, на актѣ въ 1822 году, онъ поучалъ свое начальство и собравшихся родителей, и говорилъ имъ о пользѣ философіи. Онъ сразу взялъ

ноту очень высокую. И съ тѣхъ поръ онъ не переставалъ говорить о философіи, о „любомудріи", какъ тогда выражались. Его романтическое, сентиментальное и восторженное сердце поклонялось этой богинѣ мудрости, которую онъ представлялъ себѣ какъ богиню красоты, милостивую и добрую, дарующую людямъ счастіе. Онъ глубоко любилъ ее. Сначала это была наивная любовь, затѣмъ философски осмысленная и, кажется, что до конца дней своихъ онъ остался вѣренъ своей богинѣ, не подозрѣвая ея коварства и того, что о нашемъ счастіи она меньше всего думаетъ. Онъ съ годами узналъ только, что служеніе ей сопряжено съ великими душевными болями.

Истины, красоты и добра искалъ онъ въ жизни прежде всего и, какъ сынъ своего довѣрчиваго сентиментальнаго вѣка, онъ вѣрилъ, что эти три великихъ міровыхъ силы— три родныхъ сестры, которыя, обнявшись, бродятъ всегда вмѣстѣ по свѣту. Ихъ частыхъ ссоръ онъ не хотѣлъ замѣтить.

Его художественное творчество вытекало, какъ видимъ, не изъ непосредственнаго созерцанія жизни, а изъ раздумья надъ ней.

Дѣйствительный міръ былъ для него всегда намекомъ на міръ горній, и всякая житейская мелодія слышалась ему всегда сыгранной октавой выше. Во всемъ, что онъ писалъ, была замѣтна одна тенденція—нѣкоторое презрѣніе къ факту, къ обыденному житейскому факту, изъ котораго мы неизбѣжно должны исходить въ нашихъ разсужденіяхъ о мірѣ, о жизни и о насъ самихъ, но лишь затѣмъ, чтобы поскорѣй отъ этого факта отрѣшиться и спѣшить уловить то, что за нимъ кроется.

Это стремленіе понять любое житейское явленіе какъ задачу, разрѣшеніе которой, выражаясь словами нашего автора, „скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій" — наложило свою печать на всѣ его беллетристическія произведенія.

Такъ съ виду его повѣсти и сказки кажутся незатѣйли-

выми разсказами или простыми анекдотами, но если приглядѣться къ нимъ, то никакъ нельзя отдѣлаться отъ мысли, что писатель хитритъ съ нами, что настоящій-то разсказъ написанъ между строками, а печатныя строки—одинъ обманъ зрѣнія. Это впечатлѣніе выносили и современники, которымъ повѣсти князя Одоевскаго всегда казались туманными.

А между тѣмъ, что можетъ быть проще видимаго содержанія этихъ повѣстей — этихъ сказокъ и апологовъ съ дидактическимъ направленіемъ, жанровыхъ бытовыхъ сценокъ изъ жизни высшаго, чиновнаго и аристократическаго круга, этихъ разсужденій въ лицахъ на темы элементарной личной и общественной этики, разсказовъ изъ жизни артистовъ прошлаго времени и нашего, этихъ анекдотовъ или фантастическихъ повѣстей? Видимыя пружины дѣйствія во всѣхъ разсказахъ крайне несложны; все больше антитезы разныхъ человѣческихъ чувствъ, идей и склонностей: легкомыслія и глубокомыслія, ума практическаго и созерцательнаго, сердца порочнаго и добраго, черствaго и чувствительнаго и т. д.... все психологическіе этюды съ финальнымъ хвалебнымъ аккордомъ въ честь ума, красоты и добра.

Въ однихъ лишь повѣстяхъ изъ жизни артистовъ и въ фантастическихъ сказкахъ замыселъ болѣе сложенъ.

Разсказы съ такимъ простымъ несложнымъ содержаніемъ могли легко затеряться среди однородныхъ памятниковъ тогдашней литературы. Положимъ, повѣсти Одоевскаго всегда блистали своимъ стилемъ, въ нихъ были оригинальные проблески юмора, въ нихъ всегда былъ виденъ авторъ необычайно начитанный и удивительно занятный разсказчикъ, но едва ли бы они могли выдержать испытаніе времени, если бы самъ авторъ, уже въ зрѣлые годы, почувствовавъ, что вдохновеніе поэта его покидаетъ, не пожелалъ раскрыть ихъ тайны и не подѣлился съ читателемъ тѣми сокровенными мыслями, которыя владѣли имъ, когда онъ сочинялъ свои сказки. Въ 1844 году Одоевскій издалъ свои повѣсти подъ заглавіемъ „Русскія ночи“ и снабдилъ ихъ особымъ фи-

лософскимъ комментаріемъ; этимъ онъ сразу повысилъ ихъ значеніе и цѣнность. Они оказались не сказками, а философскимъ трактатомъ въ лицахъ съ большой примѣсью публицистическаго элемента.

Правда, въ этомъ новомъ видѣ, съ поясненіями автора, повѣсти не остались свободными отъ упрека, на который уже указано: слишкомъ узокъ былъ сюжетъ и слишкомъ широка философская мысль, которую писатель хотѣлъ заключить въ эту тѣсную рамку.

И всетаки это была удивительная книга. Вмѣстѣ съ философскимъ письмомъ Чаадаева и со статьями И. Кирѣевскаго „Русскія ночи“ были первымъ плодомъ созрѣвшей философской мысли въ Россіи. Зерно было привозное, но выросло оно на нашей почвѣ и питаться имъ должны были не одни ученые, а всѣ, кому дорогъ былъ человѣкъ, какъ существо мыслящее и чувствующее. Гуманистъ въ высшемъ смыслѣ этого слова, князь Одоевскій не хотѣлъ въ своей книгѣ расчленять человѣка на его составныя духовныя части. Онъ бралъ его въ цѣломъ какъ мыслителя, какъ художника, какъ гражданина. Въ душѣ человѣческой философъ нашелъ четыре основныхъ элемента—потребность истины, любви, благоговѣнія и силы или власти; и онъ хотѣлъ своей книгой показать, какъ эти элементы должны быть гармонично сочетаемы, чтобы человѣкъ сталъ тѣмъ, чѣмъ онъ призванъ быть, а именно „стройной молитвой земли“. „Русскія ночи“—дѣйствительно молитвенная книга. Слова этой книги не покрываютъ ея содержанія и авторъ былъ правъ, утверждая, что тожество между мыслью и словомъ простирается лишь до нѣкоторой степени, что посредствомъ словъ опредѣлить эту степень невозможно, что ее должно ощутить въ себѣ. „Мало осмыслить себя и вселенную. Самое великое дѣло, это—понять свой инстинктъ и чувствовать свой разумъ. Въ этомъ вся задача человѣчества. Человѣкъ по существу своему выше природы и бо́льшая загадка“—говорилъ Одоевскій. Поднять завѣсу и показать внутренній механизмъ этого чуда природы—хотѣлъ авторъ и онъ

понималъ, что для выполненія этой задачи нужно нѣчто большее, чѣмъ простая мысль; онъ чувствовалъ, что для этого нуженъ художникъ, и притомъ, говоря его словами,—„художникъ такого искусства, которое еще не существуетъ, которое не есть ни поэзія, ни музыка, ни живопись, и которое утѣшитъ человѣка въ потерѣ его прежняго міра".

„Русскія ночи" должны были быть философскимъ трактатомъ, поэмой, молитвой, прорицаніемъ... Основныя философскія мысли книги были заимствованы авторомъ и Одоевскій только приспособилъ ихъ къ русскимъ умамъ, художественно упростивъ ихъ.

Извѣстно, что въ молодые свои годы онъ ревностно изучалъ Шеллинга и натуръ-философовъ. Этотъ „Христоферъ Колумбъ XIX вѣка" „открылъ мальчику неизвѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія именно—*его душу*". Какъ Христоферъ Колумбъ, Шеллингъ „возбудилъ въ немъ надежды неисполнимыя, но далъ новое направленіе его дѣятельности".

Одоевскій былъ организаторомъ перваго шеллингіанскаго кружка, который объединилъ въ двадцатыхъ годахъ всѣхъ самыхъ талантливыхъ юношей Московскаго университета. Онъ былъ для своего поколѣнія кладеземъ философической мудрости и, конечно, не изъ его юношеской, почти дѣтской, головы била она ключемъ, а получалъ онъ ее по почтѣ. Этого никто ему въ упрекъ не поставитъ. Идеи достояніе общее, въ этомъ ихъ назначеніе. И если нашъ юный философъ присвоилъ себѣ руководящія идеи Шеллинга, то онъ въ свою очередь оказалъ учителю двѣ большихъ услуги: въ двадцатыхъ годахъ онъ сдѣлалъ его оракуломъ въ нашей странѣ, а въ сороковыхъ попытался хоть для Россіи спасти его престижъ, на Западѣ почти совсѣмъ погибшій.

Изъ всѣхъ своихъ учениковъ въ Россіи Шеллингъ былъ всего болѣе обязанъ именно Одоевскому. Одоевскій перечеканилъ его золотую руду въ ходячую монету и пустилъ ее въ оборотъ.

Нерѣдко раздавались голоса, которые осуждали такой пересказъ нѣмецкой философіи на русскій ладъ какъ излишнюю роскошь для нашего молодого ума, совершенно не вооруженнаго даже элементарными знаніями. На первый взглядъ сужденіе какъ будто правильное. Нѣмецкая книжка безспорно не отвѣчала на широкій общественный запросъ, а лишь на умственную потребность весьма ничтожнаго меньшинства. Она была, конечно, ein Buch für Wenige, и притомъ эти немногіе сами науки не двигали и были довольны, если она ихъ двигала. Но въ такомъ движеніи единицъ и заключалась тогда культурная сила, и князь Одоевскій тому — лучшій примѣръ.

Изъ рукъ Шеллинга получилъ онъ всѣ основоположенія своего міропоминанія и сталъ ихъ истолковывать.

Толкованіе это было двоякое, какъ вообще всякая проповѣдь: нужно было убѣдить людей въ истинности того, что̀ признаешь за истину, и въ ложности того, что̀ отрицаешь.

Въ философскихъ діалогахъ Одоевскаго [а онъ свое ученіе излагалъ въ этой еще Платономъ освященной формѣ] асть отрицательная имѣетъ несравненно бо̀льшую цѣнность, ѣмъ часть положительная. Все, что говорится во имя Шеллинга—красиво, но туманно, все же, что намъ авторъ говоитъ отъ своего лица—сильно, остроумно, хоть иногда и парадоксально. Одоевскій—исповѣдникъ философскаго ученія не охожъ на Одоевскаго критика и обличителя того историческаго момента, который съ этимъ ученіемъ враждуетъ, и это полнѣ понятно. Въ первомъ случаѣ нашъ писатель имѣлъ ѣло съ отвлеченными идеями, которыя обступали его какъ орогія тѣни и милые призраки, во второмъ случаѣ онъ наодился среди людей, которые его сердили, а Владиміръ Ѳеоровичъ въ сердцахъ былъ сильнѣе, чѣмъ на молитвѣ.

На положительной сторонѣ его ученія нѣтъ нужды останавливаться, такъ какъ она сводится къ лирическому переказу основоположеній философіи Шеллинга. Не очень заботясь послѣдовательномъ изложеніи любимой системы, Одоевскій

въ своихъ діалогахъ повторяетъ лишь самыя поэтическія мысли своего учителя—ученіе о міровой душѣ, о безусловномъ самобытномъ самовоззрѣніи души, объ эстетическомъ началѣ, которое соединяетъ предметы съ познаніемъ и т. п.

Чтобы убѣдить читателя не только въ красотѣ, но и въ правотѣ этихъ истинъ, Одоевскому пришлось въ свои поэтическія варіаціи на темы Шеллинга вплести цѣлую полемику противъ эмпириковъ, позитивистовъ и экономистовъ, противъ всѣхъ поклонниковъ факта, начиная съ Бэкона Веруламскаго. Расправился онъ съ ними довольно безцеремонно, заранѣе предположивъ въ нихъ черствую душу и направляя свои аргументы не противъ ихъ философскихъ принциповъ, а противъ эгоистическихъ выводовъ изъ ихъ мнимо трезваго взгляда на жизнь. Аргументы эти для насъ, конечно, совсѣмъ не убѣдительны, но очень трогательны. Никто не умѣлъ такъ жалобно, какъ нашъ авторъ, передать трагедію позитивно направленнаго ума, который на каждомъ шагу спотыкается о разные неразрѣшимые для него вопросы и трагедію трезваго сердца, которое вмѣсто того, чтобы горѣть и пламенѣть, вычисляетъ и разсчитываетъ, но лишь затѣмъ, чтобы просчитаться.

Сохрани насъ Богъ—говорилъ философъ—сосредоточить всѣ умственныя, нравственныя и физическія силы на одно матеріальное направленіе, какъ бы полезно оно ни было. Когда одна вѣтвь живетъ на счетъ цѣлаго дерева—дерево изсыхаетъ... Полное погруженіе въ вещественныя выгоды и полное забвеніе другихъ, такъ называемыхъ безполезныхъ порывовъ души приводитъ къ неодолимой, невыносимой тоскѣ... Человѣкъ думалъ закопать эти безполезные порывы въ землю, законопатить хлопчатой бумагой, залить дегтемъ и саломъ—а они являются къ нему въ видѣ привидѣнія: *тоски непонятной*... До чего могутъ довести простыя, опытныя знанія, не согрѣтыя вѣрою въ Провидѣнье и въ совершенствованіе человѣка! какъ растлѣваются всѣ силы ума, когда инстинктъ сердца оставленъ въ забытьи и не орошается живительной росою откровенія! Какъ мало даже одной любви къ человѣчеству, когда эта

любовь не истекаетъ изъ горняго источника. Фразы! фразы!.. скажутъ намъ, но нынче, развѣ не тѣ же фразы, только съ претензіей на краткость, на сжатость; сдѣлались ли онѣ отъ этого яснѣе?—Богъ знаетъ! Со времени Бентама фразы мало-по-малу все сжимались и наконецъ обратились въ одну гласную букву: *я*! Что можетъ быть короче? Но едва ли фраза въ этомъ видѣ сдѣлалась яснѣе десятка бентамовскихъ томовъ, гдѣ она выражена на каждой страницѣ длинными періодами.—Я, признаюсь, люблю фразы: въ фразахъ человѣкъ иногда забудетъ свое ремесло актера и проговорится отъ души, а что проговаривается отъ души, то бываетъ иногда истиной, хотя часто самъ говорящій того не замѣтилъ. — Въ храмѣ философіи, какъ въ вышнемъ судилищѣ, опредѣляются тѣ задачи, которыя въ данную эпоху разрабатываются въ низшихъ слояхъ человѣческой дѣятельности. Нельзя не замѣтить явнаго параллелизма между самыми отвлеченными метафизическими положеніями вѣка и движеніемъ прикладныхъ наукъ, которыя образуютъ всю общественную, семейственную и индивидуальную жизнь человѣка въ томъ вѣкѣ. Такъ, напр., довольно любопытно, что постепенное раздробленіе естественныхъ знаній, или, лучше сказать, ихъ измельчаніе, другими словами, ихъ оремесленіе,—ихъ постепенное паденіе—соотвѣтствуетъ именно той бѣдственной эпохѣ, когда философія, поскользнувшись въ Бэконѣ, перешла чрезъ Локка и опустилась до Кондильяка, несмотря на все противодѣйствіе великаго Лейбница. Бэконъ, вѣроятно, самъ не ожидалъ, до какой нелѣпости дойдутъ его послѣдователи; онъ нападалъ на экспериментальную методу толпы своего времени, „слѣпую и безсмысленную“; онъ требовалъ, чтобы опыты были производимы въ нѣкоторомъ порядкѣ и съ нѣкоторою методою; но на Бэконѣ лежитъ тяжкая отвѣтственность за то, что онъ пріучилъ изслѣдователей останавливаться на *случайныхъ*, *второстепенныхъ* причинахъ, оставляя въ сторонѣ *внутреннюю сущность* явленій.

Отъ безвѣрія въ возможность общихъ началъ, отъ на-

выка довольствоваться второстепенными, случайными причинами, отъ непривычки къ высшему движенію духа произошли два зла: первое зло—увѣренность, что всякое ощущеніе души тогда только дѣйствительно существуетъ, когда можетъ быть выражено словами; такимъ образомъ то, что не подходитъ подъ ту или другую матеріальную форму, названо мечтой... Другое зло: гибельная *спеціальность*, которая нынѣ почитается единственнымъ путемъ къ знанію—и обращаетъ человѣка въ камеръ-обскуру, вѣчно наведенную на одинъ и тотъ же предметъ. Цѣлые годы она отражаетъ его безъ всякаго сознанія зачѣмъ и для чего и въ какой связи этотъ предметъ съ другими?

Но Одоевскому становилось наконецъ жалко читателя: наговоривъ столько непріятнаго его разсудку и горделивому чувству вполнѣ просвѣщеннаго и цивилизованнаго человѣка, онъ начиналъ размягчать его душу необычайно поэтичными элегіями и лирическими порывами, и музыкой своихъ словъ его гипнотизировалъ.

Какой-нибудь образъ души, тянущейся къ символу вѣчнаго свѣта, образъ духа, который бьется въ двери райскихъ селеній, картина измученнаго человѣка, припадающаго горячими устами къ источнику мысли... и много, много такихъ образовъ, туманныхъ, но хватающихъ за душу, неясныхъ, но именно своей неясностью плѣнительныхъ, и все это на фонѣ какого-то мистическаго тумана—производили свое дѣйствіе: читатель былъ оторванъ отъ земли, контуры настоящаго начинали какъ-то сливаться, всплывало прошлое, надвигалось будущее и нѣжный, томный миръ опускался на душу. Эффектъ былъ произведенъ: читатель начиналъ чувствовать, что за его спиной стоитъ дѣйствительно какой-то таинственный призракъ...

Впрочемъ нельзя своими словами передать то впечатлѣніе, которое производитъ рѣчь Одоевскаго. Надо самому глубоко вѣрить въ неземные міры, чтобы уловить ихъ гармонію въ его переложеніи.

Перейдемъ къ той части его ученія, въ которой онъ, идеалистъ, выступаетъ какъ обличитель современной ему цивилизаціи, эгоистической по своимъ нравственнымъ тенденціямъ и позитивной по своему міропониманію. Эта часть доступнѣе для уразумѣнія и цѣннѣе по своему содержанію, какъ продуктъ критическаго ума, хотя и очень пылкаго.

Не будетъ преувеличеніемъ, если мы скажемъ, что князь Одоевскій при всемъ миролюбіи своего темперамента въ своемъ полемическомъ задорѣ и въ своихъ реформаторскихъ планахъ сравнялся съ самыми смѣлыми отрицателями. Онъ былъ первый изъ нашихъ писателей, который дерзнулъ сказать въ лицо всей ему современной цивилизаціи—не русской только, а обще міровой, что она воплощенная ложь, что ее надо перестроить всю цѣликомъ на новыхъ началахъ.

Каковы должны быть эти начала, объ этомъ Одоевскій говорилъ глухо и несистематично, и еще менѣе былъ онъ способенъ давать какіе-нибудь практическіе совѣты. Онъ ограничился только тѣмъ, что далъ широкую волю своему раздраженію противъ хваленой культуры и просвѣщенія своего вѣка.

Противъ нея онъ выступалъ съ доводами иногда старыми, нѣсколько обносившимися, а иногда съ новыми, которые онъ заботливо оттачивалъ.

Если бросить взглядъ вокругъ, говорилъ онъ, придешь въ отчаяніе, и въ ужасѣ остановишься передъ грознымъ, неумолимымъ, безотвѣтнымъ словомъ: зачѣмъ? Зачѣмъ общество враждуетъ съ обществомъ и еще болѣе съ каждымъ изъ своихъ собственныхъ членовъ? Зачѣмъ преступленіе и несчастіе считаются необходимою буквою въ математической формулѣ общества? Зачѣмъ напряжены всѣ силы духа и вещества, когда общество страждетъ? Зачѣмъ человѣкъ прилежно вертитъ все одно и то же колесо общественной машины и каждый день слѣпнетъ все больше и больше? Вездѣ вражда, смѣшеніе языковъ, казни безъ преступленій и преступленія безъ казни, а на концѣ поприща смерть и ничтожество... Зачѣмъ все это?

Чтобы отвѣтить на эти вопросы, надо стать выше жизни, которую судишь, а какой отвѣтъ могутъ дать люди, превратившіеся въ паровую машину, съ душой на винтахъ и въ колесахъ? Что могутъ сдѣлать дряхлые сыны дряхлыхъ отцовъ? Въ минуту ослѣпленія гордиться своимъ ничтожествомъ, а въ минуту сомнѣнія рыдать на развалинахъ?

Кругомъ одно банкротство, и прежде всего страшное банкротство науки. Медицина, математика, физика, химія, астрономія запутались въ загадкахъ. Науки соціальныя, что дали онѣ? Въ нихъ забыта одна глубокая мысль: счастіе всѣхъ и каждаго... Кругомъ вражда, разсчетъ, свободная конкурренція... Торжествующій эгоизмъ!

Но отчаяніе наше должно усугубиться, если подумать, что эти противорѣчія и неправды культуры не находятъ себѣ никакой поправки въ нашемъ сознаніи и чувствѣ. Сознаніе наше мы съузили слѣпой нашей вѣрой въ „фактъ", а сердце изсушили, отвергнувъ „безполезные" порывы души. А вѣдь только въ томъ, что люди называютъ „безполезнымъ" и скрыто все спасенье наше. Въ немъ, въ этомъ „безполезномъ"—разгадка всѣхъ внѣшнихъ дѣйствій нашихъ чувствъ—украшеніе нашей жизни. Мы воспрянули бы духомъ, если бы широко открыли глаза, если бы отрѣшились отъ безвѣрія въ возможность общихъ началъ жизни, если бы отрѣшились отъ увѣренности, что всякое ощущеніе души тогда только дѣйствительно существуетъ, когда можетъ быть выражено словами. Есть тайныя ощущенія и они руководятъ нашей жизнью; есть полное свободное прозрѣніе духа и оно видитъ помимо нашихъ чувствъ. Вся задача человѣчества—понять свой инстинктъ и почувствовать свой разумъ. Читайте двѣ книги: природу и человѣка, но только остерегитесь: читайте не строки, а между строками.

А что представляютъ собою теперь всѣ культурные люди, всѣ культурныя націи? Сущность жизни ихъ мало интересуетъ, а одна только видимость. И первая видимость, и самая цѣнная—одна гласная буква: „я" и ничего больше. Вся

жизнь современной Европы построена на этой гласной буквѣ и еще на одномъ сочетаніи буквъ, которое звучитъ „фактъ". Все изолгалось въ этихъ хваленыхъ странахъ прогресса: изолгалась наука, которая сама себя лишила всѣхъ обобщеній, поэзія, которая потеряла вѣру въ самое себя, религія, которая стала политической ареной, политика, которую захватили въ свои руки спекуляторы на народномъ благѣ...

Таковъ духъ времени—скажутъ люди, и преклонятся передъ фактомъ, вмѣсто того, чтобы бороться съ нимъ. Но вѣдь духъ времени всегда въ вѣчной борьбѣ съ внутреннимъ чувствомъ человѣка... Вѣдь можетъ же человѣкъ творить своей внутренней силой? Она сильнѣе природы; значитъ—сильнѣе и духа времени.

Въ этой филиппикѣ князя Одоевскаго много преувеличеннаго и огульнаго, но не слѣдуетъ ее критиковать въ ея деталяхъ: ее надо оцѣнить по общему впечатлѣнію. Пусть Одоевскій не правъ въ отдѣльныхъ своихъ сужденіяхъ, какъ былъ неправъ его дальній родственникъ въ данномъ случаѣ Ж. Ж. Руссо, но въ цѣломъ это огульное отрицаніе всей современной цивилизаціи заключало въ себѣ зерно великой истины. Увлекая слушателя отъ отрицанія къ отрицанію, слова Одоевскаго оставляли въ душѣ каждаго вдумчиваго человѣка осадокъ спасительнаго скептицизма, не говоря уже о томъ, что многія стороны евронейской культуры были нашимъ писателемъ обнаружены во всей ихъ жестокой наготѣ—взять хотя бы рабочій вопросъ съ его нравственными ужасами, о которыхъ намъ, русскимъ, до Одоевскаго никто не говорилъ.

Какой-нибудь полукультурный человѣкъ, громящій западную цивилизацію со словъ Одоевскаго, былъ, конечно, смѣшонъ, но очень серьезенъ былъ самъ обличитель, который зналъ, что стоитъ кому-нибудь хоть разъ прочитать его ядовитыя и злобныя слова, и этотъ человѣкъ навсегда утратитъ способность благодушнаго отношенія къ переживаемой минутѣ. А для того времени это было очень много.

Самъ Владиміръ Ѳедоровичъ такое благодушіе давно

утратилъ. Въ его глазахъ міръ идеала обладалъ реальнымъ бытіемъ, а не былъ лишь опоэтизированнымъ пожеланіемъ человѣка. Созерцаніе этого идеала сквозь призму шеллингіанства не упокоило его въ облакахъ, и, какъ многіе ревностные ученики нѣмецкой метафизики, на западѣ и у насъ—онъ очень быстро очутился въ передовыхъ рядахъ борцовъ за общественное обновленіе.

Отъ кабинетныхъ метафизиковъ Одоевскій отличался кромѣ того тѣмъ, что никогда ни на минуту не признавалъ дѣйствительность „разумной“ и всегда враждовалъ съ ней во имя лучшаго, даже въ моменты свего юношескаго упоенія философскими формулами.

Это лучшее стояло передъ его глазами и тогда, когда онъ рѣшился выговорить странное, но слишкомъ простое, какъ онъ говорилъ, слово. Это слово было: „Западъ гибнетъ“.

Онъ гибнетъ и спасти его нельзя, такъ какъ гибель эта въ порядкѣ вещей. Она предначертана всѣмъ ходомъ міровой исторіи. Здѣсь не помогутъ никакія исправленія частностей, здѣсь нужна радикальная реформа. И она наступитъ. Въ этомъ порукой — Шеллингъ, который предусмотрѣлъ весь порядокъ слѣдованія культурныхъ эпохъ. Исторія, говорилъ учитель, есть постепенное обнаруженіе абсолюта. Абсолютъ въ своемъ обнаруженіи проходитъ черезъ нѣсколько ступеней развитія, пока наконецъ не наступитъ на землѣ царство Провидѣнія. Оно еще далеко, но длиненъ и тотъ путь, который уже прошло человѣчество. Такъ говорилъ учитель. Ученикъ повторялъ эти слова, и гордыя родились въ немъ мысли.

На этихъ отдѣльныхъ ступеняхъ развитія абсолюта, разсуждалъ Одоевскій, руководящая роль послѣдовательно переходила отъ одной національности къ другой. Сказать, что западъ обреченъ на гибель, не все ли это равно, что сказать, что культура античная, романская и германская свой вѣкъ отжили? Какая же культурная нація придетъ имъ на смѣну?

Отвѣтъ былъ ясенъ: онъ вытекалъ самъ собой изъ фи-

лософскихъ и историческихъ предпосылокъ Одоевскаго, не говоря уже объ его патріотизмѣ.

Будущее—XIX вѣкъ принадлежитъ намъ, русскимъ. Иногда Провидѣніе долго, вдалекѣ отъ бурь міра, хранитъ народъ, долженствующій показать снова путь, съ котораго совратилось человѣчество, и занять первое мѣсто между народами. О! вѣрьте! будетъ призванный изъ народа юнаго, свѣжаго, непричастнаго преступленіямъ стараго міра. Будетъ достойный взлелѣять въ душѣ своей великую тайну и возставить свѣтильникъ на свѣшницу... Гдѣ нынѣ народъ, хранящій въ себѣ тайну спасенія міра?..—Это мы—и мы призваны спасти не одно тѣло Европы, но и ея душу. Мы поставлены на рубежѣ двухъ вѣковъ: мы новы и свѣжи, мы не причастны преступленіямъ старой Европы. Велико наше званіе и труденъ подвигъ! Все должны оживить мы! Нашъ духъ вписать въ исторію ума человѣческаго... XIX вѣкъ принадлежитъ Россіи!

Недаромъ Петръ Великій умирилъ чувство разгульнаго нашего мужества—строеніемъ, народный эгоизмъ расширилъ зрѣлищемъ западной жизни. Чуждыя стихіи усвоились, новая горячая кровь полилась въ нашихъ широкихъ жилахъ.

Придетъ время, когда мы вернемъ западу съ лихвой все у него взятое, и мы привьемъ ему свѣжіе могучіе соки славянскаго Востока. Западъ найдетъ у насъ частью его же силы, сохраненныя и умноженныя, найдетъ и наши собственныя силы, ему неизвѣстныя, которыя не оскудѣютъ отъ раздѣла. Онъ найдетъ у насъ историческую жизнь, родившуюся не въ междоусобной борьбѣ между властью и народомъ, но свободно естественно развившуюся чувствомъ любви и единства. Онъ найдетъ у насъ вѣрованіе въ возможность счастія не одного лишь большаго числа, но въ счастіе всѣхъ и каждаго, и западъ увѣрится, что существуетъ народъ, котораго естественное влеченіе — всеобъемлющая многосторонность духа, которую тщетно западъ возбуждаетъ искусственными средствами.

Эти рѣчи Одоевскаго, такъ часто потомъ повторявшіяся въ разныхъ версіяхъ, стали однимъ изъ основныхъ параграфовъ нашей національной доктрины. Многіе, слушая ихъ, никакъ не могли однако сгладить одного противорѣчія. Какъ можетъ такое странное самомнѣніе сочетаться съ тѣмъ смиреніемъ, которое выставляется какъ одна изъ нашихъ существенныхъ добродѣтелей? Но если хладнокровно отнестись къ музыкѣ этихъ патріотическихъ трубъ и литавровъ, то участіе ихъ въ спокойномъ философскомъ трактатѣ и вообще ихъ существованіе можетъ быть истолковано весьма естественно.

Отчего въ самомъ дѣлѣ нація, вѣрующая въ свои силы и чувствующая ихъ въ себѣ, не можетъ надѣяться на то, что она призвана къ великой культурной работѣ въ предѣлахъ нетолько своего отечества, но вообще въ предѣлахъ міра? Вся опасность такой надежды заключается только въ одномъ— хватитъ ли у людей выдержки и спокойствія, чтобы достойнымъ образомъ оцѣнить наличность своихъ силъ въ настоящемъ и не потребовать для себя слишкомъ рано неподобающей роли? Какъ легко можно захотѣть похоронить старину преждевременно и захотѣть самому заговорить не въ очередь!

Князь Одоевскій старину хоронилъ, безспорно, преждевременно: ни о какой гибели запада не могло быть и рѣчи. Но эту ошибку онъ отчасти исправилъ тѣми ограниченіями, которыми онъ обставилъ свои мысли о великомъ призваніи Россіи.

„Увы! говорилъ онъ, можетъ быть, не нашему поколѣнію принадлежитъ это великое дѣло! Мы еще раздѣляемъ страданія Европы! Мы еще не уединились въ свою самобытность. Мы струна ненастроенная — мы еще не поняли того звука, который мы должны занимать во всеобщей гармоніи... Тебя, новое поколѣніе! тебя ждетъ новое солнце! XIX вѣкъ принадлежитъ Россіи!“

Владиміръ Ѳедоровичъ, какъ видимъ, несмотря на эту оговорку, все-таки торопился. Но и эту торопливость можно

простить ему въ виду одной мысли, которою онъ закончилъ свои философскіе діалоги.

„Приготовьтесь, писалъ онъ, къ принятію дорогихъ гостей—нашихъ старыхъ учителей; приберите горницу, наполните ее всѣмъ нужнымъ для жизни, чтобы ни въ чемъ не было недостатка; принарядитесь сами и тщательно позаботьтесь о своихъ меньшихъ братьяхъ и передайте имъ въ руки хотя бы науку“ [и дайте имъ свободу—прибавлялъ между строками авторъ].

Эта мысль, если понять ее во всей должной широтѣ, искупаетъ гордыню патріота, потому что, дѣйствительно, если горница хорошо убрана и все нужное для жизни въ ней есть, если мы принаряжены нравственно, то отчего же не позвать гостей и не сказать имъ, правда, не такъ рѣзко—„учитесь“, а „возьмите то, чего у васъ нѣтъ“. Никакая гордыня не страшна, пока человѣкъ самъ себѣ судья самый строгій. А Владиміръ Ѳедоровичъ, отпѣвая западъ, произносилъ за Россію не благодарственную молитву, а ектенію просительную. Въ этомъ и его отличіе отъ всѣхъ тѣхъ, кто, повторяя его красивыя слова, думалъ, что наступило время диктовать западу законы жизни. Въ одномъ только Одоевскій ошибся: онъ считалъ наступленіе славянскаго періода всемірной исторіи дѣломъ ближайшаго будущаго.

Впрочемъ онъ самъ скоро созналъ свою ошибку.

Пророчество его о Россіи было сказано въ 1844 году, и этотъ годъ можно считать послѣднимъ годомъ его литературной дѣятельности.

Въ „Русскихъ ночахъ“, Одоевскій простился со своимъ вдохновеніемъ поэта, со своей молодостью, которая была такъ поэтична въ ея увлеченіи философіей. Но „Русскія ночи“ не только памятникъ жизни ихъ автора; книга эта — исповѣдь цѣлаго поколѣнія, свершившаго свое дѣло и уступавшаго свое мѣсто новымъ людямъ. Прославленный идеализмъ сороковыхъ годовъ не создалъ ничего болѣе красиваго, болѣе продуманнаго и художественно-цѣльнаго, чѣмъ эти „Ночи“, которыя

поглотили всю мудрость ихъ вѣка. Онѣ насквозь пропитаны романтикой и метафизикой, и никогда эта русская романтика и метафизика не были такъ красивы и краснорѣчивы, какъ наканунѣ своей смерти—въ этой книгѣ.

А смерть или во всякомъ случаѣ долгій сонъ метафизической мысли приближался. Въ томъ же году, когда вышли „Русскія ночи", появились и „Письма объ изученіи природы", которыя предлагали намъ двинуться отъ Гегеля не назадъ къ Шеллингу, а впередъ къ Фейербаху.

Двинулся впередъ и князь Одоевскій, не измѣняя, однако, своей идеалистической философіи и своей морали, построенной на мистическомъ и религіозномъ чувствѣ. Философскій его пылъ остывалъ постепенно и на смѣну ему шла жажда дѣятельности практической, желаніе „прибрать горницу". Послѣднія 25 лѣтъ его жизни были посвящены почти исключительно дѣятельности общественной, хотя онъ и напоминалъ иногда читателю, что онъ литераторъ и художникъ.

Многое за эти 25 лѣтъ измѣнилось. Повѣсти Одоевскаго перестали появляться въ печати, философію Шеллинга онъ сохранилъ для себя, для своего кабинета, экономистовъ и практиковъ онъ полюбилъ больше; громить западъ пересталъ и даже примкнулъ къ тѣмъ русскимъ людямъ, которые этотъ западъ ставили намъ въ примѣръ, и, главное, онъ пересталъ ждать отъ Россіи чуда, но продолжалъ любить ее, въ нее вѣрить и трудиться изъ послѣднихъ силъ на пользу ея обновленія. И умеръ онъ въ 1869 году на славномъ посту защитника и проводника гуманныхъ идей той знаменательной эпохи.

Удивительно гармонично распредѣлилъ и израсходовалъ князь Одоевскій свои духовныя силы.

Какъ художникъ онъ обогатилъ нашу литературу новымъ родомъ творчества: онъ создалъ образцы русской философской повѣсти.

Какъ мыслитель онъ былъ искуснымъ проводникомъ

илософскаго идеализма въ широкіе круги нашего общества, ылъ служителемъ истины, глубоко убѣжденнымъ въ томъ, то ея храмъ долженъ быть построенъ на самой людной лощади.

Какъ ревнитель добра, онъ про каждую нравственную сен-енцію, философски и поэтически имъ выраженную, могъ ска-ать, что она осуществлена имъ на дѣлѣ, въ борьбѣ и въ рудѣ.

Истина, добро и красота часто враждуютъ другъ съ дру-омъ. Истина бываетъ, если не антиморальна, то аморальна, обро бываетъ не эстетично, а красота бываетъ зла.

Но случается, что эти три добрыхъ генія нашей земной изни дружелюбно встрѣчаются у колыбели избраннаго че-овѣка.

1904.

Виссаріонъ Григорьевичъ

Бѣлинскій

Памяти Бѣлинскаго.

ъ совсѣмъ особымъ чувствомъ произносимъ мы имя Вис-ына Григорьевича Бѣлинскаго. Даже тогда, когда мы за-нились бы въ точности припомнить, чѣмъ именно мы аны Бѣлинскому въ нашемъ умственномъ развитіи, на какія ыно мысли, еще на школьной скамьѣ, навелъ насъ этотъ тель,—мы, вспоминая о немъ, не можемъ не чувствовать вной связи, какая существуетъ между нимъ и нами—имъ, о уже умершимъ человѣкомъ, и нами, которыхъ жизнь, димому, такъ далеко отъ него умчала. На эту связь время будто не наложило своей печати.

Слова Бѣлинскаго принадлежатъ исторіи; по крайней мѣрѣ, ое, что ему казалось истиной, за что онъ такъ „неистово" валъ, противъ чего боролся съ такой страстностью и ностью, — теперь либо забыто, либо стало общимъ до-ніемъ. Мы даже не всегда справедливы къ словамъ Бѣ-каго: мы часто готовы забыть, что именно благодаря ему ое, прежде спорное и недоказанное, теперь окончательно рдилось въ нашемъ сознаніи; мы такъ спокойны въ обла-и нѣкоторыхъ истинъ философскихъ, нравственныхъ и гическихъ, что не даемъ себѣ труда припомнить, сколько и, желчи и, можетъ быть, слезъ стоили эти истины тѣмъ мъ, которые впервые почувствовали надъ собой ихъ силу ѣстѣ съ тѣмъ сознали свою обязанность стать ихъ гла-

шатаями. Бѣлинскій былъ однимъ изъ немногихъ такихъ добровольныхъ мучениковъ идеи, и цѣной его жизни куплены наши взгляды, понятія, вкусы, съ которыми мы такъ теперь освоились и сжились, что они кажутся намъ прирожденными.

Но не объ этомъ очень значительномъ умственномъ богатствѣ, которое досталось намъ по наслѣдству отъ Бѣлинскаго, думаемъ мы, когда о немъ вспоминаемъ; мы сознаемъ прежде всего, что мы этому человѣку обязаны нравственно.

Когда въ юномъ возрастѣ мы впервые знакомимся съ его сочиненіями, когда обиліе мыслей, въ нихъ заключенныхъ, впервые открываетъ намъ глаза на многія стороны жизни, мимо которыхъ мы проходили равнодушно,—мы и тогда находимся не только подъ властью его мысли, но и подъ властью той нравственной силы, которая даетъ себя чувствовать въ каждой имъ написанной страницѣ. Когда затѣмъ въ зрѣлые годы мы опять перечитываемъ эти страницы, смыслъ ихъ для насъ уже не новинка, но ихъ обаяніе всетаки не исчезаетъ. Трудно опредѣлить, въ чемъ оно заключается, какъ вообще трудно передать словами впечатлѣніе, вынесенное изъ встрѣчи съ человѣкомъ, нравственное преимущество котораго даетъ себя чувствовать. Такой человѣкъ можетъ и не обольстить нашего ума, и не ослѣпить насъ оригинальностью своей мысли, — ему однако дана власть надъ нами, кроткая власть, но зато наиболѣе прочная и неотразимая. Такой властью обладали всѣ пророки; они бывали и мудрецами, но не въ мудрости была вся ихъ сила.

Бѣлинскій былъ изъ ихъ числа.

Если, однако, въ настоящее время его рѣчь трогаетъ насъ больше своей убѣжденностью и сердечностью, чѣмъ вѣчно юной новизной содержанія; если мы, произнося теперь его имя, испытываемъ скорѣе наплывъ чувствъ, чѣмъ тревогу мысли,—то надо помнить, что было время, когда рѣчь Бѣлинскаго была одновременно и откликомъ на всѣ запросы русскаго сердца, и вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтомъ на всѣ вопросы, которые тогда жизнь ставила русскому уму. Критика Бѣлин-

скаго была для своего времени довольно полной энциклопедіей знанія. Бѣлинскій былъ не только свидѣтель, но и судья цѣлой знаменательной эпохи въ исторіи нашего развитія; онъ пережилъ ее какъ никто изъ его современниковъ, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ не обладалъ въ такой степени способностью откликаться на всѣ самые разнородные вопросы духовной и матеріальной жизни, — вопросы, которые приходилось тогда не только обсуждать, но угадывать, намѣчать и ставить.

Эпоха Бѣлинскаго нашла себѣ въ его критическихъ статьяхъ наиболѣе полное и всестороннее освѣщеніе; мы можемъ признать это, нисколько не умаляя значенія другихъ дѣятелей того времени и не желая сравнивать талантъ Бѣлинскаго съ талантомъ его сверстниковъ. Раздача аттестатовъ на различныя степени талантливости вообще дѣло очень рискованное, да и безполезное. Мы не скажемъ, что Бѣлинскій имѣлъ привилегію на исключительную правильность въ оцѣнкѣ всѣхъ явленій тогдашней жизни. Онъ могъ, какъ и всѣ, ошибаться. Но то, что̀ заставляетъ насъ поставить его во главѣ цѣлой культурной эпохи, это—разносторонность его интересовъ, умѣнье созерцать жизнь въ ея цѣломъ, способность нанизывать всѣ ея явленія на одну руководящую идею, и, главнымъ образомъ, особая чуткость, не позволявшая ему просмотрѣть ни одного сколько-нибудь важнаго и характернаго движенія чувства или мысли, которыя зарождались и пробивали себѣ дорогу въ современномъ ему русскомъ обществѣ.

Эта идейность, разносторонность и полнота сужденія придаютъ критическимъ статьямъ Бѣлинскаго цѣнность историческаго памятника первостепенной важности. Можно сказать даже, что, при всей ея невольной недосказанности, критика Бѣлинскаго—самый важный историческій документъ цѣлаго десятилѣтія въ исторіи нашей культуры. Этотъ историческій памятникъ отражаетъ и подводитъ итогъ всему теченію нашей философской, эстетической, исторической и общественной мысли за многіе годы; въ немъ разсказана исторія на

шего самосознанія въ одинъ изъ очень важныхъ моментовъ нашего развитія,—разсказана, быть можетъ, не всегда объективно, но зато искренно, очень полно, съ рѣдкой широтой и глубиной критическаго взгляда.

Бѣлинскаго можно, конечно, выдѣлить изъ его эпохи; его можно разсматривать, какъ совсѣмъ самостоятельную величину, какъ оригинальнаго русскаго мыслителя, критика, сатирика и стилиста; въ его статьяхъ найдется не мало матеріала для такой характеристики. Но только взятая въ связи со своей эпохой его личность пріобрѣтаетъ настоящую цѣнность. Когда видишь, чѣмъ былъ этотъ человѣкъ для цѣлыхъ поколѣній, какъ искустно въ общемъ хорѣ лицъ, не уступавшихъ ему въ талантѣ и знаніяхъ, онъ игралъ роль дирижера, какъ онъ умѣлъ всегда выдѣлять господствующіе мотивы современной жизни,— тогда только получаешь правильное понятіе объ его силѣ и нравственной, и умственной. Сила эта была громадна; если мы ее и теперь еще чувствуемъ, то какое же впечатлѣніе она должна была производить на современниковъ!

I.

Внѣшнія условія, при которыхъ этой силѣ пришлось крѣпнуть и бороться, никакъ нельзя назвать благопріятными. Исторія жизни Бѣлинскаго—краткая печальная повѣсть о всевозможныхъ житейскихъ лишеніяхъ, страданіяхъ и невзгодахъ, начиная съ нищенства, кончая физическимъ недугомъ. Пусть эти житейскія печали и были относительно ничтожны въ сравненіи съ печалью духа, отъ которой Бѣлинскому приходилось страдать такъ много и цѣною которой онъ покупалъ свое умственное и нравственное развитіе и всѣ свои побѣды; но забывать о нихъ, объ этихъ матеріальныхъ лишеніяхъ, не слѣдуетъ: они составляютъ тотъ фонъ, который хорошо оттѣняетъ многія стороны въ характерѣ Бѣлинскаго и позволяетъ намъ лучше оцѣнить глубокую искренность многихъ его взгля-

довъ. Если кто имѣлъ право сказать, что жизнь имъ выстрадана, такъ это Бѣлинскій; и потому, когда онъ, глядя на жизнь съ философской высоты, въ общемъ смотрѣлъ на нее съ такимъ довѣріемъ, съ такой надеждой, то эта оптимистическая оцѣнка жизни была вовсе не результатомъ его малаго знакомства съ ея прозаическими и мрачными сторонами, его наивности или аристократическаго отчужденія, а убѣжденіемъ человѣка, оцѣнившаго страданіе и понявшаго его нравственно воспитательное значеніе для человѣка.

Житейскія невзгоды начались для Бѣлинскаго очень рано. Его молодость не была ограждена отъ раннихъ лишеній и заботъ, какъ была защищена юность почти всѣхъ тѣхъ молодыхъ людей, которые вмѣстѣ съ нимъ составили знаменитое братство нашихъ идеалистовъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Семья, въ которой выросъ Бѣлинскій [онъ родился въ 1810 году], жила въ глухой провинціи, въ городѣ Чембарѣ, Пензенской губерніи. Здѣсь, въ этой семьѣ, которую можно назвать относительно интеллигентной [отецъ Бѣлинскаго былъ уѣздный врачъ], среди провинціальнаго общества, вѣроятно совсѣмъ неинтеллигентнаго, и въ училищѣ съ самой примитивной программой обученія выросталъ Бѣлинскій. Условія, какъ видимъ, были мало благопріятны для его умственнаго развитія. Быть можетъ, изъ библіотеки отца, который, кажется, любилъ литературу и самъ былъ не прочь пофилософствовать,—и, говорятъ, въ довольно свободномъ духѣ,—Бѣлинскому и перепадали коекакія книги, которыя могли будить его пытливую мысль. Но это чтеніе было случайное.

Такой же характеръ случайности носило и его обученіе въ Пензенской гимназіи, куда онъ поступилъ изъ чембарскаго уѣзднаго училища. Впрочемъ, въ Пензѣ кругъ интересовъ становился шире; въ нѣкоторыхъ преподавателяхъ Бѣлинскій встрѣтилъ если не руководителей, то всетаки начитанныхъ въ литературѣ людей; кромѣ того, кружокъ семинаристовъ, съ которыми онъ свелъ дружбу, направилъ его

умъ на философскіе вопросы; наконецъ, и губернское общество могло обогатить запасъ его впечатлѣній. Жизнь въ Пензѣ — по отзывамъ свидѣтелей, голодная и нищенская — окупала, такимъ образомъ, для Бѣлинскаго свои неудобства тѣмъ относительнымъ расширеніемъ умственнаго кругозора, которое она ему давала. Бѣлинскій однако бѣжалъ изъ Пензы, не окончивъ гимназіи. Его влекло въ Москву; онъ торопился поступить въ университетъ; ему казалось, что онъ упуститъ время, хотя ему и шелъ всего только двадцатый годъ. Въ концѣ 1829 года Бѣлинскій былъ уже въ Москвѣ.

Изъ тѣхъ воспоминаній, которыя дошли до насъ объ юношеской жизни и гимназическихъ годахъ Бѣлинскаго, мы можемъ составить себѣ довольно опредѣленное понятіе если не объ его міросозерцаніи, которое тогда только-что формировалось, то объ его характерѣ, темпераментѣ и нѣкоторыхъ литературныхъ вкусахъ. Эти воспоминанія рисуютъ намъ Бѣлинскаго какъ человѣка очень нервнаго, впечатлительнаго и восторженнаго.

Условія жизни поддерживали въ немъ эти врожденныя склонности. Въ семьѣ особаго ладу не было; если эта семейная жизнь и не была адомъ, то все-таки частыя столкновенія мальчика съ эксцентричнымъ, иногда порочнымъ характеромъ отца и довольно необузданнымъ нравомъ матери не могли не усилить его впечатлительности и нервности; семья, вмѣсто того, чтобы смягчать эту нервность любовью и лаской, ее только возбуждала, — и въ годы юности, и послѣ, когда Бѣлинскій съ семьей разстался.

Пустота, невѣжество и уродство окружающей жизни, въ особенности жизни крѣпостнической, къ которой Бѣлинскій имѣлъ много случаевъ присмотрѣться, должны были также болѣзненно отозваться на его нравственномъ чувствѣ, и оно, если вѣрить лицамъ, близко знавшимъ Бѣлинскаго, уже въ тѣ ранніе годы протестовало, и очень страстно, противъ всякаго оскорбленія и приниженія человѣка. Что провинціальная жизнь давала Бѣлинскому много поводовъ къ ссорѣ съ дѣй-

ствительностью, къ мучительному ощущенію разлада между мечтой и жизнью—это само собою ясно; понятно также, что мечта, въ молодые годы вообще столь свободная и необузданная, должна была имѣть особую власть надъ такимъ впечатлительнымъ сердцемъ.

Человѣкъ, который такъ чутко относился къ жизни, какъ Бѣлинскій, долженъ былъ находить не только наслажденіе, но умиротвореніе и успокоеніе въ мечтахъ, и преимущественно, конечно, въ тѣхъ, которыя были воплощены въ художественныхъ образахъ. Дѣйствительно, Бѣлинскій любилъ эти образныя мечты съ самыхъ раннихъ лѣтъ дѣтства. Воспоминанія его современниковъ и товарищей рисуютъ намъ этого восторженнаго мальчика какъ большого поклонника и знатока отечественной и даже иностранной литературы. Онъ всегда спѣшитъ свести разговоръ на литературу; онъ споритъ о ней, онъ со страстностью увлекается ею; онъ влюбленъ въ тотъ призрачный міръ, который мало-по-малу начинаетъ ему открываться въ созданіяхъ Гёте, Шиллера, Вальтеръ Скотта, Байрона, Жуковскаго, Пушкина... Онъ увлеченъ и театромъ; на каникулахъ онъ самъ играетъ; въ немъ уже виденъ этотъ будущій театралъ, который способенъ былъ не уставая десять разъ подрядъ восторгаться Мочаловымъ въ одной и той же роли. Но онъ не только зритель и читатель, онъ самъ творецъ, пока, конечно, очень несовершенныхъ созданій. Онъ почитаетъ себя „опаснымъ соперникомъ Жуковскаго“, какъ онъ самъ признается... и ему кажется, что въ мірѣ искусства онъ призванъ быть не истолкователемъ и судьей, а свободнымъ творцомъ и художникомъ.

Юноша пока поклонникъ преимущественно страсти и сильныхъ движеній сердца. „Борисъ Годуновъ“ ему не нравится; онъ, конечно, предпочитаетъ „Разбойниковъ“ Шиллера, языкомъ которыхъ онъ иногда и говоритъ со своими близкими.

Молодой энтузіастъ и эстетикъ, онъ упивается художе-

ственнымъ творчествомъ, читаетъ много и новаго, и стараго, отыскивая вездѣ пищу для своей фантазіи и для своего чуткаго сердца. Міръ искусства для него вторая жизнь, и, конечно, въ эти годы болѣе цѣнная, чѣмъ сѣрая жизнь дѣйствительности, которая его окружаетъ: эта дѣйствительность его оскорбляетъ и сердитъ, а міръ мечты даетъ ему требуемое умственное и нравственное удовлетвореніе...

Бѣлинскій торопился съ поступленіемъ въ университетъ. Разсадникъ русскаго просвѣщенія, центръ умственной и литературной жизни издалека привлекалъ его къ себѣ однимъ своимъ именемъ. Вотъ почему онъ бросилъ такъ поспѣшно гимназію и, не боясь лишеній матеріальныхъ, почти безъ копейки, пошелъ на розыски новой жизни.

II.

Что дала ему Москва?

Университетъ далъ мало. За исключеніемъ двухъ, трехъ профессоровъ, остальные могли ему показаться старыми знакомыми, которыхъ онъ покинулъ въ Пензѣ. Но не университетъ воспиталъ Бѣлинскаго: его талантъ окрѣпъ и созрѣлъ въ той литературной и журнальной атмосферѣ, которая теперь его окружала, въ тѣхъ столкновеніяхъ съ людьми, стоящими во главѣ тогдашней интеллигентной жизни, наконецъ, въ общеніи съ цѣлой группой очень одаренныхъ юношей, которые вмѣстѣ съ нимъ, на поискахъ за свѣтомъ, пришли въ университетъ и, имъ не удовлетворенные, основали рядомъ съ университетомъ свою академію вольныхъ философовъ, эстетиковъ и моралистовъ.

Бѣлинскій попалъ въ Москву въ очень знаменательную для русской литературы эпоху. Это были тѣ годы, когда такъ называемый „романтизмъ“ одерживалъ свои самыя блистательныя побѣды, чтобы, свершивъ свою культурную миссію, уступить свое мѣсто иному настроенію.

Романтизмъ! Какъ много этимъ словомъ сказано, и какъ оно неопредѣленно! Было время, когда оно не сходило съ устъ всѣхъ русскихъ литераторовъ и критиковъ, и каждый изъ нихъ понималъ его по-своему и былъ правъ въ такомъ произвольномъ толкованіи.

Дѣйствительно, слово „романтизмъ“ не выражало собой никакого яснаго *теченія или направленія мысли* и не заключало въ себѣ никакого *ученія*; подъ нимъ разумѣлось извѣстное *настроеніе*, извѣстный *наплывъ чувствъ*, который охватывалъ душу человѣка.

На западѣ романтизмъ имѣлъ длинную и очень любопытную исторію; онъ былъ тѣсно связанъ со всѣмъ ходомъ культурной жизни, начиная съ конца XVIII столѣтія; онъ былъ своеобразнымъ, очень сложнымъ настроеніемъ, вытекшимъ изъ столкновенія или примиренія религіозныхъ, философскихъ, нравственныхъ, эстетическихъ, историческихъ и чисто политическихъ мнѣній, которыя въ концѣ XVIII вѣка и въ началѣ XIX столѣтія пришли въ такое страшное броженіе.

У насъ въ Россіи романтизмъ имѣлъ также свои историческіе корни, хотя очень слабые; и онъ сталъ совсѣмъ неопредѣленнымъ и неяснымъ настроеніемъ въ силу того, что мы, перенимая у запада форму, философскую или литературную, въ которую романтизмъ тамъ выливался, на дѣлѣ не пережили тѣхъ глубокихъ по смыслу моментовъ развитія, которые обусловили его зарожденіе и развитіе въ Европѣ. Какъ участники въ судьбахъ Европы, мы не могли не быть романтически настроенными, но какъ участники второстепенные, иногда даже просто зрители рядомъ съ нами разыгравшейся исторической драмы, мы не могли такъ глубоко прочувствовать всѣхъ тѣхъ движеній сердца, которыя на западѣ вызвали это любопытное явленіе.

Если разложить романтическое настроеніе на самые основные его элементы, то въ основѣ его окажется очень простое чувство недовольства дѣйствительностью. Въ романтической душѣ это недовольство обыкновенно не носитъ остраго ха-

рактера: въ немъ мало озлобленія, ненависти, пессимизма и много грусти, печали, разочарованія. Оно заставляетъ человѣка ставить неизмѣримо выше надъ самой жизнью ея просвѣтленный идеалъ, ту дорогую мечту объ иномъ мірѣ, въ которомъ столько гармоніи, красоты, столько свѣта,—мірѣ, о которомъ тоскуетъ человѣкъ, нравственно неудовлетворенный. Это тяготѣніе къ идеалу, конечно, всегда неопредѣленному и туманному, неизбѣжно реагируетъ на оцѣнку той дѣйствительной жизни, которая окружаетъ человѣка. Вмѣсто того, чтобы приближать жизнь къ идеалу и, вникая въ ея мелочи, попытаться найти въ нихъ смыслъ и понять ихъ необходимое значеніе, человѣкъ готовъ пренебречь ими, готовъ всецѣло замкнуться въ сферѣ своей мечты и мысли и этимъ только усилить противорѣчіе между идеаломъ и жизнью. И, дѣйствительно, какъ часто заблуждался романтикъ, думая, что онъ сможетъ найти свой идеалъ готовымъ и воплощеннымъ здѣсь, на землѣ, въ данную минуту, и среди людей, которые его окружали! какъ часто такая надежда была обманута, и какъ часто въ силу этого обмана человѣкъ порывалъ живую связь съ жизнью! Разладъ съ дѣйствительностью нерѣдко отнималъ у него энергію и силу воли, туманилъ его трезвый умъ и, вмѣсто того, чтобы служить стимуломъ дѣятельности, былъ причиной апатіи и меланхоліи, тоски по чему-то и стремленія куда-то.

Но романтическое настроеніе принимало далеко не всегда такую форму пассивнаго протеста; въ немъ кромѣ меланхоліи и томленія была своя, иногда необузданная энергія, порывъ страсти, который могъ раскалить сердце человѣка и дать его фантазіи самый смѣлый полетъ; этотъ активный, бурный элементъ романтическаго настроенія составлялъ его культурную силу и дѣлалъ его важнымъ факторомъ прогресса. Но въ обоихъ случахъ, когда романтикъ рвался такъ необузданно впередъ или когда онъ изнемогалъ въ томленіи, онъ виталъ надъ жизнью: либо опережалъ ее, либо отставалъ отъ нея; и потому бо́льшая часть его силы и энергіи

терялись для этой жизни даромъ. Романтикъ не попадалъ какъ-то въ общую колею, требовалъ отъ жизни либо слишкомъ многаго, либо слишкомъ малаго.

Такое тревожное состояніе духа, полное красоты и страстности, было вызвано на западѣ всей совокупностью историческихъ условій. Съ конца XVIII вѣка западъ переживалъ критическій моментъ ломки всѣхъ нравственныхъ, умственныхъ и общественныхъ устоевъ жизни. Брошенный въ этотъ круговоротъ спорящихъ между собой страстей, сталкивающихся противорѣчивыхъ взглядовъ, свидѣтель и участникъ ожесточенной борьбы между старымъ и новымъ порядкомъ, человѣкъ и волновался, и впадалъ въ апатію, и вѣрилъ, и разочаровывался, рвался впередъ и падалъ духомъ, упреждалъ въ мечтахъ жизнь и, наоборотъ, спасался отъ жизни въ область сновидѣній; однимъ словомъ, его нервное экзальтированное настроеніе не позволяло ему достигнуть той духовной гармоніи, той ясности взгляда на современную минуту, на ея нужды и запросы,—взгляда, который бы примирилъ его съ жизнью и смягчилъ бы чувство неудовлетворенности, отъ котораго такъ страдало его сердце.

У насъ въ Россіи эта сердечная и умственная тревога ощущалась, конечно, слабѣе, чѣмъ на западѣ, но тѣмъ не менѣе она существовала, и молодежь, подросшая къ началу тридцатыхъ годовъ, бредила романтизмомъ, и видѣла въ немъ послѣднее слово и жизни, и искусства. У нашихъ сосѣдей романтизмъ былъ настроеніемъ общественнымъ, которое возникло на почвѣ реальныхъ фактовъ и въ свою очередь на эти факты вліяло. У насъ же романтизмъ былъ почти исключительно литературнымъ теченіемъ. Наша сознательная жизнь еще только начиналась, когда на западѣ она была въ полномъ цвѣту. Тотъ пахучій и красивый цвѣтокъ романтизма, который на западѣ распустился подъ открытымъ небомъ, у насъ былъ выведенъ въ теплицѣ. Заранѣе можно было предсказать, что его жизнь будетъ кратковременна, что у него не будетъ ни сильнаго запаха, ни

яркихъ красокъ. Такъ, дѣйствительно, и случилось. Въ русскомъ романтизмѣ были и страстные порывы, и нѣжныя движенія сердца, и стремленіе опередить жизнь, и желаніе спастись отъ нея въ область видѣній; въ немъ были и слезы меланхолической печали, и слезы досады, и прощеніе и гнѣвъ; въ немъ вообще была смѣна разнообразныхъ настроеній и чувствъ; но всѣ эти психическія движенія овладѣвали русскимъ романтикомъ не вполнѣ, какъ-то наполовину; онъ не находился всецѣло въ ихъ власти, и потому онъ могъ легко и быстро пережить это романтическое настроеніе, забыть его, даже удариться въ совсѣмъ другую крайность—стать совсѣмъ спокойнымъ мыслителемъ и созерцателемъ той самой жизни, которая его сначала такъ волновала И на самомъ дѣлѣ русскій человѣкъ отъ романтизма отдѣлался быстро и даже въ самый разгаръ его не утратилъ способности критическаго къ нему отношенія.

То время, о которомъ мы говоримъ въ данномъ случаѣ, а именно, конецъ двадцатыхъ и начало тридцатыхъ годовъ, въ исторіи нашего романтизма—періодъ наибольшаго его процвѣтанія въ стихахъ Жуковскаго и Пушкина.

Василій Андреевичъ все тотъ же, какимъ онъ былъ въ началѣ вѣка; онъ какъ будто не состарился, несмотря на то, что его сорокалѣтній возрастъ былъ уже совсѣмъ не романтическій. Попрежнему сентименталистъ, душа религіозная, нѣжная, онъ не тяготился жизнью дѣйствительной, но и не увлекался ею. Его мысль была въ грядущемъ и даже не въ земномъ грядущемъ, а въ небесномъ. Туда, въ эту даль, свѣтлую, хотя и туманную даль, стремилось его сердце. Фантазія не могла слѣдовать за его сердцемъ въ эту невѣдомую область: она предпочитала поэтому витать въ прошломъ, лишь бы только не касаться современнаго. Но и въ этомъ прошломъ она выбирала тѣ эпохи, въ которыя человѣкъ духомъ былъ всего ближе къ небесному; она любила таинственный сумракъ средневѣковья, эпоху монашества и рыцарства; она иногда позволяла себѣ унестись и еще дальше,

въ античную древность, на которую она налагала совсѣмъ произвольно печать своего христіанскаго міросозерцанія. Была, впрочемъ, и еще область, въ которой эта фантазія чувствовала себя, какъ дома,—это сказочный міръ преданій; она любила страшные призраки, любила показывать, какъ власть истиннаго Бога надъ ними торжествуетъ; она предпочитала темное царство духовъ, лишь бы только не имѣть дѣла съ сѣрымъ царствомъ дѣйствительности. При всей своей оторванности отъ жизни поэзія Жуковскаго была очень гуманна и идеалистична. Она всегда взывала къ самымъ нѣжнымъ и возвышеннымъ чувствамъ человѣка, и потому она и имѣла такое культурное облагораживающее вліяніе на все подрастающее поколѣніе.

Поэзія Пушкина, поставленная рядомъ съ поэзіей Жуковскаго, выполняла совсѣмъ иную роль. Для большинства читателей Пушкинъ былъ или пѣвцомъ любви, веселія и наслажденія, какимъ онъ являлся въ своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, или пѣвцомъ свободныхъ и мрачныхъ страстей. Всѣ тогда [въ концѣ двадцатыхъ годовъ] были безъ ума отъ „Кавказскаго Плѣнника“, „Братьевъ Разбойниковъ“, „Бахчисарайскаго Фонтана“ „Цыганъ“ и первыхъ пѣсенъ „Евгенія Онѣгина“. О тѣхъ художественныхъ произведеніяхъ, которыя были написаны Пушкинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, объ этихъ величаво-спокойныхъ созданіяхъ генія, общество ничего не знало, такъ какъ поэтъ хранилъ „Каменнаго Гостя“, „Моцарта и Сальери“, „Скупого Рыцаря“ и „Русалку“ въ своемъ портфелѣ и никому не показывалъ. Поэзія Пушкина нравилась тогда преимущественно какъ поэзія неудовлетворенной страсти, иногда разочарованной, иногда мрачной,—страсти, которую умѣлъ на западѣ такъ картинно и эффектно выразить Байронъ. Этотъ страстный мотивъ, въ которомъ съ разными оттѣнками сказывалось все то же недовольство дѣйствительностью, дополнялъ то мечтательное и пассивное романтическое настроеніе, которое такъ мелодично было выражено Жуков-

скимъ. Дѣйствительность являлась въ поэзіи молодого Пушкина не отраженной, а преображенной такъ же, какъ и въ поэзіи Жуковскаго; только у Жуковскаго идеалъ заслонялъ собою жизнь, а въ этой поэзіи бурныхъ стремленій былъ подчеркнутъ, главнымъ образомъ, разладъ между ними.

Молодая русская поэзія того времени, въ лицѣ Языкова, Баратынскаго, Козлова, Дельвига и другихъ слѣдовала въ своей пѣснѣ съ бо̀льшей или меньшей оригинальностью за этими двумя корифеями русскаго романтизма. Она либо въ мечтахъ опережала жизнь, либо съ ней ссорилась безъ всякой попытки къ соглашенію.

Русскій романъ въ данномъ случаѣ раздѣлялъ участь риѳмованной рѣчи. Гоголь еще не выступалъ. Русскій читатель могъ знакомиться со своей жизнью изъ старыхъ сентиментальныхъ повѣстей Карамзина или Жуковскаго, въ которыхъ онъ находилъ все, кромѣ жизненной правды. Вкусъ къ сентиментальной идеализаціи жизни поддерживали въ немъ кромѣ того безчисленные иностранные романы конца XVIII и начала XIX столѣтія. Даже романы Ричардсона, которымъ было тогда уже около ста лѣтъ, пользовались, кажется, большой его симпатіей. Западная сентиментальная литература вызывала естественно массу подражаній, и читатель, въ концѣ концовъ, терялъ способность отличать русскую жизнь отъ нерусской. Передъ нимъ былъ рядъ картинъ, вымышленныхъ и очень неопредѣленныхъ, къ тому же иногда безъ всякой художественной стоимости.

Читатель, впрочемъ, начиналъ тогда знакомиться съ романами Вальтеръ-Скотта, которые позднѣе должны были повліять такъ благотворно на его эстетическое чувство. Но, читая эти романы, онъ жилъ опять-таки въ мірѣ призраковъ, далекихъ отъ русской жизни и чуждыхъ ея интересамъ.

Иногда впрочемъ, когда ему попадали въ руки романы Нарѣжнаго, онъ могъ почувствовать себя въ родной ему сферѣ. Но, кажется, онъ не особенно интересовался этими романами; по крайней мѣрѣ въ концѣ двадцатыхъ го-

довъ въ журналистикѣ о нихъ говорилось мало, хотя, не смотря на дидактизмъ и сентиментализмъ въ этихъ романахъ были и занятное содержаніе, и типы, и наблюдательность, и довольно правдоподобная психологія.

Всего больше нравились тогда читателю тѣ романтическія повѣсти, въ которыхъ чувствовалось біеніе страсти, неудержимый, неясный порывъ къ чему-то и вмѣстѣ съ тѣмъ скептическое отрицательное отношеніе къ прозѣ дѣйствительной жизни. Вотъ почему Марлинскому удалось вскорѣ такъ увлечь всѣ сердца. Читатель любилъ въ этихъ повѣстяхъ движеніе, необыкновенныя завязки и развязки и тотъ смѣлый протестъ противъ сѣрой дѣйствительности, который чувствовался за этими эффектными и колоритными картинами. То же чувство недовольства заставило читателя встрѣтить съ такимъ интересомъ и даже восторгомъ первыя главы „Евгенія Онѣгина". Онъ былъ увлеченъ героемъ романа, этой загадочной разочарованной личностью, въ которой было такъ много „романтическаго".

Если къ этимъ сентиментально-дидактическимъ и страстнымъ повѣстямъ мы добавимъ историческія повѣсти, которыя тогда начали входить въ моду и которыя опять-таки имѣли съ дѣйствительностью очень мало точекъ соприкосновенія, то мы будемъ имѣть полный перечень всѣхъ родовъ и видовъ русскаго романа, какимъ онъ былъ въ эпоху романтизма.

Вмѣстѣ съ поэзіей, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, романъ выражалъ, какъ видимъ, тѣ два основныхъ настроенія, изъ которыхъ слагался русскій „романтизмъ": съ одной стороны, это была идеализація дѣйствительности, довольно сентиментальная и приторная, разбавленная сожалѣніемъ о прошломъ героическомъ и богатырскомъ, и съ другой—недовольство этой дѣйствительностью, презрительное и разочарованное отношеніе къ ней, стремящееся вознаградить себя необычайнымъ подъемомъ чувствъ и эффектными картинами и положеніями.

Что касается критики, то она тогда только что зарождалась. Представителями ея были Марлинскій, князь Вяземскій и Н. А. Полевой—три самыхъ убѣжденныхъ и ревностныхъ романтика. Трудно опредѣлить съ точностью, изъ какихъ положеній эта романтическая критика тогда исходила. Она гордилась своими общими возвышенными взглядами на искусство, своимъ философскимъ идейнымъ содержаніемъ, жаромъ, который она въ себѣ чувствовала; она съ презрѣніемъ говорила о критикѣ чисто стилистической, которая до нея царила; она смѣялась надъ писателями старой ложно-классической школы, упрекая ихъ въ искаженіи жизни, въ невправдоподобности и манерности чувствъ, и въ пылу битвы не замѣчала, какъ сама грѣшила противъ правды жизни. Она была отголоскомъ молодой французской критики эпохи Реставраціи; у ней она заимствовала свои философскіе принципы, довольно, впрочемъ, неопредѣленные и неустойчивые, т.-е. опять-таки она стремилась „насадить“ въ Россіи новое искусство приблизительно такъ же, какъ ненавидимые ею ложноклассики стремились въ свое время „возрастить“ свою изящную словесность на русской почвѣ. Съ русской дѣйствительностью эта романтическая критика не стояла въ тѣсной и кровной связи, хотя, конечно, она имѣла свою культурную заслугу. Она требовала для искусства и, стало быть, для жизни—новаго; она бросалась на розыски этого новаго, и старыя формы творчества, и старое содержаніе ее не удовлетворяли; къ дѣйствительности, которая ее окружала, она относилась съ тѣмъ же страстнымъ романтическимъ чувствомъ, которое заставляло ее либо восхищаться мечтой, опередившей жизнь, либо враждовать съ этой жизнью и будить въ человѣкѣ разочарованно-гнѣвныя чувства.

Впрочемъ, расширяя умственный кругозоръ читателя, знакомя его со всѣми выдающимися литературными, философскими и историческими новинками запада, эта романтическая критика, главнымъ образомъ въ лицѣ Полевого, оказала русскому просвѣщенію большую услугу.

Если мы припомнимъ, какъ слабъ былъ притокъ западныхъ идей у насъ въ то время, то культурная роль нашего романтизма станетъ ясна. Онъ безспорно будилъ мысль и не позволялъ дремать сердцу,—эту заслугу признали за нимъ и враги, уже послѣ его смерти. Если онъ грѣшилъ чѣмъ, то только слишкомъ большимъ презрѣніемъ къ окружающей дѣйствительности. Онъ не сумѣлъ привить человѣку ея пониманія, а между тѣмъ русская жизнь съ ея хорошими и дурными сторонами, съ ея потребностями и запросами нуждалась въ истолкователяхъ, въ художникахъ, которые бы воплотили ея правду въ образахъ, нуждалась и въ критикахъ, которые бы истолковали и пояснили эти художественныя воплощенія.

Но люди, которые должны были стать истолкователями этой правды русской жизни въ концѣ двадцатыхъ годовъ, еще не выступали со своимъ словомъ Одинъ Пушкинъ прокладывалъ имъ дорогу. Гоголь носился пока еще со своимъ романтическимъ Ганцомъ Кюхельгартеномъ, Лермонтовъ пародировалъ „Кавказскаго Плѣнника“, Кольцовъ только что учился грамотѣ; наконецъ, тотъ человѣкъ, который задачей всей своей жизни поставилъ выясненіе нуждъ и запросовъ родной ему жизни, пока еще не нашелъ своей настоящей дороги: Бѣлинскому суждено было долго искать ее.

III.

Въ концѣ двадцатыхъ годовъ Бѣлинскій раздѣлялъ съ русской молодежью увлеченіе романтизмомъ. Еще въ Пензѣ онъ успѣлъ освоиться съ этимъ кругомъ идей и чувствъ, насколько они ему открылись въ произведеніяхъ Жуковскаго, Пушкина и лучшихъ изъ иностранныхъ писателей.

Въ Москвѣ интересъ къ литературѣ не только не покинулъ Бѣлинскаго, но возросъ въ немъ. Университетская наука не могла спорить съ этой врожденной склонностью.

Въ товарищескомъ кружкѣ, который тогда образовался среди студентовъ, Бѣлинскій былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ докладчиковъ и спорщиковъ по литературнымъ вопросамъ. Онъ попытался выступить даже какъ самостоятельный художникъ.

Онъ написалъ трагедію. Какъ литературный памятникъ, она, конечно, имѣетъ мало значенія: она любопытна, главнымъ образомъ, какъ показатель того романтическаго настроенія, подъ властью котораго тогда находился молодой мечтатель. Драма была полна всевозможныхъ ужасовъ и насквозь пропитана тѣмъ страстнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ иногда сентиментальнымъ настроеніемъ романтизма, которое въ юношескихъ пьесахъ Шиллера нашло себѣ наиболѣе художественное выраженіе. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ Шиллера, кажется, и была написана эта неистовая драма. Сюжетъ ея, однако, былъ взятъ изъ русской жизни и, что̀ всего характернѣе—изъ жизни современной. Уже въ этомъ выборѣ сказался тотъ интересъ къ дѣйствительности, который долженъ былъ со временемъ сдѣлать Бѣлинскаго строгимъ судьей русской жизни. Однимъ изъ важныхъ вводныхъ эпизодовъ этой драмы была картина крѣпостной жизни, картина мрачная, написанная съ нескрываемой злобой. Драма была, такимъ образомъ, обвинительнымъ актомъ противъ дѣйствительности,—обличеніемъ, выраженнымъ въ романтической формѣ. Со стороны Бѣлинскаго это была довольно смѣлая выходка, и авторъ имѣлъ еще наивность думать, что цензура одобритъ драму для представленія. Цензурный комитетъ состоялъ тогда изъ профессоровъ; имъ пришлось произносить свой судъ надъ этой студенческой работой. Отношенія Бѣлинскаго и университетскаго начальства были, кажется, всегда очень натянутыя, и эта драма во всякомъ случаѣ не могла ихъ поправить. Нельзя утверждать положительно, что именно она была причиной его увольненія изъ университета, но что она обострила отношеніе профессоровъ къ Бѣлинскому, это болѣе чѣмъ вѣроятно. Начальн-

ство придралось къ первому удобному случаю, чтобы отдѣлаться отъ безпокойнаго человѣка, который, живя въ университетскомъ интернатѣ [гдѣ Бѣлинскому по бѣдности пришлось поселиться], не всегда ладилъ съ дисциплиной, лекціями пренебрегалъ и къ тому же обнаружилъ довольно вредное направленіе мыслей.

Какъ бы то ни было, но начальство, обойдясь съ Бѣлинскимъ довольно грубо, исключило его въ 1832 году изъ университета, мотивировавъ это исключеніе его малыми успѣхами въ наукахъ. Это былъ большой ударъ для самолюбія Бѣлинскаго. Но на его умственномъ развитіи эта непріятность едва ли отозвалась вредно. Прощаясь съ университетомъ, Бѣлинскій не терялъ ничего, кромѣ диплома. Зато въ матеріальномъ отношеніи его положеніе стало теперь критическимъ. Разсчитывать на поддержку семьи онъ не могъ, такъ какъ она сама очень нуждалась; пріискать постоянную работу было очень трудно—Бѣлинскому приходилось иногда въ полномъ смыслѣ слова нищенствовать и голодать. Вотъ въ эти-то трудные годы началъ Бѣлинскій свою литературную дѣятельность, сначала какъ скромный переводчикъ французскихъ романовъ и статей, а затѣмъ уже какъ профессіональный критикъ.

Мы подошли къ одному изъ самыхъ любопытныхъ моментовъ въ исторіи его духовнаго развитія, къ тѣмъ годамъ его жизни, когда онъ въ кружкѣ близкихъ товарищей сталъ вырабатывать своеобразное философское міросозерцаніе, имѣвшее, повидимому, такъ мало общаго съ русской жизнью и тѣмъ не менѣе оказавшее на эту жизнь большое вліяніе. Въ эти годы его неопредѣленное романтическое настроеніе и его разладъ съ дѣйствительностью стали мало-по-малу уступать свое мѣсто ровному и спокойному отношенію къ вопросамъ жизни. Изъ романтика, томящагося по идеалу или озлобленнаго на окружающую жизнь, нашъ писатель превращался въ мыслителя: онъ стремился выработать изъ себя типъ уравновѣшеннаго философа, хладнокровнаго истол-

кователя и судьи современной минуты. Если мы вспомнимъ, какъ молодъ былъ еще Бѣлинскій, какъ онъ былъ горячъ и впечатлителенъ, какъ болѣзненно на немъ отзывались тѣ стороны жизни, съ которыми не мирилось его нравственное чувство; наконецъ, если мы припомнимъ, какъ тяжело было лично для Бѣлинскаго его столкновеніе съ этой дѣйствительностью, и на родинѣ, и здѣсь въ Москвѣ,—то перерожденіе нашего романтика въ спокойнаго философа можетъ на первый взглядъ показаться совсѣмъ необычнымъ явленіемъ. Мы скорѣе ожидали бы встрѣтить въ этомъ человѣкѣ повышеніе гнѣвнаго и раздраженнаго чувства, а никакъ не увлеченіе спокойной мыслью. Мы увидимъ впослѣдствіи, что это философское отношеніе къ жизни было, дѣйствительно, лишь временной переходной ступенью въ развитіи идей Бѣлинскаго, что оно не было окончательнымъ итогомъ его теоретическихъ и практическихъ взглядовъ на жизнь. Но, даже какъ переходный моментъ, это увлеченіе чистой теоріей, поддержанное цѣлымъ кружкомъ молодыхъ людей—явленіе въ высшей степени характерное. Оно, конечно, не простая случайность.

IV.

Временное торжество нѣмецкаго философскаго идеализма у насъ въ Россіи было, съ нашей стороны, такимъ же откликомъ на запросы общеевропейской культурной жизни, какимъ былъ и нашъ романтизмъ. Какъ въ немъ, такъ и въ этомъ философскомъ движеніи было много заимствованнаго, взятаго взаймы у нашихъ сосѣдей и худо ли, хорошо ли, пригоннаго къ потребностямъ нашей жизни. Для этой жизни, которая съ жизнью общеевропейской была связана далеко не тѣсными узами, плоды философскаго мышленія были, конечно, большой роскошью. Не мудрено, что вкусить отъ нихъ удалось только немногимъ людямъ,—тѣмъ которые значительно возвышались надъ общимъ уровнемъ. Но и эти люди, кото-

рыхъ можно пересчитать всѣхъ до одного, оригинальной философской мысли не проявили: они были только ревностными учениками запада, проводниками чужихъ взглядовъ, хотя въ этомъ чужомъ и было многое, что̀ говорило ихъ уму и, больше, чѣмъ уму—ихъ сердцу.

Необычайно быстрый и пышный расцвѣтъ философскихъ системъ на западѣ былъ вызванъ назрѣвшими духовными потребностями всего тогдашняго поколѣнія. Человѣкъ, испытавъ столько тревогъ въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, переживъ столько разочарованій, усталый, искалъ для своего ума и сердца тихой и спокойной пристани. Философія въ данномъ случаѣ помогла ему умиротворить тревогу его духа, смягчивъ то чувство недовольства минутой, которое было въ немъ такъ сильно. Дѣйствительно, эти философскія системы, — въ особенности такія стройныя, законченныя и цѣльныя, какъ, напримѣръ, системы Шеллинга, Фихте, и Гегеля, — открывали не только широкій умственный горизонтъ, но дѣйствовали успокоительно и на душу. Освѣщая всю человѣческую жизнь въ ея прошломъ и настоящемъ, предугадывая путь, по которому она пойдетъ въ будущемъ, приводя эту человѣческую жизнь въ связь со всей міровой жизнью, объясняя каждое ея явленіе, доказывая необходимость его и цѣлесообразность,—эти системы ослѣпляли человѣка своей грандіозностью и смѣлостью, всецѣло порабощали его и рѣшали на его глазахъ ту страшную загадку жизни, которая его такъ измучила. Получалось связное міросозерцаніе, которое давало отвѣты на всѣ вопросы жизни и духа. Это міровоззрѣніе не только теоретически объясняло жизнь, но указывало и практическую программу поведенія; оно объединяло одной идеей религію, нравственность, эстетику, право, политику, и вдобавокъ въ конечныхъ своихъ взглядахъ на судьбу человѣчества, оно было оптимистично. Стройность его говорила какъ будто за его незыблемую истинность; человѣкъ вѣрилъ ему и вѣрилъ тѣмъ охотнѣе, что ощущалъ необходимость именно такого

стройнаго и всеобъемлющаго міросозерцанія. Послѣ блестящей философіи XVIII вѣка, которая такъ произвольно скользила по всѣмъ самымъ труднымъ вопросамъ; послѣ скептицизма, весьма спасительнаго, какъ временная стадія развитія, но на долгій срокъ очень тягостнаго; послѣ унынія и разочарованія во всѣхъ идеалахъ, которые въ концѣ вѣка потерпѣли такое крушеніе; наконецъ, послѣ томительнаго разлада съ дѣйствительностью и романтической неудовлетворенной мечтательности,—человѣкъ могъ найти счастье въ сферѣ чистой мысли, которая все объясняла и надъ всѣмъ возвышалась въ своемъ торжествующемъ покоѣ. Быть можетъ, именно потребностью такого душевнаго покоя объясняется та довѣрчивость, съ какой люди тогда усвоивали эти системы, вѣрили въ ихъ непреложную истинность и думали видѣть въ нихъ иногда послѣднее и конечное слово мудрости.

V.

Къ намъ въ Россію эта нѣмецкая философская мысль стала проникать въ двадцатыхъ годахъ—тогда, когда на своей родинѣ она свершила уже полный кругъ своего развитія. Ея появленіе въ Россіи носило сначала характеръ чисто случайный, и только въ тридцатыхъ годахъ она пріобрѣла себѣ довольно широкій кругъ адептовъ, широкій, конечно, относительно, если принять во вниманіе ту массу интеллигентныхъ людей, которая осталась совсѣмъ чуждой этой философской мысли и не хотѣла признать за ней никакого значенія. Эта философія появилась сначала въ Петербургѣ, затѣмъ въ Москвѣ, и проводниками ея были петербургскій профессоръ Велланскій и московскіе профессора Павловъ и Надеждинъ. Современники разсказываютъ, что въ московскомъ университетѣ философія встрѣтила особенно восторженный пріемъ среди молодежи: по крайней мѣрѣ аудиторіи, въ которыхъ профессора излагали ея начала, бывали всегда биткомъ на-

биты слушателями. По этому факту нельзя, конечно, судить о степени воспріимчивости молодежи къ новымъ ученіямъ; дѣйствительно, несмотря на такой внѣшній успѣхъ, который имѣла философія, она принесла свой плодъ только въ умѣ очень немногихъ—именно въ томъ замкнутомъ кружкѣ студентовъ, который въ двадцатыхъ годахъ группировался около Веневитинова и кн. Одоевскаго, а въ тридцатыхъ около Станкевича. Но если число лицъ, ставшихъ въ Россіи проповѣдниками этого философскаго идеализма, и было очень ничтожно, то характеренъ все-таки тотъ фактъ, что именно самые чуткіе и самые развитые люди оказались проводниками этой новой мысли.

Наибольшее вліяніе на этихъ молодыхъ людей оказалъ Надеждинъ. Человѣкъ съ громадной эрудиціей и очень краснорѣчивый, онъ пользовался большой популярностью. Популяренъ былъ и предметъ, который онъ преподавалъ: это была теорія словесности и эстетика, построенная имъ на новыхъ философскихъ началахъ, взятыхъ у нѣмцевъ. Предметъ былъ живой и, въ изложеніи Надеждина, тѣснѣе связанный съ жизнью, чѣмъ прежняя до него преподававшаяся эстетика. Надеждинъ, кромѣ того, былъ журналистъ, видный сотрудникъ „Вѣстника Европы".

Ядовитый и остроумный критикъ, онъ въ тѣ годы занималъ очень опредѣленное положеніе среди литературныхъ партій. Онъ былъ открытый и рѣшительный противникъ „романтизма", и именно того бурнаго и страстнаго романтическаго настроенія, которое, ссорясь съ дѣйствительностью, заставляло человѣка становиться въ такую вызывающую позу, заставляло перенапрягать свои чувства и страсти, выставлять на показъ свою разочарованность и свое полупрезрительное и полуиндифферентное отношеніе къ современности. Въ своихъ критическихъ статьяхъ, равно какъ и въ своей ученой диссертаціи: „О романтической поэзіи" Надеждинъ нападалъ на эту современную романтическую моду въ литературѣ, осуждая ее преимущественно съ эстетической стороны, а иногда

и съ нравственной. Такимъ образомъ, Надеждинъ былъ первымъ изъ русскихъ литераторовъ, который почувствовалъ себя неудовлетвореннымъ въ кругѣ романтическихъ чувствъ и мыслей и сталъ искать выхода изъ этого круга. Нѣмецкій идеализмъ философскій, а также и поэтическій, какъ онъ высказался въ поэзіи Гете и Шиллера, пришелъ ему въ данномъ случаѣ на помощь. Слегка пантеистическій покой этого идеализма и конечный оптимистическій выводъ, къ которому онъ приводилъ, могли смирить романтическую тревогу ума и сердца. Такъ какъ этотъ романтизмъ на русской почвѣ пустилъ далеко не глубокіе корни, былъ явленіемъ скорѣе привитымъ, чѣмъ изъ самой жизни вытекавшимъ, то нападки на него въ эпоху его наибольшаго процвѣтанія и успѣхъ этихъ нападокъ среди передовой молодежи того времени не должны удивлять насъ. Не успѣлъ этотъ романтизмъ найти въ критикѣ „Телеграфа“ свое теоретическое оправданіе [1825—1830], какъ уже въ „Вѣстникѣ Европы“ [1827—1830] и, главнымъ образомъ, въ „Телескопѣ“ [1830—1836] критика Надеждина начала доказывать его философскую и эстетическую несостоятельность. Бѣлинскій и его друзья, которые, помимо университета, имѣли возможность познакомиться съ Надеждинымъ ближе, когда онъ сталъ редакторомъ „Телескопа“ [1830]—сначала такіе же романтики, какъ и большинство молодыхъ людей того времени.—отнеслись довѣрчиво къ новому философскому ученію. Надеждинъ далъ толчекъ ихъ мысли, и затѣмъ уже они пошли самостоятельно въ томъ направленіи, которое имъ было указано. Они-то и образовали ту тѣсную группу людей, для которыхъ, на первыхъ порахъ, усвоеніе, уясненіе и распространеніе нѣмецкаго идеализма въ русскомъ обществѣ стало дѣломъ жизни. Бѣлинскій къ Надеждину стоялъ всего ближе, такъ какъ, послѣ исключенія изъ университета, работалъ въ его редакціи. Со времени этого знакомства съ Надеждинымъ, а также со времени болѣе тѣсной жизни въ кружкѣ товарищей, начался въ исторіи развитія идей Бѣлинскаго новый періодъ: это

былъ періодъ увлеченія философіей нѣмецкаго идеализма и преимущественно эстетикой, періодъ теоретической постановки вопросовъ жизни и духа. Онъ длился довольно долго, почти восемь лѣтъ [1832—1840].

VI.

Эти восемь лѣтъ, проведенныя Бѣлинскимъ въ Москвѣ, были для него самымъ счастливымъ временемъ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ труднымъ,—счастливымъ въ томъ смыслѣ, что разладъ между мечтой и дѣйствительностью, между идеаломъ, къ которому тяготѣло его сердце, и тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ, въ эти годы былъ смягченъ его философской мыслью; труднымъ въ томъ смыслѣ, что это примиреніе идеала съ жизнью стоило Бѣлинскому большого умственнаго труда и большой нравственной ломки. Философія безспорно оказала свое умиротворяющее дѣйствіе на его романическую душу—она возстановила его духовное равновѣсіе, придавала жизни смыслъ, и именно той жизни, которая во всякомъ случаѣ могла только сердить его своимъ несовершенствомъ. Пусть это увлеченіе теоріей было такимъ же самообманомъ, какимъ было и романтическое томленіе и жизнь въ мечтахъ, но въ данномъ случаѣ важенъ былъ тотъ спокойный самоувѣренный взглядъ на жизнь и человѣка, который получался какъ результатъ этихъ теоретическихъ построеній. Мечтатель долженъ былъ пережить это увлеченіе теоріей, чтобы затѣмъ попытаться согласовать ее съ жизнью, отбросить все произвольное въ ней и сохранить то, что оправдывалось самими фактами. Однимъ словомъ, прежде чѣмъ войти въ окружающую жизнь съ полнымъ сознаніемъ той роли, какую въ ней должно исполнить, нужно было отказаться отъ того разочарованно-враждебнаго отношенія къ ней, въ какомъ стоялъ мечтатель и идеалистъ, то опережавшій жизнь въ мечтѣ, то враждовавшій съ ней безъ попытокъ къ соглашенію. Отъ этого настроенія Бѣлинскаго избавила филосо-

фія, и понятно почему онъ, къ философскому мышленію столь мало пріученный, вдругъ съ такимъ жаромъ набросился на философію и не испугался ея глубины: не только его умъ жаждалъ удовлетворить свою любознательность, но прежде всего его сердце искало покоя.

Эти годы трудной умственной работы, которая, кромѣ того, усложнялась чисто матеріяльной борьбой за существованіе, были прожиты Бѣлинскимъ, какъ мы уже замѣтили, въ кружкѣ близкихъ товарищей.

Кружокъ представлялъ собою довольно тѣсное философское братство, вольное общество молодыхъ людей, связанныхъ одними стремленіями, одной духовной жизнью, хотя людей очень различныхъ по темпераменту. Въ составъ его входили: Станкевичъ, Боткинъ, Кетчеръ, Клюшниковъ, Красовъ, Бѣлинскій и К. Аксаковъ; позднѣе къ нему примкнули Бакунинъ и Катковъ. Тотъ, кто знакомъ съ дальнѣйшей судьбою этихъ лицъ, не всѣхъ одинаково знаменитыхъ, знаетъ какъ разнились между собой ихъ окончательные взгляды на всѣ существенные вопросы жизни. Но въ молодости, когда они сходились въ университетѣ или на своихъ студенческихъ квартирахъ, этихъ противорѣчій между ними не было: всѣ они только-что вступили въ жизнь, которая для всѣхъ была еще загадкой: всѣ стремились уразумѣть ея тайный смыслъ, обобщить всѣ ея явленія, понять основную идею, которая должна въ этихъ явленіяхъ воплощаться; всѣ искали покоя мысли и связанной съ нимъ гармоніи духа; всѣ были теоретики, съ жизнью мало знакомые, но стремящіеся найти для нея самую всеобъемлющую формулу, и потому, конечно, миръ и согласіе могли существовать между ними, и никто изъ нихъ не догадывался, какими врагами они станутъ впослѣдствіи. Пока всѣ они были заняты исключительно теоретической постановкой самыхъ общихъ философскихъ вопросовъ. Въ этомъ смыслѣ они рѣзко отличались отъ членовъ другого кружка, во главѣ котораго стояли Герценъ и Огаревъ—въ тѣ годы также еще совсѣмъ молодые студенты, но уже съ

преобладающей любовью къ постановкѣ чисто соціальныхъ и политическихъ вопросовъ.

Въ томъ кружкѣ, въ которомъ вращался Бѣлинскій, руководящая роль принадлежала Станкевичу до его отъѣзда въ 1837 г. за границу. Эта роль перешла, кажется, затѣмъ къ Бакунину, который примкнулъ къ кружку въ 1835 г. Изъ числа всѣхъ этихъ молодыхъ людей Станкевичъ и Бакунинъ располагали большими знаніями и обладали безспорно очень выдающимися способностями къ отвлеченному мышленію. Слабѣе другихъ былъ вооруженъ Бѣлинскій, образованіе котораго въ тѣ годы носило, какъ мы знаемъ, характеръ очень случайный; Бѣлинскій кромѣ того плохо владѣлъ тогда языками. Но эти недочеты уравновѣшивались необычайной легкостью, съ какой онъ схватывалъ и самостоятельно развивалъ самыя трудныя и отвлеченныя положенія.

Свое міросозерцаніе этотъ студенческій кружокъ вырабатывалъ сообща, и нѣтъ рѣшительно никакой возможности опредѣлить, кому изъ его членовъ какое участіе въ этой работѣ принадлежало. Ихъ взгляды получались какъ результатъ частныхъ споровъ или общей бесѣды, и такъ какъ въ работѣ участвовали всѣ, то и добытое міровоззрѣніе также становилось общимъ достояніемъ.

Всѣ члены кружка признавали однако Станкевича главнымъ руководителемъ и вдохновителемъ. Въ ихъ средѣ былъ настоящій культъ этого замѣчательнаго человѣка, столь нравственно чистаго и столь преданнаго высшимъ интересамъ духа. Но все значеніе его роли было ясно и понятно только лицамъ близко его знавшимъ.

Роль Бѣлинскаго была болѣе опредѣленна. Онъ былъ проводникомъ мнѣній этого кружка въ обществѣ и защитникомъ его взглядовъ въ печати. Такимъ образомъ, въ смыслѣ общественномъ, эта роль была самой главной. Безъ Бѣлинскаго, безъ его таланта излагателя и популяризатора, тихая и неслышная умственная работа кружка не имѣла бы того широкаго культурнаго значенія, какое теперь за ней оста-

лось. Поэтому, если мы и должны признать, что взгляды, которые Бѣлинскій проводилъ въ своихъ статьяхъ за этотъ періодъ его жизни, были взглядами не лично ему принадлежащими, а итогомъ коллективной работы многихъ, то это обстоятельство нисколько не умаляетъ его личной заслуги. Если бы онъ былъ выразителемъ только чужихъ мнѣній, то и тогда его значеніе, какъ талантливаго проводника и защитника ихъ передъ обществомъ, было бы велико; но развѣ мы знаемъ, сколько оригинальнаго, ему одному принадлежащаго вносилъ онъ въ общую работу?

VII.

Основной вопросъ жизни, который такъ тревожилъ Бѣлинскаго въ эти годы, былъ все тотъ же вѣчный вопросъ объ идеалѣ и дѣйствительности и о трагической необходимости примирить то, что̀ человѣкъ считаетъ добромъ, истиной и красотой, съ явленіями внѣшней окружающей его жизни, въ которыхъ эти высшія идеи должны воплощаться. Романтическое сердце Бѣлинскаго было необычайно требовательно, и въ силу молодости и житейской неопытности не хотѣло идти на уступки; съ своей стороны, русская жизнь, по мѣрѣ болѣе близкаго ознакомленія Бѣлинскаго съ нею, увеличивала въ его глазахъ ту пропасть, которая лежала между желаемымъ и даннымъ, долженствующимъ быть и настоящимъ.

Борьба съ дѣйствительностью, открытая, методичная, убѣжденная борьба, знающая, на что нападать и какъ нападать, стала впослѣдствіи дѣломъ всей краткой, вполнѣ зрѣлой жизни Бѣлинскаго. Въ молодости онъ смотрѣлъ однако на эту дѣйствительность нѣсколько иными глазами. Понявъ безплодность романтическаго томленія и распаденія съ жизнью, онъ сталъ стремиться къ тому, чтобы побороть такую тревогу неудовлетвореннаго сердца; и онъ думалъ, что человѣкъ можетъ достигнуть плодотворнаго спокойствія духа, если на явленія жизни взглянетъ какъ философъ и эстетикъ. Надъ

установленіемъ такихъ философскихъ точекъ зрѣнія Бѣлинскій и работалъ всю свою молодость: его умъ, характеръ и воля выиграли много отъ этой отвлеченной работы, и, дѣйствительно, бывали минуты, когда ему казалось, что желанный покой духа имъ достигнутъ. Для него наступали мгновенія сердечнаго затишья, но только мгновенія, такъ какъ нравственная точка зрѣнія на міръ, отъ которой въ сущности онъ никогда не отрекался, продолжала нарушать эту гармонію духа, и вихрь сомнѣнія и недовольства вновь врывался въ это съ виду столь спокойное царство философскихъ отвлеченій и поэтическихъ образовъ. Сколько душевныхъ мученій испыталъ Бѣлинскій, стоя на рубежѣ между мечтой и дѣйствительностью и стремясь согласовать ихъ,—объ этомъ краснорѣчиво говорятъ намъ его интимныя письма. По нимъ можно въ деталяхъ возстановить исторію умственнаго развитія этого убѣжденнаго искателя правды, которому пришлось теперь прокладывать себѣ дорогу своими силами сквозь дебри самыхъ запутанныхъ философскихъ системъ. Эти письма могутъ также наглядно показать намъ, на почвѣ какой сердечной тревоги вырастало такое увлеченіе философіей.

Философское міросозерцаніе Бѣлинскаго сложилось, какъ извѣстно, подъ вліяніемъ трехъ знаменитыхъ тогда системъ—Шеллинга, Фихте и Гегеля.

Что система Шеллинга была первой, которая заставила университетскую молодежь увлечься философіей, это объясняется прежде всего ея поэтическими красотами. Она была одновременно, и созданіемъ философствующаго ума, и плодомъ очень богатой фантазіи. Шеллингъ былъ наполовину поэтъ и, можетъ быть, больше поэтъ, чѣмъ философъ. Для романтика такая система представляла много приманокъ.

Въ ней искусству отводилось первенствующее мѣсто. Чтобы какъ-нибудь примирить противорѣчіе идеальнаго и реальнаго въ мірѣ, эта „система трансцендентальнаго идеализма“

стремилась понять міръ, главнымъ образомъ, на основаніи живого чувства и созерцанія. То наслажденіе, которое доставляетъ художественное произведеніе, было возведено во всеобщій законъ, и геніальный художникъ былъ провозглашенъ единственнымъ истиннымъ человѣкомъ, сумѣвшимъ слить въ своей душѣ субъективное съ объективнымъ, соединить все то, что̀ въ природѣ находится во враждѣ и въ разъединеніи. Искусство поглощало въ себѣ всѣ отрасли знанія, и эстетическое воззрѣніе на міръ было признано единственно полнымъ и всеобъемлющимъ. Вдохновеніе художника было понимаемо, какъ особый небесный даръ, который открываетъ человѣку глаза на всѣ тайны міра. Человѣкъ, одаренный такимъ „интеллектуальнымъ воззрѣніемъ", былъ властелинъ вселенной: онъ видѣлъ и осязалъ ея гармонію...

Туманная, но очень поэтичная философія Шеллинга была едва ли усвоена нашими идеалистами во всей ея полнотѣ и деталяхъ; но ея взгляды на искусство пришлись этимъ восторженнымъ молодымъ людямъ очень по сердцу. Всѣ они, и главнымъ образомъ Бѣлинскій, были тогда ревностными поклонниками нѣмецкой поэзіи, преимущественно Гёте и Шиллера. Эта поэзія, конечно, могла только укрѣпить ихъ симпатіи къ Шеллингу, такъ какъ все, чему они поклонялись въ мірѣ,—и философская истина, которую они искали, и красота, которой бредили, и добро, котораго жаждали,—все было дано въ творчествѣ этихъ великихъ художниковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ философія Шеллинга имъ объяснила, чѣмъ былъ художникъ въ мірѣ, сердце ихъ было успокоено. Оно могло не относиться такъ болѣзненно къ разладу, который существовалъ между мечтой и жизнью, съ тѣхъ поръ, какъ просвѣтленная въ искусствѣ мечта была признана наивысшимъ проявленіемъ этой жизни. Мечтатели, они могли теперь жить въ этомъ мірѣ поэзіи, отъ дѣйствительной жизни столь далекой, не дѣлая себѣ никакихъ нравственныхъ упрековъ, такъ какъ все то, чему

они въ искусствѣ поклонялись, было такъ возвышенно-гуманно, полно любви и благородства, помимо того, что оно было и глубокомысленно, и красиво.

Итакъ, подъ вліяніемъ идей Шеллинга, Бѣлинскій и его друзья смотрѣли на вселенную и на окружающую ихъ дѣйствительность преимущественно съ эстетической точки зрѣнія. Душевный разладъ, который неизбѣжно долженъ былъ возникать при мысли о противорѣчіи ихъ идеала съ жизнью, умиротворялся, на первыхъ порахъ, тѣмъ восторгомъ, въ какой ихъ повергало всякое истинно-художественное произведеніе, въ которомъ они видѣли настоящее откровеніе жизни.

Въ первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, въ которыхъ онъ почти исключительно говорилъ объ искусствѣ и о тайнѣ творчества, очень много указаній на такое эстетическое примиреніе съ жизнью. Критика пока интересуетъ не столько сама жизнь, сколько ея отраженіе въ творчествѣ—въ душѣ того генія, для котораго нѣтъ противорѣчій въ жизни, который силою интеллектуальнаго воззрѣнія открываетъ намъ дѣйствительный истинный міръ; этотъ міръ относится къ нашей жизни приблизительно такъ, какъ міръ идей Платона—къ міру земныхъ призраковъ. Онъ не есть пустая мечта, онъ имѣетъ свое реальное бытіе, и блаженъ тотъ, кто можетъ жить въ немъ своимъ умомъ и сердцемъ! Художникъ живетъ въ немъ: живетъ въ немъ также и тотъ, кто способенъ понять художника, раздѣлить съ нимъ его восторгъ. Вотъ почему важно эстетическое воспитаніе для человѣка, вотъ почему нужна эстетическая критика и почему поэтъ есть пророкъ и руководитель. Конечно, человѣку не дано жить въ этомъ идеальномъ мірѣ такъ, какъ онъ живетъ въ мірѣ дѣйствительномъ, и томленіе по этому идеальному міру—неизбѣжное печальное условіе нашего бытія. Но это уже не то „романтическое“ томленіе, которое оставляетъ человѣка всегда неудовлетвореннымъ и заставляетъ его становиться въ непримиримое противорѣчіе съ жизнью; это иное, неизбѣжное томленіе есть только краткій переходный

моментъ къ высшему блаженству—къ созерцанію всей жизни въ искусствѣ, къ поэтическому экстазу, когда человѣкъ уже не въ ссорѣ съ жизнью, а примиренъ съ нею.

Вопросъ объ этическомъ значеніи ходужественнаго произведенія рѣшался въ это время Бѣлинскимъ очень просто: все художественное, какъ таковое, было признано безотносительно нравственнымъ. „Нравственность въ сочиненіи должна состоять—писалъ критикъ—въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ, вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него... Однако такія изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ". „Прійдетъ же, наконецъ, время—восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій—когда люди убѣдятся, что искусство есть также служеніе верховному добру, которое вмѣстѣ есть верховная истина и красота". Такое эстетическое міросозерцаніе, въ которомъ этика была слита, или, вѣрнѣе, поглощена эстетикой, настраивало душу Бѣлинскаго очень миролюбиво; но оно не долго сохранило надъ ней свою власть.

Къ серединѣ тридцатыхъ годовъ [приблизительно около 1836 г.] Бѣлинскій, подъ руководствомъ Бакунина, сталъ знакомиться съ системою Фихте. Она была менѣе поэтична, чѣмъ система Шеллинга; въ ней не было такой стройности и цѣлости, но зато нравственная сторона нашей жизни была въ ней оттѣнена сильнѣе, и Бѣлинскій, который преимущественно былъ моралистомъ и который въ философіи всегда искалъ, главнымъ образомъ, отвѣта на нравственные вопросы, не могъ пройти мимо этой философской системы, и на два года сталъ ея послѣдователемъ.

Судя по письмамъ Бѣлинскаго, ознакомленіе съ философіей Фихте давалось ему очень трудно, и онъ тяготился тѣмъ

міромъ отвлеченностей, въ которомъ замкнулась теперь его жизнь. Но онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы проникнуть въ глубокую тайну этой идеалистической системы, и онъ вынесъ изъ этой работы новый своеобразный взглядъ на вселенную и, главнымъ образомъ, на то отношеніе, въ какомъ разумный человѣкъ долженъ стоять къ дѣйствительности.

Стремясь разрѣшить противорѣчіе, которое существуетъ въ мірѣ между объективнымъ и субъективнымъ, Фихте призналъ всѣ внѣшнія явленія созданіемъ человѣческаго духа. Система превращала весь внѣшній міръ въ пустой призракъ, заставляя его быть не чѣмъ инымъ, какъ объективаціей всесильнаго „я“, въ которомъ слитъ субъектъ съ объектомъ и которое и есть въ сущности весь міръ, пока только въ несовершенной свой формѣ; въ безконечности времени это законодательное „я“ должно будетъ воплотиться въ самой полной чистой своей формѣ, и міръ чувственный будетъ тогда превращенъ въ міръ нравственный. Такъ должно быть, и таково неизмѣнное нравственное требованіе нашего „я“, которому все внѣ насъ обязано своимъ существованіемъ и порядкомъ.

При такомъ взглядѣ на вселенную все вниманіе истиннаго мудреца должно быть устремлено на это самое чистое „я“— и цѣнность внѣшняго міра явленій, конечно, должна быть очень понижена. Такое обезцѣненіе дѣйствительности и произошло во взглядахъ Бѣлинскаго. Идея Фихте, какъ онъ самъ говорилъ, низвела въ его глазахъ реальную окружавшую его жизнь на степень „призрака, ничтожества и пустоты“. Вся задача жизни для нравственнаго и мыслящаго человѣка должна быть сосредоточена, какъ онъ теперь думалъ, на „высшей жизни духа“, на познаніи своего чистаго „я“, на высвобожденіи этого „я“ изъ-подъ власти всего случайнаго и преходящаго, которое дано въ объективномъ мірѣ,— въ мірѣ, отъ котораго человѣкъ не долженъ зависѣть, если онъ хочетъ быть свободнымъ и самостоятельнымъ.

Всѣ эти философскія тонкости требовали большого на-

пряженія ума, и кромѣ того не всегда было возможно человѣку, не одаренному геніемъ самого Фихте, найти каждой своей мысли, каждому своему чувству, каждому поступку оправданіе передъ трибуналомъ этой очень хитро сплетенной системы. Наши идеалисты и Бѣлинскій болѣе чѣмъ кто-либо изъ нихъ, гонялись однако за такимъ оправданіемъ. Сознанная необходимость этого оправданія, этого согласованія каждаго поступка и чувства съ системой часто портила имъ жизнь и уменьшала и безъ того ничтожное наслажденіе, какое они изъ этой жизни извлекали.

Бѣлинскій скоро почувствовалъ себя неловко въ мірѣ такихъ отвлеченностей. „Для меня—говорилъ онъ—истина существуетъ, какъ созерцаніе въ минуту вдохновенія [онъ очевидно не могъ забыть своего Шеллинга] или совсѣмъ не существуетъ". „Я ненавижу мысль—писалъ онъ—ненавижу, какъ отвлеченіе: моя природа враждебна мышленію", т.-е., конечно, чистому мышленію, не соприкасающемуся близко съ самой жизнью. Бѣлинскій силился однако смотрѣть на жизнь именно съ этой чисто отвлеченной точки зрѣнія, но душевный и умственный покой ему не давался, и онъ уставалъ въ этой борьбѣ съ философскими формулами. „Моя сила, мощь—говорилъ онъ - въ моемъ непосредственномъ чувствѣ, и потому никогда, никогда не откажусь я отъ него, потому что не имѣю охоты отказываться отъ самого себя".

Легко было предвидѣть, что и этотъ фазисъ его духовнаго развитія долженъ былъ скоро кончиться. Какъ прежде его не удовлетворило чисто эстетическое міросозерцаніе, такъ и теперь это презрѣніе къ дѣйствительности, это игнорированіе всѣхъ ея сторонъ, кромѣ самыхъ высшихъ, не могло надолго его успокоить. Противъ такого отношенія къ дѣйствительности ежеминутно возмущалось его живое чувство, и Бѣлинскій въ своей оцѣнкѣ реальной жизни скоро сталъ на діаметрально противоположную точку зрѣнія, чѣмъ та, которая была ему навязана философіей Фихте.

Отъ невниманія и гордаго презрѣнія къ дѣйствительности,

которая была такъ ничтожна въ сравненіи съ „высшей жизнью духа", Бѣлинскій перешелъ сразу къ полному ея оправданію, къ признанію ее вполнѣ разумной и законной во всѣхъ ея проявленіяхъ. Философія Гегеля утвердила его въ этихъ взглядахъ.

Итакъ, сначала, какъ ученикъ Шеллинга, онъ прикрывалъ всю непривлекательную наготу дѣйствительной жизни поэтическимъ покровомъ мечты и вмѣсто суда надъ реальной жизнью былъ занятъ оцѣнкой ея отраженія въ художественныхъ образахъ. Какъ ученикъ Фихте, онъ низвелъ цѣнность этой дѣйствительности до minimum'а, презиралъ ее, какъ мимолетный призракъ, какъ ничтожное неполное воплощеніе той высшей жизни духа, которая одна имѣетъ цѣну въ глазахъ истинно-разумнаго и нравственнаго человѣка. Холодная отвлеченность этой высшей жизни была ему тягостна, и вотъ, чтобы сойти съ этихъ отвлеченныхъ высотъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить покой ума и сердца, ему оставалось только одно средство—оправдать эту дѣйствительность, взять ее таковой, какова она есть, перестать украшать ее или презирать, а просто признать ее, какъ нѣчто неизбѣжное и потому „разумное", какъ бываетъ разумно все, что имѣетъ свою причину. За этотъ въ сущности очень индифферентный взглядъ на явленія жизни Бѣлинскій и ухватился, какъ за послѣдній якорь спасенія, который могъ удержать его среди житейскаго волненія: и онъ удержалъ его, но, какъ увидимъ, опять не надолго.

Насколько подробно и систематично Бѣлинскій знакомился съ философіей Гегеля—сказать трудно. Принимая однако въ соображеніе малое знакомство Бѣлинскаго съ нѣмецкимъ языкомъ и отсутствіе настоящаго опытнаго учителя, можно предположить, что Бѣлинскій не столько изучалъ Гегеля, сколько знакомился съ конечными выводами, общими положеніями его философіи, которые потомъ самостоятельно примѣнялъ къ вопросамъ политики, нравственности и искусства. Изъ этихъ общихъ положеній одна историко-философская

формула въ особенности привлекла его вниманіе и ему полюбилась. Она обѣщала подтвердить доводами разума то, что̀ у Бѣлинскаго давно уже лежало на сердцѣ. Эта историко-философская формула, которая гласила, что все, что дѣйствительно—разумно, въ сущности говорила очень мало. Надобно было быть такъ измученнымъ нравственно и такъ усталымъ умственно, какъ былъ измученъ и утомленъ Бѣлинскій за это время, чтобы въ этой простой формулѣ увидать разгадку всѣхъ тревожившихъ его тайнъ. Бѣлинскій могъ на время за нее ухватиться, но онъ долженъ былъ ее покинуть, такъ какъ, въ концѣ концовъ, она менѣе, чѣмъ какая-либо другая формула, могла удовлетворить тому чувству, которое было виновникомъ всѣхъ сердечныхъ тревогъ Бѣлинскаго; а именно — чувству нравственному. Формула утверждала, что то, что̀ есть—есть, но она нисколько не упраздняла вопроса о томъ, желательно ли, чтобы то, что есть, было именно такимъ, какимъ оно существуетъ; пропасть, лежащая между идеаломъ и дѣйствительностью, этой формулой не заполнялась. Формула была пантеистическая; она ставила вопросъ на почву, лежащую внѣ всякой этики, и—Бѣлинскій, котораго именно этическія требованія заставили влюбиться въ это сухую формулу, не замѣтилъ, въ моментъ своего увлеченія, ея неспособности дать ему то, въ чемъ онъ всего больше нуждался.

Но почти цѣлыхъ три года [1837—1840] держался Бѣлинскій цѣпко за это новое убѣжденіе и былъ послѣдователенъ во всѣхъ даже крайнихъ выводахъ, которые онъ изъ него дѣлалъ.

„Теперь—писалъ онъ—когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ, и никто не виноватъ, что нѣтъ ложныхъ ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа. Кто развивается, тотъ интересенъ каждую минуту, даже во всѣхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины“. Для Бѣлинскаго не существуетъ теперь больше пошлости въ окружающемъ его мірѣ, такъ какъ если есть

люди, которымъ не дано жить въ духѣ, то ихъ не должно ни ненавидѣть, ни презирать: „Когда въ душѣ любовь—говорилъ онъ—то и этихъ людей любишь объективно, какъ необходимыя явленія жизни". Трудно было идти дальше въ миролюбивомъ и примиренномъ настроеніи... „Я гляжу на дѣйствительность—писалъ теперь нашъ философъ—столь презираемую мной прежде, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзя выкинуть и въ ней ничего нельзя похулить и отвергнуть. Всѣ самыя противоположныя понятія получили для меня какой-то цѣлостный смыслъ и уже не дерутся между собой, но образуютъ цѣлое зданіе со многими сторонами, одну общую картину изъ разныхъ красокъ, жизнь изъ безконечно разнообразныхъ элементовъ.. Дикость моей натуры со дня на день исчезаетъ: грусть смягчила и просвѣтила ее. Я конь рьяный, горячій, но выѣзженный".

„Дѣйствительность есть чудовище—продолжалъ Бѣлинскій—вооруженное желѣзными когтями и огромною пастью съ желѣзными челюстями. Рано или поздно, но пожретъ она всякаго, кто живетъ съ ней въ разладѣ и идетъ ей наперекоръ. Чтобы освободиться отъ нея и вмѣсто ужаснаго чудовища увидѣть въ ней источникъ блаженства, для этого одно средство—*сознать* ее".

Въ этомъ неудержимомъ стремленіи стать какъ можно ближе къ дѣйствительности, отъ которой онъ прежде враждебно сторонился, въ этомъ стремленіи подавить всякую жалобу на нее, всякій протестъ, всякое недовольство, Бѣлинскій зашелъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ такъ далеко, что готовъ былъ принизить ту самую *отвлеченную* мысль, которую такъ недавно цѣнилъ выше всего въ живни. „Я уважаю мысль—писалъ онъ въ это время—и знаю ей цѣну, но только отвлеченная мысль въ моихъ глазахъ ниже, безполезнѣе, дряннѣе эмпирическаго опыта, а недопеченный философъ хуже добраго малаго". Куда дѣлся пламенный философскій идеализмъ Бѣлинскаго, который объявилъ такую безпощад-

ную войну всѣмъ добрымъ малымъ именно за ихъ презрѣніе къ отвлеченной мысли? Такъ недавно центръ тяжести всей міровой жизни лежалъ для Бѣлинскаго за предѣлами объективнаго міра, теперь онъ перемѣстился и оказался среди этой дѣйствительности. Дѣйствительность, дѣятельность и дѣятель—вотъ слова, которыя теперь не сходятъ съ устъ Бѣлинскаго. Все вниманіе его сосредоточено на признаніи данной минуты. „У меня нѣтъ охоты смотрѣть на будущее—пишетъ онъ въ это время—вся забота—что-нибудь дѣлать, быть полезнымъ членомъ общества. А я дѣлаю, что могу. Я уже не кандидатъ въ члены общества, а членъ его, чувствую себя въ немъ и его въ себѣ, приросъ къ его интересамъ, впился въ его жизнь, слилъ съ нею мою жизнь и принесъ ей въ даръ всего самого себя".

Изъ этихъ словъ видно, что это философское примиреніе съ дѣйствительностью не совпадало у Бѣлинскаго съ понятіемъ о созерцательномъ квіэтизмѣ или индифферентизмѣ.

Это желаніе быть полезнымъ членомъ общества, слить свою жизнь съ жизнью общества,—желаніе, никогда не умиравшее въ сердцѣ Бѣлинскаго,—должно было незамѣтно для него самого расшатать тѣ устои, на которыхъ покоилось его признаніе и оправданіе дѣйствительности. Философскій миражъ долженъ былъ скоро разсѣяться. Если онъ продолжался относительно такъ долго, то только потому, что Бѣлинскій, усталый отъ постоянной тревоги мысли, боялся всякаго пересмотра такъ удачно, повидимому, рѣшенныхъ вопросовъ, а также и потому, что въ то время, когда онъ увлекался этимъ миражемъ, около него не было человѣка, который бы могъ сбить его съ опасной позиціи, которая казалась ему столь надежной. Станкевичъ былъ за границей. Грановскій еще не пріѣзжалъ въ Москву, Герценъ пока былъ въ ссылкѣ, Боткинъ сопротивленія оказать не могъ, такъ какъ въ этой области былъ слабѣе Бѣлинскаго; одинъ Бакунинъ, который представлялъ собой безспорно большую философскую силу, воевалъ противъ „измѣны" прежней „выс-

шей жизни духа", но отношенія его къ Бѣлинскому были въ эти годы далеко не прежнія. Друзья начинали уже ссориться, чтобы скоро совсѣмъ разойтись, и Бакунинъ утратилъ въ глазахъ Бѣлинскаго свой ореолъ нравственной силы, а вмѣстѣ съ этимъ ослабѣло въ Бѣлинскомъ и довѣріе къ его философской непогрѣшимости.

Бѣлинскій былъ предоставленъ самому себѣ и, какъ страстная натура, шелъ въ данномъ случаѣ напроломъ, безъ оглядки. Заранѣе можно было предсказать, что этотъ новый взглядъ на дѣйствительность не сможетъ долго удержать Бѣлинскаго въ своей власти. Бѣлинскій былъ слишкомъ страстной натурой, чтобы когда-нибудь достигнуть того покоя мудреца, который казался ему въ теоріи столь желаннымъ. Онъ кипѣлъ и горѣлъ даже въ тѣ минуты, когда самъ увѣрялъ себя, что онъ философски спокоенъ; къ міру, его окружающему, онъ стоялъ всегда въ прямомъ сердечномъ отношеніи и ни въ какое иное стать не могъ. Нравственный идеалъ, которымъ онъ измѣрялъ всѣ явленія и внутренней, и внѣшней жизни, и своей и ближнихъ, не позволялъ его мысли застаиваться. Бѣлинскій попытался удовлетворить этимъ нравственнымъ требованіямъ, опираясь непремѣнно на разныя философскія системы, и не найдя въ нихъ удовлетворенія, кончилъ тѣмъ, чѣмъ только и могъ кончить человѣкъ съ его складомъ ума и его темпераментомъ, а именно—онъ пересталъ изыскивать способы *примиренія* съ тѣмъ, противъ чего спорилъ, и, оправдавъ свой собственный споръ и свою вражду, какъ нѣчто разумное,—отдался имъ съ обычной ему страстностью; и онъ обратилъ свое вниманіе не столько на общія идеи, сколько на оцѣнку фактовъ, въ которыхъ эти идеи либо осуществлялись, либо отрицались.

Къ такому окончательному рѣшенію вопроса о своихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ окружавшей его дѣйствительности Бѣлинскій пришелъ въ началѣ сороковыхъ годовъ, когда покинулъ Москву и сталъ постояннымъ жителемъ Петербурга.

Друзья Бѣлинскаго были очень озабочены тѣмъ направленіемъ, какое принимало міросозерцаніе ихъ товарища подъ конецъ его московской жизни. Станкевичъ не одобрялъ этого примиренія; Бакунинъ сердился на Бѣлинскаго за его измѣну „идеальности" въ пользу дѣйствительности. Наконецъ, кажется, въ 1839 г., произошла встрѣча Бѣлинскаго съ возвратившимся изъ ссылки Герценомъ. Это былъ важный моментъ въ жизни нашего критика.

Герценъ и его друзья болѣли въ сущности тѣми же вопросами, что и Бѣлинскій. Они были также пока еще теоретики, но только сфера ихъ интересовъ была уже и потому болѣе опредѣленна, чѣмъ безбрежное море философскихъ отвлеченій и общихъ началъ жизни, надъ познаніемъ и усвоеніемъ которыхъ работалъ Бѣлинскій. Герценъ и его друзья были соціологи, и ученіе объ обществѣ, законы его развитія, анализъ его современнаго состоянія и размышленія о вѣроятномъ его будущемъ—вотъ на чемъ было сосредоточено ихъ вниманіе. Для нихъ примиреніе съ дѣйствительностью и признаніе ея разумной было равносильно упраздненію всѣхъ вопросовъ и всѣхъ интересовъ, которыми жили ихъ разумъ и сердце. Чисто отвлеченная формула не могла подкупить ихъ—слишкомъ много живого политическаго элемента было во всѣхъ ихъ понятіяхъ и тенденціяхъ.

Бѣлинскій и Герценъ не могли встрѣтиться дружелюбно, и первый разговоръ ихъ былъ очень бурный. Онъ касался, конечно, основного для обоихъ вопроса объ ихъ отношеніи къ дѣйствительности и преимущественно къ русской дѣйствительности. Отношеніе къ ней Герцена было самое отрицательное; Бѣлинскій же долженъ былъ ее оправдать, если хотѣлъ быть послѣдователенъ. Бѣлинскій такъ и сдѣлалъ. Но тѣмъ не менѣе эта встрѣча произвела на него глубокое впечатлѣніе. Въ Герценѣ онъ нашелъ противника себѣ равнаго по силамъ, и этотъ противникъ овладѣлъ наконецъ его философской позиціей.

Да и сама русская литература начинала опровергать теоре-

тическія выкладки нашего критика. Стихотворенія и проза Лермонтова, пѣсни Кольцова и поэма Гоголя „Мертвыя Души“ освѣтили совсѣмъ новымъ свѣтомъ русскую дѣйствительность. Геній художника изображалъ и оцѣнивалъ въ этихъ произведеніяхъ русскую жизнь и шире, и вѣрнѣе, чѣмъ философскій умъ критика,—и критикъ сдался на эти доводы.

Все это вмѣстѣ взятое—и переѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ, и столкновеніе его съ Герценомъ, и наконецъ его работа надъ оцѣнкой новыхъ явленій русской литературы,—должно было рѣшительно повліять на его общіе взгляды. Еще до переѣзда въ Петербургъ Бѣлинскій мало-по-малу терялъ вѣру въ эту мирную философію, хотя и дѣлалъ надъ собой усиліе, чтобы остаться ей вѣрнымъ. Онъ довезъ ее до Петербурга, гдѣ она ему окончательно и навсегда измѣнила.

Московскій періодъ въ жизни Бѣлинскаго окончился. Теоретическая школа была пройдена. Въ Петербургѣ Бѣлинскаго ожидала уже иная роль. Не о философскихъ и отвлеченныхъ вопросахъ долженъ былъ онъ въ Петербургѣ бесѣдовать съ обществомъ,—онъ долженъ былъ разъяснить ему его ближайшія житейскія нужды. Чтобы выполнить эту роль такъ, какъ ее выполнялъ Бѣлинскій въ сороковыхъ годахъ, для этого нужно было стать ближе къ этой жизни, одинаково отказаться и отъ полнаго отрицанія ея, и отъ полнаго оправданія. Годы романтическаго „прекраснодушія“ отошли для Бѣлинскаго давно въ прошлое; теперь онъ отступалъ и отъ своихъ слишкомъ общихъ философскихъ взглядовъ. Они свое дѣло сдѣлали. Они пріучили его искать смысла въ жизни, они указали ему на идейную связь, какая существуютъ между отдѣльными ея явленіями, наконецъ они избавили его отъ *безплоднаго* разлада съ дѣйствительностью. Если они пытались на время превратить этого страстнаго человѣка въ безстрастнаго мыслителя, то въ итогѣ отъ столкновенія его пылкаго сердца съ холодной философской мудростью получилось очень гармоничное сочетаніе глубокой мысли, трез-

ваго взгляда и чуткой воспріимчивости ко всѣмъ явленіямъ жизни,—качества, которыми такъ отличалась критика Бѣлинскаго послѣднихъ годовъ.

Мы будемъ имѣть случай убѣдиться въ этомъ, а пока мы должны отмѣтить главнѣйшіе вопросы, которые затронулъ Бѣлинскій въ своихъ критическихъ статьяхъ, писанныхъ имъ въ Москвѣ съ 1834 по 1839 гг.

VIII.

Дѣятельность Бѣлинскаго, какъ мы уже замѣтили, началась съ переводныхъ трудовъ, которые онъ помѣщалъ въ „Телескопѣ“ Надеждина. Одно время, правда, лишь на очень короткій срокъ, Бѣлинскій былъ редакторомъ этого журнала. Въ 1836 году журналъ былъ пріостановленъ правительственнымъ распоряженіемъ и Бѣлинскій очутился безъ заработка. Для него началось опять необычайно трудное время, и всѣ его попытки какъ-нибудь выбиться изъ этого стѣсненнаго положенія ни къ чему не приводили. Онъ сдѣлалъ тогда попытку оживить одинъ изъ умиравшихъ журналовъ, „Московскій Наблюдатель“, но и эта попытка не удалась: журналъ умеръ отъ недостатка интереса къ нему въ читающей публикѣ, хотя Бѣлинскій и его друзья напрягали всѣ силы, чтобы поддержать его. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Бѣлинскій убѣдился, что въ Москвѣ для него нѣтъ журнальной работы, и онъ принялъ приглашеніе переѣхать въ Петербургъ и за опредѣленное жалованье стать постояннымъ сотрудникомъ „Отечественныхъ Записокъ“.

Въ первыхъ своихъ московскихъ статьяхъ, какъ и слѣдовало ожидать, Бѣлинскій былъ преимущественно занятъ установленіемъ философскихъ точекъ зрѣнія на міръ и человѣка: не было ни одного явленія исторической жизни народовъ, ни одной литературной новинки, вообще ни одного житейскаго факта, который критикъ не обратилъ бы въ символъ, въ воплощеніе какой-нибудь отвлеченной идеи. Такая

отвлеченность, иногда очень хитрая и тонкая, затрудняла, конечно, читателю того времени пониманіе статей Бѣлинскаго.

Для русскаго читателя эти философскія разсужденія были большой роскошью; можно сказать даже съ увѣренностью, что большинству смыслъ ихъ былъ мало доступенъ. Даже многимъ руководителямъ общественнаго мнѣнія — редакторамъ журналовъ — эта философія казалась праздной болтовней, тогда какъ на самомъ дѣлѣ она была необходимой попыткой одухотворить одной общей идеей всѣ разрозненныя явленія жизни, найти въ нихъ вѣчный смыслъ и поставить человѣка въ разумное къ нимъ отношеніе. Но если эти отвлеченныя разсужденія Бѣлинскаго и не расшевелили мысли читателя въ той степени, въ какой это казалось желаннымъ самому Бѣлинскому, то все-таки его философская критика была громадной культурной силой даже и въ этотъ первый періодъ своего развитія, когда она касалась общихъ вопросовъ, частныхъ явленій. Оставаясь философскимъ трактатомъ, она была цѣлой историко-литературной энциклопедіей.

О самой философіи Бѣлинскому приходилось говорить очень часто. Онъ либо при случаѣ излагалъ въ популярной формѣ догму тѣхъ системъ, которыми увлекался, либо выступалъ защитникомъ философіи вообще, какъ науки. Всѣ его симпатіи были, конечно, на сторонѣ Германіи, которой онъ приписывалъ честь „открытія“ философіи и истинной науки объ искусствѣ. Древо познанія, какъ онъ говорилъ, растетъ въ Германіи, и наша обязанность — пересадить его на нашу русскую почву. Это тѣмъ легче сдѣлать, что въ „субстанціи духа у насъ много общаго съ нѣмцами“; мы только не должны увлекаться французскимъ верхоглядствомъ, которое насъ плѣняло еще въ прошломъ вѣкѣ и теперь еще имѣетъ многихъ послѣдователей, хотя бы, напр., Полевого и критиковъ „Телеграфа“. Бѣлинскій стремился привить русскому обществу вкусъ къ этому нѣмецкому мышленію, вста-

вляя въ свои статьи иногда цѣлые популярные очерки ходячихъ философскихъ системъ. Такъ пропагандировалъ онъ сначала философію Шеллинга, а съ 1839-го года рѣшилъ Шеллинга „сдать въ архивъ“ и принялся излагать Гегеля. Конечно, эти изложенія не были систематичны, а всегда вставлены при случаѣ; кромѣ того, въ нихъ очень неравномѣрно освѣщались философскіе вопросы. Бѣлинскій преимущественно останавливался на эстетикѣ и на этикѣ, которая въ его представленіи была тогда тѣснѣйшимъ образомъ связана съ ученіемъ о прекрасномъ. По поводу этого прекраснаго, какъ оно отражалось положительно или отрицательно въ памятникахъ словесности, пускался онъ въ размышленія о духѣ, о природѣ, о связи человѣка съ нею, объ его призваніи, о сверхчувственномъ мірѣ, объ абсолютѣ, о чувствѣ безконечнаго,—однимъ словомъ, обо всемъ томъ, что̀ собственно къ дѣлу прямо не относилось. А между тѣмъ выясненіе именно этихъ вопросовъ казалось тогда Бѣлинскому настоящимъ дѣломъ... Вотъ почему онъ, на первыхъ порахъ, и жертвовалъ критикой исторической и почти не касался вопроса объ общественномъ значеніи разбираемаго произведенія. Это значеніе, какъ онъ тогда думалъ, вполнѣ опредѣлялось его эстетической стоимостью.

Замѣтимъ однако, что философское мышленіе никогда не было для Бѣлинскаго областью, въ которую онъ спасался отъ вопросовъ дня: оно было лишь средствомъ, которое должно было ему помочь въ трудныхъ расчетахъ съ этими вопросами. Поэтому его отвлеченная мысль, какъ бы она ни была съ виду далека отъ дѣйствительности, связи съ ней не порывала. Говорилъ ли Бѣлинскій о философіи и искусствѣ вообще, или о Шекспирѣ, Шиллерѣ, Гёте, Пушкинѣ, Гоголѣ, даже о какомъ-нибудь малоизвѣстномъ авторѣ, всегда, незамѣтно для него самого, эти разсужденія сводились къ вопросу--въ какомъ же отношеніи стоитъ дѣйствительность къ идеалу? и какъ долженъ человѣкъ смотрѣть на эту дѣйствительность, чтобы, ссорясь съ нею изъ-за идеала, не утра-

тить живой связи съ нею? „Между идеаломъ и дѣйствительностью — писалъ Бѣлинскій въ 1835 г.—совсѣмъ нѣтъ такого неизмѣримаго пространства, какое обыкновенно предполагаютъ, ибо что такое вся вселенная, какъ не воплощенный идеалъ, созданный Всемогущимъ Художникомъ?“ Задача человѣка—уразумѣть тайный помыселъ этого Художника, не роптать на Него, а помочь Ему своей разумной покорностью и сознательнымъ нравственнымъ отношеніемъ къ тому міру, среди котораго этотъ Художникъ человѣка поставилъ.

Бѣлинскій вѣрилъ въ прогрессъ и былъ въ душѣ оптимистомъ; и онъ хотѣлъ привить этотъ оптимизмъ и другимъ, въ которыхъ предполагалъ родственный ему душевный разладъ и тревогу. Выясняя читателю психическія движенія такихъ больныхъ душъ, какъ, напр., Гамлета, Фауста, нѣкоторыхъ героевъ Шиллера, Чацкаго или Печорина, онъ стремился доказать, что все несчастіе ихъ проистекало отъ того разлада съ жизнью, который они никакъ не могли подавить въ своемъ сердцѣ. Съ другой стороны, толкуя Шекспира, Гёте и Пушкина, онъ кончалъ опять тѣмъ же вопросомъ о душевной гармоніи, объ истинно-нравственномъ отношеніи къ жизни, которыя достигаются лишь при извѣстной высотѣ философскаго или эстетическаго образованія. Не отвлечь отъ житейскихъ вопросовъ хотѣлъ онъ русское мыслящее общество, а, наоборотъ, приблизить къ нимъ, и для этого избралъ, на первый разъ, путь довольно длинный, но который казался ему однако единственно надежнымъ. Принято утверждать, что въ Москвѣ Бѣлинскій былъ ярымъ поклонникомъ „чистаго искусства“ и вообще не признавалъ въ искусствѣ никакой непосредственной цѣли, кромѣ чисто художественной. Но въ сущности далеко не одну эстетику имѣлъ онъ въ виду, когда такъ отстаивалъ ея исключительное право на вниманіе общества. Онъ потому такъ кипятился и горячился въ своихъ спорахъ о законахъ художественнаго творчества, онъ потому такъ ненавидѣлъ нѣкоторыхъ поэтовъ и молился на другихъ, что вопросъ объ искусствѣ былъ для него лишь

частью одного общаго широкаго вопроса о культурномъ прогрессѣ человѣчества вообще. Хоть онъ и утверждалъ, что искусство само себѣ цѣль, что тотъ унижаетъ его, кто говоритъ о какой-нибудь его служебной роли, но онъ самъ не замѣчалъ, что въ его толкованіи это искусство становилось также однимъ изъ средствъ и способовъ для нравственнаго воспитанія человѣчества. Бѣлинскій былъ отчаянный врагъ тенденціи въ искусствѣ: онъ готовъ былъ отречься отъ столь имъ любимаго въ молодости Шиллера за то, что заподозрилъ его въ тенденціозности; онъ поэту запрещалъ быть страстнымъ, лишалъ его права выбирать темы, онъ требовалъ отъ него одного только экстаза, почти безсознательнаго вдохновенія; а между тѣмъ онъ самъ былъ во всѣхъ этихъ требованіяхъ крайне тенденціонезъ, что̀ онъ и созналъ очень скоро.

Тенденціозность Бѣлинскаго заключалась въ данномъ случаѣ въ томъ, что онъ искусству довѣрялъ очень опредѣленную роль воспитателя. Этотъ воспитатель долженъ былъ отнюдь не *сердить* тѣхъ людей, которые обратились къ нему за разъясненіемъ смысла жизни. Въ жизни и такъ много сторонъ, которыя могутъ озлобить человѣка и настолько опечалить, что онъ отъ нея отвернется и, замкнувшись въ самомъ себѣ, перестанетъ относиться къ ней съ той живой симпатіей, безъ которой нѣтъ съ ней нравственной связи.

Такъ вѣдь нѣкогда поступалъ „романтикъ“, и потому Бѣлинскій смотритъ теперь на него весьма недружелюбно. Онъ считаетъ его давно умершимъ и радуется его смерти; онъ ставитъ ему въ вину, что онъ украшалъ жизнь вмѣсто того, чтобы воспроизводить ее, что онъ въ силу этого пріучалъ людей къ невѣрному взгляду на дѣйствительность, что онъ слишкомъ любилъ фантастическое, т.-е. пустой призракъ и самообманъ, что онъ, „растрепанный молодой человѣкъ“, былъ близоруко-прекраснодушенъ и потому смѣшонъ. Но, странно, Бѣлинскій не переставалъ въ то же время любить въ этомъ романтикѣ его нѣжную меланхолическую мечтательность, и всегда съ большой симпатіей говорилъ о Жу-

ковскомъ, хотя и не находилъ у него „міровыхъ идей". Эта непослѣдовательность объясняется, конечно, тѣмъ, что Бѣлинскій въ нѣжномъ романтизмѣ видѣлъ все-таки извѣстную узду для страстей человѣка и цѣнилъ въ немъ то умиротворяющее вліяніе, какое онъ оказывалъ на страстную или разочарованную душу. Но зато критикъ нетерпимо относился къ мрачному и разочарованному элементу въ романтической поэзіи. Онъ видѣлъ въ немъ проявленіе неестественныхъ психическихъ движеній, которыя поэтому почти никогда не находятъ себѣ истинно-художественнаго выраженія. Растрепанность чувствъ, бурная безпредметная страсть, печать таинственныхъ страданій на челѣ вызывали въ Бѣлинскомъ теперь очень ядовитую насмѣшку. Онъ видѣлъ во всемъ этомъ смѣшное проявленіе безсильнаго разлада съ жизнью, плодъ мало сознательнаго отношенія къ ея явленіямъ. Онъ считалъ такой романтизмъ, въ нравственномъ и общественномъ смыслѣ, вреднымъ, такъ какъ не видѣлъ въ немъ ни глубины мысли, ни глубины чувства, а одно лишь кипѣніе страсти, которое отдаляло человѣка отъ жизни и отъ людей безъ всякой пользы для личности и для общества. Съ тѣхъ поръ, какъ для Бѣлинскаго стала ясна великая роль спокойной философской мысли, которая выясняла человѣку смыслъ его жизни, обуздывала его слишкомъ большія требованія и гасила въ его душѣ мрачный огонь безпредметныхъ страстей,—онъ былъ суровъ и безпощаденъ къ воинственному романтизму. Насколько онъ признавалъ въ немъ его нѣжныя чувства, настолько не любилъ эту разочарованную страстность. Въ пылу вражды къ ней онъ не всегда различалъ враговъ отъ союзниковъ. Того самаго Шиллера, котораго онъ такъ любилъ въ ранніе годы своей молодости, онъ теперь на время почти что возненавидѣлъ. Онъ называлъ его полупоэтомъ, полуфилософомъ, не признавалъ въ немъ настоящей геніальности потому лишь, что въ его поэзіи находилъ слишкомъ много страсти, слишкомъ много разлада съ жизнью, неумѣніе охватить и понять эту жизнь въ ея

цѣломъ и отсутствіе способности отличать въ ней временное отъ вѣчнаго. О Байронѣ, которымъ тогда всѣ такъ бредили, который кружилъ голову всѣмъ русскимъ романтикамъ, Бѣлинскій говорилъ очень рѣдко и, относительно, очень сдержанно: въ его рѣчахъ объ этомъ поэтѣ чувствовалось, что Байронъ не былъ героемъ его романа. За французскимъ романтизмомъ нашъ критикъ не хотѣлъ признать никакого, ни эстетическаго, ни идейнаго значенія. Къ поэзіи молодой Германіи онъ также относился отрицательно. Однимъ словомъ, гдѣ только онъ ни замѣчалъ перевѣса страсти надъ спокойнымъ философскимъ созерцаніемъ, онъ сердился. Онъ думалъ, что такая страстность только увеличиваетъ пропасть, лежащую между идеаломъ и дѣйствительностью, и мѣшаетъ человѣку какъ-нибудь согласить свое желаніе съ тѣмъ, что онъ вокругъ себя видитъ.

Конечно, такой взглядъ, огульно осуждавшій всякую страстность, былъ ложенъ, и Бѣлинскій скоро увидалъ, какъ онъ ошибся и какъ тенденціозенъ былъ онъ самъ, когда отрицалъ у человѣка право на вполнѣ законныя чувства страстной ненависти и гнѣвной вражды къ отдѣльнымъ частнымъ явленіямъ жизни. Но въ періодъ увлеченія философіей, когда онъ у Шеллинга, Фихте и Гегеля лѣчился отъ романтической растерянности, онъ, какъ страстный человѣкъ, не могъ разсуждать иначе. Отъ одной крайности онъ переходилъ къ другой, пока не сталъ посреди̇нѣ. Тогда онъ призналъ и Шиллера, и Байрона, и Жоржъ Зандъ, и многихъ другихъ апостоловъ страсти, значеніе которыхъ было для него затемнено его крайнимъ увлеченіемъ извѣстной доктриной.

Дѣйствительно, московскіе взгляды Бѣлинскаго на истиннаго поэта и на роль искусства въ жизни не могутъ не поразить насъ своей оригинальной крайностью. Бѣлинскій выразилъ ихъ съ свойственной ему ясностью и откровенностью. „Моральная точка зрѣнія на міръ — писалъ Бѣлинскій — и поэтическій взглядъ на нее—это вода и огонь, взаимно себя

уничтожающіе". Субъективность—смерть поэзіи, и ея произведенія—поэтическій пустоцвѣтъ, который тѣшитъ взоръ минутнымъ блескомъ и запахомъ, а плода не приноситъ". „Поэтъ можетъ изображать и страсть, потому что она есть явленіе дѣйствительности, но, изображая страсть, поэтъ не долженъ быть въ страсти: страсть должна быть предметомъ его поэтическаго созерцанія въ минуту творчества, но не имъ самимъ. Истинное вдохновеніе всегда спокойно, созерцательно; оно вполнѣ обладаетъ своимъ предметомъ, но не даетъ ему овладѣть собою, хотя и видитъ и чувствуетъ его... Чѣмъ живѣе и ближе къ натурѣ изображеніе страсти, тѣмъ больше возбуждаетъ оно отвращеніе, вмѣсто того, чтобы восхищать и трогать; и не чисты, грѣшны его впечатлѣнія на душу читателя". Въ этомъ требованіи объективнаго безпристрастнаго спокойствія Бѣлинскій заходитъ такъ далеко, что отрицаетъ даже у художника право изображать именно эту дѣйствительность, которая его окружаетъ: „Поэтъ—говоритъ онъ—менѣе всего способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастія партій, и потому его вдохновеніе больше любитъ жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ или изъ нѣдръ собственнаго духа воспроизводить гигантскіе образы, каковы: Гамлетъ, Макбетъ, Отелло". Но тотъ, кто въ этомъ безстрастномъ спокойствіи художника увидалъ бы недостатокъ нравственныхъ побужденій, впалъ бы въ ошибку, такъ какъ, что̀ „художественно, то уже и нравственно, что̀ не художественно, то можетъ быть не безнравственно, но не можетъ быть нравственно".

При такомъ произвольномъ и тенденціозномъ взглядѣ на искусство Бѣлинскій долженъ былъ быть очень разборчивъ въ своихъ симпатіяхъ къ писателямъ. И, дѣйствительно, за этотъ періодъ его критической дѣятельности у него было очень немного кумировъ, которымъ онъ поклонялся безъ

оговорокъ. Гомеръ, Шекспиръ, Гёте, Пушкинъ, отчасти Гоголь—вотъ единственные поэты, въ творчествѣ которыхъ онъ видитъ воплощеніе своего идеала. Рядомъ съ этими именами иногда упоминаются Вальтеръ Скоттъ и Гоффманъ. Такой чести удостоены—одинъ за умѣнье жить полной жизнью въ вѣкахъ прошлыхъ, другой—за геніальную способность глубоко понимать и чувствовать искусство.

Таковы были въ московскіе годы дѣятельности Бѣлинскаго его общіе взгляды на роль поэта и вообще искусства въ жизни. Не отнимая у этихъ взглядовъ ихъ глубины, нужно признать, что они „объективными" названы быть не могутъ. Они по существу своему тенденціозны, такъ какъ преслѣдуютъ очень опредѣленную цѣль, и притомъ не столько эстетическую цѣль, сколько этическую. Противъ страстей и ихъ пагубнаго вліянія на душу человѣка направлена вся эта эстетика. Она должна мирить человѣка съ жизнью, мирить насильно, искажая эту жизнь съ опредѣленной цѣлью. Но такъ какъ эта цѣль нравственна, такъ какъ она заключается въ установленіи разумнаго отношенія человѣка къ дѣйствительности, то такое искаженіе можетъ быть оправдано. Бѣлинскій готовъ даже обязать поэта имѣть исключительно оптимистическое міросозерцаніе. „Истинный поэтъ—пишетъ онъ — не есть ни горлица, тоскливо воркующая грустную пѣснь любви, ни кукушка, надрывающая душу однообразнымъ стономъ скорби, но звучный, гармоническій, разнообразный соловей, поющій пѣснь природѣ... Созданія истиннаго поэта суть гимнъ Богу, прославленіе его великаго творенія... Въ царствѣ Божіемъ нѣтъ плача и скрежета зубовъ; въ немъ одна просвѣтленная радость, свѣтлое ликованіе, и самая печаль въ немъ есть только грустная радость... Поэтъ есть гражданинъ этого безконечнаго и святого царства: ему Богъ далъ плодотворную силу любви проникать въ таинства полнаго славы творенья, и потому онъ долженъ быть его органомъ... Вопли растерзаннаго духа, сосредоточіе въ скорбяхъ и противорѣчіяхъ земной жизни доказываютъ пребываніе на

землѣ и только грустное порываніе къ свѣтлому. голубому небу — подножію престола Вездѣсущаго"...

Жизнь должна была скоро исправить крайность такого взгляда. Онъ былъ слишкомъ произволенъ, чтобы выдержать споръ съ фактами. Если внимательно прочитать статьи Бѣлинскаго, писанныя имъ въ концѣ 1839-го и въ началѣ 1840-го года, т.-е. когда это стремленіе примириться съ дѣйствительностью было въ немъ всего болѣе сильно, то и въ этихъ статьяхъ замѣтна уже нѣкоторая непослѣдовательность, нѣкоторое колебаніе о взглядахъ на искусство и на роль поэта въ жизни. Ко многимъ поэтамъ, которыхъ онъ любитъ вопреки своей теоріи и которыми увлекается, Бѣлинскій никакъ не можетъ приложить свой эстетической мѣрки. Они подъ нее не подходятъ. Онъ не рѣшается, напр., вычеркнуть Байрона изъ числа великихъ поэтовъ. онъ восхищается нѣкоторыми стихами Лермонтова и даже признаетъ въ немъ „истиннаго" художника. Отъ Беранже онъ въ восторгѣ; онъ любитъ и Полежаева и часто цитируетъ его въ своихъ письмахъ; наконецъ и Шиллеръ начинаетъ пріобрѣтать прежнюю власть надъ его сердцемъ. Однимъ словомъ, его симпатіи враждуютъ съ его теоріей, и живое чувство не покрывается отвлеченнымъ мышленіемъ. Мы предугадываемъ, что близко то время, когда отъ этой отчаянной попытки оправдать дѣйствительность и отъ этого произвольно-тенденціознаго взгляда на поэта нашъ критикъ долженъ будетъ отказаться.

Послѣ всего сказаннаго насъ не удивитъ то недружелюбное, иногда прямо враждебное отношеніе Бѣлинскаго къ политикѣ дня и къ общественнымъ вопросамъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, съ которымъ мы сталкиваемся въ его статьяхъ за этотъ московскій періодъ его жизни. Практическій общественный вопросъ, требующій немедленнаго рѣшенія, равно какъ и политика дня, болѣе чѣмъ что-либо способны вывести человѣка изъ душевнаго равновѣсія и разжечь его страсти. Бѣлинскій понималъ, что эти вопросы были постоянной угрозой для его спокойнаго эстетико-фило-

софскаго міросозерцанія; онъ какъ-будто чуялъ, что очень скоро они умчатъ его въ своемъ вихрѣ и поднимутъ вновь въ его душѣ ту бурю страстей, которую съ такимъ трудомъ ему удалось обуздать на время. Онъ ихъ боялся, и потому— онъ старался ихъ не замѣчать или просто отрицалъ ихъ. Вторженіе такихъ вопросовъ въ область творчества онъ считалъ гибелью для искусства. Вотъ почему, напр., французскій романтизмъ былъ ему тогда такъ противенъ. Творчество французскихъ романтиковъ, какъ, напр., Гюго, Бальзака, Жоржъ Зандъ было насквозь пропитано соціальной тенденціей и казалось нашему критику самымъ дерзкимъ издѣвательствомъ надъ святынею искусства. Французъ всегда въ зависимости отъ политики, говорилъ Бѣлинскій, онъ во всемъ зависитъ отъ злобы дня и потому создать безсмертное онъ не можетъ. Имъ правитъ минута, а не вѣчность, и потому взглядъ его на всѣ явленія міра крайне узокъ. У него нѣтъ разума, а есть только слѣпой конечный разсудокъ. Онъ фразеръ и вообще человѣкъ довольно легкомысленный. Убѣдиться въ этомъ не трудно, если поближе присмотрѣться къ французской философіи, искусству, критикѣ и наукѣ. Все пропитано тенденціей, все не глубоко. Иное дѣло — нѣмцы. Бѣлинскій, какъ ихъ ревностный ученикъ, который во всемъ любилъ уравновѣшенное спокойствіе мысли и чувства, не могъ безъ раздраженія читать Гюго, который его сердилъ дикой и необузданной фантазіей; онъ отворачивался отъ такихъ „фразеровъ“, какъ Мишле и Кинэ; онъ былъ возмущенъ безъидейностью господина де-Бальзака и онъ былъ въ ужасѣ отъ Жоржъ Зандъ, которая такъ уронила званіе женщины тѣмъ, что стала писательницей, и вдобавокъ — съ извѣстной политической окраской, которую ей навязали ея друзья — сенсимонисты.

Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ было много страннаго, такъ много, что самъ Бѣлинскій, спустя очень короткій срокъ, избѣгалъ заглядывать въ тѣ книжки журнала, въ которыхъ они были высказаны.

Вражда ко всякой политикѣ и злобѣ дня была естественнымъ выводомъ изъ тѣхъ историко-философскихъ взглядовъ, которыхъ держался тогда Бѣлинскій. Волноваться политическими и соціальными вопросами значило для него не признавать даннаго ихъ рѣшенія, которое, какъ все существующее, было разумно. И, дѣйствительно, Бѣлинскій подъ конецъ своей московской жизни пришелъ къ полному оправданію всего существующаго политическаго и соціальнаго порядка, который онъ вокругъ себя видѣлъ.

Свои взгляды на этотъ порядокъ Бѣлинскій изложилъ подробно въ двухъ статьяхъ, посвященныхъ разбору нѣкоторыхъ произведеній, которыя были вызваны празднованіемъ годовщины Бородинскаго сраженія. Критикъ прикрылъ, такимъ образомъ, эти взгляды сразу національнымъ знаменемъ.

Обѣ статьи были выдержаны въ строго патріотическомъ духѣ и доказывали, что наша русская дѣйствительность — такова, какова она есть — не оставляетъ желать ничего лучшаго, что она разумна во всѣхъ своихъ проявленіяхъ. Національная точка зрѣнія автора сказывалась прежде всего въ подчеркиваніи и превознесеніи нашей русской самобытной культуры, сохраняющей свою независимую роль среди другихъ культуръ міра. Критикъ говорилъ затѣмъ о томъ отношеніи, въ какое мы должны стать къ западной цивилизаціи. „Наши отношенія къ ней — писалъ онъ — должны состоять въ усвоеніи лишь *общечеловѣческихъ* завоеваній культуры. Отдавая должную справедливость и должную дань хвалы и удивленія всему *истинному* у нашихъ западныхъ сосѣдей, мы должны быть далеки отъ ослѣпленія признавать за предметъ подражанія то, что относится собственно къ формѣ ихъ народной, а не общечеловѣческой жизни; мы должны умѣть быть гордыми собственной національностью, основными стадіями своей народной индивидуальности“...

Итакъ, одно только истинное и общечеловѣческое имѣло въ глазахъ Бѣлинскаго право на наше вниманіе; подъ этими

неопредѣленными выраженіями нашъ критикъ разумѣлъ — искусство, философію и науку; область гражданскихъ чувствъ и политику онъ отнесъ, какъ и слѣдовало ожидать, къ формамъ „народной“ жизни, отъ подражанія которымъ онъ и предостерегалъ своихъ соотечественниковъ. Онъ осуждалъ французскую революцію, ошибочно отождествляя ея принципы съ принципами террора; онъ смѣялся при случаѣ надъ либеральнымъ движеніемъ умовъ въ Германіи, называлъ Тугенбундъ союзомъ школьниковъ и духовно малолѣтнихъ дѣтей; презрительно отзывался о сенъ-симонистахъ, теоріи которыхъ имѣли въ тридцатыхъ годахъ своихъ поклонниковъ въ Россіи. Вообще всякое движеніе въ сферѣ общественной и политической мысли, которое влекло за собой ссору съ существующимъ порядкомъ вещей, Бѣлинскій признавалъ за результатъ неглубокаго пониманія жизни. Отъ такого ошибочнаго взгляда хотѣлъ онъ уберечь читателя и былъ убѣжденъ, что гражданское и политическое устройство нашей родины не нуждается ни въ какомъ улучшеніи. Этому оправданію русской дѣйствительности Бѣлинскій придалъ даже извѣстный религіозный оттѣнокъ. Въ своихъ сужденіяхъ онъ опирался на изреченіе апостола Павла о божественномъ происхожденіи всякой власти и указывалъ на русскія побѣды начиная съ низверженія татарскаго ига вплоть до 1812 года какъ на свидѣтельство особаго Божьяго о насъ попеченія. Онъ признавалъ, что правительственная власть въ своихъ заботахъ о нашихъ нуждахъ всегда шла впереди и тѣмъ самымъ упраздняла въ разумномъ человѣкѣ всякое недовольство данной минутой.

Статьи Бѣлинскаго, какъ видимъ, были полны самаго безотчетнаго оптимизма. Но пустилъ ли этотъ оптимизмъ дѣйствительно, глубокіе корни въ его сердцѣ? Не былъ ли онъ отчаяннымъ упорствомъ въ человѣкѣ, уставшемъ отъ сомнѣній и тревогъ слишкомъ совѣстливаго сердца? Судя по тому, какъ быстро Бѣлинскій отошелъ отъ этихъ точекъ зрѣнія, можно думать, что этотъ крайній оптимизмъ былъ

дѣйствительно, насиліемъ, которое критикъ совершилъ надъ своимъ духомъ.

Подведемъ же конечный итогъ міросозерцанію Бѣлинскаго, какъ оно сложилось въ послѣдніе годы его московской жизни. Мы будемъ говорить его собственными словами:

„Въ духовномъ развитіи человѣка—писалъ онъ—моментъ отрицанія необходимъ, потому что, кто никогда не ссорился съ истиною, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлью жизни; ссора не можетъ быть цѣлью самой себѣ, но имѣетъ цѣлью примиреніе. Всякій духовный процессъ совершается съ болью и страданіемъ, и столкновеніе субъективной личности человѣка съ объективнымъ міромъ сперва необходимо является какъ борьба и страданіе. Но дорогое и покупается дорогой цѣною, и благо тому, кто цѣной страданія пріобрѣтаетъ истину, которая одна даетъ блаженство. Но горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не помириться съ нимъ. Общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность или требуетъ полнаго мира съ собой, полнаго признанія себя со стороны человѣка или сокрушаетъ его подъ свинцовой тяжестью своей исполинской длани, — кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дѣлается призракомъ, кажущимся ничто, и погибаетъ".

И какъ не примириться съ ней, если всѣ ея недостатки заключены не въ ней, а въ насъ самихъ, которые не умѣемъ понять ее какъ слѣдуетъ?

„Все, что́ есть, то необходимо, разумно и дѣйствительно. Посмотрите на природу, примкните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ бесѣдѣ ея сердца, и увидите въ ея безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчіи удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи предвѣчнаго художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный,

столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно-дѣйствителенъ, то неужели высшій его — міръ исторіи не есть такое же разумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то безсвязная сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами?“

„Разумъ схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, повидимому, одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несовмѣстимыхъ; схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что́ есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся“...

Какъ скоро отъ всѣхъ этихъ успокоительныхъ размышленій пришлось Бѣлинскому отказаться!

IX.

Московскій періодъ въ дѣятельности Бѣлинскаго важенъ не одной только этой теоретической и философской постановкой вопросовъ. Всѣ эти разсужденія летѣли, вѣроятно, въ большинствѣ случаевъ, поверхъ головы читателей; если что въ статьяхъ Бѣлинскаго приносило непосредственную пользу, такъ это его критическіе разборы ежемѣсячныхъ новинокъ иностраннаго и русскаго литературнаго рынка. Хотя Бѣлинскій и былъ почти исключительно занятъ оцѣнкой художественной стоимости разбираемыхъ произведеній, но мимоходомъ ему приходилось касаться вопросовъ историческихъ и историко-литературныхъ, приходилось говорить о разныхъ сторонахъ человѣческой культуры вообще, о разныхъ отрасляхъ знанія. Уже въ Москвѣ критика Бѣ-

линскаго была общественной силой, разсадникомъ самаго разнообразнаго знанія и отголоскомъ западной жизни, науки и искусства, не говоря уже о томъ, что въ ней было отмѣчено и оцѣнено всякое не только крупное, но даже еле замѣтное движеніе русской мысли.

Первая статья Бѣлинскаго „Литературныя Мечтанія“ [1834] была и краткимъ очеркомъ русской литературы за цѣлое столѣтіе, и первымъ наброскомъ идейной исторіи русской словесности, первой попыткой объяснить ходъ культурной жизни народа памятниками его творчества. Въ ней былъ указанъ совсѣмъ новый для того времени критическій пріемъ, благодаря которому художественное произведеніе истолковывалось какъ органическій продуктъ всей народной цивилизаціи, Уже въ этой первой статьѣ историческая точка зрѣнія была. какъ видимъ, признана. Заглавіе статьи „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ [1835] также не покрывало ея содержанія: это былъ не только обзоръ русскихъ повѣстей и романовъ въ ихъ историческомъ развитіи,—это былъ въ то же время трактатъ объ эстетикѣ и цѣлый курсъ теоріи словесности. Такимъ же историко-литературнымъ трактатомъ съ большими отступленіями въ область иностранной словесности была и статья, скромно названная „О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ Московскаго Наблюдателя“ [1836]. Кто ожидалъ бы найти въ театральной рецензіи цѣлую диссертацію о Гамлетѣ и рядъ экскурсій въ область психологіи и эстетики? А именно такой диссертаціей и былъ столь извѣстный отчетъ „о Мочаловѣ въ роли Гамлета“ [1838]. И, кромѣ этихъ крупныхъ статей, сколько мелкихъ библіографическихъ замѣтокъ было набросано Бѣлинскимъ за эти годы его московской жизни, — замѣтокъ, которыя съ виду кажутся совсѣмъ незначительными отчетами о еще болѣе незначительныхъ новинкахъ книжнаго рынка, а между тѣмъ хранятъ въ себѣ необычайно остроумныя и мѣткія замѣчанія о всевозможныхъ житейскихъ и научныхъ вопросахъ. Эти летучія замѣтки оказали большую услугу русскому обществу, наводя

читателя всегда на какой-нибудь серьезный вопросъ при каждомъ удобномъ случаѣ.

Итакъ, если статьи, написанныя Бѣлинскимъ въ Москвѣ, и носили въ общемъ отвлеченный и теоретическій характеръ, если самъ критикъ былъ преимущественно занятъ основной идеей, которую онъ проводилъ и которая далеко не всѣмъ была доступна, то, за вычетомъ этихъ трудностей, въ статьяхъ Бѣлинскаго даже интеллигентный читатель находилъ для себя цѣлую сокровищницу самаго разнообразнаго знанія. Съ годами этотъ запасъ знанія у критика увеличился; онъ, подъ конецъ своей жизни, сталъ для Россіи не только истолкователемъ ея самыхъ насущныхъ нуждъ, но и почти единственнымъ, самымъ ревностнымъ и наиболѣе компетентнымъ проводникомъ европейской мысли во всемъ ея богатствѣ. Къ этой роли Бѣлинскій, какъ видимъ, готовился уже въ Москвѣ.

X.

Петербургъ сулилъ нашему критику много новыхъ впечатлѣній, но Бѣлинскій покидалъ Москву со страхомъ. Приходилось рвать очень дорогія связи. Человѣку, привыкшему къ тѣсной кружковой жизни и къ постоянному обмѣну мыслей съ людьми, которые его понимали съ полслова, жизнь въ Петербургѣ должна была казаться жизнью на чужбинѣ. Въ Петербургѣ близкихъ людей у Бѣлинскаго не было, зато враговъ было много. Журнальный тріумвиратъ Сенковскаго, Греча и Булгарина былъ ему прямо враждебенъ; бывшій кружокъ Пушкина былъ ему чуждъ; редакція „Отечественныхъ Записокъ“, которая вызвала его изъ Москвы, состояла также изъ лицъ ему мало знакомыхъ. Однимъ словомъ, на первыхъ порахъ, онъ чувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Какъ тяжело это одиночество ему ложилось на душу, видно изъ писемъ, которыя онъ писалъ своимъ московскимъ товарищамъ. Это были длинныя письма, иногда цѣлыя тетради, и уже по ихъ размѣрамъ можно видѣть, какъ мало въ Петер-

бургѣ имѣлъ Бѣлинскій случаевъ высказаться и быть откровеннымъ. Пріѣзды московскихъ друзей были для него всегда праздникомъ, даже тогда, когда онъ обжился въ новомъ городѣ и когда около него составился новый кружокъ друзей, въ числѣ которыхъ были Некрасовъ, Панаевъ, Тургеневъ, Анненковъ и др. Но эти новые друзья не могли замѣнить ему старыхъ.

Что касается внѣшней стороны петербургской жизни Бѣлинскаго, то если она и была болѣе богата впечатлѣніями, чѣмъ жизнь московская, она все-таки была монотонна. Это была тихая кабинетная жизнь, трудовая и очень скромная. Съ 1843 года она была скрашена семейнымъ счастьемъ. То, что придавало этой жизни особенное однообразіе, это было — отсутствіе внѣшняго движенія. Въ то время, какъ товарищи Бѣлинскаго обогащали запасъ своихъ знаній и впечатлѣній частыми поѣздками и по Россіи, и за границу, онъ сидѣлъ на одномъ мѣстѣ, прикованный къ нему своей работой и недостаткомъ средствъ. Два раза, и то на весьма короткій срокъ, уѣзжалъ онъ изъ Петербурга. Онъ ѣздилъ лѣчиться сначала на югъ Россіи, потомъ, почти передъ самой смертью, за границу. Быть можетъ, въ виду болѣзни и впечатлѣніе, произведенное на него заграничной жизнью, было менѣе сильно, чѣмъ мы могли бы ожидать, принимая во вниманіе его впечатлительный и чуткій характеръ.

Но если въ общемъ внѣшнія условія жизни Бѣлинскаго въ Петербургѣ были такъ несложны и однообразны, то на ходъ его мыслей переѣздъ въ сѣверную столицу оказалъ безспорно большое вліяніе. Бѣлинскій приходилъ въ Петербургѣ въ болѣе частое и болѣе рѣзкое столкновеніе съ различными сторонами русской жизни, которыя въ Москвѣ онъ наблюдалъ только издалека. Кружковая жизнь, и притомъ чисто умственная, вращавшаяся почти исключительно въ сферѣ теоретическихъ и отвлеченныхъ вопросовъ, ослабляла въ Москвѣ силу его взгляда на самые факты реальной жизни. Въ Петербургѣ эти факты бросались ему въ глаза рѣзче,

и такъ какъ къ этому времени его склонность смотрѣть на всѣ явленія жизни лишь съ самыхъ общихъ точекъ зрѣнія въ немъ вообще ослабѣвала, то эта дѣйствительность являлась ему теперь во всей ея неприглядной будничной наготѣ и вызывала въ немъ вновь тотъ наплывъ страсти и желчи, который онъ считалъ такой помѣхой для истинно разумной и нравственной жизни.

Въ одной изъ своихъ критическихъ статей, писанныхъ имъ въ 1841 г.. Бѣлинскій говорилъ: „вы можете меня читать или не читать—какъ вамъ угодно; но, Бога ради, не смотрите съ ненавистью, какъ на человѣка злого и недоброжелательнаго, на того, кто въ лѣта суроваго опыта, обнажившаго передъ нимъ дѣйствительность, протирая глаза отъ ѣдкаго дыма лопающихся, подобно шутихамъ, фантазій, на все смотритъ мрачно, всему придаетъ какую-то важность и обо всемъ судитъ съ желчной завистью: можетъ быть, это происходитъ оттого, что нѣкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душѣ жили высокіе идеалы; теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, а идеалы разлетѣлись при грозномъ свѣточѣ опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаніемъ мститъ дѣйствительности за то, что она такъ жестоко обманула его...“ Эти слова очень характерны: такъ недавно еще Бѣлинскій смотрѣлъ на всю окружающую жизнь оптимистично и съ довѣріемъ, и вдругъ теперь онъ говоритъ о „желчномъ раздраженіи“ противъ дѣйствительности и о „мести“ ей... Очевидно, что въ его отношеніяхъ къ фактамъ реальной жизни произошла важная перемѣна, заставившая его взглянуть на свой недавній оптимизмъ, какъ на фантазію, какъ на шутиху, которая могла лопнуть. Въ чемъ заключалась эта перемѣна—догадаться не трудно, хотя самъ Бѣлинскій и говорилъ о ней такъ иносказательно.

Высказаться яснѣе ему было однако трудно, въ особенности въ печати; ему приходилось маскировать поэтическими и красивыми фразами очень печальныя размышленія. Они всѣ сводились къ одному выводу: теоретическій оптимизмъ

ихъ лѣтъ не оправдывался той дѣйствительностью, къ
ій Бѣлинскій имѣлъ теперь больше случаевъ присмо-
я.
залось бы, однако, что если Бѣлинскій, дѣйствительно,
вполнѣ убѣжденъ, что все, что̀ существуетъ—разумно
уживаетъ оправданія, то къ какимъ бы печальнымъ
амъ его ни приводило теперь болѣе близкое знаком-
ъ переживаемой минутой, онъ все равно долженъ былъ
ть, что она не оставляетъ желать ничего лучшаго.
бы велики ни были ея недостатки, безстрастная фило-
должна была оправдать ихъ. Но дѣло въ томъ, что
оправданіе, какъ мы видѣли, было вовсе не результа-
свободной мысли, ищущей одной безразличной истины.
пресловутый философскій покой духа былъ понимаемъ
скимъ лишь какъ одно изъ условій *этическаго* отно-
къ дѣйствительности, и потому, съ того момента, какъ
покой переставалъ *удовлетворять его сердце*, власть его
этимъ сердцемъ была уничтожена. Малая житейская
ость могла прежде подогрѣть въ немъ миролюби-
ношеніе къ жизни; но достаточно было, чтобы этотъ
увеличился, чтобы столкновенія съ жизнью стали бо-
непосредственны, — и на свое примиреніе съ дѣйстви-
стью Бѣлинскій долженъ былъ взглянуть такъ же вра-
, какъ раньше онъ смотрѣлъ на свою романтическую
„наспдушную“ ссору съ ней. Но и кромѣ того, съ точки
самой логики, такое повтореніе разлада съ дѣйстви-
стью было вполнѣ объяснимо и могло быть оправдано.
все, что̀ есть—разумно, то и вражда съ дѣйствитель-
, если она есть потребность души человѣка, такъ же
на, какъ все остальное.
инскій былъ неправъ только, когда говорилъ, что его
начинаютъ дышать „местью“ къ дѣйствительности. Вѣр-
детъ, если мы скажемъ, что въ нихъ начинала гово-
истинная разумная любовь къ ней. Его теперешняя
къ историческому моменту, который ему пришлось

переживать, во многомъ разнилась отъ прежняго романтическаго разлада съ нимъ. Бѣлинскій самъ опредѣлилъ очень вѣрно свое новое отношеніе къ жизни въ слѣдующихъ словахъ, которыя были имъ написаны въ 1842 г. „Романтизмъ—писалъ онъ — это міръ внутренняго человѣка, міръ души и сердца, міръ ощущеній и вѣрованій, міръ порываній къ безконечному, міръ таинственныхъ видѣній и созерцаній, міръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не исторія, не жизнь дѣйствительная, не природа или внѣшній міръ, а таинственная лабораторія груди человѣческой, гдѣ незримо начинаются и зрѣютъ всѣ ощущенія и чувства, гдѣ неумолкаемо раздаются вопросы о мірѣ вѣчности, о смерти и безсмертіи, о судьбѣ личнаго человѣка, о таинствахъ любви, блаженства и страданія... Обаятеленъ этотъ фантастическій, запертый въ самомъ себѣ міръ. Горе тому, кто, соблазненный обаяніемъ этого внутренняго міра души, закроетъ глаза на внѣшній міръ и уйдетъ туда, въ глубь себя, чтобы питаться блаженствомъ страданія, лелѣять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его. Люди съ сильными натурами, погружаясь въ эту пучину внутренняго созерцанія, могутъ сдѣлаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тѣнями въ чуждомъ и странномъ для нихъ мірѣ дѣйствительности. Люди недалекіе и неглубокіе дѣлаются піэтистами, мистиками и моралистами. Но горе и тому, кто, увлеченный одною внѣшностью, дѣлается и самъ внѣшнимъ человѣкомъ: нѣтъ ему вѣрнаго убѣжища въ самомъ себѣ отъ бурь жизни; нѣтъ въ немъ ни глубокихъ нравственныхъ началъ, ни вѣрнаго взгляда на дѣйствительность; внутри его и холодно, и сухо, и жестко; онъ не можетъ любить; онъ гражданинъ, онъ воинъ, онъ купецъ, онъ все, что̀ хотите, но онъ никогда не „человѣкъ“. Итакъ, оба эти міра, внутренній и внѣшній—крайности; равно опасно предаваться одной изъ нихъ исключительно; но оба эти міра равно нуждаются одинъ въ другомъ, и въ возможномъ проникновеніи одного другимъ заключается дѣйствительное совер-

шенство человѣка. Міръ внѣшній встрѣчаетъ насъ при самомъ рожденіи нашемъ и уловляетъ насъ: чтобы избавиться отъ его ложныхъ и нечистыхъ объятій, прежде всего нужно развить въ себѣ романтическіе элементы. Пусть они возобладаютъ надъ нашимъ духомъ, возбудятъ въ насъ восторженность и фанатизмъ: въ сильной натурѣ, одаренной тактомъ дѣйствительности, они уравновѣсятся въ свое время съ другою стороной нашего духа, зовущею ихъ въ міръ исторіи и дѣйствительности"...

Въ такихъ красивыхъ и задушевныхъ словахъ давалъ Бѣлинскій самъ себѣ отчетъ о совершившемся новомъ переломѣ въ его міросозерцаніи и настроеніи. Теперь только между нимъ и дѣйствительностью было установлено истинно-разумное и нравственное отношеніе; идеалъ не былъ принесенъ въ жертву реальной жизни, и интересъ къ этой жизни не былъ заслоненъ тяготѣніемъ къ идеалу. Между ними состоялось желанное соглашеніе. Отнынѣ Бѣлинскій полагалъ свою задачу не въ томъ, чтобы сердиться на жизнь за ея несогласіе съ ея просвѣтленнымъ идеаломъ и не въ томъ, чтобы мириться со всѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ; передъ нимъ была задача гораздо болѣе трудная: надлежало приблизить эту жизнь къ идеалу, указывая на тѣ ея стороны, которыя съ этимъ идеаломъ спорили, вдумываясь въ самые мелкіе ея факты, самые прозаическіе, быть можетъ, даже грязные, чтобы указаніемъ на нихъ будить въ человѣкѣ самосознаніе. Его духъ, какъ онъ самъ говорилъ, звалъ его въ міръ „исторіи и дѣйствительности", и Бѣлинскій, со всей свойственной ему ревностью и страстностью, сталъ выяснять себѣ, — въ чемъ заключался главный запросъ современнаго ему историческаго момента.

Кругъ интересовъ Бѣлинскаго теперь значительно расширяется, на что ясно указываетъ содержаніе его критическихъ статей. Оно становится чрезвычайно богато; помимо философскихъ и литературныхъ вопросовъ, въ этихъ статьяхъ затрагиваются вопросы исторіи, политики и, главнымъ образомъ,

вопросы соціальные въ широкомъ смыслѣ этого слова. Конечно, Бѣлинскій не имѣлъ возможности высказать все, что онъ объ этихъ вопросахъ думалъ, и потому, если мы хотимъ составить себѣ понятіе о томъ, какъ глубоко эти общественные вопросы его тогда волновали, намъ необходимо обратиться къ его частной перепискѣ. Даже въ томъ маломъ количествѣ писемъ Бѣлинскаго, которыя до сихъ поръ преданы гласности, этотъ все болѣе и болѣе возрастающій интересъ къ общественнымъ вопросамъ даетъ себя явственно чувствовать. Этотъ интересъ питается въ немъ и поддерживается, главнымъ образомъ, усиленнымъ чтеніемъ французской и англійской литературы. Бѣлинскій измѣняетъ теперь на время своимъ любимымъ нѣмцамъ. Французская и англійская словесность и, преимущественно, соціальный романъ того времени знакомятъ его со всѣми животрепещущими вопросами минуты, и нашъ критикъ, такъ еще недавно ихъ принципіальный врагъ, становится теперь ихъ проводникомъ въ русскомъ обществѣ. Знакомясь съ тогдашней иностранной жизнью по памятникамъ литературы и по главнымъ историческимъ сочиненіямъ, а также по разсказамъ своихъ товарищей, изъ которыхъ почти ежегодно кто-нибудь путешествуетъ за границей, Бѣлинскій убѣждается въ правотѣ тѣхъ взглядовъ на дѣйствительность, которые въ немъ самостоятельно тогда вырабатывались.

XI.

Сороковые годы отмѣчены въ исторіи Европы очень сильнымъ либеральнымъ движеніемъ умовъ и повышеніемъ интереса къ вопросамъ чисто соціальнаго характера. Для всѣхъ культурныхъ странъ Европы это были очень тревожные годы. Для Англіи это былъ періодъ усиленной парламентской борьбы консервативныхъ и либеральныхъ министерствъ; для Франціи—періодъ торжества буржуазіи, противъ которой начинала свой побѣдоносный походъ демократія; въ Германіи и Австріи это были годы рѣшительной схватки конститу-

ціонализма съ абсолютизмомъ; въ Италіи—годы ожесточенной борьбы за національную и политическую независимость. Къ концу сороковыхъ годовъ это броженіе разрѣшилось открытой революціей во всѣхъ странахъ, кромѣ Англіи. Протестъ противъ дѣйствительности былъ лозунгомъ того времени и притомъ протестъ самый страстный, активный; ни о какомъ примиреніи съ этой дѣйствительностью, ни о какомъ оправданіи ея не было рѣчи. Та страна, въ которой эта оптимистическая философія родилась и процвѣтала, была сама въ политической горячкѣ, и въ рядахъ самыхъ рьяныхъ либераловъ, отрицавшихъ всякое перемиріе съ переживаемой минутой, находились всѣ талантливые ученики Гегеля. Борьба за политическую свободу въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, за свободу религіи и науки, мечты о новомъ соціальномъ строѣ, о новыхъ нравственныхъ началахъ для семьи и общества, рабочій вопросъ, задача о повышеніи умственнаго и нравственнаго уровня массъ—вся эта злоба дня дробила тогдашнюю Европу на массу партій, враждовавшихъ между собой и на словахъ, и на дѣлѣ.

Для русскаго интеллигентнаго человѣка въ этой борьбѣ не все, конечно, было одинаково понятно, и далеко не всѣ поднятые вопросы были равно близки его сердцу; на многое онъ могъ смотрѣть глазами любопытнаго зрителя. Но были вопросы, которые и его задѣвали за живое—вопросы первостепенной важности, которыми долженъ былъ болѣть онъ самъ, когда внимательнѣе присматривался къ русской дѣйствительности.

При всемъ разнообразіи въ содержаніи тѣхъ споровъ, которые велись тогда на западѣ, въ основѣ ихъ лежала—борьба за право человѣка на свободную мысль и свободное чувство. Борьба за его достоинство какъ человѣка, освобожденіе его изъ-подъ власти устарѣвшихъ обычаевъ и понятій, изъ-подъ опеки, которая становилась уже лишней въ виду его совершеннолѣтія—вотъ та общая цѣль, которую преслѣдовали западные либералы. При всемъ случайномъ, времен-

номъ и мѣстномъ характерѣ, какой носили многія стороны этого движенія,—сущностью его оставалось все-таки воспитаніе свободной человѣческой личности, какъ нравственной и умственной единицы.

Знакомясь подробнѣе съ этимъ броженіемъ умовъ и чувствъ на западѣ, русскій человѣкъ не могъ не задуматься надъ тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ. Вопросъ о томъ, насколько умственно и нравственно воспитана русская личность, не могъ не навернуться. Какъ ни далека была русская жизнь отъ жизни европейской, но въ данномъ случаѣ споръ касался общечеловѣческаго интереса. и потому конечные выводы этого спора были приложимы и къ нашей родинѣ— и, конечно, болѣе приложимы, чѣмъ тѣ итоги отвлеченныхъ теорій, съ точки зрѣнія которыхъ Бѣлинскій и его друзья такъ недавно еще смотрѣли на русскую дѣйствительность.

О томъ, насколько понятіе о человѣкѣ, какъ личности нравственно и умственно и свободной, оправдывалось въ тѣ времена явленіями русской жизни, упоминать нечего. Мы знаемъ, какъ много некультурнаго элемента было въ жизни различныхъ „темныхъ царствъ“ нашего общества. Объ этомъ краснорѣчиво говоритъ та „обличительная“ литература, та „натуральная“ школа съ Гоголемъ во главѣ, которая въ сороковыхъ годахъ зародилась и расцвѣла такъ быстро. Одна изъ большихъ заслугъ Бѣлинскаго заключалась именно въ томъ, что въ самый моментъ зарожденія этой литературы онъ угадалъ ея громадную культурную роль и былъ въ ряду критиковъ первымъ, кто воспользовался художественнымъ словомъ въ цѣляхъ ясной общественной проповѣди.

Кромѣ этого общаго вопроса о воспитаніи умственно и нравственно самостоятельной интеллигентной личности, западная мысль того времени была очень занята вопросомъ о положеніи низшихъ классовъ общества—объ ихъ духовной и матеріальной эмансипаціи. Въ массѣ романовъ, повѣстей и драмъ даны были точные „физіологическіе“ очерки изъ жизни низшаго сословія, пролетаріата и рабочихъ клас-

совъ. О нуждахъ этихъ классовъ и о различныхъ способахъ удовлетворить ихъ насущныя потребности говорилось тогда въ безчисленныхъ летучихъ брошюрахъ, статьяхъ и книгахъ. Демократическія и соціалистическія теоріи были въ большомъ ходу.

Въ этихъ теоріяхъ многое было также совсѣмъ чуждо русскому человѣку, но опять-таки основная идея, изъ которой онѣ вытекали,—идея объ улучшеніи условій духовной и матеріальной жизни массъ имѣла животрепещущій интересъ для всѣхъ тѣхъ, кто задумывался надъ положеніемъ этихъ массъ въ Россіи. На глазахъ у всѣхъ процвѣтало крѣпостное право, и хотя въ сороковыхъ годахъ правительство уже сознавало необходимость реформы, но для осуществленія ея почти ничего не было сдѣлано. Бѣлинскій всегда принималъ близко къ сердцу это положеніе народной массы; о немъ онъ говорилъ еще въ своей юношеской драмѣ, и этотъ вопросъ не переставалъ его тревожить и теперь, какъ видно изъ его частной переписки. Такимъ образомъ, въ своихъ симпатіяхъ къ народу онъ также сходился съ тогдашней западной литературой; въ ней онъ могъ найти много картинъ изъ народной жизни, которыя могли ему напомнить его родину; въ ней онъ могъ вычитать и много мыслей, которыя ему самому приходили въ голову. Что эти картины и мысли были далеко не миролюбивыя—это ясно.

Итакъ, частью самостоятельно, частью подъ вліяніемъ западныхъ идей, нашъ критикъ мало-по-малу становился къ окружающей его дѣйствительности въ боевое отношеніе. Двѣ главнѣйшихъ задачи его времени—вопросъ о воспитаніи гуманной интеллигентной личности и вопросъ о повышеніи умственнаго и нравственнаго уровня массы—занимали теперь его умъ и сердце и налагали на него обязанность стать ихъ истолкователемъ передъ русскимъ обществомъ.

Обязанность была трудно-исполнимая. Цензурныя условія были очень неблагопріятны и становились съ каждымъ годомъ все строже и строже. По мѣрѣ того, какъ демократи-

ческое и либеральное движеніе на западѣ усиливалось, усиливалась и опека надъ русской мыслью. Проводить въ общество философскіе и эстетическіе взгляды было значительно легче, чѣмъ общественныя теоріи. Приходилось быть очень осторожнымъ, и все-таки, несмотря на эту осторожность, статьи Бѣлинскаго почти всегда подвергались сокращеніямъ. Ставить вопросы прямо было невозможно; приходилось говорить о нихъ при случаѣ, и надобно было выискивать такой случай.

Бѣлинскій видѣлъ ясно, что только одна литература, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, можетъ прійти ему на помощь. Западъ могъ служить ему въ данномъ случаѣ примѣромъ. Но на западѣ такая воинственная литература находила себѣ сильную поддержку въ наукѣ и публицистикѣ; въ Россіи она должна была очутиться безъ союзниковъ. Бѣлинскій это понималъ; вотъ почему онъ и повысилъ теперь тѣ требованія, которыя отъ ставилъ русской литературѣ и критикѣ. Для того, чтобы она могла выполнить съ успѣхомъ свою новую роль—проводника общественныхъ идей,—для этого нужно было, чтобы эти идеи были въ ней подчеркнуты рѣзко. Такъ точно и критика, если она хотѣла быть на истинной высотѣ своего новаго призванія, должна была стремиться отыскать и подчеркнуть въ каждомъ литературномъ произведеніи прежде всего его гуманную тенденцію.

Литературой приходилось пользоваться, какъ непосредственнымъ оружіемъ въ борьбѣ съ некультурными сторонами нашей жизни, и критикъ былъ принужденъ теперь постоянно смѣшивать эстетическую оцѣнку произведенія съ оцѣнкою его какъ историческаго документа.

XII.

Развитію этого новаго взгляда на назначеніе искусства и на роль художника въ жизни Бѣлинскій посвятилъ много страницъ въ своихъ критическихъ статьяхъ послѣдняго пе

ріода. Нѣтъ почти ни одной статьи, въ которой бы онъ прямо или косвенно не коснулся этого вопроса. Очевидно, что для него этотъ вопросъ былъ теперь самымъ главнымъ, самымъ существеннымъ, отъ рѣшенія котораго зависѣлъ и его взглядъ на собственную его дѣятельность.

Сравнивая между собой всѣ высказанныя Бѣлинскимъ по этому поводу мысли, можно видѣть, что сверхъ ожиданія въ нихъ не было принципіальной узости.

Критикъ смотрѣлъ на литературныя произведенія съ двухъ точекъ зрѣнія: онъ цѣнилъ ихъ, то какъ произведенія искусства, то какъ вѣрную назидательную картину дѣйствительности, изъ которой можно было извлечь подобающее нравоученіе. Онъ никогда не отрекался всецѣло отъ своихъ прежнихъ эстетическихъ взглядовъ и говорилъ только о томъ, что въ настоящее время и при данныхъ условіяхъ онъ въ литературѣ цѣнитъ больше идею, которая руководитъ художникомъ, чѣмъ ея выполненіе. Если теперь онъ такъ высмѣивалъ самого себя за свое недавнее „примиреніе“ съ дѣйствительностью и за ея оправданіе, то онъ не позволялъ себѣ такого смѣха надъ своимъ увлеченіемъ красотой чистой, незлобивой, величаво-спокойной,—той красотой, на которую онъ въ Москвѣ такъ молился. Въ немъ не умиралъ эстетикъ; онъ только умолкалъ теперь, чтобы уступить свое мѣсто историку и моралисту.

Дѣйствительно, въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, гдѣ столько полемической страсти, мы нерѣдко встрѣчаемся съ замѣтками, а иногда и цѣлыми разсужденіями, въ которыхъ мы узнаемъ прежняго эстетика; въ его глазахъ всякое истинно-художественное произведеніе, даже не имѣющее прямой связи съ данной минутой, заслуживаетъ признанія. Припомнимъ хотя бы статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ, писанныя имъ подъ конецъ жизни. Какъ глубока въ этихъ статьяхъ эстетическая оцѣнка произведеній поэта и какъ не тенденціозенъ, объективно вѣренъ его взглядъ на Пушкина! Сколько чисто эстетическаго чутья обнаруживаетъ нашъ

критикъ въ своемъ судѣ надъ поэзіей Майкова, Полонскаго, Григорьева, Бенедиктова, Языкова, Хомякова и другихъ? Во всѣхъ этихъ статьяхъ онъ одновременно и публицистъ, и художественный критикъ.

Отъ столкновенія прежнихъ взглядовъ на искусство съ новыми, чисто публицистическими, выиграли и тѣ и другіе. Мы не встрѣчаемся уже съ такимъ тенденціозно безстрастнымъ взглядомъ на поэта, который такъ поражалъ насъ прежде; съ другой стороны, мы не встрѣчаемъ и умышленнаго отрицанія всякой власти прекраснаго надъ нами, умышленнаго приниженія прекраснаго въ пользу исключительно полезнаго.

Замѣтимъ, впрочемъ, что Бѣлинскій былъ человѣкъ очень страстный, и такъ какъ его критическія статьи, въ особенности въ послѣднее время, писались всегда къ сроку, то понятно, что многое въ нихъ зависѣло отъ минутнаго настроенія писателя, который поэтому и теперь не былъ вполнѣ застрахованъ отъ крайностей. Въ минуту гнѣва или полемическаго задора Бѣлинскій могъ попрежнему „неистово“ наброситься на какого-нибудь невиннаго писателя, укоряя его въ равнодушіи къ дѣйствительности, могъ потребовать отъ него, чтобы онъ непремѣнно писалъ такъ, а не иначе, могъ при случаѣ даже поглумиться надъ какимъ-нибудь пѣвцомъ чистой красоты; но это были вспышки, которыя быстро проходили; самъ Бѣлинскій спѣшилъ оговориться и исправить однородность своего мнѣнія.

Въ итогѣ всѣхъ разсужденій Бѣлинскаго на эту тему получился очень опредѣленный и ясный взглядъ на требованія, которыя критикъ теперь предъявлялъ художественному произведенію. Въ одномъ частномъ письмѣ къ своему другу Боткину, писанномъ незадолго до смерти, Бѣлинскій высказался очень откровенно по этому поводу. „Мнѣ поэзіи художественности нужно не больше — писалъ онъ — какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію или не отзывалась диссертаціей... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравствен

ное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество при высокой художественности—тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щеголяствѣ. Будь повѣсть хоть расхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла—то я къ ней совершенно равнодушенъ: *я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней*". Итакъ, нисколько не желая умалить значенія художественности, Бѣлинскій признавался только, что эта сторона искусства его въ данное время мало интересуетъ; онъ не отрицалъ въ другихъ возможности такого интереса, не сердился на нихъ и не враждовалъ съ ними, а *жалѣлъ* ихъ, потому что ему казалось, что эти эстетики не понимаютъ, въ чемъ заключается самая насущная потребность переживаемой минуты. Бѣлинскій зналъ не хуже другихъ, что красота, какъ таковая, имѣетъ свое воспитательное и нравственное вліяніе на человѣка; но онъ думалъ въ то же время, что не въ такомъ медленномъ, тихомъ и нѣжномъ вліяніи нуждается теперь общество. При томъ антикультурномъ и антигуманномъ состояніи, въ какомъ оно находилось, ему нужно, чтобы истина была ему сказана прямо въ глаза, и притомъ очень рѣзко и даже грубо. Эта истина становилась теперь для Бѣлинскаго дороже той формы, въ какую она облекалась; и критикъ чувствовалъ, что онъ одностороненъ, но онъ понималъ, что такая односторонность и въ немъ, и во многихъ другихъ есть историческая необходимость. Онъ считалъ себя нравственно правымъ и не боялся, вопреки своимъ прежнимъ взглядамъ, высказывать съ вызывающей откровенностью свои новыя убѣжденія.

Онъ требовалъ отъ искусства прежде всего „дѣльныхъ" чувство и взглядовъ; онъ хотѣлъ, чтобы оно вѣрно и точно изображало дѣйствительность; малѣйшее искаженіе этой дѣйствительности, въ особенности въ сторону идеализаціи, онъ счи-

талъ грѣхомъ не столько противъ художественности, сколько противъ самой жизни; онъ преслѣдовалъ фантастическое и аллегорическое въ искусствѣ, какъ вредные элементы, мѣшающіе человѣку вѣрно судить о дѣйствительности. Но не только точнаго воспроизведенія этой дѣйствительности требовалъ Бѣлинскій отъ художника; онъ желалъ, чтобъ въ его творчествѣ была „гуманная субъективность", та самая, которая ему раньше такъ не нравилась. Безстрастность писателя въ изображеніи жизни была теперь въ его глазахъ доказательствомъ малой воспріимчивости и чуткости. Талантъ, который „долженъ быть добродѣтелью", не могъ безстрастно слѣдить за судьбой своихъ идеаловъ: писатель долженъ былъ за нихъ бороться, чувство „общественности" должно было громче другихъ чувствъ говорить въ его сердцѣ; онъ долженъ былъ, наконецъ, торопиться со своимъ великимъ дѣломъ нравственнаго воздѣйствія на общество, такъ какъ это общество, именно русское общество, нуждалось въ самой скорой помощи. Писатель поэтому могъ быть не особенно требователенъ къ себѣ, какъ къ художнику, могъ жертвовать формой ради содержанія. Только геніи способны сочетать въ одинаково совершенной степени и то и другое, но геніи родятся рѣдко; возлагать на нихъ всю надежду нельзя; безполезно также гнаться за ихъ совершенствомъ; надо утилизировать свой хотя бы скромный талантъ въ интересахъ общей пользы.

Роль такого скромнаго таланта, какъ думалъ Бѣлинскій, в настоящую минуту одна изъ самыхъ важныхъ ролей въ обществѣ; не нужно быть геніемъ, чтобы умѣть вѣрно изображат дѣйствительность, а чѣмъ больше появится такихъ изображеній, тѣмъ съ большимъ сознаніемъ отнесется общество къ своей жизни. „Беллетристика", какъ Бѣлинскій окрестилъ эту „дѣльную" литературу, и такъ называемые „физіологическіе очерки", вѣрно и точно рисующіе бытъ самыхъ разнообразныхъ классовъ общества,—теперь самыя желанныя новинки. Они сближаютъ литературу съ жизнью, они спо

собствуютъ установленію солидарности между лицами разныхъ сословій, разнаго воспитанія и традицій. Однимъ словомъ, при той вялости общественной жизни, отъ которой мы такъ страдаемъ, при томъ невѣдѣніи, въ какомъ мы находимся относительно массы людей, живущихъ рядомъ съ нами, эта „беллетристика"—незамѣнимое средство для возбужденія въ насъ общественнаго интереса. Конечно, наиболѣе благотворнаго результата достигаетъ такая беллетристика тогда, когда она, помимо своей правдивости, еще гуманна, когда въ ней есть сердечное отношеніе къ той жизни, которую она описываетъ, другими словами, когда писатель въ одно и то же время—и писатель, и гражданинъ. Бѣлинскій требуетъ отъ всѣхъ, кто взялъ перо въ руки, такого же совѣстливаго, строгаго и гуманнаго отношенія къ своей культурной задачѣ, какое было у него самого.

Къ счастію для нашего критика, онъ имѣлъ возможность встрѣтить среди писателей того времени не мало людей, которые удовлетворяли этимъ высокимъ требованіямъ и которые, кромѣ того, были одарены не простымъ беллетристическимъ талантомъ, а настоящимъ творческимъ даромъ. Выясненіе общественнаго значенія ихъ творчества Бѣлинскій и поставилъ цѣлью своей критической работы въ Петербургѣ. „Отечественныя Записки" [1839—1847] и „Современникъ" [1847—1848] получили, благодаря этой работѣ, совсѣмъ опредѣленную литературную физіономію, которая рѣзко отличала ихъ отъ всѣхъ журналовъ того времени. Они стали „передовыми журналами", либеральными органами печати, проводниками тѣхъ гуманныхъ идей, которыя такъ сильно волновали тогда европейское общество; воспитаніе умственно и нравственно свободной интеллигентной личности и духовная и матерьяльная эмансипація темной массы—вотъ тѣ главныя соціальныя задачи, выясненію которыхъ оба журнала посвятили свои критическіе отдѣлы. Въ этомъ смыслѣ эти журналы были „западническіе", т.-е. они стремились привить русскому читателю общечеловѣческія и всѣмъ обязательныя понятія и

воззрѣнія, которыя были такъ глубоко поняты и такъ ясно формулированы на западѣ.

Бѣлинскій, на рукахъ котораго находился критическій отдѣлъ сначала „Отечественныхъ Записокъ", а затѣмъ „Современника", долженъ былъ проводить эти идеи, пользуясь почти исключительно тѣмъ матерьяломъ, который ему давала русская литература. Недостатка въ немъ не было. Сороковые годы—одна изъ самыхъ плодотворныхъ эпохъ въ исторіи русскаго художественнаго творчества. Это—эпоха Гоголя и его учениковъ, которымъ русскій романъ обязанъ своей славой, и у насъ, и за границей; это—эпоха Кольцова, Лермонтова и молодого Некрасова.

XIII.

Творчество Гоголя, о которомъ Бѣлинскій говорилъ такъ часто и много въ Москвѣ, продолжало быть его излюбленной темой и въ Петербургѣ. Въ Москвѣ онъ цѣнилъ въ Гоголѣ больше всего художника, который „убилъ романтизмъ" житейской правдивостью своей фантазіи. Теперь Гоголь для Бѣлинскаго не только поэтъ, но главнымъ образомъ бытописатель. Его творчество—художественное воплощеніе русской жизни, историческій документъ, по которому можно судить о культурности русскаго общества. Гоголь—авторъ „Ревизора" и „Мертвыхъ Душъ", этой геніальной поэмы, въ которой быть дворянства, чиновничества и крестьянства изображенъ съ такой безпощадной правдой. Тотъ, кто прочтетъ эту поэму, больше не повѣритъ никакой идеализаціи, тотъ застрахованъ навсегда отъ опасности оправдать дѣйствительность, которую вокругъ себя видитъ. Бѣлинскій охотно прощаетъ Гоголю односторонность нарисованной имъ картины; онъ ее впрочемъ и не считаетъ односторонней,—не потому, что онъ убѣжденъ, что исключительно Хлестаковы, Чичиковы, Собакевичи или Ноздревы населяютъ Россію, а потому что въ этихъ лицахъ онъ видитъ разновидности господствующаго въ Россіи типа,—

того типа некультурнаго человѣка, который попадается въ разныхъ слояхъ нашего общества гораздо чаще и въ большемъ количествѣ, чѣмъ типъ ему противоположнаго, нравственно и умственно развитого человѣка.

Творчество Гоголя служило такимъ образомъ наилучшимъ поясненіемъ мыслей Бѣлинскаго. Дѣйствительно, трудно было найти болѣе богатую галлерею всевозможныхъ нравственныхъ и умственныхъ уродовъ, чѣмъ та, которая дана была въ „Мертвыхъ Душахъ". Она производила удручающее впечатлѣніе, и самъ авторъ и критикъ одинаково чувствовали необходимость чѣмъ-нибудь смягчить эту мрачную картину. Гоголь смягчилъ ее, какъ извѣстно, такъ называемыми „лирическими" вставками, и Бѣлинскому, на первыхъ порахъ, эти вставки понравились. Но скоро онъ измѣнилъ о нихъ свое мнѣніе.

Въ „лирическихъ мѣстахъ" своей поэмы Гоголь говорилъ съ восторженнымъ пафосомъ о великомъ призваніи Россіи. Утѣшая своихъ читателей, авторъ хотѣлъ увѣрить ихъ, что въ странѣ, которая производитъ Чичиковыхъ и всѣхъ его добрыхъ знакомыхъ, кроются тѣмъ не менѣе богатыя духовныя силы. Бѣлинскій раздѣлялъ эту мысль; онъ самъ любилъ часто говорить о той культурной роли, которая выпадетъ на долю нашей родинѣ въ будущемъ. Но онъ всегда думалъ, что къ этой роли ей должно долго и очень долго готовиться. Современное ея положеніе онъ осуждалъ; онъ видѣлъ, какая масса людей была совсѣмъ лишена всякой духовной самостоятельности, и какъ невысокъ былъ духовный уровень даже тѣхъ лицъ, которыя возвышались надъ этой массой. Онъ требовалъ отъ русскаго человѣка прежде всего сознанія своихъ недостатковъ, а потомъ уже мечтаній о своемъ грядущемъ великомъ призваніи. Когда же онъ увидѣлъ, что лирическій пафосъ Гоголя могъ быть многими истолкованъ [и дѣйствительно толковался] какъ прославленіе наличныхъ, уже существующихъ русскихъ доблестей и преимуществъ русскаго народа надъ другими, — Бѣлинскій испугался и раз-

сердился: онъ сталъ опасаться, какъ бы тотъ писатель, который убилъ всякую идеализацію жизни, теперь вновь не пріучилъ читателя къ этому искаженному взгляду на дѣйствительность. Опасенія Бѣлинскаго были справедливы, тѣмъ болѣе, что самъ Гоголь обѣщалъ во второй части „Мертвыхъ Душъ“ дать цѣлый рядъ идеальныхъ русскихъ типовъ, которые должны были доказать, что нашъ народъ—избранный народъ Божій. Этой второй части своей поэмы Гоголь при жизни Бѣлинскаго не напечаталъ, но въ 1847 г. вышли его „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, которыя должны были служить введеніемъ къ задуманному продолженію его поэмы. Всѣ опасенія Бѣлинскаго оправдались. Гоголь отрекался отъ всего, что имъ было раньше написано, и проповѣдывалъ какой-то религіозно-патріархальный взглядъ на русскую дѣйствительность,—взглядъ, очень близко граничившій съ полнымъ ея оправданіемъ. Для Бѣлинскаго такая точка зрѣнія не была новостью: онъ самъ ее пережилъ и отвергъ, и потому хладнокровно не могъ съ ней встрѣчаться. Когда въ „Перепискѣ“ Гоголя онъ прочелъ, что мужику образованіе не нужно, когда онъ увидалъ, что Гоголь оправдываетъ крѣпостное состояніе и только совѣтуетъ помѣщику обращаться съ мужикомъ мягко,—онъ понялъ, что Гоголь пересталъ быть его союзникомъ. Любя въ Гоголѣ прежняго сатирика, Бѣлинскій долженъ былъ теперь не только защищать его отъ тѣхъ враговъ, которыхъ у Гоголя всегда было такъ много, но защищать его отъ него самого, отъ самоистязанія, которое художникъ производилъ надъ своимъ талантомъ. Чѣмъ больше Бѣлинскій довѣрялъ Гоголю, чѣмъ выше онъ ставилъ его слово, тѣмъ сильнѣе и глубже былъ тотъ гнѣвъ, который въ немъ вызвала эта „Переписка“. Этотъ гнѣвъ былъ потому еще такъ силенъ, что цензурныя условія того времени не позволяли Бѣлинскому высказать всего, что онъ думалъ. Бѣлинскій выждалъ время и за границей написалъ Гоголю свое знаменитое письмо—лучшее, что когда-либо Бѣлинскимъ было писано. Если это письмо слишкомъ

рѣзко, если оно не достаточно щадитъ Гоголя, какъ человѣка, и не вполнѣ отдаетъ должное искренности мотивовъ, которые заставили Гоголя опубликовать свою переписку, то такая суровость Бѣлинскаго болѣе чѣмъ понятна. Поэзія Гоголя была для него высшимъ откровеніемъ русскаго творчества, лучшимъ оружіемъ въ борьбѣ за гуманные общественные идеалы, и поэтому, когда Гоголь отрекся отъ своихъ словъ, Бѣлинскій сталъ ему мстить, какъ мстятъ за поруганіе святыни. Онъ не принялъ въ расчетъ ни тяжелаго психическаго состоянія Гоголя [которое впрочемъ могло быть ему и неизвѣстно], ни искреннихъ побужденій, которыя заставили Гоголя написать свою книгу: онъ увидалъ въ ней только проповѣдь застоя, нападки на свободное развитіе личности, на необходимость поднять духовный уровень массы,— и этого было для него достаточно, чтобы въ Гоголѣ признать врага. Но это признаніе стоило Бѣлинскому дорого: онъ хоронилъ съ Гоголемъ часть своего сердца.

Къ Лермонтову симпатіи Бѣлинскаго возрастали съ каждымъ годомъ. Въ Москвѣ онъ его не любилъ, но всегда ему удивлялся; теперь эта мятежная поэзія, вѣчно ссорившаяся съ жизнью, пріобрѣтала въ глазахъ нашего критика совсѣмъ особый смыслъ. Никто изъ русскихъ писателей того времени не выражалъ съ такой страстностью и силой борьбы личности за свое независимое положеніе, за свои права на свободу чувствъ и мыслей, какъ именно Лермонтовъ. Если въ его поэзіи и было не мало юношескаго задора, а также извѣстной сословной спеси, то все-таки основная ея тенденція была очень серьезна. Поэтъ рано переросъ ту среду, въ которой выросъ, и сталъ во враждебное отношеніе къ условіямъ той общественной жизни, которая его окружала. Его идеалы, правда, были очень неопредѣленны: отрицая и разрушая, онъ самъ не зналъ, что поставить на мѣсто разрушеннаго; но въ немъ жило это вѣчное стремленіе, которое не даетъ застаиваться мыслямъ и чувствамъ. и за эти тревожные порывы борющагося духа его любилъ и цѣнилъ теперь Бѣлинскій.

Лермонтовъ былъ для него прямымъ наслѣдникомъ Пушкина, онъ казался ему даже „умнѣе“ Пушкина; и критикъ находилъ въ его поэзіи больше „содержанія“. Если мы вспомнимъ, что подъ словами „дѣло“ и „содержаніе“ Бѣлинскій разумѣлъ тогда отзывчивость поэта на современные общественные вопросы, то мы поймемъ, что, нисколько не унижая Пушкина, критикъ отдавалъ только поэзіи Лермонтова предпочтеніе за современность ея мотивовъ.

Лермонтовъ, при всей неустойчивости его взглядовъ, былъ олицетвореніемъ протеста,—не того мечтательнаго романтическаго душевнаго разлада, надъ которымъ Бѣлинскій теперь смѣялся, а очень мужественнаго протеста, въ которомъ чувствовалась большая умственная и нравственная сила, рвущаяся на свободу. Бѣлинскій признавалъ въ Лермонтовѣ родственную себѣ душу: онъ видѣлъ въ немъ образецъ той самостоятельной и свободной во мнѣніяхъ и чувствахъ личности, отъ которой ожидалъ благотворнаго вліянія на застоявшееся общество.

Поэзія Кольцова произвела также большое впечатлѣніе на Бѣлинскаго еще въ Москвѣ, когда Кольцовъ только что выступалъ со своими первыми стихотвореніями. Кружокъ Станкевича былъ тогда въ восторгѣ отъ его пѣсенъ, въ которыхъ видѣлъ удивительную неподражаемую оригинальность и самобытность. Бѣлинскому Кольцовъ былъ дорогъ, кромѣ того, какъ человѣкъ: ихъ связывала очень тѣсная дружба, въ которой критику, конечно, принадлежала роль руководителя. Кольцовъ нуждался въ духовной поддержкѣ, и Бѣлинскій былъ единственный человѣкъ, который сумѣлъ оказать ее, не давъ почувствовать въ то же время своего превосходства... Въ дружбѣ этихъ двухъ лицъ, столь различныхъ по темпераменту, уму и развитію, было много трогательнаго; это было духовное братство интеллигентнаго человѣка съ человѣкомъ, вышедшимъ изъ сѣрой массы, изъ некультурнаго слоя общества и проложившимъ себѣ самостоятельно дорогу изъ мрака къ свѣту. Это былъ именно тотъ союзъ,

о которомъ въ теоріи такъ мечталъ Бѣлинскій. Кольцовъ и его поэзія были для Бѣлинскаго наглядным подтвержденіемъ надеждъ, которыя онъ возлагалъ на простого человѣка. Онъ увидалъ, на что этотъ человѣкъ способенъ, если онъ поставленъ въ болѣе благопріятныя условія жизни; онъ могъ убѣдиться также, какіе таланты скрываются иногда въ этой сѣрой толпѣ, и какъ много ихъ, вѣроятно, погибаетъ, не имѣя возможности заявить о своемъ существованіи.

Поэзія Кольцова имѣла такимъ образомъ для Бѣлинскаго не только художественную стоимость. Бѣлинскій могъ цѣнить въ ней историческій документъ, подтверждающій правоту его взглядовъ на насущныя потребности его времени; на нее онъ могъ указать, когда рѣчь заходила о духовной силѣ, таящейся въ народной массѣ, о необходимости предоставить этой силѣ средства къ свободному и правильному развитію.

Взгляды Бѣлинскаго на народную массу и на то отношеніе, въ которое къ ней должны стать люди интеллигентные, вообще крайне любопытны. Въ Москвѣ этотъ вопросъ его интересовалъ мало. Бѣлинскій говорилъ о немъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ; онъ признавалъ въ русскомъ народѣ большую умственную силу, большую нравственную стойкость и выдержку, говорилъ часто о великой его будущности, объ его культурномъ призваніи, но всякій разъ подъ словомъ „народъ“ онъ разумѣлъ не народную массу въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, а вообще всю національную группу со всѣми ея сословіями. Теоретикъ по преимуществу и мало тогда еще знакомый съ бытомъ низшихъ классовъ, онъ былъ убѣжденнымъ поклонникомъ культурности, самой высшей культурности, и мѣрилъ народную жизнь и психологію этой очень высокой мѣркой.

Народная жизнь отталкивала Бѣлинскаго своей грубостью, примитивностью своихъ понятій и своей инертностью. Его сердечныя симпатіи были всегда на сторонѣ народной массы; какъ гуманистъ, онъ никогда не забывалъ нравственной связи,

которая должна существовать между нимъ и народомъ, но онъ не былъ увлеченъ имъ или влюбленъ въ него; въ народныхъ чувствахъ и міросозерцаніи онъ не искалъ никакихъ указаній для себя. Человѣкъ культурный въ полномъ смыслѣ слова, поклонникъ западной цивилизаціи, поклонникъ свободной личности, онъ считалъ нашу народную массу еще совсѣмъ невспаханной нивой, которая ждетъ своего пахаря и сѣмянъ, которыя тотъ на нее броситъ. То, что на этой нивѣ произрастало самобытно, было въ глазахъ Бѣлинскаго лишь самымъ несовершеннымъ плодомъ, требующимъ для своей зрѣлости большихъ заботъ и ухода. Вотъ почему нашъ критикъ такъ мало интересовался произведеніями народной словесности, за которой не хотѣлъ признать даже поэтическихъ красотъ, не только глубины содержанія или чувства. Вотъ почему онъ такъ индифферентно, даже враждебно отнесся къ малороссійской литературѣ. Вотъ почему, наконецъ, онъ въ изящной словесности не любилъ встрѣчаться со сценами изъ народнаго быта, нарисованными слишкомъ реально и грубо, безъ достаточнаго критическаго отношенія къ этой грубости. Ему казалось, что такое увлеченіе народомъ, искажая въ обществѣ строгій взглядъ на народную некультурность можетъ только принести вредъ. Если искать причину крайности такихъ взглядовъ Бѣлинскаго, то она кроется въ недостаткѣ его свѣдѣній о внѣшней и внутренней сторонѣ жизни низшихъ классовъ. Дѣйствительно, онъ съ этими классами почти не приходилъ въ непосредственное столкновеніе. Онъ могъ изучать ихъ жизнь только по книгѣ, а много ли было тогда такихъ книгъ, которыя освѣтили бы русскому читателю эту сторону его жизни? Романовъ и повѣстей, искажающихъ правду жизни въ угоду идеализаціи было не мало, но Бѣлинскій чувствовалъ фальшь такихъ произведеній. На нихъ онъ не могъ опираться въ своихъ сужденіяхъ о тѣхъ духовныхъ силахъ, какими располагала темная масса. Самъ онъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сознавалъ неотложную необходимость народнаго просвѣщенія и воспита-

ія; этотъ вопросъ его тревожилъ и мучилъ; и онъ боялся поэтому, какъ бы русское общество не пріучилось цѣнить слишкомъ высоко народный умъ и народную нравственность и не успокоилось бы на сознаніи, что все обстоитъ благополучно и все само собою сдѣлается. Такое опасеніе было основательно: одна часть русской интеллигенціи была, дѣйствительно, готова преувеличить добродѣтели народа на счетъ его недостатковъ.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній зарожденіе и быстрый расцвѣтъ „натуральной“ школы въ русской литературѣ были встрѣчены Бѣлинскимъ съ большими надеждами. Онъ увидалъ въ произведеніяхъ этой школы истинное правдивое отраженіе жизни и именно тѣхъ ея сторонъ, которыя всего больше нуждались въ освѣщеніи. Гоголь говорилъ лишь изрѣдка и бѣгло о бытѣ низшихъ классовъ: его ученики продолжали теперь его дѣло и съ первыхъ же шаговъ завоевали для русской литературы новую область. Бѣлинскій привѣтствовалъ ихъ словами живѣйшаго участія и одобренія. Вѣрный своему взгляду на искусство, какъ на проводника общественныхъ идей, онъ обратилъ теперь все свое вниманіе на гуманный смыслъ этихъ новыхъ художественныхъ памятниковъ, которыми такъ быстро начала обогащаться отечественная словесность.

Публицистическіе очерки Герцена, появившіеся почти одновременно съ первыми произведеніями „натуральной школы“, служили ей блестящей прелюдіей. Въ романѣ „Кто виноватъ“, въ повѣсти „Сорока воровка“ и въ „Запискахъ молодого человѣка“ было, можетъ быть, мало фантазіи и творчества, но зато много наблюдательности и критическаго отношенія къ дѣйствительности. Это были первые очерки изъ помѣщичьей жизни, въ которыхъ краски распредѣлялись довольно равномѣрно и гуманная тенденція автора ясно выступала наружу. О ней не нужно было догадываться: она сама бросалась въ глаза. Повѣсти Герцена были въ сущности защитительными рѣчами въ пользу униженныхъ и оскорбленныхъ; они были

той настоящей беллетристикой, которая, не претендуя на художественность, желала быть прежде всего проводникомъ извѣстныхъ нравственныхъ понятій, и для Бѣлинскаго эти повѣсти были очень важной точкой опоры.

Такую же поддержку своимъ взглядамъ нашелъ нашъ критикъ и въ повѣстяхъ Тургенева, Достоевскаго и Григоровича. Еще до выхода въ свѣтъ „Записокъ охотника" Бѣлинскій обратилъ вниманіе на юношескіе стихи Тургенева. Онъ похвалилъ его тогда за выборъ „современной" темы и за ея выполненіе. Теперь, въ „Запискахъ охотника" передъ нимъ было уже не начинающій авторъ, а вполнѣ созрѣвшій талантъ. Передъ нимъ были очерки, въ которыхъ самъ народъ бралъ на себя свою защиту, безъ посредника говорилъ о своемъ бытѣ и дѣлился своимъ міросозерцаніемъ и своими чувствами съ интеллигентнымъ обществомъ. Такой же характеръ откровенной исповѣди носили и первыя повѣсти Григоровича: и въ нихъ авторъ какъ будто исчезалъ, чтобы уступить свое мѣсто тому мужику, жизнь котораго онъ изображалъ съ такой тщательной вѣрностью въ деталяхъ. Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ этихъ повѣстей, но изъ всѣхъ произведеній новаго литературнаго теченія онъ былъ больше все тронутъ повѣстью Достоевскаго „Бѣдныя люди". Теперь за этой повѣстью сохраняется лишь историческій интересъ, но совсѣмъ иное значеніе имѣла она въ тѣ годы, когда появилась. Рѣдкое литературное произведеніе пользовалось такимъ громкимъ успѣхомъ, и, конечно, не его художественныя красоты такъ увлекли и критику, и общество. Бѣлинскій былъ вполнѣ правъ, когда, руководясь только этимъ первымъ опытомъ начинающаго писателя, призналъ „гуманность" за отличительную черту таланта Достоевскаго. Онъ угадалъ въ немъ будущаго великаго моралиста и правильно понялъ его первую повѣсть — какъ голосъ совѣсти и оскорбленнаго человѣческаго достоинства.

Итакъ, натуральная школа начала исполнять въ Россіи ту самую роль, какую на западѣ игралъ соціальный романъ и

либеральная публицистика. Конечно, эта школа не могла такъ смѣло ставить вопросы, какъ они были поставлены у нашихъ сосѣдей; но этотъ недостатокъ и восполняла критика Бѣлинскаго, которая въ повѣстяхъ, очеркахъ и романахъ старалась выискать господствующую соціальную идею и оттѣнить ее удачной характеристикой главныхъ типовъ или умѣлымъ подборомъ характерныхъ цитатъ изъ того или другого произведенія.

Для самого Бѣлинскаго творчество молодыхъ талантовъ было не только предлогомъ къ болѣе полному и наглядному выраженію его собственныхъ мыслей. Онъ самъ могъ почерпнуть не мало свѣдѣній изъ этихъ памятникомъ словесности, которыя въ то же время были историческими памятниками русской жизни. Они ему открывали новые горизонты, какъ, напр., въ вопросѣ о міровоззрѣніи и психическихъ движеніяхъ народной массы.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что бытовой матеріялъ, который Бѣлинскій нашелъ въ этихъ повѣстяхъ, только укрѣпилъ его въ правотѣ его взглядовъ на неотложныя нужды нашей народной жизни. Въ лицѣ молодой школы литература еще разъ и съ большой ясностью и настойчивостью говорила о томъ, какъ много некультурнаго элемента въ низшихъ слояхъ нашего общества; она указывала, какъ стѣснено умственное и нравственное развитіе народной массы, какъ глохнутъ и пропадаютъ ея силы, которыя при иныхъ условіяхъ могли бы найти себѣ широкое примѣненіе въ жизни. Всѣ эти мрачныя стороны народнаго быта молодая школа оттѣняла съ достаточной правдивостью, но она не умалчивала и о хорошихъ и свѣтлыхъ. Она любила отдыхать на нихъ, она не идеализировала ихъ, а говорила о нихъ искренно и потому она должна была смягчить въ Бѣлинскомъ то недовѣрчивое чувство осторожности, съ которымъ онъ, какъ рьяный поклонникъ цивилизаціи, относился къ духовнымъ силамъ народа.

Во взглядахъ Бѣлинскаго на этотъ предметъ произошла,

дѣйствительно, перемѣна, и, конечно, и Герценъ, и Тургеневъ, и Григоровичъ имѣли свою долю участія въ ней. Бѣлинскій остался попрежнему поклонникомъ интеллигентной личности, какъ главной силы, которой мы обязаны нашимъ прогрессомъ, но въ его словахъ о народѣ прежняя непріятная брезгливая нота звучать перестала. Въ одной изъ самыхъ послѣднихъ своихъ статей, написанной за мѣсяцъ до смерти, Бѣлинскій очень откровенно высказался по этому вопросу. Онъ говорилъ:

„Что многочисленнѣйшій и низшій классъ въ государствѣ, обыкновенно называемый народомъ, въ противоположность обществу, подъ которымъ разумѣется среднее и высшее сословіе, есть хранитель сущности духа народной жизни,—это истина несомнѣнная. Народъ—сила охранительная, консервативная, и потому во всякой коренной реформѣ, касающейся всего государства, только то дѣйствительно, что проникнетъ и въ народъ... Своею инстинктивной преданностью преданію, обычаю, привычкѣ, народъ противится всякому движенію впередъ, всякому успѣху, и медленно, съ упорствомъ поддается натиску врывающихся къ нему сверху нововведеній... Мы не знаемъ доселѣ ни одного народа, котораго развитіе и ходъ впередъ не были бы основаны на раздѣленіи народной жизни на народъ и общество. Безъ этихъ высшихъ сословій, которымъ обезпеченное положеніе и присвоенныя права давали возможность обратить свою дѣятельность на предметы умственные, народы навсегда остались бы на первобытной ступени ихъ патріархальнаго быта... Личность внѣ народа есть призракъ, но и народъ внѣ личности есть тоже призракъ; одно условливается другимъ. Народъ—почва, хранящая жизненные соки всякаго развитія; личность—цвѣтъ и плодъ этой жизни. Развитіе всегда и вездѣ совершалось черезъ личности, и потому-то исторія всякаго народа такъ похожа на рядъ біографій нѣсколькихъ лицъ... Люди, которые презираютъ народъ, видя въ немъ только невѣжественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно въ рабо-

тѣ и голодѣ,—такіе люди теперь не стоятъ возраженій: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вмѣстѣ. Люди, которые смотрятъ на народъ человѣчнѣе, но думаютъ, что по причинѣ его невѣжества и необразованности онъ не заслуживаетъ изученія и что вовсе нечему учиться у него—такіе люди, конечно, ошибаются, и съ ними мы готовы всегда спорить; но еще больше ихъ ошибаются тѣ, которые думаютъ, что народъ нисколько не нуждается въ урокахъ образованныхъ классовъ, и что онъ можетъ отъ нихъ только портиться нравственно. Народъ—вѣчно ребенокъ; всегда несовершеннолѣтенъ. Это—сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слѣпая въ ея торжественныхъ проявленіяхъ. Это—море величественное и въ тишинѣ, и въ бурѣ, но никогда не зависящее отъ самого себя, никогда не управляющее само собою: вѣтеръ его повелитель".

Въ этихъ словахъ, которыя можно считать за окончательный итогъ всѣхъ взглядовъ Бѣлинскаго на отношеніе интеллигентной личности къ народной массѣ, ясно выражена общественная программа нашего критика. Поклонникъ цивилизаціи, въ самомъ высшемъ смыслѣ этого слова, ревностный ученикъ запада, но теперь уже не теоретикъ только, а практикъ, Бѣлинскій смотритъ на народную массу, какъ на необработанную почву, въ которой таится много силъ, не нашедшихъ пока еще должнаго употребленія. Чтобы эти силы могли быть съ пользой направлены на общее счастіе и благо, для этого нужно руководство просвѣщенной личности, стоящей въ своемъ развитіи и образованіи наравнѣ со своимъ гуманнымъ вѣкомъ; историческіе уроки запада не должны проходить даромъ для такой личности; не подражая рабски своему сосѣду, она должна оцѣнить и усвоить себѣ тѣ результаты общечеловѣческой культурности, которые куплены такимъ трудомъ другими націями, вышедшими на арену исторической жизни раньше нашей.

То, чего Бѣлинскій желалъ такъ пламенно для своей ро-

дины, сводилось, такимъ образомъ, во-первыхъ, къ воспитанію свободной и гуманной личности, которая могла бы служить посредникомъ между молодой Россіей и западомъ, превышавшимъ ее въ образованіи и общественной культурности, и, во-вторыхъ, къ упорной и неотложной работѣ надъ улучшеніемъ условій матеріальной и духовной жизни народа,—работѣ, направленной къ тому, чтобы способствовать сближенію народа съ интеллигентными классами и не позволить ему тратить всѣхъ своихъ силъ единственно на поддержаніе своей каждодневной жизни.

Такова была общественная программа, которая очень ярко выступала во всѣхъ статьяхъ Бѣлинскаго, написанныхъ имъ въ послѣдній періодъ его жизни. Она во многихъ людяхъ вызвала вражду и подозрѣніе. Когда эта вражда исходила изъ лагеря людей, не понимавшихъ Бѣлинскаго, лицъ, которыя вообще были далеки отъ всякой идеи и стояли только лишь за сохраненіе порядка, каковъ бы онъ ни былъ,—то съ такой враждой можно было примириться какъ съ неизбѣжностью.

Но были и люди идеи, которые никакъ не могли столковаться съ Бѣлинскимъ и также считали всю его дѣятельность вредной для родины. Это были представители такъ называемой славянофильской партіи. Борьба съ ними стоила Бѣлинскому много крови и желчи. Это была междуусобная война двухъ партій передъ лицомъ общаго имъ врага, который только выигрывалъ отъ ихъ ссоры. Вмѣсто того, чтобы соединить свои силы, противники тратили ихъ. Но было ли тогда такое соединеніе возможно?

XIV.

Бѣлинскому часто ставили въ вину ту несправедливую будто бы горячность, съ какой онъ нападалъ на славянофиловъ; его обвиняли въ непониманіи этихъ людей, въ желаніи преувеличить недостатки ихъ взглядовъ, въ умышлен-

номъ искаженіи ихъ словъ. Дѣйствительно, рѣдко въ какомъ спорѣ Бѣлинскій обнаружилъ такую рѣзкость, какъ въ этой полемикѣ съ московской партіей. Но такая рѣзкость вполнѣ понятна, если принять во вниманіе, что споръ касался именно самыхъ существенныхъ взглядовъ и убѣжденій Бѣлинскаго, и что кромѣ того, это было не теоретическое состязаніе, но споръ о практической программѣ, которой надлежало держаться въ жизни. Противники спорили не объ историко-философскихъ формулахъ, которыя въ ихъ разговорахъ, повидимому, играли такую видную роль, а на самомъ дѣлѣ о томъ, въ какое положеніе русскому интеллигентному человѣку надлежитъ стать, во-первыхъ, къ западной культурѣ и затѣмъ къ русскому народу. Вопросъ былъ поставленъ очень прямо и рѣшенъ категорично, и съ той, и съ другой стороны. Рѣшенія получились столь различныя, что объ ихъ согласованіи, на первыхъ порахъ, не могло быть и рѣчи. Согласовать ихъ могла только сама жизнь, сама исторія, которая должна была показать на практикѣ, что̀ въ каждомъ изъ ученій было истиннаго или произвольнаго. Въ первое время, когда споръ только что разгорался, онъ долженъ былъ принять тотъ обостренный, нерѣдко злобный характеръ, который онъ принялъ. Обѣ партіи слѣпо вѣрили въ правоту своихъ взглядовъ, и каждая изъ нихъ разсчитывала, что жизнь оправдаетъ ея теоретическія выкладки. Ожесточеніе съ обѣихъ сторонъ было одинаково сильное, и если слова Бѣлинскаго были болѣе задорны и болѣе необузданны, чѣмъ слова его противниковъ, то въ этомъ виновата вообще талантливость и энергичность рѣчи нашего критика, ея образность, остроуміе и ея неподдѣльный паѳосъ.

Если Бѣлинскій въ своей полемикѣ часто прибѣгалъ къ насмѣшкѣ и къ издѣвательству, если онъ, какъ утверждали его враги, искажалъ мнѣнія своихъ противниковъ, чтобы надъ ними потѣшиться, то все это съ его стороны не было вовсе умышленнымъ пріемомъ. Бѣлинскій не избѣгалъ серьезнаго спора: онъ былъ вынужденъ придавать своей поле-

микѣ такую съ виду легкую форму, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ тогдашняя рѣчь славянофиловъ и не допускала иныхъ возраженій. Въ самомъ дѣлѣ, когда славянофилы нападали на Бѣлинскаго, они имѣли передъ собой рядъ ясно формулированныхъ положеній. Если Бѣлинскій и принужденъ былъ умалчивать о нѣкоторыхъ выводахъ, которые вытекали изъ его словъ, то всетаки догадаться объ этихъ выводахъ было не трудно. Его историко-философскіе и общественные взгляды, въ особенности подъ конецъ его жизни, отличались необычайной простотой и ясностью. Съ ними можно было считаться по существу. Но по отношенію къ славянофиламъ Бѣлинскій находился въ совсѣмъ иномъ положеніи. Въ сороковыхъ годахъ основные взгляды славянофиловъ еще не были сведены въ одну систему: они вырабатывались въ частныхъ бесѣдахъ между членами партіи и проникали въ печать не въ видѣ связно изложенной доктрины, а въ видѣ лирическихъ изліяній или разсужденій, основныя положенія которыхъ предполагались доказанными или не требующими доказательствъ. Бѣлинскій неоднократно жаловался на такую туманность и неясность славянофильской рѣчи: ему въ особенности было досадно, что положительная сторона этого ученія оставалась недостаточно выясненной: онъ могъ знать, съ чѣмъ славянофилы были не согласны, но во что они вѣрили и на чемъ эта вѣра была построена, изъ какихъ основныхъ философскихъ положеній она вытекала,—объ этомъ ему было трудно догадаться. Серьезный споръ былъ при такихъ условіяхъ немыслимъ. Противникамъ всегда могло казаться, что Бѣлинскій возражалъ имъ не по существу; но они забывали, что имъ самимъ была пока еще недостаточно ясна сущность ихъ ученія. Дѣйствительно, въ сороковыхъ годахъ никто изъ главныхъ вождей славянофильства не успѣлъ сказать своего рѣшающаго слова.

Хомяковъ былъ извѣстенъ Бѣлинскому какъ авторъ многихъ звонкихъ стихотвореній, въ которыхъ паѳосъ замѣнялъ иногда истинное вдохновеніе; какъ авторъ двухъ драмъ изъ рус-

ской исторической жизни [„Ермака“ и „Дмитрія Самозванца“], никакими особенными достоинствами не блиставшихъ, и, наконецъ, какъ публицистъ, написавшій двѣ статьи о взаимномъ отношеніи Россіи и Европы. Эти статьи были очень характерны, какъ введеніе къ славянофильскому міросозерцанію, но никакъ не могли назваться его изложеніемъ. Позднѣйшаго Хомякова—богослова и философа исторіи—Бѣлинскій не зналъ; онъ не имѣлъ даже возможности слышать Хомякова въ частной бесѣдѣ, а именно въ такихъ бесѣдахъ обнаруживались тогда всѣ блестящія стороны и вся глубина мысли Хомякова.

Съ другимъ вождемъ партіи, человѣкомъ сильнаго ума и большого таланта, съ И. В. Кирѣевскимъ, Бѣлинскій былъ знакомъ также лишь по двумъ, тремъ статьямъ, которыя Кирѣевскій напечаталъ съ 1829 года. Бѣлинскій цѣнилъ въ немъ одного изъ первыхъ обозрѣвателей русской литературы, вспоминалъ съ уваженіемъ объ его издательской дѣятельности въ эпоху „Европейца“, могъ любить въ немъ стараго ученика Шеллинга, но о той перемѣнѣ, которая въ сороковыхъ годахъ произошла во взглядахъ Кирѣевскаго, онъ зналъ только по наслышкѣ. Кирѣевскій-славянофилъ сталъ извѣстенъ русскому обществу лишь въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, когда появилась его знаменитая статья о „характерѣ просвѣщенія Европы“. Бѣлинскій до появленія этой статьи не дожилъ.

Своего товарища по университету, Константина Аксакова, Бѣлинскій зналъ близко въ годы ихъ студенчества. Затѣмъ они разошлись, и въ сороковыхъ годахъ очень враждебно полемизировали. Аксакову также пришлось высказаться очень поздно, и Бѣлинскій, когда съ нимъ спорилъ, имѣлъ предъ собою не историка и филолога, какимъ сталъ Аксаковъ позднѣе, а литературнаго критика, и притомъ не вполнѣ удачнаго. Извѣстная брошюра о „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголя была единственной славянофильской статьей К. Аксакова, и, конечно, судить по ней о силахъ Аксакова было невозможно.

Единственный изъ славянофиловъ, который высказался раньше другихъ, былъ Юрій Самаринъ. Его статью „О мнѣніяхъ „Современника“ можно считать первой попыткой систематическаго изложенія славянофильской доктрины, хотя и эта статья не догматическое разсужденіе, а полемическая брошюра. Но и ея было достаточно для Бѣлинскаго, чтобы перемѣнить тонъ своей рѣчи. Какъ только противникъ заговорилъ серьезно, сталъ серьезно отвѣчать и Бѣлинскій, въ чемъ можно убѣдиться по его статьѣ: „Отвѣтъ „Москвитянину“.

Такимъ образомъ, принимая во вниманіе всѣ указанныя обстоятельства, мы должны снять съ Бѣлинскаго упрекъ въ намѣренномъ небрежномъ и легкомысленномъ отношеніи къ противникамъ. Если онъ чаще язвилъ, острилъ и высмѣивалъ, чѣмъ спорилъ, то въ этомъ были виноваты сами славянофилы. На ихъ туманную патетическую рѣчь можно было отвѣчать либо такимъ же паѳосомъ, либо ироніей. Бѣлинскій избралъ второе средство, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя крайности въ словахъ и поведеніи его противниковъ, дѣйствительно, не заслуживали иного отношенія, кромѣ ироническаго.

Наконецъ, что касается рѣзкости выраженій и тѣхъ обвиненій въ дикости, некультурности, во враждѣ къ просвѣщенію, въ желаніи затемнить сознаніе въ людяхъ,—обвиненій, которыя, дѣйствительно, попадаются въ нѣкоторыхъ статьяхъ Бѣлинскаго, направленныхъ противъ славянофиловъ, то это преувеличеніе славянофильскихъ недостатковъ со стороны Бѣлинскаго также не было умышленнымъ искаженіемъ спорныхъ пунктовъ. Дѣло въ томъ, что въ тѣ годы не всегда было возможно отдѣлить настоящихъ славянофиловъ отъ ихъ союзниковъ, изъ которыхъ нѣкоторые могли назваться по праву ихъ друзьями, а другіе не имѣли съ ними ничего общаго.

Въ сороковыхъ годахъ въ кружкѣ славянофиловъ занимали очень видное мѣсто Шевыревъ и Погодинъ. Они были редакторами единственнаго славянофильскаго журнала, „Мо-

сквитянина", были большими друзьями дома Аксаковыхъ и въ первое время самыми громкими глашатаями „московскаго" ученія, любви ко всему славянскому и довольно беззастѣнчиваго патріотизма. Тотъ, кто не жилъ въ Москвѣ и не вращался въ славянофильскомъ кругѣ, могъ легко принять этихъ двухъ риторовъ за настоящихъ выразителей славянофильской доктрины. Люди безъ философской глубины мысли, безъ оригинальности въ своихъ взглядахъ, они были просто восторженными патріотами, хвалителями и апологетами „дѣйствительности" и нерѣдко врагами живой свободной мысли, врагами не изъ злостнаго намѣренія, а такъ, по ограниченности кругозора. Ихъ нельзя было смѣшивать съ настоящими славянофилами—съ Хомяковымъ, Кирѣевскимъ, Аксаковымъ или Самаринымъ, но въ сороковыхъ годахъ такая ошибка была вполнѣ возможна, тѣмъ болѣе, что Погодинъ и Шевыревъ пользовались у молодыхъ членовъ славянофильскаго кружка извѣстнымъ авторитетомъ,—правда, не надолго.

Съ Шевыревымъ и Погодинымъ у Бѣлинскаго были старые счеты еще съ Москвы. Онъ не любилъ ихъ, какъ людей безъидейныхъ и довольно мелкихъ. Въ особенности не любилъ Бѣлинскій Шевырева, въ ученость котораго не вѣрилъ, и въ литературныхъ вкусахъ котораго давно разочаровался. [См. памфлетъ Бѣлинскаго „Педантъ"]. Понятно, что, нападая на славянофиловъ или отстрѣливаясь отъ нихъ, нашъ критикъ не могъ не вспомнить объ этихъ двухъ рьяныхъ патріотахъ: ихъ мысли и рѣчи представляли очень удобную мишень для его сарказма и шутки.

Но особенно невыгодно было для славянофиловъ сосѣдство другого направленія, уже не московскаго, а петербургскаго, которое имѣло своимъ органомъ знаменитый журналъ „Маякъ". Журналъ этотъ прикрывалъ патріотическими чувствами и мыслями самую ретроградную тенденцію и самую омрачительную общественную программу. Славянофилы отъ него открещивались и были, конечно, правы; но опять-таки человѣку, не посвященному въ тайну ихъ

ученія, не имѣвшему возможности познакомиться съ положительной стороной ихъ взглядовъ, легко могло показаться, что „Маякъ“ дѣлалъ только выводы изъ славянофильскихъ посылокъ, тѣмъ болѣе, что у „Маяка“ и у славянофиловъ былъ одинъ и тотъ же главный врагъ, а именно—западное просвѣщеніе. Бѣлинскій могъ совершенно искренно сказать, какъ онъ говорилъ въ одной изъ своихъ послѣднихъ статей, что „Маякъ“ былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣдовательнымъ органомъ славянофильства; что, вѣрный своему принципу, исходному пункту своего ученія, онъ никогда не противорѣчилъ ему и логически дошелъ до крайнихъ, до послѣднихъ своихъ результатовъ; что этимъ самымъ онъ, разумѣется, оказалъ очень дурную услугу славянофильству, потому что выставилъ его на позорище свѣта въ его *„истинномъ, настоящемъ видѣ“*. Бѣлинскій, думая такъ, безспорно, ошибался, но если кто ввелъ его въ это заблужденіе, такъ только сами славянофилы недосказанностью своего ученія. „Когда же „Москвитянинъ“ рѣшитъ намъ задачу о самобытномъ [чуждомъ западу] развитіи Руси?“ спрашивалъ Бѣлинскій въ 1842 г. „Вотъ уже два года, какъ издается онъ, а, кромѣ фразъ и возгласовъ, ничего еще имъ не сказано. Правда, онъ ясно доказалъ свое незнаніе запада; но когда же, когда докажетъ онъ намъ свое знаніе Руси и того, что ей нужно для самобытнаго развитія?“ И въ 1847 году Бѣлинскій повторялъ свой вопросъ: „Ни одинъ изъ славянофиловъ—писалъ онъ—до сихъ поръ не потрудился изложить основныхъ началъ своего ученія. Вмѣсто этого, у нихъ одни „намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто“. Доселѣ ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того они безпрестанно противорѣчатъ самимъ себѣ, такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнѣній, сколько и лицъ. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого народа, противъ реформъ

Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темные намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, что ему надо сблизиться съ народомъ, который будто бы сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился въ продолженіе вѣковъ.

Все это, можетъ быть, и заслуживаетъ, по крайней мѣрѣ, быть выслушаннымъ, но для этого сперва должно быть высказаннымъ".

Въ минуты болѣе добродушнаго отношенія къ своимъ противникамъ Бѣлинскій любилъ называть ихъ мечтателями-романтиками, новыми Донъ-Кихотами, влюбленными въ свою теорію, никому неизвѣстную Дульцинею, въ эту таинственную даму, которая существовала только въ мечтахъ ея обожателя. Славянофилъ напоминалъ Бѣлинскому прежняго романтика съ его неяснымъ стремленіемъ куда-то и съ его тяготѣніемъ къ чему-то весьма неопредѣленному.

Отказавшись отъ возможности уразумѣть положительную сторону славянофильской теоріи, Бѣлинскій въ своей полемикѣ возражалъ почти исключительно на ея отрицательную сторону. Онъ не могъ не возражать на нее, такъ какъ въ этомъ спорѣ онъ не столько опровергалъ славянофиловъ, сколько защищалъ самого себя: нападки славянофиловъ на западную цивилизацію и ихъ взгляды на самобытное развитіе Россіи били Бѣлинскаго по самому больному мѣсту. Московская доктрина шла въ разрѣзъ со всѣми его взглядами на роль личности и на ея обязанности въ отношеніи къ народной массѣ. Славянофилъ хотѣлъ видѣть въ жизни простого народа цѣлую сокровищницу чувствъ, мыслей и понятій, отъ которыхъ нельзя отступать подъ страхомъ искаженія самобытности развитія; онъ требовалъ иногда безусловнаго преклоненія передъ традиціей лишь въ силу того, что она традиція; онъ напиралъ на „смиреніе", какъ на одну изъ основныхъ чертъ русской національности; онъ хотѣлъ уберечь народную жизнь отъ притока нерусскихъ мыслей и понятій,

оградить ее отъ иноземнаго вліянія, убѣжденный въ томъ, что она сама собой, своими силами, создастъ особую цивилизацію, которой другіе народы должны будутъ позавидовать. Во всѣхъ этихъ взглядахъ высказывалась прямая противоположность тому, что̀ думалъ и во что̀ вѣрилъ Бѣлинскій. Бѣлинскій признавалъ за русскимъ народомъ много хорошихъ сторонъ характера; онъ говорилъ объ его юныхъ и свѣжихъ силахъ и о великой будущности, которая его ожидаетъ; но обо всемъ этомъ онъ говорилъ условно, какъ о задаткахъ и надеждахъ, которымъ надлежитъ еще развиться и осуществиться. Пресловутаго „смиренія“ Бѣлинскій опасался вполнѣ основательно; онъ полагалъ, что оно можетъ стать источникомъ, и добродѣтели, и пороковъ въ одинаковой степени; наконецъ, что касается самобытной народной цивилизаціи, то Бѣлинскій считалъ такую цивилизацію вполнѣ законной и возможной, но слово „самобытность“ не отождествлялъ со словомъ „изолированность“ и думалъ, что всякая народная культура всегда живетъ на счетъ общечеловѣческой культуры, элементы которой она только самобытно въ себѣ претворяетъ.

Если не для всѣхъ, то для многихъ членовъ тогдашней славянофильской партіи эпоха преобразованій Петра была одной изъ самыхъ печальныхъ эпохъ нашей исторіи. Крутая ломка, которая произошла въ нашей жизни, была въ ихъ глазахъ насиліемъ, совершеннымъ надъ русскимъ духомъ. Личность преобразователя и его программа были имъ антипатичны: они въ Петрѣ не хотѣли признать коренного русскаго человѣка, отгадавшаго потребности своей эпохи и сумѣвшаго удовлетворить ихъ; они не хотѣли видѣть тѣсной связи, какая существовала между Петромъ и народомъ, изъ среды котораго онъ вышелъ. Взгляды Бѣлинскаго на эпоху преобразованій и на главнаго ея героя всегда были одни и тѣ же. Еще въ Москвѣ онъ былъ въ восторгѣ отъ Петра и восхвалялъ его умъ и энергію. Въ Петербургѣ эти симпатіи окрѣпли. Петръ былъ именно той личностью, тѣмъ силь-

нымъ умомъ и волей человѣкомъ, о которомъ мечталъ Бѣлинскій всякій разъ, когда задумывался надъ средствомъ вывести русское общество изъ инертнаго и некультурнаго состоянія, въ какомъ оно находилось. Преклоненіе Бѣлинскаго передъ Петромъ не знало границъ: онъ готовъ былъ признать въ Петрѣ божество, требовалъ, чтобы ему воздвигли алтарь, и, конечно, онъ такъ превозносилъ Петра вовсе не съ затаеннымъ желаніемъ кольнуть славянофиловъ, а по глубокому убѣжденію. Петръ былъ для Бѣлинскаго чисто русской натурой, не только не измѣнившей своей народности, а, наоборотъ, показавшей во всемъ блескѣ самыя лучшія стороны русскаго народнаго характера. Онъ былъ тотъ герой, котораго давно ждала страна, и который наконецъ пришелъ „исполнить законъ". Тотъ фактъ—говорилъ Бѣлинскій — что реформа Петра удалась и привилась, доказываетъ, что она была не насиліемъ, совершеннымъ надъ русской жизнью, а удовлетвореніемъ давно назрѣвшей потребности. Если Петръ былъ жестокъ и рубилъ сплеча, если онъ такъ торопился со своимъ дѣломъ, то такая поспѣшность и рѣзкость объясняются исторической необходимостью; въ Россіи надо было начинать все вдругъ, надо было торопиться. Симпатіи Петра къ западной цивилизаціи были самымъ законнымъ увлеченіемъ съ его стороны. Если реформа и заставила насъ сначала подражать западу только во внѣшности, если она привила намъ прежде всего внѣшній лоскъ, то эти недостатки были неизбѣжны при тѣхъ условіяхъ, при какихъ совершалось наше сближеніе съ западомъ. Съ подражанія мы начинали, но лишь затѣмъ, чтобы кончить сознательнымъ усвоеніемъ и самостоятельной работой.

При такихъ взглядахъ на культурную роль запада въ исторіи нашей жизни, Бѣлинскаго, конечно, должны были возмущать до глубины души тѣ выходки противъ западной цивилизаціи, которыми любили щеголять славанофилы. Выходки эти сводились къ знаменитому обвиненію въ „гнилости". Въ чемъ именно эта гнилость заключалась—разъяснять

это подробно и доказывать на фактахъ московская партія бралась неохотно: ей больше нравилось повторять это обвиненіе, которое звучало такъ громко и какъ будто глубокомысленно.

Бѣлинскаго очень сердилъ такой поверхностный взглядъ на Европу. Онъ самъ неоднократно говорилъ, что наша задача состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы рабски слѣдовать за сосѣдями; онъ понималъ, что многое въ ихъ жизни не имѣетъ прямого отношенія къ нашей, но онъ былъ противникомъ всякой китайской стѣны, которая отдѣлила бы насъ отъ Европы и, спасая насъ отъ многихъ ея недостатковъ, лишила бы насъ столькихъ культурныхъ богатствъ. Еще менѣе могъ онъ простить такую брань на Европу людямъ, которые, какъ онъ зналъ, были ей столькимъ обязаны въ своемъ умственномъ развитіи.

Итакъ, Бѣлинскій расходился съ славянофилами рѣшительно во всѣхъ своихъ историческихъ и общественныхъ взглядахъ. У него и у нихъ могла быть одна общая цѣль—благо и величіе ихъ родины, но каждый изъ нихъ шелъ къ этой цѣли своей дорогой, и дороги эти были настолько различны, что соглашеніе между противниками становилось невозможно. Позднѣе, когда Бѣлинскаго уже не было въ живыхъ, это соглашеніе состоялось, и то лишь въ нѣкоторыхъ частныхъ пунктахъ, какъ, напр., въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ. Но въ общемъ программа учениковъ Бѣлинскаго и славянофильская доктрина, какъ она была высказана во всей ея систематической цѣльности въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, продолжали враждовать другъ съ другомъ, расходясь всегда въ самомъ главномъ, а именно—въ политическихъ и религіозныхъ убѣжденіяхъ. Въ сороковыхъ годахъ въ силу цензурныхъ условій эти убѣжденія не могли стать предметомъ открытаго спора, и вниманіе спорящихъ было обращено, главнымъ образомъ, на вопросъ о развитіи интеллигентной личности, стремящейся отстоять свое право на свободную мысль и чувство, а также на во-

просъ объ отношеніи этой личности къ народной массѣ, надъ воспитаніемъ и просвѣщеніемъ которой она должна была работать. Одна сторона стояла за ограниченіе такого свободнаго развитія личности унаслѣдованной традиціей и сложившимся исторически міровоззрѣніемъ, почему и посылала интеллигентнаго человѣка на выучку къ простому народу, другая держалась взглядовъ противуположныхъ.

За борьбой Бѣлинскаго съ славянофилами осталась безспорно одна культурная заслуга. Въ то время, когда въ русскомъ обществѣ и безъ того было очень мало движенія, когда въ немъ общій уровень образованія и нравственности былъ такъ низокъ, когда жизнь несвободной народной массы была такъ инертна, когда, наконецъ, патріотизмъ выражался, главнымъ образомъ, въ превознесеніи физической силы, а не въ сознаніи недочетовъ духовныхъ,—Бѣлинскій стремился затормозить развитіе того ученія, которое невольно потворствовало этимъ недостаткамъ нашей общественной жизни. Само ученіе въ устахъ многихъ изъ его проповѣдниковъ было очень искреннимъ словомъ, но сколько въ этомъ словѣ было соблазна для тѣхъ, кто отъ лѣни, отъ нерадѣнія или по инымъ, менѣе извинимымъ причинамъ, былъ готовъ почить на лаврахъ, увѣряя себя въ томъ, что все кругомъ обстоитъ благополучно и лучше обстоять не можетъ? Когда Бѣлинскій говорилъ, что славянофилы проповѣдуютъ „одичаніе“, онъ былъ неправъ и несправедливъ къ нимъ; но, когда онъ думалъ, что дикіе люди могутъ воспользоваться этимъ ученіемъ, чтобы прикрыть имъ свою дикость,—онъ былъ очень близокъ къ истинѣ.

XV.

„Теперь предстоитъ надобность въ человѣкѣ трезвомъ, бодромъ, дѣятельномъ, который бы смотрѣлъ на вещи прямо и любилъ бы землю, жилище наше и нашихъ потомковъ“,—писалъ Бѣлинскій за годъ до смерти. Эта мысль о дѣятель-

номъ и трезвомъ человѣкѣ, смотрящемъ прямо на вещи, приходила нашему критику часто въ голову, и онъ съ большой любовью отмѣчалъ тѣ литературныя новинки, въ которыхъ она высказывалась [см., напр., его разборъ „Обыкновенной исторіи“ Гончарова]. На этого будущаго „реалиста“, какъ говорили въ шестидесятыхъ годахъ, Бѣлинскій смотрѣлъ какъ на законнаго наслѣдника всѣхъ тѣхъ общественныхъ типовъ, въ которыхъ поперемѣнно выражались основныя теченія русской мысли и настроенія.

Дѣйствительно, на смѣну старымъ романтикамъ, о которыхъ въ концѣ сороковыхъ годовъ никто уже не помнилъ, на смѣну прежнимъ идеалистамъ-метафизикамъ и эстетикамъ, которые къ этому времени также умолкали, наконецъ, вслѣдъ за славянофилами, въ ученіи которыхъ было столько и романтическаго, и метафизическаго,—пришелъ въ шестидесятыхъ годахъ человѣкъ непосредственнаго дѣла, очень трезвый въ своихъ философскихъ взглядахъ и очень строгій и послѣдовательный въ своихъ взглядахъ общественныхъ. Онъ, какъ выражался Бѣлинскій, „полюбилъ землю—жилище наше и нашихъ потомковъ“. Глубокій гуманистъ и демократъ по своимъ убѣжденіямъ, онъ съ юношескимъ пыломъ и рвеніемъ сталъ осуществлять ту программу, которую намѣтилъ Бѣлинскій; онъ сталъ воспитывать въ себѣ и въ другихъ свободную гуманную личность—энергичную и полную иниціативы, и поставилъ своей первой задачей—служеніе духовнымъ и матеріальнымъ интересамъ той массы обездоленныхъ и непросвѣщенныхъ, съ судьбой которыхъ онъ такъ тѣсно связалъ свою жизнь.

Этотъ трезвый и практическій идеалистъ, смотрѣвшій на жизнь просто, не терявшійся въ мечтаніяхъ и работавшій упорно на разныхъ, иногда очень скромныхъ, поприщахъ, былъ въ шестидесятыхъ годахъ центральной фигурой въ исторіи русской жизни. Бѣлинскій не дожилъ до того времени, когда этотъ типъ достигъ своего полнаго развитія и выраженія, но Бѣлинскій предугадалъ его, и самъ былъ

предвѣстникомъ его появленія... Люди шестидесятыхъ годовъ могли съ полнымъ правомъ назвать Бѣлинскаго своимъ учителемъ, и не въ томъ общемъ смыслѣ, въ какомъ его называемъ мы, но въ смыслѣ прямомъ и тѣсномъ. Онъ первый набросалъ ту общественную программу, которую они потомъ проводили въ жизнь; изъ его рукъ получили они ее, и имъ не пришлось вырабатывать свои взгляды и убѣжденія съ такимъ трудомъ, съ такимъ напряженіемъ мысли и нравственнаго чувства, съ какимъ ихъ вырабатывалъ Бѣлинскій. Онъ сберегъ ихъ силы.

XVI.

Такъ прожила Россія съ Бѣлинскимъ тѣ замѣчательные сороковые годы, которые отмѣчены въ исторіи нашего самосознанія такимъ подъемомъ философской и общественной мысли и такимъ расцвѣтомъ художественнаго творчества. Изъ числа всѣхъ своихъ современниковъ Бѣлинскій былъ единственнымъ писателемъ, про котораго можно сказать, что его слова были голосомъ всей его эпохи, отзвукомъ на всѣ ея запросы и отраженіемъ всѣхъ колебаній ея мыслей и настроенія.

Прошло много лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ 26-го мая 1848 г. Бѣлинскаго опустили въ могилу, и эти слова не утратили своей силы надъ нами.

Давно заглохли всѣ споры о романтическомъ разладѣ съ жизнью; философское и эстетическое примиреніе съ ней стало также историческимъ воспоминаніемъ; послѣдніе представители славянофильства умерли, поручивъ своимъ измельчавшимъ ученикамъ доигрывать и проигрывать свою партію; сходятъ со сцены и дѣятели шестидесятыхъ годовъ, прямые наслѣдники Бѣлинскаго.

Статьи Бѣлинскаго теперь—обширный некрополь; но не смертью, а жизнью вѣетъ отъ этихъ страницъ, въ которыхъ все говоритъ о прошломъ, давно пережитомъ, прочувствованномъ и передуманномъ.

Иногда художественная красота и энергія выраженія да этимъ словамъ власть надъ нами, иногда глубокая мы заставляетъ насъ надъ ними задумываться; но чаще и сі нѣе всего приковываетъ насъ къ нимъ таящаяся въ н сила любви, сила гуманныхъ движеній сердца.

Проходятъ вѣка, и слова, рожденныя отъ пламени люб не тускнѣютъ; на нихъ лежитъ та же печать безсмер которой отмѣчены и геніальная мысль человѣка, и крас воплощенная имъ въ художественномъ образѣ.

1898.

Иванъ Сергѣевичъ

Тургеневъ

Тургеневъ драматургъ.

Мы несправедливы къ Тургеневу, какъ къ драматургу. Пьесы его ставимъ рѣдко и еще рѣже упоминаемъ о нихъ, когда говоримъ о нашемъ театрѣ. Впрочемъ, въ этомъ виноватъ отчасти самъ Тургеневъ. Когда ему приходилось вспоминать о своихъ комедіяхъ. онъ, вообще скромный въ самооцѣнкѣ, злоупотреблялъ этой своей добродѣтелью. Какъ иногда поступаютъ очень самолюбивые авторы—онъ, боясь, какъ бы публика и критика не оцѣнили его произведеній слишкомъ низко, стремился самъ упредить судъ и сбавлялъ литературную стоимость своихъ пьесъ до минимума. Въ предисловіи къ своимъ комедіямъ онъ говоритъ прямо, что онъ не признаетъ въ себѣ драматическаго таланта, что его пьесы могутъ представить нѣкоторый интересъ развѣ только въ чтеніи. Онъ открыто признается также въ томъ, что успѣхомъ той или другой изъ своихъ комедій онъ обязанъ исключительно артистамъ. Такъ, въ концѣ сороковыхъ годовъ, его имя какъ драматурга прославилъ великій Щепкинъ, который въ свой бенефисъ поставилъ „Холостяка“; затѣмъ въ этой же роли отличался потомъ Мартыновъ; послѣ смерти Мартынова эту роль воскресилъ уже на нашихъ глазахъ В. Н. Давыдовъ. Самъ авторъ устранялъ себя такимъ образомъ отъ дѣлежа выпавшаго на его долю успѣха. Онъ даже не заботился о постановкѣ своихъ пьесъ.

Все это показываетъ, что художникъ какъ будто смотрѣлъ на этотъ родъ своего творчества какъ на отклоненіе отъ настоящаго пути. Критика въ этомъ, повидимому, съ нимъ согласилась. Дѣйствительно, очень рѣдко приходится встрѣчаться съ отзывомъ вполнѣ благопріятнымъ драматургу. Въ его пьесахъ не досчитываются дѣйствія, движенія; говорятъ, что ихъ растянутость бросается въ глаза, что много въ нихъ сентиментальнаго и неправдиваго, придуманнаго. Есть критики, которые признаютъ всѣ комедіи Тургенева въ цѣломъ — ошибкой, жертвой модѣ и даже женской прихоти. И никто противъ такихъ строгихъ сужденій не протестуетъ.

Должно замѣтить однако, что современники Тургенева— въ особенности тѣ, которымъ въ качествѣ критиковъ приходилось давать отчетъ объ его комедіяхъ на другой день послѣ ихъ постановки, были болѣе снисходительны, чѣмъ позднѣйшіе судьи.

Когда впервые въ 1849 году появились на Александринской сценѣ „Холостякъ“ и „Завтракъ у предводителя“, то нѣкоторые компетентные театралы привѣтствовали эти комедіи какъ первый залогъ обновленія русской сцены, какъ поводъ для интеллигентнаго общества начать почаще заглядывать въ театръ. Дружининъ, въ свое время весьма извѣстный критикъ, тотъ даже жаловался на энтузіастовъ, которые, не сознавая отсутствія драматическаго элемента въ дарованіи Тургенева, видѣли въ немъ надежду русской сцены и новое свѣтило нашего театра. Дружининъ боялся какъ бы эти восторженные поклонники Тургенева какъ драматурга не захватили его и не сбили съ истинной дороги. Было, значитъ, чего опасаться.

Итакъ, драматическій талантъ нашего автора цѣнился современниками нѣсколько иначе, чѣмъ цѣнится нами—и это вполнѣ понятно. Въ сороковыхъ годахъ, когда Тургеневъ писалъ свои комедіи, онъ былъ не тѣмъ Тургеневымъ, котораго мы теперь знаемъ. „Рудинъ“, „Дворянское Гнѣздо“,

„Отцы и дѣти“ еще не были написаны. Наши отцы и не предполагали какъ развернется и распустится этотъ талантъ, который въ „Запискахъ Охотника“ и въ нѣкоторыхъ мелкихъ повѣстяхъ давалъ впервые чувствовать свою силу. Намъ теперь легко сказать, что въ общемъ итогѣ того, что сдѣлано Тургеневымъ, его комедіямъ принадлежитъ довольно скромное мѣсто — въ сороковыхъ годахъ онѣ должны были являться въ иномъ свѣтѣ, такъ какъ не было тѣхъ широкихъ, колоритныхъ и законченныхъ картинъ, съ которыми можно было бы сравнить эти этюды, эскизы и наброски. Наконецъ — и это самое главное — нужно знать, чѣмъ былъ русскій театръ въ то время, когда Тургеневу пришла мысль попытать на немъ свое счастіе. Нельзя забывать того, что рецензентъ и критикъ тѣхъ годовъ не видали ни одной комедіи Островскаго на сценѣ. Первая пьеса Островскаго была представлена въ Петербургѣ въ 1853 г., когда дѣятельность Тургенева какъ драматурга была уже закончена. Итакъ, если мы хотимъ правильно и справедливо оцѣнить какъ восторгъ энтузіастовъ-поклонниковъ, такъ и наше сдержанное отношеніе къ театру Тургенева, то мы прежде всего не должны упускать изъ виду исторической перспективы, историческаго фона, на которомъ эти комедіи впервые передъ нами выступили. Театръ Тургенева *историческій* памятникъ, и въ такой оцѣнкѣ нѣтъ умаленія таланта нашего писателя.

Легко можетъ быть, что его дарованіе, ничуть не измѣняя себѣ и не могло на сценѣ создать бо̀льшаго, чѣмъ оно создало, именно въ то время, въ ту эпоху нашей жизни, когда Тургеневъ выступилъ какъ драматическій писатель.

Это было въ концѣ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ—въ періодъ, когда вообще литературное творчество у насъ ослабѣло и заглохло, и художникъ никакъ не могъ напасть на такую тему, на такой сюжетъ, который позволилъ бы ему эксплуатировать весь запасъ своей энергіи, ума и фантазіи, всю силу, которой онъ былъ одаренъ отъ природы. Нужно признать за непреложную истину тотъ фактъ,

что писатель, какимъ бы онъ талантомъ ни располагалъ, всегда находится въ извѣстной и весьма большой зависимости отъ историческаго имъ переживаемаго момента. Есть такіе счастливые моменты, которые настолько повышаютъ въ художникѣ его творческую силу, что она возвышается до созданія истинно геніальныхъ твореній, которыя такъ и живутъ вѣчно, напоминая потомкамъ о великой пережитой исторической минутѣ и сохраняя для нихъ то общечеловѣческое, вѣчное, что въ такія минуты всегда всплываетъ наружу на поверхность жизни. Такъ же точно существуютъ періоды въ жизни, и всего человѣчества, и отдѣльныхъ народовъ, когда даже большой талантъ принужденъ питаться не столько впечатлѣніями извнѣ, сколько своимъ собственнымъ личнымъ внутреннимъ міромъ.

Эта зависимость художника отъ среды, надъ которой онъ повидимому такъ возвышается и которой, казалось бы, руководитъ — даетъ себя всего яснѣе чувствовать драматургу. Такъ какъ талантъ истиннаго драматурга заключенъ въ способности создавать живые типы и характеры, естественные и разнообразные, такъ какъ первымъ правиломъ для него является необходимость спрятать насколько возможно свою собственную личность за тѣми лицами, которыхъ онъ заставляетъ на сценѣ дѣйствовать, то естественно, что онъ болѣе чѣмъ кто-либо чувствуетъ себя связаннымъ тѣми настроеніями, мыслями и чувствами, которыми живутъ его современниками. Онъ не столько выразитель своего личнаго міра, сколько истолкователь и возсоздатель міра внѣшняго.

Если принять въ соображеніе, что на творчествѣ драматурга такъ непосредственно отражается богатство или скудость психическихъ движеній среды его окружающей, что именно эта среда поставляетъ ему весь его матеріалъ, — то, быть можетъ, намъ станетъ понятна на первый взглядъ невполнѣ объяснимая своеобразность нашего русскаго театра вообще.

Объ этой своеобразности стоитъ вспомнить, хотя бы для

того, чтобы комедіямъ Тургенева указать ихъ настоящее историческое мѣсто. Объясненныя въ связи съ общимъ развитіемъ нашей драмы и комедіи, онѣ, ничего не теряя какъ пьесы вообще, выиграютъ много какъ историческій памятникъ.

Нельзя отрицать, что наша русская жизнь всегда была богата своеобразными характерами ей лишь свойственными и сочетаніями чувствъ и мыслей, которыя должны были дать обширный матеріалъ, если не для трагедіи въ высокомъ смыслѣ этого слова, то во всякомъ случаѣ для обыденной житейской драмы или комедіи. Никто не откажетъ нашей жизни вообще въ типичности, въ необычайномъ разнообразіи характеровъ, въ глубинѣ и широтѣ натуръ, которыя она воспитываетъ и воспитывала со временъ весьма давнихъ. Но какъ это ни странно, нашъ театръ этимъ матеріаломъ долгое время почти не пользовался. Только начиная съ половины текущаго столѣтія наша сцена стала намекать намъ на то, что наша жизнь, дѣйствительно, богата, и типами, и комическими и драматическими положеніями.

Въ самомъ дѣлѣ—чѣмъ была наша драма и комедія во все продолженіе XVIII-го вѣка и въ первую половину столѣтія вплоть до первыхъ драмъ и комедій Островскаго, Писемскаго, Потѣхина и др.? Можемъ ли мы сказать, что она пользовалась тѣмъ богатствомъ, которое ей давала жизнь?

Въ XVIII-мъ вѣкѣ нашъ театръ питался почти исключительно сентиментальными и слезливыми драмами французскаго и нѣмецкаго репертуара, которыя съ нашей жизнью имѣли очень мало общаго; и въ лучшемъ смыслѣ—тогдашняя комедія была сатирой съ яркой моральной тенденціей, какъ, напр., сатира Фонъ-Визина и Капниста—сатирой, въ которой выступали передъ нами, правда, русскіе люди, кровные наши родственники, но выступали нѣсколько принужденно, утрируя часто свои природныя склонности и мысли въ угоду извѣстной морали, которую подчеркивалъ авторъ. И Фонъ-Визинъ, и Капнистъ, при всемъ ихъ талантѣ, смогли освѣтить намъ лишь маленькій уголокъ типичной дворянской и чиновничьей

жизни нашихъ предковъ—освѣтить талантливо и умно, но опять-таки едва ли вполнѣ жизненно. То же самое придется сказать и о русскомъ театрѣ за всю первую половину XIX столѣтія. Сможемъ ли мы до Островскаго назвать хоть одну драму, въ которой такъ или иначе правдиво отразились драматическіе моменты нашей общественной и бытовой жизни за этотъ періодъ времени? А что такіе моменты были, это ясно для каждаго, кто хоть поверхностно знакомъ съ исторіей того времени; тѣмъ не менѣе на сцену эти житейскія драмы не попадали и нашъ писатель, когда онъ хотѣлъ быть трогателенъ и патетиченъ, бралъ свои сюжеты у иностранной мелодрамы или пытался эту, въ большинствѣ случаевъ парижскую мелодраму, пригнать къ русскимъ нравамъ и типамъ.

Съ комедіей намъ за это время болѣе посчастливилось. Талантъ Грибоѣдова и Гоголя заставилъ насъ увѣровать въ существованіе нашей самобытной комедіи; и, дѣйствительно, обозрѣвая эту галлерею комическихъ дворянскихъ типовъ Александровскаго царствованія и типовъ чиновныхъ и купеческихъ царствованія Николаевскаго, мы имѣли право сказать, что передъ нами была именно наша жизнь, освѣщенная хотя и не со всѣхъ сторонъ, но зато правдиво. Не должно забывать, однако, что „Горе отъ ума“, „Ревизоръ“ и „Драматическіе отрывки“ Гоголя представляютъ собою *единственныя* комедіи, которыя должны искупить всю бѣдноту и безхарактерность нашей комической литературы за цѣлое полстолѣтіе. Какъ бы мы высоко ни ставили эти пьесы, мы не можемъ сказать, чтобы въ нихъ воплотилось все богатство комизма нашей жизни, и мы не можемъ не удивиться ихъ одинокому положенію среди другихъ пьесъ нашего тогдашняго комическаго репертуара.

Въ самомъ дѣлѣ, кого назовемъ мы, ну, если не соперникомъ, такъ хоть сотрудникомъ Грибоѣдова и Гоголя? Было время—нравились очень комедіи Н. Хмѣльницкаго, но это были водевили или неудачныя попытки переложить на наши

нравы Мольера и притомъ Мольера ранняго періода его дѣятельности. Нравились также Загоскинъ и Шаховской. Нельзя отрицать, что въ ихъ комедіяхъ мы наталкиваемся иногда на характерные силуэты и встрѣчаемъ довольно забавныя комическія положенія, но въ общемъ это опять не бытовая комедія, а въ большинствѣ случаевъ водевиль, растянутый на нѣсколько актовъ и водевиль съ весьма невиннымъ содержаніемъ. Во всѣхъ этихъ пьесахъ гораздо больше комизма внѣшняго, чѣмъ внутренняго, комизма, который скользитъ по внѣшнимъ шероховатостямъ жизни, а не проникаетъ въ глубь, и потому эти комедіи мало говорятъ о ростѣ нашего общественнаго самосознанія, которое даетъ себя такъ ясно чувствовать въ нашей драмѣ и комедіи со времени Островскаго.

Чѣмъ объяснить это странное несоотвѣтствіе между безспорной типичностью и разнообразіемъ нашей жизни и отсутствіемъ такихъ яркихъ типовъ на нашей прежней сценѣ? Сказать, что въ нашей прошлой жизни не было яркихъ типовъ, не было драматическихъ и комическихъ положеній, значитъ сказать явную неправду. Отчего же театръ такъ рѣдко пользовался этимъ богатствомъ? И отчего, начиная съ пятидесятыхъ годовъ, онъ сталъ имъ пользоваться такъ часто и удачно?

Для созданія живой драмы и истинной комедіи нравовъ мало одной литературной традиціи; даже сильный талантъ, и тотъ не всегда справляется со всѣмъ богатымъ матеріаломъ развернувшейся передъ нимъ жизни. Необходимо, чтобы эта жизнь сама по себѣ, какъ таковая, независимо отъ взглядовъ писателя на искусство, стала предметомъ его глубокаго интереса. Нужно, чтобы художникъ детально зналъ жизнь и любилъ ее какъ таковую—тогда только свой талантъ онъ подчинитъ ей и не будетъ жалѣть о томъ, что житейская проза стала родникомъ его вдохновенія. До конца сороковыхъ годовъ нашъ художникъ больше любилъ красоту воплощенія жизни въ искусствѣ, чѣмъ саму жизнь, которую

вдобавокъ онъ во многихъ ея сторонахъ зналъ очень поверхностно. Онъ любилъ ея поэтическій, иной разъ даже отвлеченный, синтезъ больше, чѣмъ ея детали. Такъ смотрѣлъ на нашу жизнь съ высоты Пушкинъ, избѣгая въ своемъ творчествѣ детальной вырисовки ея будничныхъ явленій. Такъ поступалъ Грибоѣдовъ, который эти будничныя явленія очень искусно сгруппировалъ вокругъ единой своей мысли, насквозь пропитанной сатирическимъ духомъ. Гоголь первый облюбовалъ прозу жизни, и какихъ сомнѣній и мученій стоила ему эта любовь!

Много очень характерныхъ и типичныхъ драматическихъ и комическихъ положеній ускользало отъ вниманія нашихъ писателей только потому, что они лишь извѣстныя стороны жизни считали достойными поэтической обработки. Надо было изслѣдовать и научиться цѣнить всю золотоносную почву.

Но если даже и предположить, что художникъ былъ достаточно зорокъ и любилъ жизнь не въ однихъ только ея показныхъ проявленіяхъ, то надо помнить, что общественныя условія, въ какихъ эта жизнь протекала, были въ первую половину XIX вѣка очень стѣснительны для ея свободнаго развитія. Такъ мало было движенія въ этой жизни, такъ ничтожна освѣдомленность о ней всѣхъ ея участниковъ, что многое типичное въ ней могло и не попасть въ поле зрѣнія и въ сферу наблюденія художника.

Идя по стопамъ старыхъ учителей, великихъ психологовъ и зоркихъ наблюдателей, какими были развѣ только Пушкинъ и Гоголь, идя за этими поэтами и вмѣстѣ съ тѣмъ бытописателями, которые намѣтили великую задачу и часть ея выполнили, — наши художники лишь съ конца сороковыхъ годовъ принялись съ рѣдкимъ рвеніемъ изучать нашу народную жизнь во всѣхъ ея деталяхъ, отъ крестьянской избы до столичныхъ палатъ. Писателей перестали удовлетворять прежніе заранѣе составленные общіе взгляды на жизнь, они потребовали правды, самой мелочной правды, чтобы взгля-

нувъ на нее, выяснить себѣ самимъ, кто мы такіе, каковы положительныя и въ особенности отрицательныя стороны нашего характера, есть ли среди насъ герои и если есть, то какіе?

Въ эти годы общественнаго возбужденія, наступающіе неминуемо въ жизни каждаго народа, который зрѣетъ и умственно и нравственно, мы торопились составить полный инвентарь нашихъ способностей и слабостей, нашихъ добродѣтелей и пороковъ, не щадя себя и не обманывая.

Судьба подарила намъ тогда цѣлый рядъ первоклассныхъ литературныхъ талантовъ, и вотъ при ихъ помощи мы и смогли оцѣнить, сколько драматизма и комизма, сколько вообще движенія въ нашей обыденной жизни, къ которой мы раньше не хотѣли и не могли присмотрѣться внимательно.

Итакъ, только со средины XIX столѣтія, съ конца сороковыхъ годовъ, наша литература вообще, и драматическая въ частности, стала широко эксплуатировать всѣ тѣ богатства, которыя крылись, и во внутреннемъ строѣ, и во внѣшнихъ формахъ нашей народной жизни въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. На нашей сценѣ начали появляться драмы и комедіи изъ простонароднаго быта, созданныя Писемскимъ, Потѣхинымъ, Шпажинскимъ, Л. Толстымъ; бытъ купеческій и мѣщанскій развернулся передъ нами въ комедіяхъ Островскаго, бытъ дворянскій и чиновничій въ комедіяхъ Пальма, Сухово-Кобылина и др.; жизнь свѣтскаго общества была удачно схвачена въ комедіяхъ Боборыкина. Какъ бы мы строго ни относились къ современному намъ театру, упрекая его— и вполнѣ справедливо—въ погонѣ за эффектами и въ излишнемъ пристрастіи къ безсодержательной любовной интригѣ—мы должны признать, что онъ намъ все таки даетъ гораздо болѣе полное понятіе о драматическихъ и комическихъ сторонахъ переживаемаго нами времени, чѣмъ давалъ старый театръ о нашей прежней жизни.

Вернемся однако къ Тургеневу. Его комедіи были написаны какъ разъ наканунѣ тѣхъ годовъ, съ которыхъ нача-

лось это оживленіе нашей общественной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ оживленіе нашей сцены.

Комедіи Тургенева были первыми пьесами, въ которыхъ безъ всякой сатирической тенденціи художникъ выводилъ на сцену нѣкоторые, преимущественно дворянскіе, круги общества, въ ихъ интимной бытовой обстановкѣ. Онъ выводилъ ихъ правдиво, не скрывая ни свѣтлыхъ сторонъ ихъ жизни, ни комичныхъ, ни мрачныхъ. Онъ ставилъ себѣ ту же задачу, которую такъ блистательно выполнялъ тогда же въ своихъ „Запискахъ Охотника". Онъ писалъ съ натуры, предоставляя зрителю дѣлать выводы самому и не подсказывая ему своихъ мыслей. Онъ прятался за свои дѣйствующія лица, и прятался такъ искусно, какъ способенъ только истинный художникъ, для котораго правда жизни дороже собственной оцѣнки ея явленій.

Благодаря такому объективному отношенію поэта къ дѣйствительности въ пьесахъ Тургенева передъ нами — настоящій историческій матеріалъ; онъ не менѣе цѣненъ для своего времени, чѣмъ тотъ, который намъ данъ въ „Горе отъ ума" или въ „Ревизорѣ", хотя на первый взглядъ пьесы Тургенева и кажутся бездѣлушками, если ихъ поставить рядомъ съ этими двумя классическими комедіями его предшественниковъ, единственными, съ которыми ихъ можно сравнивать.

Присмотримся же къ этимъ портретамъ и картинамъ, нарисованнымъ Тургеневымъ. Всего яснѣе въ нихъ подчеркнута одна бытовая черта того времени, мѣтко уловленная поэтомъ, это — беззаботная несложность, а иногда и полная пустота помѣщичьей натуры и легкость, съ какой нашъ прежній дворянинъ, находясь въ разныхъ критическихъ положеніяхъ, смотритъ на задачу жизни. Знакомимся мы съ молодымъ человѣкомъ Жазиковымъ [„Безденежье"], сидящимъ на чердакѣ безъ копѣйки: онъ прячется отъ кредиторовъ за ширмы, меланхолично помышляетъ о необходимости вернуться на подножный кормъ въ деревню, но занявъ 200 рублей,

летитъ въ театръ, посылая эту деревню къ чорту. Слушаемъ мы, какъ его родственникъ г-нъ Михрюткинъ, худенькій человѣчекъ, съ крошечнымъ лицомъ, больной, закутанный въ сѣрую поношенную шинель разговариваетъ со своими крѣпостными на большой дорогѣ [„Разговоръ на большой дорогѣ“]. Ухлопалъ онъ свои послѣднія денежки и ѣдетъ въ свою деревеньку, которая вѣроятно скоро пойдетъ съ аукціона; боится онъ и разоренія, и опеки, и всего больше жены, и вымещаетъ свою неудачу на своихъ крѣпостныхъ, на кучерѣ и на лакеѣ, упрекая ихъ въ недостаточной привязанности и недостаточномъ почтеніи къ промотавшемуся барину;—смѣшонъ онъ и жалокъ, этотъ хилый отпрыскъ дворянскаго рода. Жалокъ и несчастный Кузовкинъ—этотъ благородный неудачникъ изъ столбовыхъ дворянъ, живущій на хлѣбахъ изъ милости [„Нахлѣбникъ“], бѣдный старикъ, надъ которымъ всѣ потѣшаются, робкій и застѣнчивый, но всетаки умѣющій въ критическую минуту отстоять свое достоинство.

Характеръ такихъ слабыхъ и измельчавшихъ людей превосходно оттѣненъ у Тургенева тѣмъ сѣрымъ фономъ, на которомъ онъ изобразилъ ихъ фигуры. Они окружены цѣлой толпой другихъ людей — здоровыхъ и веселыхъ, но зато необычайно пустыхъ и ничтожныхъ, иногда добрыхъ, иногда, несмотря на внѣшній лоскъ, очень грубыхъ. Вѣрный своему инстинкту художника — Тургеневъ изобразилъ нашу помѣщичью жизнь конца сороковыхъ годовъ въ ея самомъ будничномъ видѣ, не отыскивая въ ней особенно рѣдкихъ характеровъ и положеній. Картина получилась правдивая, но, конечно, однообразная.

Нѣкоторое разнообразіе въ нее вносили, впрочемъ, радости и печали сердца—чисто личныя ощущенія и чувства. Тургеневъ отвелъ этому порядку чувствъ весьма видное мѣсто въ своихъ комедіяхъ. Комедія „Гдѣ тонко, тамъ и рвется“, „Вечеръ въ Сорренто“ и самая большая по объему его пьеса „Мѣсяцъ въ деревнѣ“—этюды на одну и ту же тему—

на старую тему любви съ разными ея оттѣнками. Эта любовь наполняетъ собою всецѣло жизнь дѣйствующихъ лицъ, они только ею и заняты; и притомъ это чувство такъ запутано въ ихъ душѣ, такъ несвободно отъ раздумья и сомнѣній, что для всѣхъ оно становится загадкой. Въ вопросахъ любви нашъ авторъ былъ вообще большой знатокъ, но преобладаніе этой темы въ его комедіяхъ нельзя объяснять исключительно его личными симпатіями къ подобнаго рода психологическимъ задачамъ. Однообразіе и господство этого мотива объясняются вѣрнѣе тѣмъ, что и въ самой жизни того времени эти сердечныя тревоги для большинства людей бывали единственнымъ житейскимъ волненіемъ.

Такъ несложна и проста картина, которую развернулъ передъ нами художникъ. Она казалась впрочемъ очень колоритной всѣмъ тѣмъ, кто смотрѣлъ на нее въ первый разъ; для насъ она потуснѣла.

Но какъ бы мы высоко ни цѣнили талантъ тѣхъ драматурговъ, которые смѣнили Тургенева на сценѣ, мы не должны забывать, что именно онъ былъ ихъ предшественникомъ, что со времени появленія его комедій надо начинать исторію нашего новаго театра. Не того театра, который въ лицѣ такихъ рѣдкихъ исключеній какъ Грибоѣдовъ и Гоголь доводилъ типичность лицъ до такой высокой степени, что они изъ живыхъ людей почти превращались въ нарицательные и собирательные типы, не того театра, который бралъ у нашихъ сосѣдей напрокатъ своихъ героевъ или подгонялъ русскихъ людей подъ шаблонъ иностранный, а того, съ которымъ мы такъ же свыклись, какъ съ самой жизнью, временами героичной, а въ большинствѣ случаевъ богатой типами средними, для насъ близкими, понятными и дорогими. Заслуга Тургенева въ томъ, что онъ первый не убоялся показать намъ на сценѣ такихъ простыхъ людей въ простой и несложной обстановкѣ, людей, которые въ силу историческихъ условій—во времена, когда ихъ изображалъ Тургеневъ, — жили гораздо болѣе инертной и

вялой жизнью, чѣмъ нѣсколько лѣтъ спустя, когда были увлечены новымъ общественнымъ движеніемъ; Тургеневъ предугадывалъ тотъ путь, по которому пошли за нимъ продолжатели его дѣла; онъ даже предуказывалъ его. Взять хотя бы комедію „Холостякъ". Она простая бытовая жанровая картинка съ весьма несложнымъ сюжетомъ; простая исторія обманутаго скромнаго и не прихотливаго женскаго сердца, не нашедшаго поддержки тамъ, гдѣ оно искало и вмѣстѣ съ тѣмъ разсказъ о внезапномъ расцвѣтѣ надежды на личное счастіе въ душѣ человѣка, который думалъ, что его призваніе въ жизни лишь — издали любоваться чужимъ счастіемъ и отнюдь не мечтать о своемъ. Когда слѣдишь за судьбой этихъ простыхъ обыденныхъ и ничѣмъ не выдающихся людей, за судьбой этого довѣрчиваго старика, безхитростнаго и скромнаго идеалиста, за судьбой этой простенькой дѣвушки, такъ неудачно сдѣлавшей первую попытку вылетѣть изъ гнѣзда, за увертками молодого фата, незнающаго какъ съ честью сойдти съ позиціи, слишкомъ поспѣшно имъ занятой; когда передъ нами мелькаютъ профили слезливой кумушки, сухого, помѣшаннаго на бонтонности чиновника, восточнаго человѣка на улицѣ подобраннаго неуклюжаго провинціала съ претензіей на образованность,— развѣ не вспоминаются намъ типы комедій Островскаго и не становится отчетливо видно то мѣсто, которое долженъ занять Тургеневъ въ ряду творцовъ нашего современнаго театра?

Это—не сразу замѣтное, но почетное мѣсто предшественника, за которымъ шли не ученики, а продолжатели того же дѣла и притомъ, конечно, таланты бо̀льшей силы и размаха.

1900.

ГРАФЪ

ЕКСѢЙ КОНСТАНТИНОВИЧЪ

ТОЛСТОЙ

Графъ А. К. Толстой и его время.

I.

Со дня смерти графа Алексѣя Константиновича Толстого времени прошло не мало, и поэзія его не перестаетъ намъ нравиться. На литературныхъ вечерахъ стихи Толстого —всегда желанная приманка; ихъ декламируютъ и часто поютъ подъ музыку; его „Трилогія“ взошла полностью на подмостки, не только возсозданная артистами, но и сама создавая ихъ. Проникла его поэзія и въ начальную и въ среднюю школу и получила такимъ образомъ возможность вліять непосредственно на выработку нашего народнаго эстетическаго вкуса... Тайное желаніе поэта исполнилось: нѣтъ среди насъ ни одного грамотнаго человѣка, которому бы нашъ писатель не подсказалъ при случаѣ искренняго и картиннаго выраженія для затаенной мысли или чувства— и все это, немотря на бѣгъ времени, на быструю смѣну литературныхъ вкусовъ, въ общемъ неблагопріятныхъ для поэзіи Толстого.

Но если за поэзіей Толстого, дѣйствительно, осталась любовь читателя, то нельзя сказать, что судъ потомства отнесся къ художнику съ должной справедливостью. Имя поэта до сихъ поръ остается незанесеннымъ въ исторію нашей общественной жизни. Историческая оцѣнка самой личности поэта и его міросозерцанія пока еще не сдѣлана, и

мы, наслаждаясь его стихами, начинаемъ забывать о немъ самомъ, объ этомъ типичномъ, умномъ и богато одаренномъ человѣкѣ, который былъ свидѣтелемъ и участникомъ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ моментовъ нашей народной жизни. Поэзія Толстого предметъ лишь эстетическаго любопытства и наслажденія, тогда какъ, не такъ давно, она была интересна именно какъ проявленіе цѣлаго міросозерцанія, оригинальнаго и полнаго.

Такое невниманіе къ писателю, какъ къ человѣку и невниманіе къ его созданію, какъ къ чему-то цѣлому, исторически сложившемуся и имѣющему, въ свою очередь, историческую стоимость, является тѣмъ большей несправедливостью въ отношеніи къ Алексѣю Толстому, что все, что о немъ было писано, было—въ большинствѣ случаевъ—писано людьми, которые съ нимъ спорили и которые поэтому правый судъ неизбѣжно должны были замѣнять полемикой—можетъ быть очень искренней и честной, но всегда односторонней. Еще большей несправедливостью, чѣмъ такой неполный судъ, было за тѣмъ почти полное молчаніе. Только въ самое послѣднее время друзья и родственники поэта, соблюдая однако большую и совсѣмъ излишнюю осторожность, рѣшились опубликовать его переписку и Владиміръ Соловьевъ предпослалъ этимъ письмамъ краткую характеристику творчества Толстого, въ которой сдѣлалъ первую попытку слить въ одно философское цѣлое мысли поэта объ окружающемъ его мірѣ и о своемъ призваніи. До этой статьи, весьма краткой и намѣчающей лишь самыя общія положенія въ міросозерцаніи поэта, его судили обыкновенно либо какъ выразителя извѣстнаго литературнаго направленія, либо какъ художника только, либо наконецъ какъ автора отдѣльныхъ произведеній. Само собою разумѣется, что при такомъ судѣ Толстой не могъ разсчитывать на вполнѣ оправдательные приговоры. Полемическій задоръ навязывалъ нашему писателю иногда тенденціозно-боевыя стихотворенія, которыя, какъ „поэтическія“ созданія, заслуживали справедливый упрекъ; внутренняя и внѣшняя

художественная техника нѣкоторыхъ стихотвореній допускала также вполнѣ основательныя возраженія; и, наконецъ, развѣ существуютъ поэты, у которыхъ не нашлось бы вообще слабыхъ произведеній?

Но поэзія Толстого озаряется совсѣмъ особымъ свѣтомъ, если взять ее какъ цѣлое, какъ поэтическое воплощеніе оригинальнаго міросозерцанія, этическаго и эстетическаго, и если къ тому же вдвинуть ее въ историческую рамку, т.-е. оцѣнить ее какъ живую силу, дѣйствовавшую въ опредѣленный и притомъ весьма важный моментъ нашей общественной жизни.

II.

Какое же историческое значеніе осталось за этой поэзіей?

Она была единственной попыткой охватить и изобразить въ *символическихъ* образахъ настроеніе своего времени и самую сущность тѣхъ этическихъ и общественныхъ взглядовъ, которые съ такой рѣзкой отчетливостью сказались въ нашемъ обществѣ шестидесятыхъ годовъ, въ эпоху реформъ. Это не былъ боевой крикъ, не былъ ударъ меча, поднятаго въ защиту какого нибудь ученія, это былъ, говоря словами самого художника, голосъ колокола, который по-своему преобразилъ и отразилъ шумъ разгорѣвшейся битвы.

Какъ бы строгъ ни былъ тотъ судъ, который эта символическая поэзія встрѣтила какъ разъ въ ту эпоху, судъ, отчислявшій поэта чуть ли не въ лагерь ретроградовъ, но поэзія Толстого—все-таки самое законное дитя своего прогрессивнаго времени. Она, эта эпикурейская поэзія, какъ ее иногда называли—родная сестра той гражданской пѣсни, которая гордилась въ тѣ годы своимъ ригоризмомъ и стоицизмомъ.

Извѣстно, что самая задорная и непримиримая ссора, это—ссора между родственниками. Такъ было и въ данномъ случаѣ, при столкновеніи нашего поэта съ передовыми людьми его поколѣнія.

Это столкновеніе было неизбѣжно въ виду совершенно особаго склада ума и очень оригинальнаго художественнаго темперамента, которые выдѣляли Алексѣя Толстого изъ общей компактной и болѣе или менѣе солидарной группы его братьевъ-антагонистовъ. При почти тождественной этической оцѣнкѣ міропорядка вообще, и порядковъ россійскихъ въ частности, Толстой совершенно расходился съ большинствомъ своихъ прогрессивныхъ современниковъ въ пониманіи общихъ основныхъ философскихъ началъ жизни и, главнымъ образомъ, во взглядѣ на культурную роль искусства. Изъ этого согласія въ этикѣ и разногласія въ онтологіи и эстетикѣ и вытекла ссора, и получилась она не потому, что люди думали разно о томъ, что̀ для даннаго момента жизни всего болѣе на потребу, а потому, что одинъ хотѣлъ оправдать нужды этого момента общими философскими и религіозными соображеніями, а другіе думали, что такое обобщеніе въ этотъ именно моментъ только ослабляетъ сознаніе этихъ нуждъ въ человѣкѣ.

Изолированное и нѣсколько загадочное положеніе Алексѣя Толстого среди борющихся „становъ“ его времени вполнѣ объяснится, если мы обратимъ должное вниманіе на темпераментъ и на складъ ума художника. Въ эпоху практической и трезвой мысли, направленной на рѣшеніе вопросовъ государственныхъ, политическихъ и экономическихъ, въ періодъ ликующаго торжества разныхъ философскихъ теорій, основанныхъ на опытѣ, иногда научномъ, а иногда и мнимомъ, въ годы возбужденныхъ соціальныхъ страстей, Толстой чувствовалъ себя очень неловко. А между тѣмъ вся гуманная сущность этого обостреннаго момента была сродни его духу и оправдана его религіозными и эстетическими взглядами.

Владиміръ Соловьевъ утверждалъ, что Толстой былъ поэтомъ мысли „воинствующей“, поэтомъ-борцомъ. Едва ли. Конечно, бывали минуты, когда онъ сердился и когда въ немъ разыгрывалось желаніе кольнуть или даже больно ударить сосѣда, неуважительно относящагося къ тому, что̀ для него

было святыней. Оскорбленный въ своихъ самыхъ глубокихъ чувствахъ, поэтъ бывалъ тогда безпощаденъ въ своей иронiи и сарказмѣ; но одинъ тотъ фактъ, что эта иронiя никогда не доходила до степени озлобленнаго негодованiя, а разрѣшалась въ игривую и злую шутку, указываетъ на то, что для настоящей борьбы, не щадящей противника, Толстой созданъ не былъ; и въ самомъ дѣлѣ, припоминая „Пантелея цѣлителя", „Потока", „Порой веселой мая", кто скажетъ, что эти блестки остроумiя были настоящими ударами? Но пусть они даже и были таковыми: это—легкiе удары сатирическаго бича, а не удары палки, которую такъ часто брали въ руки тогдашнiе „незлобивые" защитники мирной красоты. Толстой-боецъ высказался весь въ одномъ стихотворенiи, и оно въ своемъ спокойномъ замыслѣ и въ своемъ восторженно элегическомъ тонѣ—лучшее доказательство миролюбiя автора. Плыть „противъ теченiя" и вспоминать при этомъ о смиренныхъ ученикахъ Христовыхъ, завоевавшихъ міръ терпѣнiемъ и страданiемъ, а не мечомъ—развѣ это похоже на вызовъ къ единоборству? и вообще на призывъ къ битвѣ?

И такимъ незлобивымъ пѣвцомъ тѣхъ самыхъ гуманныхъ идей, во имя которыхъ нѣкоторые ревнители ополчились на красоту, такимъ союзникомъ мнимо-враждебнаго ему передового стана, являлся этотъ художникъ среди людей, которые требовали ото всѣхъ прежде всего прямолинейности и полной отчетливости и ясности въ мысляхъ, чувствахъ и поступкахъ. А могъ ли на эти требованiя отвѣтить Толстой, онъ—одинъ изъ типичнѣйшихъ *романтиковъ* когда-либо живших?

Его поэзiя была для своего времени явленiемъ настолько оригинальнымъ, настолько необычнымъ, что читатели тѣхъ годовъ, встрѣчаясь съ ней впервые, никакъ не хотѣли признать ее за самобытный продуктъ русской жизни и думали, что она—пѣснь съ чужого иноземнаго голоса. А между тѣмъ въ стихахъ Толстого звучалъ лишь общечеловѣческiй голосъ. „Я не принадлежу ни къ какой странѣ—говорилъ поэтъ въ

одномъ интимномъ письмѣ—и вмѣстѣ съ тѣмъ я принадлежу всѣмъ странамъ заразъ. Моя плоть—русская, славянская, но душа моя—только человѣческая". И это-то общечеловѣческое современники въ немъ недостаточно оцѣнили, и какъ бы не хотѣли понять, что въ то общее, о чемъ говорилъ Толстой, входило и то частное, чѣмъ они такъ дорожили. Они ожидали найти въ Толстомъ поэта „современнаго" [какимъ онъ и былъ въ своемъ смыслѣ] и стали искать въ его творчествѣ подтвержденія своихъ симпатій и антипатій, но взгляды и вкусы поэта не совпали съ ихъ требованіями. Въ поэзіи Толстого не оказалось въ достаточной долѣ того аналитически трезваго отношенія въ окружающей дѣйствительности, къ которому стремились тогдашніе реалисты. Въ ней не было и того субъективнаго отчужденія отъ переживаемой минуты, которымъ тогда щеголяли творцы разныхъ незлобивыхъ пѣсенъ. Въ нашемъ художникѣ обѣ эти тенденціи сочетались въ объединяющемъ ихъ романтическомъ символизмѣ.

Это подало врагамъ поэта поводъ упрекнуть его въ индифферентизмѣ общественномъ и художественномъ; а близкое духовное родство этого символизма съ прежними литературными теченіями на западѣ натолкнуло поспѣшныхъ судей на мысль, что нашъ поэтъ вдохновляется не жизнью, а книгой, что онъ, какъ художникъ, живетъ на чужой счетъ, а не на счетъ своего собственнаго вдохновенія.

Такое обвиненіе казалось правдоподобнымъ только потому, что весь складъ души нашего писателя казался его современникамъ совсѣмъ не правдоподобнымъ анахронизмомъ. Передъ ними былъ, дѣйствительно, чистокровный романтикъ, запоздавшій рожденіемъ.

Романтическіе порывы души—явленіе довольно обычное, и если понимать ихъ въ широкомъ общемъ смыслѣ, то едва ли можно пріурочить ихъ цвѣтеніе къ какой-нибудь опредѣленной исторической эпохѣ. Романтики жили и въ древности, и въ средніе вѣка, живутъ и въ наше время и будутъ жить, пока люди будутъ людьми. Вотъ почему слово „ро-

мантикъ", примѣненное къ тому или иному человѣку, указываетъ только на принадлежность его къ особому общему типу, который можетъ появляться въ самыхъ различныхъ историческихъ условіяхъ и обстановкахъ. Но то же слово, взятое въ тѣсномъ смыслѣ, получаетъ болѣе опредѣленное значеніе: все зависитъ въ данномъ случаѣ отъ глубины романтической мысли и въ особенности отъ интенсивности романтическаго чувства, которое мы подмѣчаемъ въ человѣкѣ. Цѣльная романтическая натура, свободная отъ противорѣчій и компромиссовъ съ враждебными ей теоріей и практикой жизни попадается очень рѣдко. Ея расцвѣтъ можно наблюдать развѣ только въ первые вѣка христіанства, средневѣковья и на рубежѣ XIX вѣка, въ эти вѣка рѣзкаго перевѣса идеальнаго надъ реальнымъ, религіознаго надъ земнымъ, сверхчувственнаго надъ чувственнымъ.

Поэзія Алексѣя Толстого воскрешала это сложное романтическое міросозерцаніе и настроеніе именно въ ихъ давно уже исчезнувшей цѣльности.

У насъ, на русской почвѣ, настоящій романтизмъ никогда не пускалъ глубокихъ корней. Въ древнія времена наша жизнь была слишкомъ проста и груба, наша мысль и чувство слишкомъ недисциплинированы, чтобы вызвать въ человѣкѣ такое своеобразное броженіе идей и чувствъ, какое на западѣ создало романтику. Не переживая съ Западомъ его душевныхъ волненій, иногда просто не понимая значенія этихъ волненій, мы, прельщенные красотой того „романтическаго" искусства, въ которомъ эта тревога воплощалась, усваивали лишь внѣшнія формы загадочнаго настроенія и перекраивали его, иногда очень неумѣло, на свой собственный ладъ. У насъ въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ „романтическія" натуры — если вѣрить нашимъ поэтамъ и романистамъ — попадались въ изобиліи во всѣхъ слояхъ общества, но стоило къ нимъ присмотрѣться поближе, чтобы увидать, какой это былъ поверхностный, навѣянный романтизмъ, сколь малаго требовалось, чтобы отъ него изба-

виться, и главное — какъ много противорѣчій заключалъ онъ въ себѣ, какъ часто онъ не выдерживалъ своей роли. Тотъ, кто знакомъ съ исторіей нашей литературы начала XIX вѣка, знаетъ, какъ всѣ злоупотребляли этимъ сломомъ „романтикъ", быть можетъ, именно потому, что въ своей средѣ настоящаго романтика не встрѣчали.

И въ позднѣйшіе періоды нашей жйзни этотъ типъ оставался такой же рѣдкостью, и развѣ одни лишь славянофилы сороковыхъ годовъ временами къ нему приближались. Въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ онъ сталъ почти невозможностью, и какъ разъ въ это время поэзія Алексѣя Толстого о немъ напомнила.

Она возсоздала этотъ типъ во всей его цѣльности и законченности. Такого типичнаго сочетанія романтическихъ настроеній, взглядовъ и образовъ, какъ у Толстого, мы ни въ одномъ изъ нашихъ писателей не встрѣтимъ, и вся оригинальность нашего поэта заключается въ томъ, что онъ былъ такой чистокровный, выдержанный и свободный отъ противорѣчій романтикъ.

Его міросозерцаніе сложилось въ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ въ эпоху торжествующаго романтизма, идеалистической философіи и культа искусства. Долго таилъ онъ въ себѣ свои мысли и настроенія и съ первымъ своимъ словомъ выступилъ уже въ такомъ возрастѣ, когда другіе поэты начинаютъ обыкновенно задумываться надъ вопросомъ, что имъ сказать дальше. Толстому было подъ сорокъ лѣтъ, когда онъ напечаталъ первое свое стихотвореніе. Онъ имѣлъ достаточно времени, чтобы внести полный порядокъ въ свое міросозерцаніе.

Но если это обстоятельство и объясняетъ отчасти бросающуюся въ глаза цѣльность и стройность его романтическаго міросозерцанія, то все-таки для своего времени это міровоззрѣніе остается исключительнымъ явленіемъ, тѣмъ болѣе, что — какъ мы увидимъ ниже — нашъ романтикъ сумѣлъ включить въ сферу своего поэтическаго созерцанія цѣлый

ядъ современныхъ острыхъ вопросовъ дѣйствительности, оторыя, казалось бы, должны были плохо ладить съ самой ущностью романтики и съ ея внѣшнимъ одѣяніемъ. И именно то современное содержаніе въ старыхъ романтическихъ фор ахъ и тонахъ и придаетъ настоящее историческое значеніе оэзіи Толстого.

Вникнемъ же въ это міросозерцаніе романтика, чтобы атѣмъ опредѣлить, что̀ оно могло дать для той эпохи трез ой и практической мысли, среди которой ему пришлось раз ернуться.

III.

Первое, чѣмъ поражаетъ поэзія Толстого, это—ея повы енное религіозное христіанское настроеніе, столь необыч ое въ эпоху торжества нашего реализма. Въ этомъ постоян омъ стремленіи простирать свой поэтическій взглядъ на жизнь а ея земные предѣлы Толстой былъ вѣренъ романтическому сповѣданью XIX вѣка, которое обязывало своихъ адептовъ огласовать свое вдохновеніе съ живой вѣрой въ Высшее Су ество. Толстой являлся у насъ продолжателемъ той тен енціи, которая въ началѣ вѣка на западѣ выразилась въ ворчествѣ раннихъ французскихъ романтиковъ эпохи Импе іи и Реставраціи—въ пѣсняхъ Ламартина, балладахъ Гюго, въ Германіи — въ этой главной теплицѣ романтизма — въ азсказахъ Вакенродера, гимнахъ и романѣ Новалиса, въ овѣстяхъ Гоффмана. Такое религіозное направленіе по зіи Толстого, на которое современники нерѣдко косились, акъ на попытку воскресить предразсудокъ или передать въ бразахъ совсѣмъ не поддающіяся образному изображенію увства, было въ нашей словесности явленіемъ очень свое- бразнымъ.

Въ числѣ нашихъ поэтовъ, прославлявшихъ величіе Божіе, оскольку оно выражается въ жизни природы и въ судьбахъ еловѣчества, до Толстого не было ни одного пѣвца, кото-

рый вносилъ бы въ свои пѣсни столь глубокое религіозное чувство и столь глубокую религіозную мысль, [даже не исключая наивно-благочестиваго Жуковскаго]. Толстой имѣетъ нѣкоторое право на названіе богослова, и онъ въ данномъ случаѣ пошелъ дальше своихъ иностранныхъ родственниковъ, которые, и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи пристегивали христіанскую идею къ какому нибудь опредѣленному церковному вѣроисповѣданію. Толстой бралъ эту идею въ ея всеобщности, не столько въ извѣстныхъ ея историческихъ формахъ, сколько въ ея отвлеченной сущности. Онъ понималъ свою религіозную задачу иначе, чѣмъ ее понимали и его соотечественники—русскіе вѣрующіе и религіозные люди, для большинства которыхъ, если не для всѣхъ, религіозная идея была лишь видоизмѣненіемъ или дополненіемъ идеи патріотической. Толстой же видѣлъ въ ней прежде всего всепоглощающую недробимую идею, парящую надъ всякимъ временнымъ или частичнымъ ея обнаруженіемъ. Онъ не любилъ навязывать Богу земныхъ чувствъ и религіозный мотивъ звучалъ въ его произведеніяхъ всегда необычайно искренно, такъ искренно, какъ молитва, къ которой нашъ поэтъ, какъ мы знаемъ изъ его писемъ, прибѣгалъ часто въ интимной своей жизни.

„Ни въ какомъ положеніи душа не пріобрѣтаетъ болѣе обширнаго развитія, какъ въ приближеніи ея къ Богу, писалъ Толстой однажды; чѣмъ болѣе вы приближаетесь къ Богу, тѣмъ болѣе вы становитесь въ независимость отъ вашего тѣла и потому ваша душа менѣе стѣснена пространствомъ и матеріей... я почти что убѣжденъ, что два человѣка, которые бы молились въ одно время съ одинаковой сильной вѣрой другъ за друга, могли бы сообщаться между собой вопреки отдаленію... Душа не забыла совершенно свое первое существованіе, до ея заключенія въ то застывшее состояніе, въ которомъ она теперь находится; если бы мы не были скованы матеріей, мы бы сейчасъ вернулись въ наше нормальное состояніе, которое есть непрерывное

обожаніе Бога и единственное, въ которомъ можно быть безъ страданій... Богъ дозволяетъ время отъ времени, чтобы въ этой жизни немного тепла оживило нашу душу и напомнило бы ей случайно то блаженное состояніе, въ которомъ она находилась до своего заключенія... и къ которому возвращеніе обѣщано намъ послѣ смерти. Это бываетъ, когда я люблю женщину, мать или ребенка..."

„Я вѣрю Богу, и у меня невысокое мнѣніе о разумѣ человѣческомъ, я вѣрю больше тому, что я чувствую, чѣмъ тому, что я понимаю, такъ какъ Богъ далъ намъ чувство, чтобъ идти дальше, чѣмъ разумъ. Чувство — лучшій вокакъ, чѣмъ разумъ, такъ же какъ музыка совершеннѣе слова..."

Читая такія интимныя признанія этой романтической души, начинаешь понимать многое въ самой техникѣ созданій поэта, въ особенности тѣхъ крупныхъ созданій, въ которыхъ художникъ желалъ выразить не мимолетное чувство, а нѣчто болѣе глубокое и широкое. Если Толстой, дѣйствительно, стремился къ тому, чтобы душа его была какъ можно менѣе стѣснена пространствомъ и матеріей, если нормальное состояніе души онъ, дѣйствительно, понималъ какъ непрерывное обожаніе Бога, то ему надо простить многія погрѣшности противъ обычной правдоподобности, которыя онъ допускалъ въ своихъ художественныхъ созданіяхъ.

Тотъ, кто сталъ бы обвинять поэта за то, что въ „Дамаскинѣ", въ „Грѣшницѣ" и въ „Донъ Жуанѣ" онъ не выдержалъ мѣстнаго колорита, что допустилъ психологическія несообразности, слишкомъ увлекся пафосомъ и потому погрѣшилъ даже противъ реальной правды, что онъ наконецъ не далъ цѣльныхъ законченныхъ образовъ... тотъ можетъ показаться, какъ эстетикъ и историкъ, правъ, но онъ будетъ неправъ въ примѣненіи къ Толстому именно этого критическаго масштаба.

Художественная стоимость религіозныхъ поэмъ Толстого измѣряется не цѣнностью выполненія деталей и законче-

ностью главныхъ образовъ, а тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое онѣ производятъ на читателя или даже, вѣрнѣе, на зрителя. Въ этихъ поэмахъ столько красоты внѣшней, столько паѳоса и блеска и вмѣстѣ съ тѣмъ такая въ нихъ скрыта глубокая религіозность, что читателю остается удивляться, какъ можно такими эффектами т.-е. внѣшними, на зрѣніе и слухъ дѣйствующими, пріемами, производить такое сильное впечатлѣніе на самое интимное, что̀ есть въ сердцѣ человѣка—на его религіозное чувство. Нѣкоторые богословы рекомендовали маловѣрнымъ, какъ лучшее средство почувствовать и познать Бога,—созерцаніе величественныхъ зрѣлищъ природы и величественныхъ судебъ міра. Такія зрѣлища даны намъ и въ поэмахъ Толстого. Иной разъ, за массой эффектныхъ деталей, кажется, что вотъ-вотъ руководящая религіозная мысль потеряется или религіозное чувство начнетъ ослабѣвать; вниманіе читателя какъ будто отъ общаго начинаетъ обращаться къ частному, но когда послѣдняя строка дочитана и когда мы стали отъ картины на нѣкоторое разстояніе, мы перестаемъ замѣчать всѣ эти погрѣшности въ деталяхъ, и всѣ отдѣльные эпизоды этихъ колоритныхъ картинъ всецѣло покоряютъ насъ настроенію поэта. Толстой въ данномъ случаѣ чистокровный романтикъ, для котораго внѣшность явленія должна служить лишь намекомъ на затаенный въ этомъ явленіи символическій смыслъ и на настроеніе самого художника. Изобразить перерожденіе души человѣческой при ея соприкосновеніи со святыней, т.-е. изобразить своего рода чудо [хотя и не сверхъестественное], дать почувствовать психическое состояніе художника, душа котораго раздвоена между любовью къ Богу и любовью къ искусству и ищетъ примиренія этихъ двухъ страстей, изобразить все это въ пластическахъ образахъ,—задача непомѣрно трудная, и она была рѣшена нашимъ поэтомъ въ „Грѣшницѣ“ и въ „Іоаннѣ Дамаскинѣ“. Критики говорили, что она рѣшена несовершенно, съ пристрастіемъ къ эффектамъ и въ ущербъ искреннему чувству. Но вѣдь эта задача, въ виду

исключительности самого явленія, и не допускала „совершеннаго“ рѣшенія и автору предстояло лишь дать намекъ, которымъ долженъ былъ воспользоваться уже самъ читатель, чтобы дорисовать картину въ своемъ воображеніи.

Такимъ же пѣвцомъ религіознаго чувства является нашъ поэтъ и въ своемъ любимомъ произведеніи, въ мистеріи „Донъ Жуанъ“, въ этомъ мистическомъ трактатѣ, вставленномъ въ рамку ходячей испанской легенды. Этотъ запоздалый цвѣтокъ романтической фантазіи вызвалъ въ свое время большое недоумѣніе. Современники думали, что время символическихъ поэмъ прошло, и въ недостаткахъ поэмы Толстого хотѣли видѣть доказательства правоты своего взгляда. Въ „Донъ Жуанѣ“, дѣйствительно, недостатковъ было много, но не больше чѣмъ въ однородныхъ произведеніяхъ, какъ, напр., въ „Фаустѣ и Донъ Жуанѣ“ Граббе или даже въ „Фаустѣ“ Ленау. Необъятность содержанія и широта замысла поэмы, которая должна была истолковать мистическій смыслъ нашей жизни повлекли за собою многіе эстетическіе и иные промахи. Одинъ геній Гете могъ совладать, и то не вполнѣ, съ такой темой: а нашъ писатель шелъ именно по слѣдамъ Гетевскаго „Фауста“, стремясь пополнить идею этого мірового произведенія новыми идеями, накопившимися съ того времени, какъ „Фаустъ“ былъ созданъ. Онъ внесъ въ свою поэму напр., байроническій элементъ, драпируя Донъ Жуана въ какого-то мрачнаго генія, мстящаго за что-то человѣчеству, а за что — неизвѣстно *), онъ пере-

*) Такъ. Рѣшено. Возстань же Донъ Жуанъ!
Иди впередъ какъ ангелъ истребленья!
Брось снова вызовъ призраку любви,
Условій пошлыхъ мелкія сплетенья
Вокругъ себя какъ паутину рви—
Живи одинъ, для мщенья и для страсти!
На зло судьбѣ иль той враждебной власти
Чьей силой ты на бытіе призванъ,
Плати насмѣшкой вѣчнымъ ихъ обманамъ,
И какъ корабль надъ бурнымъ океаномъ,
Надъ жизнью такъ господствуй Донъ Жуанъ!

создалъ Донну Анну совсѣмъ въ стилѣ нѣмецкой романтики, по образцу Гоффмана, и она стала болѣе походить на святую, чѣмъ на обыкновеннаго человѣка, психологія котораго намъ родственна; онъ закончилъ драму торжественной сценой покаянія, которая нарушаетъ традиціонную цѣльность образа главнаго героя [хотя именно такая развязка драмы дана въ испанской легендѣ о похожденіяхъ Донъ Жуана де Марранья], онъ, наконецъ, счелъ нужнымъ теоретическую и догматическую часть своей поэмы поднять до уровня современныхъ философскихъ диспутовъ и потому сталъ въ стихахъ опровергать теорію матеріализма и детерминизма и, искусно лавируя между пантеизмомъ и дуализмомъ, славилъ единобожіе. Къ этимъ отвлеченнымъ богословскимъ и философскимъ взглядамъ онъ, уступая своему романтическому влеченію къ таинственности, примѣшалъ мистическіе средневѣковые взгляды на „астральное“ начало, значеніе котораго ему самому, судя по его письмамъ, было не вполнѣ ясно. Такъ широко понималъ онъ свою задачу—пѣвца Божьяго суда и Божіей правды, явившей свое величіе и милосердіе закоренѣлому грѣшнику. Для Толстого, впрочемъ, Донъ Жуанъ былъ не только простымъ грѣшникомъ: какъ можно догадываться изъ рѣчей безплотныхъ духовъ, такъ близко принявшихъ къ сердцу судьбу героя, и изъ туманныхъ словъ самого Донъ Жуана, онъ долженъ былъ стать символомъ чуть ли не всего человѣчества — страдающаго, обремененнаго страстями и ищущаго идеала здѣсь на землѣ, идеала безконечно широкой любви, понятой какъ жизненное міровое начало *). Все, и внѣшняя обстановка,

*) Да, я врагъ
Всего, что люди чтутъ и уважаютъ
Но ты пойми меня; взгляни вокругъ:
Достойны ль ихъ кумиры поклоненья?
Какъ отвѣчаетъ ихъ поддѣльный міръ
Той жаждѣ правды, чувству красоты,
Которыя живутъ въ насъ отъ рожденья?
Вездѣ условья, ханжество, привычка.

и замысловатыя рѣчи дѣйствующихъ лицъ въ минуты, когда имъ полагалось бы говорить совсѣмъ ясно, и мораль эпилога и фантастика пролога—все указываетъ на то, что передъ нами настоящая „мистерія“, т.-е. дѣйствіе съ таинственнымъ религіознымъ смысломъ. А такъ какъ само дѣйствіе, т.-е. исторія сердечныхъ тревогъ Донъ Жуана никакого особенно таинственнаго смысла въ себѣ не заключаетъ и есть явленіе довольно обыкновенное, то попытка нашего романтика придать необыкновенное значеніе этому простому факту и должна была повлечь за собой всякаго рода натяжки въ мотивировкѣ словъ и поступковъ дѣйствующихъ лицъ. Иное дѣло взять мудреца, познавшаго всю доступную человѣчеству науку, изъ любви къ человѣчеству стремящагося испытать здѣсь на землѣ все земное, и вѣчно неудовлетвореннаго, какъ Фауста; иное дѣло изобразить, какъ дѣлалъ Байронъ, весь мракъ души идеалиста, разочарованнаго соціальной неурядицей нашей жизни; иное дѣло воскресить стараго Прометея и за любовь его къ людямъ подвергнуть его пыткамъ; иное дѣло, наконецъ, взвалить всю тяготу нашей жизни на плечи Агасверу — какъ это сдѣлалъ Кине — и увидать въ немъ символъ человѣчества, не признавшаго своего Бога и осужденнаго послѣ вѣковыхъ страданій узрѣть его торжество при второмъ его пришествіи на землю. Всѣ эти строгіе образы вполнѣ соотвѣтствуютъ глубинѣ поэтическаго замысла художниковъ; про типъ Донъ Жуана этого сказать нельзя; расширять и углублять его психическій міръ крайне трудно въ виду установившагося традиціоннаго представленія объ этомъ типѣ. Толстой не убоялся этой трудности, хотя и не

Общественная ложь и раболѣпство!
Весь этотъ міръ нечистый я отвергъ
Но я другой хотѣлъ соорудить,
Свѣтлѣй и краше видимаго міра,
Имъ внѣшность я хотѣлъ облагородить
Мнѣ говорило внутреннее чувство,
Что въ женскомъ сердцѣ я его найду—
И я искалъ.

осилилъ ея. Но каковы бы ни были ошибки поэмы, для насъ любопытна сама попытка вложить религіозное содержаніе въ такой плотскій сюжетъ.

Въ этомъ стремленіи отыскивать во всемъ руководящій идейный принципъ, видѣть во всемъ, даже въ самыхъ земныхъ чувствахъ, религіозный символъ—ярко выразился общеромантическій характеръ міросозерцанія нашего писателя.

Особое и возвышенное мѣсто удѣлено въ этомъ міросозерцаніи чувству любви. У поэта была, кажется, цѣлая философская система въ головѣ, и въ этой системѣ ученіе о любви являлось центральнымъ догматомъ. Божество, любовь, красота и свобода сплетались единою неразрывною связью. Система эта не изложена поэтомъ полностью, да вѣроятно и не могла быть изложена въ стихахъ; отъ нея уцѣлѣли только нѣкоторые отрывки въ формѣ любовныхъ лирическихъ пѣсенъ. Странное впечатлѣніе производятъ эти любовныя пѣсни Толстого; въ нихъ звучитъ несомнѣнно живое, искреннее и пережитое чувство, но всегда такая пѣснь пропѣта какъ бы нѣсколькими октавами выше и оторвана отъ земли. По мѣткому выраженію одного критика [П. Перцова] любовь Толстого—любовь къ „возлюбленной о Господѣ". Дѣйствительно, всѣ земные звуки любви поэта въ концѣ концовъ сливаются въ хоралъ, въ которомъ природа и человѣкъ славятъ Бога.

И вѣщимъ сердцемъ понялъ я,
Что все, рожденное отъ слова,
Лучи любви кругомъ лія.
Къ нему вернуться жаждетъ снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремиться силой бытія
Неудержимо къ Божью лону,
И всюду звукъ, и всюду свѣтъ,
И всѣмъ мірамъ одно начало,
И ничего въ природѣ нѣтъ,
Что бы любовью не дышало.

[«Меня во мракѣ и въ пыли»].

И любимъ мы любовью раздробленной
И тихій шопотъ вербы надъ ручьемъ,
И милой дѣвы взоръ на насъ склоненный,
И звѣздный блескъ, и всѣ красы вселенной,
И ничего мы вмѣстѣ не сольемъ.
Но не грусти, земное минетъ горе,
Пожди еще—неволя недолга—
Въ одну любовь мы всѣ сольемся вскорѣ,
Въ одну любовь, широкое какъ море,
Что не вмѣстятъ земные берега.
[«Слеза дрожитъ въ твоемъ ревнивомъ взорѣ»].

Не эта ли „эротическая“ метафизика, не этотъ ли культъ христіанскаго эроса заставилъ однажды нашего поэта высказать удивительное по своему оптимизму изреченіе: „не только про Господа, но и про человѣка, въ котораго я вѣрю,—если онъ сдѣлаетъ что нибудь, что мнѣ покажется дурнымъ, — я скажу: я не понимаю его мотива, но онъ не можетъ хотѣть зла“...

И поэтъ вѣрилъ, что возможна жизнь безъ насилія:

Вкругъ дѣлъ людскихъ загадочной чертой
Свободы грань очерчена отъ вѣка;
Но безъ насилія можетъ въ грани той
Вращаться вольный выборъ человѣка.

IV.

Совсѣмъ въ романтическомъ стилѣ созданъ Алексѣемъ Толстымъ и типъ пѣвца—служителя красоты въ мірѣ. Толстой возлагаетъ на него также чисто религіозную миссію.

Мысль о тѣсномъ родствѣ идеи красоты и Божества, эта старая мысль, которая была въ такомъ ходу у нашихъ шеллингіанцевъ двадцатыхъ годовъ, оживаетъ въ пѣсняхъ, балладахъ и поэмахъ нашего автора.

Толстого принято считать смѣлымъ защитникомъ гражданскихъ и иныхъ правъ красоты въ годы, когда эти права подвергались самымъ ярымъ нападкамъ. Да, это былъ, дѣйствительно, рыцарь, выступавшій въ защиту своей царицы, которую въ тѣ годы временно низвели съ престола. Какъ го-

лосъ Іоанна Дамаскина раздавались его пѣсни „противу ереси безумной", которая поднялась на искусство. Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ, если мы скажемъ, что онъ не столько ополчался противъ „ереси", сколько пѣлъ хвалу своей богинѣ.

Онъ былъ натура артистическая, „евфоническая", какъ онъ говорилъ—художникъ отъ рожденія. „Я родился художникомъ, но всѣ обстоятельства и вся моя жизнь до сихъ поръ противились тому, чтобы я сдѣлался вполнѣ художникомъ", писалъ онъ въ 1851 году, когда еще самъ не зналъ, на какой художественный подвигъ былъ способенъ. „Все что я чувствую, я чувствую художественно—говорилъ онъ—и рожденъ я художникомъ не только для литературы, но и для пластическихъ искусствъ". Толстой былъ правъ: въ его поэзіи, дѣйствительно, было очень много пластики. Въ юные, въ самые впечатлительные годы, судьба забросила его въ Италію и онъ жилъ въ ней долго. „Съ жадностью и чутьемъ" набрасывался онъ на всѣ произведенія искусства. Въ очень короткое время научился онъ отличать прекрасное отъ посредственнаго и могъ соревновать съ знатоками въ оцѣнкѣ картинъ и изваяній. Не зная еще никакихъ интересовъ жизни, которые впослѣдствіи наполнили ее тревогой, онъ сосредоточилъ всѣ свои мысли и всѣ свои чувства на любви къ искусству. Это была какая то нервная, не вполнѣ нормальная любовь, которая заставляла его плакать отъ радости, когда онъ смотрѣлъ на истинныя созданія художества, цѣлыми часами отдаваться созерцанію и чувствовать себя счастливымъ—и все это въ тѣ годы, когда обыкновенный темпераментъ всегда отдаетъ предпочтеніе самой жизни предъ ея отраженіемъ. Проходили годы и эта экзальтація художника въ Толстомъ только крѣпла. Старикомъ онъ не терялъ этой способности плакать отъ счастія при встрѣчѣ съ красотой... Пусть это была повышенная нервность, но что было дѣлать, если, по собственному его признанію, вся его жизнь проходила въ такой экзальтаціи?

Толстой смотрѣлъ на искусство, однако, не только гла-

зами художника; онъ былъ философъ и искалъ въ немъ и эстетическаго наслажденія, и общемірового смысла. Учителемъ его въ эстетикѣ былъ Шиллеръ и нѣмецкіе романтики. Съ идеей красоты нашъ художникъ всегда соединялъ цѣлый рядъ другихъ общихъ идей, имѣвшихъ для него такое же абсолютное и объективное значеніе. „Если бы я видѣлъ полезное дѣло передъ собой—говорилъ онъ, оправдываясь передъ своимъ вѣкомъ—если бы я видѣлъ что-нибудь такое, что въ предѣлахъ моихъ дарованій, я бы не отказался отъ дѣла, но мои дарованія слишкомъ діаметрально противоположны дарованіямъ передовыхъ людей и я могу только махнуть рукой... Остается истинное, вѣчное, абсолютное, что̀ не зависитъ ни отъ вѣка. ни отъ моды, ни отъ вліянія, ни отъ какой-нибудь fashion, и этому я отдаюсь всецѣло. Да здравствуетъ абсолютное т.-е. человѣчество и поэзія!“

Развитое чувство красоты было въ глазахъ Тотстого показателемъ общей культурности, и для отдѣльной личности, и для цѣлыхъ народовъ. „Тотъ народъ, въ которомъ это чувство развито сильно и полно, говорилъ онъ, въ комъ оно составляетъ потребность жизни, не можетъ не имѣть вмѣстѣ съ нимъ и чувства законности и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни гражданской, и законодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства“. „Мнѣ больно отъ всѣхъ диссонансовъ жизни—писалъ онъ однажды—и оттого я и люблю искусство, которое есть ступень къ лучшему міру“. Понятно, что въ минуты особаго раздумья онъ могъ сказать, какъ онъ говорилъ за нѣсколько дней до смерти, что нѣтъ другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кромѣ искусства! Эту эгоистическую фразу ему можно простить въ виду того, что онъ влагалъ въ нее тайный смыслъ, совсѣмъ не эгоистическій, тотъ самый, который онъ вложилъ и въ другое свое извѣстное изреченіе, когда утверждалъ, что его аристократическія влеченія существуютъ гораздо больше для другихъ, чѣмъ для него лично.

Понятіе о свободной красотѣ, какъ о самостоятельномъ двигателѣ общественнаго прогресса, эта завѣтная мысль всѣхъ романтиковъ начала XIX вѣка, проводится въ поэзіи Толстого какъ нельзя болѣе послѣдовательно, вопреки другому господствовавшему тогда взгляду на красоту, какъ на прямое отраженіе этого прогресса и какъ на служебное орудіе въ его интересахъ. Пѣвецъ—какъ его понимаетъ нашъ художникъ—прежде всего служитель Божій, проводникъ религіознаго чувства на землѣ; онъ затѣмъ жрецъ своего искусства, одинокій, нелюдимый жрецъ, самъ себѣ довлѣющій. Богатство, сила, честь и слава—все чѣмъ дорожатъ люди, въ избыткѣ заключено въ незримомъ мірѣ его души. Вся природа одно лишь отраженіе, лишь тѣнь таинственныхъ красотъ, которыхъ вѣчное видѣніе живетъ въ душѣ избранника. Господь дозволяетъ художнику заглянуть въ то сокровенное горнило, гдѣ кипятъ первообразы и трепещутъ творческія силы. Вотъ почему и не кажется дерзостью, если поэтъ присваиваетъ себѣ Божью власть и „благославляетъ“ всю природу и небеса, и звѣзды... И, дѣйствительно, поэтъ принадлежитъ не себѣ и еще меньше принадлежитъ онъ той средѣ, которая его окружаетъ. Не Гете создалъ великаго Фауста и не Бетховенъ создалъ свои мелодіи. Всѣ эти слова и звуки всегда существовали въ безпредѣльномъ пространствѣ и художникамъ оставалось только уловить ихъ. Итакъ, окружи себя мракомъ поэтъ, окружи молчаніемъ, будь одинокъ и слѣпъ какъ Гомеръ и глухъ какъ Бетховенъ и только напрягай свой душевный слухъ и душевное зрѣніе, внимай, гляди, притаивши дыханье, и помни мимолетное видѣніе! Не все ли равно поэту, слушаютъ ли его люди, или нѣтъ? Вспомнимъ того слѣпого пѣвца, который думалъ, что онъ поетъ передъ княземъ и его боярами, который грозящимъ пророческимъ словомъ вступался за правду и узналъ, что онъ пѣлъ въ полномъ одиночествѣ и что никто не слыхалъ его пѣсни. Съ какой спокойной гордостью отвѣчаетъ за него Толстой тѣмъ, кто вздумалъ бы надъ пѣвцомъ посмѣяться:

неволенъ пѣвецъ въ своей пѣснѣ; какъ горный источникъ стремится онъ потокомъ по степи, бьетъ, кипитъ и пѣнится, и не хочетъ онъ знать, придутъ ли къ нему пастухи и стада, чтобы освѣжиться его струями.

V.

Такой романтическій взглядъ на красоту Толстой высказывалъ всегда, когда разсуждалъ объ искусствѣ теоретически; но на практикѣ онъ никакъ не могъ устоять на этой точкѣ зрѣнія. Витая въ своихъ мечтахъ надъ землей, поэтъ не терялъ ее изъ вида и вводилъ въ кругъ своего поэтическаго міросозерцанія самые разнообразные жизненные вопросы, неизмѣняя однако своего романтическаго отношенія къ нимъ. Онъ говорилъ:

Въ безпредѣльное влекома,
Душа незримый чуетъ міръ,
И я не разъ подъ голосъ грома
Быть можетъ строилъ мой псалтырь.
Но я не чуждъ и здѣшней жизни;
Служа таинственной отчизнѣ,
Я и въ пылу душевныхъ силъ
О томъ, что близко, не забылъ.
Повѣрь, и мнѣ мила природа,
И бытъ родного намъ народа;
Его стремленья я дѣлю,
И все земное я люблю...

Толстому не легко давалось это соприкосновеніе съ житейской суетой; легко давалась ему только шутка надъ ней—юмористическое ея изображеніе, при помощи котораго онъ любилъ иногда обходить трудность вопроса. Это была всегда необычайно остроумная и граціозная шутка, которая именно своей граціей показывала, какъ независимъ былъ поэтъ отъ тѣхъ частныхъ явленій и знаменій времени, которыя онъ вышучивалъ.

Его тянуло къ совсѣмъ иному міру, міру таинственнаго и сокровеннаго. Дѣйствительность отъ малыхъ лѣтъ была ему

противна и несносна. Искатель небывалыхъ міровъ, онъ какъ истинный романтикъ, слышалъ звонъ, не видя колоколенъ. Все чудился ему какой-то неопредѣленный и неуловимый идеалъ жизни, отблескъ котораго и остался на всей его поэзіи.

Эта поэзія, быть-можетъ, потому и заслужила такіе упреки, что очень туманно было очертаніе этого идеала. Въ самомъ дѣлѣ, не всѣмъ была понятна и дорога—страна лучей, незримая нашимъ взорамъ, гдѣ вокругъ міровъ вращаются міры, гдѣ сонмы душъ немолчные дары своихъ молитвъ возносятъ стройнымъ хоромъ, гдѣ сіяющіе блаженствомъ лики отвращены отъ міра суеты, гдѣ не слышно земной печали и земной нищеты не видно. Не всякій могъ вслѣдъ за поэтомъ вознестись въ отчизну пламени и слова, не всякій хотѣлъ вѣрить, что міръ незримый можетъ стать ему виденъ и что ухо его услышитъ то, что для другихъ неуловимо. Нашему поэту всѣ эти ощущенія были доступны и понятны —

Весны томительная сладость
Тоска по дальней сторонѣ,
Любовь и грусть, печаль и радость
Всегда межуются во мнѣ;
Но въ ихъ неровномъ колыханьи
Полны надеждъ мои мечты:
Журчанье водъ, цвѣтовъ дыханье,
Все мнѣ звучитъ какъ обѣщанье
Другой, далекой красоты!

Эта другая красота и другой міръ, о которомъ поэтъ такъ грустилъ въ своихъ стихахъ, могъ въ тѣ трезвые годы вызвать у читателей иногда насмѣшку, а иногда сожалѣніе. Поэзія Толстого могла показаться старымъ напѣвомъ временъ прошлыхъ, временъ блаженнаго мечтательнаго романтизма, навсегда, какъ казалось, схороненнаго. И никто не станетъ отрицать, что эта поэзія, дѣйствительно, обладала ароматомъ старины. Но для Россіи она была явленіемъ совсѣмъ оригинальнымъ и новымъ, и ея романтическій идеализмъ въ русской литературѣ не имѣлъ аналогіи.

И что всего важнѣе, это то, что романтическое міросозерцаніе, ссоря поэта съ современниками, отнюдь не порывало его связи съ современностью; Толстой съ его нелюбовью къ повседневной дѣйствительности оставался пѣвцомъ тѣхъ самыхъ идей и чувствъ общаго типа, которыя придавали этой дѣйствительности ея историческій смыслъ и цѣнность. Уловить эту связь поэта съ его настоящимъ было тѣмъ болѣе трудно, что нашъ писатель всегда подчеркивалъ свою любовь къ прошедшему, къ старинѣ во всѣхъ ея видахъ: и въ формѣ народнаго преданія и миѳа, и въ формѣ исторической легенды и были. Онъ и въ данномъ случаѣ оставался правовѣрнымъ романтикомъ совсѣмъ въ духѣ своихъ западныхъ предшественниковъ, которые въ началѣ вѣка, увлеченные идеей народности, искали въ туманномъ прошломъ кладезя всяческой мудрости и всяческой красоты.

Эта любовь Толстого къ прошлому могла иногда натолкнуть не вполнѣ внимательнаго критика на поспѣшное сравненіе. Могло казаться, что пристрастіе поэта къ народной старинѣ есть лишь повтореніе стараго мотива, нѣкогда очень распространеннаго въ русской литературѣ, а именно мотива фальшивой „народности", той самой, которая погибла подъ лучами поэзіи Пушкина и Гоголя и подъ ударами критики Бѣлинскаго. На самомъ дѣлѣ, однако, никто не былъ такъ далекъ отъ этой фальшивой народности, какъ Толстой. Славянскій миѳъ, преданія и исторія, которыми наши старые романисты и поэты пользовались въ интересахъ довольно узкой патріотической тенденціи, а именно для восхваленія религіозности, семейной нравственности и государственной мудрости россіянъ,—этими миѳами и преданіями Толстой пользовался какъ аллегорическими образами для своего суда надъ современностью. Но публицистическая тенденція его пѣсенъ и былинъ не понижала ихъ художественной стоимости. Поэтъ искалъ въ нашей миѳологіи и старинѣ благодарнаго матеріала для поэмъ и балладъ въ стилѣ западно-европейской романтики. Ему хотѣлось доказать, что и славянское

племя внесло нѣчто свое въ общую сокровищницу красоты, которую нѣмецкіе, французскіе и англійскіе писатели открыли въ преданіяхъ языческой древности и средневѣковья. Задача была трудная и обязывала Толстого не столько подчеркивать въ старыхъ преданіяхъ бытовыя особенности славянскаго племени, сколько въ этихъ славянскихъ миѳахъ выискивать общечеловѣческое, роднящее нашу народную поэзію съ поэзіей нашихъ сосѣдей.

Съ поэзіей запада Толстой освоился еще съ юныхъ лѣтъ и она была ему совсѣмъ родная—стòитъ, напр., только вспомнить, съ какой ходожественной виртуозностью онъ поддѣлался въ своемъ „Драконѣ“ подъ староитальянскій литературный стиль. Естественно, что подгоняя нашу славянскую старину подъ общій типъ западной романтики, поэтъ долженъ былъ слегка ее подкрасить. Алексѣй Толстой такъ и поступалъ съ нашими миѳами и преданіями. Искать въ нихъ настоящей наивной народности — напрасно. Въ нихъ много этнографическихъ и археологическихъ вѣрныхъ деталей, но въ цѣломъ компановка этихъ деталей и общій тонъ значительно отступаютъ отъ старой народной простоты. Во всемъ чувствуется рука мастера, прошедшаго хорошую литературную школу. Только благодаря этой школѣ поэту удалось, напр., изъ избитаго разсказа объ оборотнѣ сдѣлать такую цѣльную и страшную балладу, какъ его „Волки“; та же литературная опытность помогла ему въ хороводѣ стрекозъ подслушать слова и уловить настроеніе, которые Гете далъ въ своемъ „Лѣсномъ Царѣ“; и, наконецъ, вся великолѣпная поэма о Садко, въ которой такъ много чисто-русскихъ словъ и оборотовъ, — развѣ въ ней сохранилась хоть капля наивности стараго преданія и развѣ вся ея удивительная красота не обязана своимъ блескомъ литературному вкусу и образованію автора?

Среди стихотвореній Толстого встрѣчаются, конечно, и такія, въ которыхъ чисто народный колоритъ болѣе или менѣе удержанъ; есть у него пѣсни въ старо-русскомъ стилѣ, ко-

торыя своимъ славянскимъ духомъ даже подкупили Хомякова и Аксакова. Но славянофилы недолго считали Алексѣя Толстого своимъ, и были правы. Если въ поэзіи Толстого не было фальшивой народности, то не было и настоящей. Народность въ его стихотвореніяхъ своеобразная, субъективная и романтическая, родственная западной, но не списанная съ нея. Поэтъ не навязывалъ русскому образу нерусскую мысль, чувство или поступокъ, а передавалъ имъ свое міросозерцаніе и свое субъективное настроеніе, какъ это вообще дѣлали всѣ романтики въ мірѣ.

На такія же соображенія наводятъ насъ и чисто личныя лирическія стихотворенія Толстого. Лирическое стихотвореніе, положимъ, всегда субъективно; но въ самомъ способѣ выраженія лирическихъ чувствъ, лирикъ-романтикъ все-таки отличается отъ лирика-реалиста. Одинъ стремится къ простотѣ, отчетливости и ясности въ передачѣ своихъ чувствъ и тѣхъ впечатлѣній, которыя ихъ вызвали. Другой любитъ намеки и полупрозрачные образы. Онъ предпочитаетъ говорить о своихъ чувствахъ иносказательно и всего охотнѣе поясняетъ ихъ какимъ-нибудь поэтическимъ сравненіемъ, заимствованнымъ изъ жизни природы внѣшней. У Толстого, за немногими исключеніями, почти всѣ лирическія стихотворенія—такія картинки природы, слегка набросанныя или болѣе детально вырисованныя. Вездѣ чувствуешь это стремленіе—не быть слишкомъ яснымъ и увѣрить читателя, что въ каждомъ чувствѣ, самомъ простомъ, таится что-то безконечное и невыразимое.

Однажды Толстой пожелалъ въ осязаемую форму облечъ это безконечное и неизъяснимое и тогда написалъ онъ свое знаменитое стихотвореніе: „Онъ водилъ по струнамъ“—

упадали
Волоса на безумныя очи;
Звуки скрипки такъ дивно звучали,
Разливаясь въ безмолвіи ночи.
Въ нихъ разсказъ убѣдительно-лживый
Развивалъ невозможную повѣсть

И змѣинаго цвѣта отливы
Соблазняли и мучили совѣсть.
Обвиняющій слышался голосъ
И рыдали въ отвѣтъ оправданья,
И безсильная воля боролась
Съ возрастающей бурей желанья;
И въ туманныхъ волнахъ рисовались
Берега позабытой отчизны.
Неземныя слова раздавались
И манили назадъ съ укоризной;
И такъ билося сердце тревожно,
Такъ ему становилось понятно
Все блаженство, что было возможно
И потеряно такъ безвозвратно;
И къ себѣ безпощадная бездна
Свою жертву, казалось, тянула...

Одна „евфоническая“ душа Толстого была способна на такое вещей облеченіе невидимыхъ.

VI.

Если свести къ одному всѣ эти разрозненныя впечатлѣнія, которыя мы выносимъ изъ знакомства съ поэзіей Толстого, то и романтическое содержаніе его творчества, и всѣ романтическіе пріемы исполненія выступятъ ярко наружу.

Весь внѣшній міръ—въ его прошломъ и настоящемъ, а также міръ внутренній, міръ мысли и психическихъ движеній, былъ въ глазахъ поэта лишь символомъ чего-то внѣ этихъ міровъ лежащаго. Къ этому таинственному началу Толстой относился съ глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Въ красотѣ онъ видѣлъ одну изъ эманацій божества, которая обладаетъ способностью земного воплощенія и проникаетъ собой всю земную жизнь, какъ проникаютъ ее и другія эманаціи Бога — лучи Его добра и истины. Всѣ эти силы свершаютъ свое предназначеніе лишь въ тѣснѣйшемъ союзѣ, и между собой, и съ людьми, жизнь которыхъ есть великая религіозная мистерія, исторія постепеннаго восхожденія человѣчества къ Божеству, — стремленіе въ иной міръ идеала

ъ этотъ міръ идеала человѣкъ можетъ войти, однако, не утемъ добровольнаго отреченія отъ земли, ея судебъ и ея грастей, а лишь послѣ добровольной борьбы съ этими грастями.

Такой мистическій взглядъ на міропорядокъ, взглядъ аздробленно высказанный въ стихахъ Толстого, долженъ ылъ, конечно, отозваться и на всемъ ходѣ его личной изни. Ожидать отъ этого романтика цѣпкой привязанности къ переживаемому имъ историческому моменту нельзя. Для людей съ такой идеалистической вѣрой въ связь земного и небеснаго, реальнаго и идеальнаго — жизнь минуты имѣетъ малую цѣнность и, если что въ этой минутѣ оставливаетъ на себѣ вниманіе и любовь такого идеалиста, акъ развѣ только ея самый общій философскій смыслъ.

Изъ интимной переписки Толстого мы, дѣйствительно, знаемъ о томъ, какъ мало онъ любилъ самый процессъ будничной жизни, которая для него могла быть, если бы онъ только захотѣлъ, сплошнымъ праздникомъ. Судьба поставила его въ такія условія, что, пожелай онъ, и эта жизнь дала бы ему всѣ наслажденія, за которыми такъ гоняются люди, все, что называется житейскимъ благомъ. Толстой не воспользовался этими преимуществами своего положенія.

И между тѣмъ никто не скажетъ, что этотъ человѣкъ стоялъ внѣ интересовъ переживаемой имъ эпохи и былъ лишь скучающимъ зрителемъ того, что вокругъ него творилось. Наоборотъ, весь общій прогрессивный идейный смыслъ того знаменательнаго историческаго момента, свидѣтелемъ котораго онъ былъ, нашелъ себѣ откликъ въ его поэзіи и только этимъ его поэзія пріобрѣла значеніе историческое рядомъ съ тѣмъ значеніемъ художественнымъ, которое она сохраняетъ какъ плодъ истинно поэтическаго вдохновенія.

VII.

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что общаго между этой романтикой, столь законченной въ своей

внѣшней и внутренней цѣльности, — и прогрессивнымъ движеніемъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, столь трезвымъ и положительнымъ во всѣхъ своихъ помыслахъ и дѣяніяхъ?

Поэзія Толстого въ основныхъ своихъ чертахъ, какъ мы видѣли, была поэзіей религіозной;—передовое поколѣніе тѣхъ лѣтъ относилось къ религіозному чувству и идеѣ болѣе чѣмъ скептически; поэтическая мысль нашего писателя всегда витала надъ землей и искала небесной отчизны;—мысли его либеральныхъ современниковъ [по крайней мѣрѣ руководящаго большинства изъ нихъ] сосредоточивались почти исключительно на интересахъ земныхъ, и ко всякому идеализму въ мысляхъ и чувствахъ они относились равнодушно, чтобы не сказать враждебно. Поэтъ былъ влюбленъ въ красоту какъ въ идею, и въ искусство, какъ въ ея земное воплощеніе: онъ искалъ въ красотѣ смысла жизни;—его слушатели иной разъ даже насильно оберегали себя отъ ея вліянія, боясь, какъ бы она не отвлекла ихъ отъ прямыхъ житейскихъ и, главнымъ образомъ, гражданскихъ обязанностей: красота была имъ подозрительна, и въ своемъ подозрѣніи они доходили часто до очень несправедливыхъ нападокъ на нее. Всѣ они были большіе политики и политиканы, люди борьбы насущной за извѣстную соціальную и политическую программу; Алексѣя Толстого всякое практическое дѣло, какъ бы онъ самъ ему ни симпатизировалъ, тяготило однимъ своимъ процессомъ. Наконецъ и аристократизмъ поэта не гармонировалъ съ общей демократической тенденціей его эпохи.

Можно было бы эту параллель продолжить, и сопоставленіе поэта съ окружающими его передовыми людьми говорило бы только объ ихъ несходствѣ. Тѣмъ не менѣе въ исторіи идейнаго движенія шестидесятыхъ годовъ имя Толстого должно стоять въ ряду именно этихъ передовыхъ двигателей, а не ихъ противниковъ.

VIII.

Прогрессивный образъ мыслей Толстого не принималъ, правда, никогда рѣзкой окраски, что вполнѣ объясняется темпераментомъ писателя — но программа реформъ Александра II-го нашла себѣ въ его близкомъ другѣ самаго искренняго союзника. Толстой не только стоялъ за новое, но и былъ противъ стараго—какъ видно изъ весьма многихъ его стихотвореній юмористическаго и обличительнаго характера, которыя такъ и не попали въ печать при его жизни.

Противникъ дореформенной Россіи, несмотря на романтическую идеализацію ея старины—поэтъ требовалъ отъ настоящихъ сыновъ своей родины живого дѣла. Еще въ крѣпостную эпоху, въ 1851 году, онъ указывалъ, и „праздношатающимся“, и „вольнодумцамъ“ изъ своего круга на ихъ прямую обязанность—на заботу объ участи тѣхъ, судьба которыхъ ввѣрена имъ Богомъ; и въ себѣ самомъ онъ чувствовалъ много силы для такого нравственнаго воздѣйствія на крѣпостную массу. Эта готовность служить народу не поколебалась въ немъ и тогда, когда реформа изъ области сентиментальныхъ чаяній перешла въ область фактовъ. Онъ былъ убѣжденъ, что если бы его употребили на дѣло освобожденія крестьянъ, онъ шелъ бы своей дорогой, съ чистою и ясною совѣстью, даже если бы пришлось идти противъ всѣхъ. Та же ясная совѣсть тяготила его при рѣшеніи дѣла о сектантахъ, которое противъ его воли было на него возложено. Онъ былъ настолько чутокъ къ переживаемой минутѣ, что иногда расположеніе его духа изъ мрачнаго становилось свѣтлымъ, если ему удавалось сообщить Государю что-нибудь такое, что царю необходимо было знать, и что онъ не узналъ бы отъ другаго. „Когда это мнѣ случается — говорилъ Толстой — я оживаю“...

И какой онъ былъ просвѣщенный патріотъ! „Вы г
рите, пишетъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, что не
допустить разныя національности въ могущественномъ г
дарствѣ. Милыя дѣти, посмотрите въ лексиконъ, что та
національность? Вы смѣшиваете государства съ націон
ностями. Нельзя допустить разныя государства, но не
васъ зависитъ допустить или недопустить національнос
Ваше мнѣніе можно выразить слѣдующими словами: навя
русскую національность всѣми средствами. А моя мы
сводится къ слѣдующему: сдѣлать такъ, чтобы эта націон
ность была желательна. Вы говорите: уравняемъ все, по
жая уровень чужихъ народностей. Я же говорю: уравня
все, возвышая русскій уровень... катковецъ съ ногъ до
ловы, когда дѣло касается классицизма... я дѣлаюсь нег
телемъ Каткова, когда онъ поднимаетъ знамя крестов
похода противъ балтійскихъ провинцій“...

Много можно найти въ письмахъ Толстого строкъ,
торые продиктованы самымъ прогрессивнымъ духомъ
эпохи. Говоритъ ли онъ объ общихъ вопросахъ или о
лесномъ наказаніи — онъ человѣкъ новыхъ взглядовъ
главное, даже къ рѣзкостямъ этихъ новыхъ взглядовъ
готовъ отнестись съ терпѣливой справедливостью. Много
было лицъ его положенія, круга и его образа мыслей,
торыя рѣшились бы сказать, какъ онъ говорилъ: „съ нео
даннымъ удовольствіемъ читаю „Отцы и Дѣти“. Какіе зв
тѣ, которые обидѣлись на Базарова! Они должны были бы
ставить свѣчку Тургеневу за то, что онъ выставилъ ихъ
такомъ прекрасномъ видѣ. Если бы я встрѣтился съ Ба
ровымъ, я увѣренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря
то, что мы продолжали бы спорить“...

Надо надѣяться, что близкіе поэту люди когда-нибу
разскажутъ подробно его жизнь и тогда, конечно, св
поэта съ его временемъ какъ гражданина и человѣка впо
разъяснится.

IX.

Въ каждой эпохѣ, болѣе или менѣе знаменательной по своему идейному смыслу, необходимо отличать общее направленіе, въ какомъ работаютъ человѣческая мысль и чувство отъ повседневныхъ, исторической необходимостью или случайностью вызванныхъ частныхъ проявленій этихъ духовныхъ силъ человѣка. Всякое сильное возбужденіе вызываетъ далеко не равномѣрное напряженіе силъ.

Такимъ неровнымъ порывистымъ ходомъ шло и наше общественное движеніе въ шестидесятыхъ годахъ. Сколько было увлеченій, крайностей, противорѣчій, сколько было недосказаннаго или неясно сказаннаго во всѣхъ убѣжденіяхъ и направленіяхъ, разъединявшихъ тогда наше передовое общество!

Но все-таки всѣ эти повседневныя, необходимостью или случайностью вызванныя теченія мыслей и настроеній, имѣли у всѣхъ лицъ передового лагеря одну объединяющую ихъ общую тенденцію—одинъ общій историческій смыслъ. Прогрессивное движеніе шестидесятыхъ годовъ при всѣхъ его крайностяхъ и ошибкахъ было въ его цѣломъ—моментомъ укрѣпленія и расцвѣта въ нашемъ обществѣ нѣкоторыхъ идей и чувствъ, имѣющихъ не временное, а общеміровое и вѣчное значеніе. Къ числу такихъ идей относится идея о соціальной солидарности между отдѣльными классами общества—демократическая тенденція уравнять всѣхъ людей передъ закономъ внѣшнимъ и внутреннимъ и способствовать ихъ дальнѣйшему духовному уравненію путемъ поднятія общаго уровня умственнаго, нравственнаго и экономическаго. Къ числу такихъ идей относится признаніе свободы мысли, не преклоняющейся ни передъ какимъ авторитетомъ, мысли, иногда несправедливой въ низверженіи этихъ авторитетовъ, но зато безусловно враждебной всякой умственной косности. Къ числу такихъ идей относится и понятіе о власти, кото-

рая опирается не на традицію или на грубую силу, а на добровольное признаніе ея со стороны тѣхъ, надъ кѣмъ эта власть поставлена. Къ числу такихъ чувствъ относится и чувство человѣческаго достоинства, на признаніи котораго за всѣми людьми такъ настаивала общественная мысль шестидесятыхъ годовъ, покоившаяся на повышенномъ чувствѣ альтруизма.

Этотъ общій смыслъ цѣлой исторической эпохи передовые люди того времени стремились выразить и осуществить на дѣлѣ весьма различными программами. Борьба между этими людьми была неизбѣжна въ виду разницы въ пониманіи религіозныхъ, философскихъ, національныхъ, политическихъ и иныхъ вопросовъ жизни. Но всѣ они, и сторонники реформы наверху, и славянофилы, и почвенники, и умѣренные либералы сороковыхъ годовъ, и рьяная радикальная молодежь шестидясятыхъ—всѣ въ сущности трудились надъ однимъ дѣломъ и имѣли одного врага—людей, не признававшихъ необходимости новизны и противниковъ того общаго смысла эпохи, на который указано.

Поэзія Алексѣя Толстого заняла среди этихъ споровъ совершенно особое мѣсто, именно въ виду своего романтическаго міропониманія и настроенія, которые держали ее всегда на нѣкоторомъ разстояніи отъ волненій и споровъ минуты. Среди этихъ споровъ поэтъ занималъ позицію нейтральную и рѣдко покидалъ ее, но зато ему и удалось схватить и выразить въ своихъ стихахъ весь общій гуманный смыслъ развернувшихся передъ нимъ общественныхъ событій. Самый общій смыслъ—разумѣется.

Религіозное чувство, живое и глубокое, неосложненное никакими національными или обрядовыми симпатіями, и чувство эстетическое, отъ развитія котораго въ человѣческомъ обществѣ поэтъ ожидалъ прямого улучшенія соціальной этики,—были для Толстого двумя главными духовными двигателями нашей жизни. При ихъ помощи надѣялся онъ достигнуть повышенія общаго культурнаго уровня: въ нихъ

видѣлъ онъ уравнивающую людей духовную силу, съ которой вполнѣ могли ужиться, и свобода мысли, и свобода совѣсти; отъ нихъ ожидалъ онъ установленія на землѣ соціальнаго мира. Въ интересахъ этого же мира должна была дѣйствовать и власть, данная Богомъ человѣку надъ его ближними.

Надъ призваніемъ и назначеніемъ этой власти Толстой думалъ много и его знаменитая Трилогія была косвеннымъ наставленіемъ властителю, своего рода école des rois, какъ назывались въ старину такія драмы. Поэтъ былъ рѣшительный противникъ деспотизма, все равно какого—единоличнаго или массоваго; онъ былъ сторонникъ просвѣтительно-либеральной и гуманной монархіи. Вотъ почему онъ такъ нелюбилъ московскій періодъ нашей исторіи, осуждая его съ этической точки зрѣнія и не всегда считаясь съ точкой зрѣнія исторической. „Моя ненависть къ московскому періоду —говорилъ онъ—есть идіосинкразія и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что я говорю". А говорилъ онъ иногда о Москвѣ очень жестоко, называя ее „отвратительной и болѣе позорной, чѣмъ монголы". Онъ былъ противникомъ, какъ онъ выражался, и „эгалитарности"—внѣшней, государственной, соціалистической. Онъ не любилъ ее за то, что она, какъ напримѣръ „проклятая" община, враждебна принципу индивидуальности—единственному принципу, въ лонѣ котораго можетъ развиться цивилизація вообще и искусство въ особенности. Отъ власти поэтъ требовалъ самой либеральной опеки, признающей и уважающей человѣческое достоинство въ опекаемыхъ, и вполнѣ искренъ былъ онъ, когда, восхваляя свой вѣкъ, говорилъ: „я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сенъ-Жюста и Робеспьера. Я готовъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону, одно и тоже? Нужно быть черезчуръ глупымъ,

чтобы на императора Александра II сваливать дѣла и поступки Іоанна IV или Ѳедора I". При такомъ взглядѣ на власть, разумную, благую, опирающуюся не на силу, а на свой нравственный авторитетъ, признанный тѣми, надъ кѣмъ эта власть поставлена, — нашъ поэтъ, монархистъ самый убѣжденный, могъ себѣ позволить помечтать о далекихъ временахъ нашей жизни, когда властитель былъ патріархальнымъ опекуномъ своей широкой семьи, почти что первый среди равныхъ и когда онъ цѣнилъ въ своей власти главнымъ образомъ то довѣріе, которое ему оказывали его подчиненные. И Толстой, какъ мы знаемъ, любилъ поминать въ своихъ стихахъ блаженныя полумиѳическія времена кіевскаго эпоса или идилліи и героическія времена новгородской вольницы. Въ этихъ его симпатіяхъ повинна не одна только романтика; въ новгородскихъ балладахъ и драмѣ „Посадникъ" поэтъ прикрывалъ романтическимъ вымысломъ современную мысль, почему и патріотизмъ его казался нѣсколько подозрительнымъ всѣмъ черезчуръ ярымъ ревнителямъ національной идеи.

Какъ самъ Толстой понималъ эту идею—мы уже знаемъ. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ патріотовъ, который чувство національнаго достоинства тѣснѣйшимъ образомъ связывалъ съ признаніемъ человѣческаго достоинства за каждымъ человѣкомъ.

X.

Поэзія Алексѣя Толстого — вполнѣ искреннее отраженіе его гуманной личности.

Эту личность поэта можетъ, конечно, игнорировать тотъ, кто оцѣниваетъ его творчество, но если ужъ говорить о связи Толстого какъ человѣка и писателя съ его эпохой, то нельзя умолчать объ этой искренности въ стихахъ, которая была отзвукомъ искренности въ чувствахъ и которую почему-то нѣкоторые критики просмотрѣли, когда утверждали, что въ

поэзіи Толстого много аффектаціи. Если эта аффектація гдѣ и была, то никакъ не въ тоіі симпатіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, гонимымъ, мучимымъ и грѣшнымъ, примѣровъ которой такъ много въ его поэзіи.

Положимъ, что всякая поэзія гуманна уже сама по себѣ— но есть художники, которые эту общую гуманность понимаютъ въ нѣсколько болѣе узкомъ смыслѣ, въ смыслѣ возбужденія въ себѣ и въ другихъ чувствъ чисто альтруистическихъ. Такихъ поэтовъ въ эпоху, когда жилъ Толстой, было много, и ихъ поэзія, какъ таковая, нерѣдко страдала отъ избытка тенденціознаго гуманизма. Алексѣй Толстой не совершалъ насилія надъ своей поэзіей и въ своихъ созданіяхъ былъ прежде всего художникъ, а затѣмъ уже гуманистъ и притомъ не умышленный, а невольный, т.-е. наиболѣе убѣдительный.

XI.

Итакъ, если взять все творчество нашего художника въ его цѣломъ, сопоставить поэтическое міросозерцаніе Толстого съ общимъ направленіемъ прогрессивной мысли въ эпоху, когда онъ дѣйствовалъ, то получится очень оригинальный примѣръ сочетанія старыхъ пріемовъ художественнаго творчества съ новымъ содержаніемъ. Поэзія Толстого—романтическая поэзія очень строгаго стиля. Все въ ней полно символовъ и намековъ; все отвлекаетъ отъ жизни дѣйствительной, все говоритъ о будущемъ или прошедшемъ, почти не касаясь современнаго. А между тѣмъ общій смыслъ и основныя общія духовныя стремленія современности проникаютъ собой эту поэзію и придаютъ ей историческое значеніе. Она старый романтическій узоръ, но вышитый по новой канвѣ. И въ этомъ ея оригинальность.

Бывали у насъ въ тѣ годы и новыя пѣсни на новыя темы и старыя пѣсни на старыя, но такого оригинальнаго сочетанія стараго съ новымъ не встрѣчалось. Гончаровъ былъ правъ, когда говорилъ, что Толстой стоитъ совершенно особ-

някомъ въ русской литературѣ, что онъ внесъ въ нее новый элементъ и что онъ ни въ чемъ на другихъ не похожъ.

Эта мысль заслуживала бы подробнаго развитія и она дополнила бы исторію нашего передового общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ новой очень красивой страницей. Некрасовъ не оставался бы столь одинокимъ, и мы бы лишній разъ убѣдились, какой поэтическій смыслъ и какую поэтическую внѣшность имѣла правда того времени, о трезвости, прозаичности и антихудожественной грубости которой такъ часто приходится слышать.

Некрасовъ своей поэзіей давалъ намъ чувствовать весь ужасъ соціальной неурядицы и борьбы, которая свирѣпѣла. Алексѣй Толстой хотѣлъ смягчить это ощущеніе боли и гнѣва славословіемъ тѣхъ идеаловъ, во имя которыхъ велась эта борьба Одна пѣсня была боевымъ знаменемъ, другая хоругвью.

Чѣмъ тѣни сумрачнѣй ночныя,
Тѣмъ звѣзды ярче и яснѣй;
Блаженъ въ бѣдѣ не гнувшій выи,
Блаженъ пѣвецъ грядущихъ дней,
Кто среди тьмы денницы новой
Провидитъ радостный восходъ
И утѣшительное слово
Средь общихъ слезъ произнесетъ.

Эти стихи слѣдовало бы вырѣзать на могильномъ камнѣ поэта.

1901.

Историческіе мотивы въ стихотвореніяхъ графа А. К. Толстого.

I.

Кто-то съострилъ однажды, назвавъ исторію великой лжесвидѣтельницей; и это въ томъ смыслѣ справедливо, что мы нерѣдко ставимъ наши симпатіи и антипатіи подъ защиту старины, какъ бы отыскивая для нихъ извѣстное право давности, освящающее ихъ законность и истинность. Хоть могилы и прахъ предковъ издавна принято считать чѣмъ-то священнымъ, но именно съ ними допускается нерѣдко самая произвольная расправа, и при обсужденіи разнообразныхъ современныхъ вопросовъ въ числѣ свидѣтелей фигурируютъ очень часто покойники, которые, вѣроятно, пришли бы при жизни въ большое недоумѣніе, а иногда и гнѣвъ, если бы имъ сказали,—защитниками и обвинителями чего и кого они нѣкогда осуждены будутъ выступить.

Всего больше приходится страдать старинѣ отъ тѣхъ особенно привилегированныхъ людей, которые издавна присвоили себѣ право самовольнаго обхожденія со всѣми законами бытія и явленіями внѣшняго и внутренняго нашего міра, и которыхъ мы такъ чтимъ и уважаемъ, какъ „поэтовъ“ и „сочинителей“. На совѣсти этихъ людей всего больше преступленій и насилій надъ прошлымъ.

Въ широко развѣтвленной семьѣ поэтовъ есть, однако, одна группа наиболѣе въ этомъ смыслѣ дерзкая. Она отличается особой способностью — выражать *иносказательно* свои мысли и чувства. Она въ своихъ настроеніяхъ и взглядахъ, и правдива, и искренна, но она какъ-то боится дневного свѣта дѣйствительности, современнаго костюма и обстановки, и ей легче дышется въ сферѣ чистыхъ видѣній, созданныхъ своевольной мечтой, или въ кругѣ привидѣній, вызванныхъ на свѣтъ Божій забывчивой или не совсѣмъ твердой памятью. Эта семья поэтовъ одна изъ самыхъ симпатичныхъ, и любой ея представитель въ нашъ вѣкъ реализма и натурализма имѣетъ за собой одно безспорное преимущество—онъ всегда очень эффектно одѣтъ и не менѣе эффектно держится; рѣчь его всегда изысканно красива и колоритна; для каждаго чувства и настроенія у него готовъ поэтическій образъ, сравненіе, метафора; онъ всегда передъ нами не въ обыденномъ своемъ одѣяніи, а всего чаще въ историческомъ костюмѣ, который онъ выдаетъ за истинный или археологически вѣрно воспроизведенный.

Но всѣ такія попытки объявить войну „прозѣ даннаго момента“, всѣ старанія съ нѣкоторымъ чувствомъ брезгливости отвернуться отъ мелочей будничной суеты—лишь милый самообманъ, которому подпадаютъ эти чуткія музыкальныя и поэтическія натуры. Онѣ въ своемъ творчествѣ остаются въ тѣхъ же границахъ своего времени, въ тѣхъ же тѣсныхъ стѣнахъ современности, и всѣ ихъ видѣнія—не что иное, какъ „современная“ имъ истина, въ своеобразномъ лишь одѣяніи. Въ ихъ поэтической концепціи эта истина является только по возможности закругленной, законченной, тогда какъ во всей окружающей ихъ „прозѣ“, она находится въ хаотическомъ состояніи боренія и какъ бы раздроблена на части.

Но, однако, какъ часто хвалимъ мы или порицаемъ такихъ поэтовъ за то, что они не живутъ со своимъ вѣкомъ, и тѣмъ самымъ признаемъ за ними какъ будто возможность изъ ко-

леи современной жизни перескочить въ какую-то иную. Всего чаще, впрочемъ, мы ихъ порицаемъ и говоримъ имъ, что они „улетѣли въ даль“ или „отстали“. Мы руководимся въ данномъ случаѣ ихъ повидимому пренебрежительнымъ отношеніемъ къ тѣмъ вопросамъ, которые насъ задираютъ за живое, и не хотимъ мы простить нашему избалованному собесѣднику того, что онъ живетъ въ мірѣ призраковъ, а потому иногда зѣваетъ, когда мы сердимся или плачемъ. Обида наша въ данномъ случаѣ болѣе понятна, чѣмъ наше порицаніе. Конечно, много есть людей, и въ томъ числѣ поэтовъ, которые, дѣйствительно, тонутъ въ туманной мечтѣ или „отстаютъ“ отъ вѣка и плетутся за историческимъ моментомъ, живя идеями и чувствами, которымъ дѣйствительность давно перестала соотвѣтствовать. Но такіе люди сами въ себѣ носятъ свое отрицаніе, такъ какъ никто не замѣчаетъ ихъ присутствія. И, конечно, не по ихъ адресу раздаются наши упреки.

Мы несправедливы въ такихъ упрекахъ, такъ какъ въ видѣніяхъ, аллегоріяхъ, призракахъ, созданныхъ фантазіей истинныхъ поэтовъ, бьется тотъ же пульсъ жизни, что и въ нашихъ повседневныхъ спорахъ. Иной разъ самая господствующая идея историческаго момента — та, которая придаетъ ей міровой смыслъ — и наиболѣе широко разлитое настроеніе данной минуты выражены именно въ такихъ фантастическихъ грезахъ, которыя съ виду находятся въ вызывающемъ и враждебномъ противорѣчіи съ обыденной жизнью и со всѣмъ, въ чемъ мы въ данный моментъ полагаемъ ея наибольшую цѣнность. Обобщить житейскіе факты, возвести ихъ до символа, дать ихъ общую формулу—художественную, образную формулу, — весь этотъ процессъ отвлеченной поэтической мысли принимаетъ иногда такую произвольную форму, что она кажется какъ бы на зло самой жизни созданной. И она часто сердитъ насъ: и намъ кажется, что творцы этихъ формъ чужды намъ и отстаютъ отъ насъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они идутъ съ нами ровнымъ шагомъ, но только не рядомъ, а нѣсколько поодаль. И если надъ кѣмъ эти по-

эты-мечтатели, поклонники свободной фантазіи, творятъ истинное насиліе, такъ, во всякомъ случаѣ, не надъ современностью, а надъ тѣмъ прошлымъ, у котораго они всего чаще и охотнѣе заимствуютъ весь внѣшній инвентарь для своихъ разсказовъ и пѣсенъ.

Исторія литературныхъ образовъ въ недавнемъ нашемъ прошломъ можетъ подтвердить это. Какъ далека была съ виду отъ дѣйствительной жизни вся наша сентиментальная литература эпохи Карамзина и Жуковскаго, а равно и современная ей классическая школа двадцатыхъ годовъ. Какіе-то пастухи и пастушки, салонные молодые люди на французскій манеръ, крестьяне, живущіе по рецепту Жакъ-Жака, Вертеры въ русскомъ костюмѣ, рыцари и палладины, монахи и трубадуры, отшельники и всѣ чины ангельскіе и дьявольскіе,— что они имѣли общаго съ эпохой Александра I, Штейна, Сперанскаго, Мордвинова и другихъ? Что съ этой эпохой имѣли общаго Катоны и Цинцинаты, Тибуллы и Катуллы, Деліи и Дафны и весь перелицованный Олимпъ? Конечно, во всѣхъ этихъ образахъ и картинахъ узнать русскую жизнь было невозможно. Ея реальной внѣшности эта сентиментальная и классическая поэзія не отражала. Но ни для кого не тайна, что именно въ этихъ призракахъ, всего чаще и, пожалуй, всего нагляднѣе олицетворялись и воплощались *господствующія идеи* Александровскаго вѣка, и въ воскресшихъ покойникахъ оказывалось больше жизни, чѣмъ во многихъ живыхъ людяхъ. Нѣжное и жизнерадостное, и къ тому же гуманное сердце и либерально настроенный умъ — весь такъ называемый „пафосъ“ александровской эпохи нашелъ свою поэтическую форму въ этихъ призракахъ, которые стали смѣшны и жалки, какъ только устарѣли тѣ идеи и чувства, которые на время облеклись въ нихъ.

Прошли года, наступило николаевское время, и новая современная идея облеклась въ новую, правда нѣсколько неожиданную, форму, а именно — въ теоремы нѣмецкаго философскаго идеализма, который одновременно изъяснялъ на-

стоящее и творилъ безспорное насиліе надъ прошлымъ, такъ какъ и въ старой Руси хотѣлъ видѣть торжество своей излюбленной схемы. Императоръ Николай Павловичъ, вѣроятно, очень бы осерчалъ, если бы ему сказали, что въ философіи Шеллинга, Фихте и Гегеля нашла себѣ выраженіе „русская" мысль и притомъ самая живучая мысль его царствованія. А на самомъ дѣлѣ это было, дѣйствительно, такъ. Отвлеченная философская мысль, съ русской жизнью не имѣвшая, повидимому, никакихъ точекъ соприкосновенія, была тѣмъ ковчегомъ, въ которомъ сохранена была для насъ „воля къ жизни"; эта философія была обобщеніемъ всѣхъ гуманныхъ идеаловъ, какими жила самая интеллигентная часть нашего общества, страдавшая отъ разлада этихъ идеаловъ съ фактами жизни, изнывавшая отъ жажды справедливости среди безправія и искавшая въ утвержденіи высшихъ началъ *„міровой"* жизни указанія на то, каково назначеніе *русскихъ* началъ въ мірѣ. Эта самая прогрессивная и плодотворная идея николаевской эпохи закуталась въ туманы нѣмецкой отвлеченной мысли частью изъ предосторожности, но главнымъ образомъ потому, что отвлеченная мысль была наиболѣе полной, удобной и поэтической формой для ея воплощенія.

Съ конца сороковыхъ годовъ въ нашей литературѣ, какъ извѣстно, все сильнѣе и сильнѣе стала сказываться реалистическая тенденція. Художникъ и мыслитель сталъ обращать свое вниманіе преимущественно на отдѣльныя явленія современной ему жизни, сталъ изучать ихъ, изображать ихъ и не торопился ихъ обобщеніемъ. Ему былъ дорогъ самый фактъ и его ближайшій общественный смыслъ. Съ наступленіемъ новой эры, со средины пятидесятыхъ годовъ, въ эпоху усиленной общественной работы и кропотливаго детальнаго изученія дѣйствительности, въ эпоху политическихъ бурь, реализмъ въ искусствѣ крѣпъ и развивался; онъ сталъ господствующей литературной силой, потому что выражалъ господствующія позитивныя и утилитарныя идеи. Царствованіе этого реализма длилось долго. Оно длится и до сего дня,

когда рядомъ съ нимъ начинаетъ пробиваться новое направленіе въ искусствѣ—видоизмѣненіе старой попытки иносказательно и символически выразить нѣкоторыя основныя идеи и чувства, какими живемъ мы въ настоящее время. Чудачества, уродливость, вычурное оригинальничанье и задоръ современнаго „символизма“ и „декадентства“ во всѣхъ его видахъ, конечно, можетъ служить предметомъ, и нападокъ, и насмѣшекъ. Но это неустановившееся литературное теченіе, и пока еще не нашедшее настоящаго своего выразителя, есть все-таки, съ одной стороны, попытка обобщить накипѣвшее негодованіе противъ буржуазной мелочности и пошлости, съ другой—стремленіе облечь въ образы возрастающій культъ сильной и свободной личности, т.-е. попытка символически выразить двѣ характерныхъ тенденціи современнаго культурнаго момента.

II.

Символическая, нереальная поэзія, берущая свои формы гдѣ угодно, только не въ настоящемъ, должна была, конечно, заглохнуть въ эпоху крайняго торжества реализма, столь враждебно относившагося ко всему, что только носило на себѣ хоть слабый отпечатокъ условности; и всѣ мы знаемъ, что въ эпоху пятидесятыхъ и послѣдующихъ годовъ „мечтатели“ всѣхъ оттѣнковъ были у насъ въ большомъ загонѣ. Этотъ фактъ должно признать, но отнюдь не нужно на него сердиться: невниманіе къ поэтическимъ обобщеніямъ и символамъ было въ тѣ годы психологической и исторической неизбѣжностью.

Несмотря, однако, на такія неблагопріятныя условія, русскому поэту нереалисту удавалось иногда и въ то время устоять на своей позиціи, правда съ большимъ трудомъ. Къ числу такихъ принадлежитъ Алексѣй Толстой, поэтъ преимущественно старины—русской и иноземной, любитель всевозможныхъ неземныхъ видѣній, историкъ, мечтатель и

фантазеръ, и вмѣстѣ съ тѣмъ участникъ и зоркій наблюдатель знаменитой эпохи нашего общественнаго обновленія.

III.

У большинства современниковъ поэзія Толстого успѣхомъ не пользовалась, и, кромѣ общихъ обвиненій въ недостаточной художественности, поэтъ не рѣдко подвергался нападкамъ за условность его поэтическихъ пріемовъ и за безцеремонное обхожденіе съ русской стариной; а онъ, какъ извѣстно, любилъ воспѣвать старину и, пожалуй, изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ былъ наибольшимъ археологомъ.

Что онъ обращался со стариной безцеремонно, это—правда, но такое обращеніе было умышленное. Тотъ, кто сталъ бы съ былинами, лѣтописями и старыми пѣснями въ рукахъ упрекать Толстого въ непониманіи прошлаго, обнаружилъ бы только свое нежеланіе понять поэта.

Для Алексѣя Толстого наше прошлое было вовсе не объектомъ безпристрастнаго изученія или родникомъ поэзіи: онъ искалъ въ немъ лишь внѣшней формы и готоваго убранства для заранѣе сложившихся взглядовъ и для поэтическаго настроенія, возникшаго независимо отъ этой старины.

Нашъ поэтъ былъ именно тѣмъ нереалистомъ, который хотѣлъ воплотить въ символическую форму свое сужденіе о настоящемъ, который желалъ уловленную имъ господствующую идею *своего* времени облечь въ старинное одѣяніе, вставить въ старинную оправу. Зачѣмъ было это дѣлать? Но это была тайна его романтической души. Онъ чувствовалъ себя и ловче и свободнѣе въ старомъ костюмѣ, хотя, конечно, это былъ перекроенный костюмъ, а иногда совсѣмъ фантастическій.

Алексѣй Толстой въ данномъ случаѣ далеко не былъ новаторомъ. Русскій поэтъ задолго до него привыкалъ смотрѣть на старину, какъ на богатый арсеналъ всевозможныхъ аксессуаровъ и нерѣдко пытался въ старомъ символѣ вопло-

тить современное ему дорогое понятіе, дорогое чувство, свой излюбленный идеалъ. Писали такъ до Толстого люди самыхъ разнообразныхъ партій и взглядовъ, и каждый хотѣлъ имѣть предковъ на своей сторонѣ. Слѣдя за развитіемъ творчества нашихъ писателей въ разныя эпохи, можно было бы, вопреки обычному порядку, написать интересное изслѣдованіе о вліяніи нашего настоящаго на наше прошлое. Вся кіевская Русь и московская, Псковъ и Новгородъ, могли бы дать богатый матеріалъ для такой исторіи. Такъ, напримѣръ, либерализмъ александровскаго царствованія тяготѣлъ, разумѣется, къ Новгороду и Пскову, благонамѣренные патріоты тридцатыхъ годовъ питали, конечно, пристрастіе къ Москвѣ, и это пристрастіе въ эпоху развитія славянофильской доктрины окрасилось даже слегка въ либеральный цвѣтъ. Языческая и кіевская Русь—та оставалась нѣсколько въ тѣни, такъ какъ въ первую половину XIX-го вѣка ее знали мало и настоящее ея изученіе началось лишь съ пятидесятыхъ годовъ, когда вопросъ о „старинѣ и народности“ сталъ такъ интересовать нашихъ этнографовъ, историковъ, археологовъ и собирателей народныхъ преданій и пѣсенъ. Но несмотря на скудость свѣдѣній у романистовъ и поэтовъ, и эта кіевская Русь также не избѣгла ихъ нашествія и они — еще съ XVIII-го вѣка — прививали ея полумиѳическимъ героямъ свои патріотическіе и религіозные взгляды.

Когда Алексѣй Толстой, въ вѣкъ торжества реализма и трезвой критики, въ своихъ стихахъ вновь вызвалъ старые историческіе тѣни и призраки, онъ не вводилъ, какъ видимъ, никакого новшества въ поэзію. Онъ слѣдовалъ тенденціи установленной, отнюдь не исчезнувшей даже въ современной ему литературѣ, публицистикѣ и наукѣ.

Онъ стоялъ на своей независимой вышкѣ, наблюдая борьбу современныхъ ему общественныхъ силъ и стараясь закрѣпить ея смыслъ въ какомъ-нибудь общемъ поэтическомъ образѣ.

И онъ нашелъ этотъ образъ: это была наша старая

Русь, и преимущественно Русь кіевская. Ее пожелалъ поэтъ сдѣлать истолковательницей новаго времени; ея обликомъ постарался онъ символически пояснить всѣ свои самыя современныя мысли объ истинномъ призваніи новой Россіи. Онъ совершилъ великое поэтическое насиліе надъ стариной, но зато вѣрно угадалъ смыслъ настоящаго. Сущность общественной борьбы его времени была имъ уловлена, не въ ея пылу и крайностяхъ, но въ самомъ ея зернѣ; и въ архаическихъ образахъ выразилъ поэтъ тотъ гуманный идеалъ, къ осуществленію котораго должны были привести тогдашніе споры, если бы случайности и страсти его не исказили и не отодвинули на долгое время его торжества.

Поэзія Толстого есть голосъ молодой Россіи, каковой ее себѣ рисовалъ не молодой человѣкъ, не страстный, не увлеченный борьбой, но гуманный и либеральный.

IV.

Чтобы избрать старину такой заступницей настоящаго, такимъ предлогомъ для его прославленія, нужно было любить ее, и любить не такъ, какъ историкъ любитъ свою науку, въ которой ему историческая истина всего дороже, а любить какъ поэтъ, который всегда, во всемъ ищетъ самого себя, своей мечты и вѣры. Алексѣй Толстой и былъ такимъ поэтомъ-историкомъ.

Что любишь, достоинства того всегда преувеличиваешь; и въ данномъ случаѣ нашъ поэтъ не только преувеличилъ смыслъ старины, но, конечно, подкрасилъ и внѣшній ея обликъ.

Какъ у него красивы эта любимая имъ легендарная и кіевская Русь и эта Русь московская, къ которой совсѣмъ даже не лежало его сердце! Эффектовъ много; обиліе красокъ поразительное.

Убранство хоромъ, блескъ оружія, богатство костюмовъ напоминаютъ волшебную сказку или оперу. И къ этому присоединяется сила и изысканная грамотность рѣчи, мело-

дичность чувствъ, плавность жестовъ и основной торжественный тонъ, въ которомъ выдержаны всѣ баллады Толстого и пѣсни. Въ этомъ намѣреніи умышленно разукрасить старину нашъ поэтъ и не думалъ извиняться, потому что былъ увѣренъ, что такое нарушеніе правды исторической должно пойти на пользу правды современной. Художникъ придалъ новый блескъ старинѣ, онъ освѣтилъ ее бенгальскимъ огнемъ, она стала походить на причудливый фантастическій міръ западно-европейской романтики, но зато она получила ту гибкость и живость, которыя нужны были поэту, чтобы вложить въ нее современный смыслъ и содержаніе.

Художественное чутье подсказало автору, что блѣдная, туманная языческая миѳологія славянъ едвали можетъ дать матеріалъ для поэтическаго живого образа; и художникъ уберегъ себя отъ литературнаго шаблона: всевозможнымъ Стрибогамъ, Даждь-богамъ, Чернобогамъ, Ладамъ и Лелямъ онъ отвелъ въ своемъ творчествѣ ровно столько мѣста, сколько нужно было, чтобы они не мѣшали. Всю силу своего воображенія онъ сосредоточилъ на образахъ легендарныхъ и историческихъ, и наша старина, довольно однообразная и однотонная въ своемъ истинномъ историческомъ покровѣ, превратилась подъ перомъ Алексѣя Толстого въ узорную романтическую грезу, которая выдаетъ иногда даже какъ будто не русское, а иностранное свое происхожденіе.

Читаемъ мы какое-нибудь описаніе битвы, гдѣ рядомъ съ княземъ Ярославомъ его своякъ Гаконъ, слѣпой старикъ, разъяренный боемъ, рубитъ направо и налѣво, и своихъ, и чужихъ—и намъ вспоминаются поэтическія страницы пѣсни о Роландѣ. Читаемъ мы какъ князь Ростиславъ лежитъ на днѣ рѣчномъ въ объятіяхъ русалокъ, какъ ихъ веселый рой его цѣлуетъ и расчесываетъ его волосы, какъ просыпается онъ иногда и смотритъ мутными очами, зоветъ жену и брата и вновь засыпаетъ—и мы не можемъ не вспомнить аналогичныхъ нѣмецкихъ балладъ о разныхъ Никсахъ и Лорелеяхъ. Слышимъ ли мы пѣснь стариннаго пѣвца, какъ по лѣсу те-

кутъ ея переливы, видимъ ли мы его, какъ духовнымъ окомъ онъ прозрѣваетъ всѣ явленія міра, какъ взоръ его проникаетъ, и въ синее море, и въ роскошь земли и въ „начала цвѣтныхъ каменій"—мы невольно вспомнимъ старинныхъ бардовъ и тѣхъ пѣвцовъ-прорицателей, которымъ, вмѣстѣ съ даромъ пѣнія, былъ данъ даръ прозрѣнія въ тайны природы. Наконецъ, стоитъ подслушать любовныя рѣчи въ хоромахъ князя Владиміра или тихія любовныя рѣчи Алеши Поповича, и мы забудемъ, что мы въ Россіи. Покажется намъ, что мы въ какомъ-нибудь замкѣ на югѣ Франціи, слушаемъ тенціоны и баллады, и всѣ наши богатыри покажутся переодѣтыми трубадурами.

Много такихъ историческихъ грѣховъ взялъ на свою душу художникъ, но вполнѣ сознательно.

Пересозданная, разукрашенная, въ обновленномъ и подчищенномъ одѣяніи, эта старина должна была воскреснуть, чтобы живымъ говорить о живомъ, современникамъ о современномъ.

И, дѣйствительно, какъ сейчасъ увидимъ, самые существенные вопросы современности были объединены, обобщены и символизированы въ этомъ странномъ, необычномъ, эффектномъ творчествѣ художника, котораго никто не желалъ признать своимъ, и который самъ гордился своей самостоятельностью и независимостью отъ всякихъ клятвъ передъ какимъ бы то ни было знаменемъ, за исключеніемъ одного самаго невоинственнаго и безобиднаго — знамени красоты.

V.

И подвиги славитъ минувшихъ онъ дней,
И все, что достойно, вѣнчаетъ:
И доблесть народовъ, и правду князей —
И милость могучихъ онъ въ пѣснѣ своей
На малыхъ людей призываетъ.
Привѣтъ полоненому шлетъ онъ рабу,
Укоръ градоимцамъ суровымъ,
Насилье-жъ надъ слабымъ, съ гордыней на лбу,
Къ позорному онъ пригвождаетъ столбу
Грозящимъ, пророческимъ словомъ.

Талантъ Алексѣя Толстого достигъ своего полнаго цвѣтенія въ эпоху большого народнаго бѣдствія, съ котораго, какъ извѣстно, началась эра нашего общественнаго перерожденія. Мы имѣли тогда полное право гордиться этимъ обновленіемъ и возлагать на него большія надежды, но мы не могли не чувствовать нашего національнаго униженія, и въ сердцѣ каждаго патріота раскаяніе во грѣхахъ было сопряжено съ чувствомъ уязвленнаго національнаго самолюбія. Хоть и смѣшно, и безплодно, послѣ битвы махать кулаками, но человѣкъ какъ-то не можетъ удержаться отъ этого непроизвольнаго движенія, въ которомъ его самолюбію дано хоть призрачное удовлетвореніе.

Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что нашъ мирный поэтъ, одно время самъ участникъ крымской кампаніи, въ своихъ стихахъ допускалъ бранные трубные гласы. Они у него звучали не часто, но довольно громко.

Храбростью и удалью русскихъ сказочныхъ богатырей онъ гордится, какъ подвигами исторіей завѣренныхъ предковъ. Гордится онъ также и нашимъ родствомъ съ храбрыми варягами, съ которыми мы нѣкогда были въ личной уніи. Ихъ суровые, сѣверные рыцарскіе облики онъ помѣщаетъ въ галлереѣ портретовъ славянскихъ или русскихъ витязей, пріобщая ихъ боевую славу къ славѣ нашей родины.

Иной разъ для этой боевой славы поэтъ готовъ пожертвовать даже своимъ религіознымъ чувствомъ. Въ одной изъ лучшихъ своихъ балладъ онъ съ непритворнымъ бравурствомъ и радостью воспѣваетъ побѣду язычника-славянина надъ нѣмцами-христіанами, и на этотъ разъ хороводы поморскихъ дѣвъ вокругъ Перуновой божницы ему милѣй христіанскихъ молебновъ, которые монахи-нѣмцы въ испугѣ служатъ въ своемъ роскильдовскомъ соборѣ [„Боривой“]. Но, конечно, сочетаніе военной отваги съ христіанской вѣрой имѣетъ для Толстого двойную прелесть и всегда необычайно сильно дѣйствуетъ на его воображеніе. Подъ наплывомъ воинственно-религіозныхъ чувствъ онъ пишетъ, напр., такія

художественно законченныя картины, какъ „Ночь передъ приступомъ", въ лаврѣ, во время польской осады.

Въ этихъ и подобныхъ имъ [весьма, впрочемъ, немногихъ] стихотвореніяхъ нѣтъ, однако, настоящаго аррогантнаго призыва къ нападенію и поэтъ восхваляетъ лишь отвагу и силу человѣка, вынужденнаго защищаться. Если и случается подчасъ русскому человѣку стать хищникомъ, говоритъ онъ—такъ не отъ злого сердца, а потому, что „одолѣваетъ его сила-удаль, не чужая, а своя удаль богатырская, и въ сердцѣ та удаль не вмѣстится и сердце то отъ удали разорвется" [„Ушкуйникъ"]. Но такая удаль—исключеніе; она въ народѣ есть—это безспорно, и пріятно сознавать, что она имѣется на случай, но было бы очень прискорбно, если бы она часто разгуливалась. Въ стихахъ Алексѣя Толстого эта удаль вступаетъ въ свои права только тогда, когда она нужна для самозащиты. Его патріотическая національная политика, если такъ можно выразиться, оборонительная, а не наступательная.

Это очень характерно именно для его времени, когда въ одной части общества, которая желала себя во что бы то ни стало утѣшить въ трудную годину, патріотизмъ принялъ бравурный задорный тонъ и когда другая часть общества совсѣмъ вычеркивала изъ своего міровоззрѣнія этотъ военный патріотизмъ, какъ вообще несогласный съ либеральной демократической программой и безусловно вредный для внутренняго нашего развитія. Поэтъ сталъ между этими крайностями и былъ, конечно, правъ, такъ какъ при разгорающейся борьбѣ за существованіе всякая личность и всякій народъ, чувствующій за собой духовную силу, не можетъ не озаботиться о своей силѣ физической, которая должна гарантировать ему возможность спокойнаго развитія. Военный патріотизмъ Алексѣя Толстого былъ именно такимъ сознаніемъ своего права на самозащиту.

VI.

За нашимъ поэтомъ давно установилась слава, какъ за пѣвцомъ религіозныхъ чувствъ и настроеній. Они попадаются часто въ его стихотвореніяхъ. Но характерна—ихъ относительно слабая связь съ мотивами національными. Въ нашей литературѣ эти двѣ темы, патріотическая и религіозная, были издавна связаны, и даже въ эпоху, когда писалъ А. Толстой, было не мало поэтовъ, которые не могли себѣ представить религіозный мотивъ безъ аккомпанимента мотива патріотическаго. У Алексѣя Толстого это сочетаніе встрѣчается крайне рѣдко—всего два раза: въ легендѣ о Ругевитѣ и въ поэмѣ о крещеніи князя Владиміра. И въ томъ, и въ другомъ стихотвореніи изображена заря восходящей новой религіозной вѣры.

Стоялъ этотъ богъ Ругевитъ на своемъ островѣ Ругѣ, зорко глядѣлъ своими семью глазами, грозный и славный. Такъ, по крайней мѣрѣ, вѣрили тѣ, которые его почитали, пока къ ихъ острову не подошла русская сила. И затрещалъ подъ звономъ вражьей стали и рухнулся на землю Ругевитъ... Четырнадцать воловъ повлекли его по лугу и волокли къ морю. Рыдая, бѣжали за нимъ, и мужи, и старцы, и женщины, и дѣти, и выли въ неслыханной печали. „Встань!“ кричали они ему. „Разгроми враговъ нашихъ!“

Но онъ не всталъ. Гдѣ, объ утесъ громадный
Дробясь, кипитъ и пѣнится прибой,
Онъ съ крутизны низвергнутъ безпощадно;
Всплеснувъ, валы его схватили жадно
И унесли, крутя передъ собой.
Такъ поплылъ прочь отъ нашего онъ края
И отомстить врагамъ своимъ не могъ.
Дивились мы, другъ друга вопрошая:
«Гдѣ-жъ мощь его? Гдѣ власть его святая?
Нашъ Ругевитъ ужели былъ не богъ!»
И пробудясь отъ перваго испугу,
Мы не нашли былой къ нему любви
И разошлись въ раздуміи по лугу,
Сказавъ: «Плыви, въ бѣдѣ не спасшій Ругу
Дубовый Богъ! Плыви себѣ, плыви!»

Если все это стихотвореніе не есть иносказаніе, а именно замаскированный намекъ на неизбѣжность отказа отъ нѣкоторыхъ современныхъ идоловъ и укоренившагося современнаго идолослуженія, то сила религіозной истины выражена въ этихъ стихахъ необычайно ярко. Съ какой быстротой истинная религія вытѣснила изъ сердецъ людей старую вѣру! На самомъ дѣлѣ, быть можетъ, такъ никогда не бываетъ: старая вѣра имѣетъ свою истину, и люди всегда цѣпко за нее держатся; но именно такимъ можетъ представляться религіозное перерожденіе поэту, для котораго долженствующее становится на мѣсто сущаго; и мы вполнѣ понимаемъ нашего гуманиста, который предпочелъ торжество истины надъ ложью изобразить какъ внутренній *мирный* процессъ перерожденія язычниковъ, сначала плачущихъ и кричащихъ, а затѣмъ въ раздумьи стоящихъ надъ поверженнымъ богомъ, чѣмъ изобразить его какъ слѣдствіе военнаго погрома.

Религіозность Толстого такъ же невоинственна, какъ и и его патріотизмъ. Для него область религіозныхъ чувствъ—самая интимная сфера психической дѣятельности человѣка и онъ не любитъ сочетать ее съ проявленіями иныхъ чувствъ, прорывающихся наружу съ шумомъ.

Въ такомъ же мирномъ тонѣ разсказана поэтомъ и исторія обращенія князя Владиміра—актъ, который въ дѣйствительности обошелся, конечно, вовсе не такъ благополучно, какъ этого хотѣлось поэту. Князь Владиміръ въ первой части „Пѣсни о походѣ Владиміра на Корсунь"—былинный удалецъ съ весьма развязными замашками: и пограбить не прочь, и съ царевной Анной мало деликатенъ. Но свершилось крещеніе, и онъ—рыцарь-крестоносецъ:

Свершился въ могучей душѣ переломъ,
И взоръ его миренъ и кротокъ...
И мигъ тишины и молчанья насталъ
И князю, въ сознаніи новыхъ началъ,
Открылося новое зрѣнье:
Какъ сонъ вся минувшая жизнь пронеслась,
Почуялась правда Господня;

И брызнули слезы впервые изъ глазъ...
И палъ на дружину Владиміра взоръ:
— Вамъ, други, доселѣ со мною
Стяжали побѣды лишь мечъ да топоръ,
Но время настало, – и мы съ этихъ поръ
Сильны еще силой иною!
Что смутно въ душѣ мнѣ сказалось моей,
То ясно вы нынѣ познайте:
Дни правды дороже воинственныхъ дней!..

Съ нашей стороны было бы большой наивностью повѣрить, что князь Владиміръ былъ съ Алексѣемъ Толстымъ однихъ мнѣній, но наивно было бы также ставить поэту въ вину эти анахронизмы. Это была опять современная мысль въ старинномъ одѣяніи, и мысль очень характерная для нашего художника.

Въ эпоху, когда въ глазахъ большинства религія была неразрывно связана съ понятіемъ о государственности, когда она для многихъ была дѣломъ чисто оффиціальнымъ, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ для другой части общества она совсѣмъ не существовала и была низведена на степень суевѣрія— нашъ поэтъ отвелъ ей въ своемъ міросозерцаніи принадлежащее ей по праву законное мѣсто. Онъ прославлялъ ее какъ актъ внутренняго просвѣтленія, какъ сердечное общеніе съ божествомъ, какъ нисшествіе Божьей благодати, общительной, мирной, настраивающей человѣка на самыя гуманныя чувства. Именно въ самомъ гуманномъ, а не въ какомъ-либо иномъ—богословскомъ, философскомъ, политическомъ или полицейскомъ смыслѣ понималъ религію нашъ писатель.

VII.

Великій народъ, сильный и стойкій, исповѣдующій гуманную религію, имѣлъ, конечно, въ глазахъ поэта и свои нравственныя обязательства въ отношеніи къ своимъ сосѣдямъ. Противопоставленіе міра западнаго и міра восточнаго, вопросъ о степени ихъ обоюднаго вліянія не могъ не трево-

гь Толстого, истиннаго гражданина своего времени—того нaго времени, когда понятія „идти впередъ“ или „идти адъ“ такъ часто отожествлялись съ понятіями „идти на токъ“ или „на западъ“.

Алексѣй Толстой всегда былъ сторонникомъ западной ьтуры—но и это западничество было необычайно мирнаго ва, и уже одно то, что онъ такъ любилъ нашу старину—ь и призрачную—показываетъ, что мысль объ органичей связи старой и новой Россіи уберегла его отъ увлеія всякой крайностью. И какъ въ другихъ взглядахъ, ъ и въ этомъ взглядѣ на наше общеніе съ западомъ удержался на самой мирной и гуманной точкѣ зрѣнія. Мысли разорвать съ западной цивилизаціей, съ нашими адными учителями, не допускалъ, какъ утверждаетъ нашъ тъ, еще и мудрый князь Владиміръ. Когда у него на пирѣ ѣй Тугаринъ сталъ пророчить Россіи, и татарскій погромъ, осковское самовластіе; когда Змѣй сталъ говорить, что „на честь научимся класть поруху, и всласть наглотавсь татарщины, назовемъ ее Русью“, что мы „поссоримся честной стариной и на срамъ великимъ предкамъ, не слуя голоса родной крови, повернемся спиной къ Варягамъ, ицомъ на востокъ, къ Обдорамъ“—Владиміръ отвѣчаетъ насъ:

Вишь выдумалъ намъ
Какимъ угрожать онъ позоромъ!
Чтобъ мы отъ Тугарина приняли срамъ!..
Чтобъ спины подставили мы батогамъ!
Чтобъ мы повернулись къ Обдорамъ!
Нѣтъ! шутишь! Живетъ наша русская Русь,
Татарской намъ Руси не надо!
Солгалъ онъ, солгалъ, перелетный онъ гусь:
За честь нашей родины я не боюсь...
А еслибъ надъ нею бѣда и стряслась,
Потомки бѣду перемогутъ!
— Бываетъ,—примолвилъ свѣтъ-солнышко князь,—
Неволя заставитъ пройти черезъ грязь,
Купаться въ ней—свиньи лишь могутъ!

Князь Владиміръ былъ вообще очень неравнодушенъ къ своимъ варяжскимъ предкамъ, и эту симпатію раздѣлялъ и его пѣвецъ. Въ своихъ балладахъ поэтъ отвелъ, какъ мы сказали, нашимъ скандинавскимъ родственникамъ не меньше мѣста, чѣмъ русскимъ богатырямъ, и всегда съ особой любовью говорилъ о тѣхъ узахъ дружбы и родства, которыя ихъ связывали, т.-е. связывали въ его поэтическомъ представленіи.

Эта частью измышленная поэтомъ, частью разукрашенная дружба и любовь варяговъ и русскихъ должна была какъ будто служить символическимъ прообразомъ нашего истиннаго отношенія къ нашимъ сосѣдямъ. Не склоняться передъ западомъ, не благодѣтельствовать его новой истиной, призваны мы; мы должны на равныхъ правахъ участвовать съ нимъ въ общей битвѣ, въ общей борьбѣ человѣчества за свои идеалы.

И какими нѣжными красками обрисовалъ нашъ поэтъ это варяго-русское соглашеніе! Почему же именно варяжское—можемъ мы спросить—куда же дѣлись другія націи? Вопросъ законный, на который однако отвѣтить не трудно, если вспомнить, въ какихъ добрыхъ отношеніяхъ мы находились въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ съ французами, англичанами и итальянцами. Положимъ, и на нѣмцевъ мы были въ тѣ годы въ большой претензіи, но объ этомъ можно было забыть, отдавшись мечтамъ и надеждамъ; варяги лукавили съ нами, но насъ не изранили. Алексѣй Толстой простилъ имъ это лукавство. При случаѣ напоминалъ имъ о томъ, какъ въ старину славянскій мечъ былъ страшенъ ихъ предкамъ, но затѣмъ въ назиданіе сынамъ сталъ пѣть о старой дружбѣ и любви отцовъ, и пѣлъ очень нѣжно и картинно.

Онъ разсказалъ намъ, какъ нашъ князь Ярославъ выручалъ изъ бѣды варяга Гакона. Онъ пѣлъ о любви Гаральда къ „звѣздѣ его Ярославнѣ“, Гаральда, который какъ истинный трубадуръ, и въ Греціи, и въ Италіи, среди подвиговъ

и битвъ, не могъ забыть спокойныхъ водъ Днѣпра и любезнаго Кіева. Цѣной великихъ подвиговъ и трудовъ купилъ онъ, наконецъ, сердце своей невѣсты, и русская княжна сѣла на норвежскомъ тронѣ. И тѣсно въ мечтахъ поэта были связаны судьбы этихъ двухъ царствующихъ домовъ; и погибли они въ одно время: Гаральдъ былъ убитъ въ Англіи во время своего набѣга на саксовъ, и тогда же погибъ и сватъ его Изяславъ—сынъ Ярославовъ—въ кровавой сѣчѣ съ половцами. [„Три побоища“].

Все это, конечно, поэтическія фантазіи, которыя въ свое время, въ эпоху торжествующаго реализма и трезвой критики могли вызвать лишь улыбку и недоумѣніе въ виду отсутствія въ нихъ исторической и, повидимому, даже современной правды. Но эта современная правда въ нихъ была. Въ эпоху рѣшительной схватки между славянофилами и западниками, въ годы очень повышенной вражды къ иностранцамъ въ одной части общества и безконтрольной вѣры въ послѣднее слово запада среди другихъ общественныхъ круговъ—поэтическіе образы художника выразили ту истину, которая лежала посреди спорящихъ мнѣній. Они ее выразили, конечно, въ видѣ намека, очень неяснаго въ которомъ, однако, просвѣчивала основная мысль автора. Это была мысль о любовномъ и дружественномъ сліяніи двухъ міровъ, восточнаго и западнаго, на почвѣ общечеловѣческихъ чувствъ и идей.

VIII.

Мимолетно касается нашъ поэтъ въ своихъ стихахъ и вопроса славянскаго. Славянофиломъ Толстой не былъ; онъ даже рѣзко расходился съ славянской партіей въ своихъ антипатіяхъ къ Москвѣ, но при облаченіи своего религіознаго и патріотическаго созерцанія въ живописные старинные костюмы не могъ не столкнуться со славянофилами въ пріемахъ обращенія со старымъ матеріаломъ, не говоря уже о томъ, что какъ славянскій и національный поэтъ—какимъ

онъ желалъ быть—онъ могъ при случаѣ раздѣлять съ ними и нѣкоторыя изъ ихъ утопій и кое-какіе восторги.

На такое частичное совпаденіе взглядовъ Алексѣя Толстого со взглядами славянофиловъ было уже обращено вниманіе нашихъ изслѣдователей *) и вопросъ этотъ въ общихъ чертахъ рѣшенъ удовлетворительно. Совпаденія, дѣйствительно, попадаются; они не указываютъ ни на какое вліяніе или заимствованіе, они получились какъ естественное слѣдствіе одного вполнѣ законнаго желанія—связать необходимой органической связью прошедшее съ настоящимъ и указать, что многое хорошее и цѣнное, что въ этомъ настоящемъ существуетъ, существовало и раньше, что вообще новая эпоха не есть отрицаніе старины, а лишь ея дополненіе и развитіе. Такая уравновѣшенная мысль должна была придти въ голову человѣку, не поглощенному всецѣло борьбой минуты, историку, который имѣлъ досугъ сдѣлать историческія справки, и поэту, который любилъ старину, какъ созерцатель и мечтатель. Между двумя борющимися станами поклонниковъ старины и апостоловъ новизны, Алексѣй Толстой былъ случайнымъ гостемъ, не поклявшимся никому въ вѣрности. Между нимъ и этими станами не было полнаго союза, никто изъ нихъ своей „пристрастной ревностью не могъ купить его“ и споръ съ обоими сталъ для него „тайнымъ жребіемъ“. Стоялъ онъ между славянофилами и западниками совсѣмъ одиноко, и поэзія его была на самомъ дѣлѣ какъ будто тѣмъ колоколомъ, въ который съ налета грянула тяжелая бомба. Не онъ, а она разлетѣлась въ осколки, хотя и заставила его вздрогнуть, и мѣднымъ своимъ звукомъ звать людей на бой. На бой противъ кого?—спросимъ мы. Не противъ одной изъ спорящихъ сторонъ въ ихъ цѣломъ, а только противъ тѣхъ крайностей, которыя отдаляли ихъ обѣихъ отъ просвѣщенной и гуманной идеи, которую исповѣдывалъ художникъ.

*) См. интересную статью *Г. Князева* «Хомяковъ и гр. А. Толстой». «Русскій Вѣстникъ» 1901 г., Ноябрь.

Полнаго исчерпывающаго изложенія своего отношенія къ западникамъ и славянофиламъ Алексѣй Толстой, конечно, не далъ въ своихъ стихахъ, и не могъ дать. Основнымъ догматамъ славянофильскаго ученія онъ оставался чуждъ: ни богословскихъ ихъ размышленій, ни канонизаціи Москвы, ни мечтаній на тему о славянскомъ откровеніи, которое должно обновить міръ новой истиной—онъ не ввелъ въ свое поэтическое міросозерцаніе, и развѣ только, когда говорилъ объ отношеніи власти къ народу, онъ въ поэтическихъ образахъ какъ будто припоминалъ славянофильскія теоріи о взаимоотношеніи царя и земли. Однажды только въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности, очевидно подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ восточной войны, онъ на очень короткій срокъ сталъ воинственнымъ пѣвцомъ общеславянской идеи.

Невинный поэтическій образъ, наивная картинка природы, некошенная степь съ темноголубыми колокольчиками, грустно качающимися и звенящими въ день веселый мая, почему-то вдругъ заставила поэта настроить свою пѣснь на вызывающе-воинственный ладъ. Снилось ему, что несется онъ по полю верхомъ на конѣ. Летитъ этотъ конь какъ стрѣла, и куда летитъ—не знаетъ. Конь дикій, непокорный славянскій конь—не привыкшій ни къ какой выправкѣ и совсѣмъ неученый. Поэтъ обращается къ нему съ восторженнымъ окликомъ:

Есть намъ, конь, съ тобой просторъ!
Міръ забывши тѣсный,
Мы летимъ во весь опоръ
Къ цѣли неизвѣстной!
Чѣмъ окончится нашъ бѣгъ?
Радостью-ль? кручиной?
Знать не можетъ человѣкъ—
Знаетъ Богъ единый.

И несется онъ на этомъ конѣ въ свѣтлый престольный градъ русскій, и видитъ, какъ братья славяне съ запада идутъ къ русскому царю на поклоненіе. Со свѣтлымъ лицомъ, въ сіяніи новой славы, встрѣчаетъ ихъ величавый хозяинъ.

„Хлѣбъ да соль! И въ добрый часъ!
Говоритъ державный:
Долго, дѣти, ждалъ я васъ
Въ городъ православный".
И они ему въ отвѣтъ:
«Наша кровь едина,
И въ тебѣ мы съ давнихъ лѣтъ
Чаемъ господина!»

И кончается эта милая идиллія звономъ колоколовъ и гуслей: пиръ идетъ горой и летитъ отъ него шумъ на дальній югъ, къ туркѣ и къ венгерцу, и въ особенности нѣмцамъ не по нутру становится отъ всей этой славянской суматохи.

Лучшаго боевого стихотворенія въ славянофильскомъ духѣ трудно выдумать, и славянофилы остались имъ очень довольны, не менѣе, чѣмъ и другимъ извѣстнымъ стихотвореніемъ, въ которомъ Толстой изображаетъ все славянское племя въ видѣ стоговъ, разсѣянныхъ на широкомъ полѣ. Были эти стога цвѣтами и ихъ покосили, раскидали, и черныя воро́ны и галки свили на нихъ гнѣзда.

Ой орелъ, орелъ, нашъ отецъ далекій,
Опустися къ намъ, грозный, свѣтлоокій!
Ой орелъ, орелъ! Внемли нашимъ стонамъ!
Долѣ насъ срамить не давай воро́намъ!
Накажи скорѣй ихъ высокомѣрье,
Съ неба въ нихъ ударь, чтобъ летѣли перья!

Какъ восторженно должно было биться славянофильское сердце, внимая этому призыву! Но въ особенно игривое настроеніе могло привести всѣхъ поклонниковъ старой Руси стихотвореніе о государѣ-батюшкѣ, Петрѣ Алексѣевичѣ, который, презрѣвъ сорную крупу своей роди́ны, досталъ за моремъ свѣжей крупицы и заварилъ такую кашу, которую дай Богъ расхлебать дѣтушкамъ.

Такіе пѣсни и намеки какъ будто ясно опредѣляли, къ какому стану принадлежалъ нашъ поэтъ, и, дѣйствительно, либеральный станъ на него косился и, наконецъ, совсѣмъ разсердился, когда поэтъ позволилъ себѣ, впадая въ тонъ буфонной сатиры, высмѣять довольно грубо крайнихъ про-

рессистовъ-радикаловъ и демократовъ въ извѣстныхъ своихъ
уточныхъ стихотвореніяхъ. Поэтъ былъ, конечно, неправъ,
смѣивая угловатыя внѣшнія проявленія нашего прогрессив-
аго движенія и не желая, повидимому, отдать должное его
нутренней цѣнности; но неправы были и хулители поэта,
оторые увидали въ этихъ памфлетахъ исповѣдь публициста
политика, а не месть обиженнаго эстетика, чѣмъ эти стихо-
воренія на самомъ дѣлѣ были.

Но въ общемъ, если выдѣлить всѣ славянскіе мотивы въ
тихахъ Толстого, то ихъ окажется весьма немного и если
спомнить, какъ отрицательно поэтъ относился къ нѣкото-
орымъ основнымъ догматамъ славянофильскаго ученія и
акъ о другихъ умалчивалъ, то и въ данномъ случаѣ мы
видимъ его стоящимъ на независимой позиціи со своими
амеками и поэтическими символами, въ которыхъ отража-
ись его собственная любовь къ славянскому племени, не
оинственному по духу, но сильному своимъ національнымъ
ознаніемъ въ минуту самообороны.

IX.

Въ намекахъ и символахъ высказывалъ нашъ поэтъ свои
ысли и о другомъ, самомъ важномъ вопросѣ своего времени,
именно—о вопросѣ объ отношеніи власти къ народу, надъ
оторымъ она поставлена.

Алексѣй Толстой никогда политикомъ не былъ, и выразилъ
ти свои взгляды лишь въ самой общей формѣ. Вниманіе свое
нъ остановилъ на судьбѣ трехъ основныхъ силъ нашей
ревней исторіи. Эти силы были—народъ, вѣче и царь.

Въ эпоху, когда простой народъ сталъ предметомъ все-
сторонняго изученія и когда литература съ особенной добро-
овѣстностью принялась изображать его современную жизнь,
ашъ романтикъ предпочелъ всякимъ реальнымъ типамъ
пять условные символы, въ которые, однако, слѣдуя своему
равилу, втиснулъ современное содержаніе.

Къ „поклонникамъ“ народа Толстой не принадлежалъ, хотя въ личныхъ отношеніяхъ съ нимъ былъ образцовымъ гуманистомъ. Онъ былъ однимъ изъ поборниковъ идеи освобожденія, но въ его программу искупленія историческаго грѣха не входило преклоненіе передъ народной массой, какъ таковой, и въ минуту раздраженія поэтъ могъ наговорить много дерзостей либеральнымъ народникамъ и демократамъ, что онъ и дѣлалъ.

Что народъ былъ въ его глазахъ силой, и притомъ основной, краеугольной силой, объ этомъ краснорѣчиво говоритъ его извѣстная баллада объ Ильѣ Муромцѣ, къ которомъ, согласно научнымъ теоріямъ своего времени, онъ видѣлъ поэтическое олицетвореніе народной массы.

Подъ броней, съ простымъ наборомъ,
Хлѣба кусъ жуя.
Въ жаркій полдень ѣдетъ боромъ
Дѣдушка Илья...
И ворчитъ Илья сердито:
«Ну, Владиміръ, что-жъ?
Посмотрю я, безъ Ильи-то
Какъ ты проживешь!
Дворъ мнѣ, княже, твой не диво,
Не пировъ держусь;
Я мужикъ неприхотливый,
Былъ бы хлѣба кусъ!..
Всѣ твои богатыри-то,
Значитъ, молодежь—
Вотъ безъ стараго Ильи-то
Какъ ты проживешь!
Не терплю богатыхъ сѣней,
Мраморныхъ тѣхъ плитъ,
Отъ царьградскихъ отъ куреній
Голова болитъ...»
И старикъ лицомъ суровымъ
Просвѣтлѣлъ опять.
Понутру ему здоровымъ
Воздухомъ дышать;
Снова вѣетъ воли дикой
На него просторъ,
И смолой, и земляникой
Пахнетъ темный боръ.

Но не въ одной силѣ спасенье, и однимъ здоровымъ воздухомъ тоже сытъ не будешь... Нашъ поэтъ это понималъ хорошо, но предоставилъ другимъ говорить о томъ, подъ ударами какихъ житейскихъ бѣдъ сломилась и ломится народная сила. Только дважды подошелъ онъ къ этой темѣ поближе и написалъ стихотворенія на гражданскій, какъ тогда говорили, мотивъ. Одно изъ нихъ—извѣстная баллада о богатырѣ, который верхомъ на разбитой клячѣ разъѣзжаетъ по русскому царству и спаиваетъ деревни и села; другое извѣстное шуточное стихотвореніе:

У приказныхъ воротъ собирался народъ
Густо;
Говорилъ въ простотѣ, что въ его животѣ
Пусто etc.—

стихотвореніе, въ которомъ одновременно осмѣяны и плутовство чиновника, и поражающая неразвитость и тупость народа.

Оцѣнка этой печальной стороны народной жизни дана была Алексѣемъ Толстымъ и въ его драмѣ „Посадникъ". Литературныя достоинства этого драматическаго опыта не особенно велики. Въ драмѣ много мелодраматическихъ моментовъ и условныхъ положеній въ псевдо-русскомъ стилѣ. Но эти недостатки искупаются идейностью содержанія. Поэтъ хотѣлъ дать въ своей драмѣ типъ русскаго государственнаго дѣятеля стараго вѣчевого времени, образецъ гражданской республиканской доблести, человѣка, который приноситъ себя, свою честь и счастье въ жертву народному благу. Этотъ новгородскій посадникъ, герой трагедіи—конечно настоящій римлянинъ, неизвѣстно какъ попавшій на берега Волхова. Онъ—воплощенный историческій анахронизмъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и выразитель современныхъ взглядовъ нашего автора на народовластіе. Взгляды эти весьма характерны.

Будь Алексѣй Толстой чистокровнымъ консерваторомъ, онъ имѣлъ удобный случай сорвать свою злобу на вѣчевомъ

порядкѣ и наглядно изобразить всю его безтолочь. Будь онъ крайнимъ либераломъ, онъ наоборотъ могъ воспользоваться этимъ случаемъ для прославленія принципа народовластія. Онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, а пошелъ опять дорогой средней. Симпатіи его остались на сторонѣ вѣча, понимаемаго какъ принципъ, а судъ его надъ участниками этого вѣча, надъ народомъ, вышелъ очень строгій. Народъ выведенъ на сцену какъ стихійная масса, грубая и дикая, не размышляющая, кровожадная, готовая идти безъ оглядки за любымъ интриганомъ, не различающая истиннаго гражданина отъ крикуна и способная убить и истязать того, кому она недавно кланялась. Трудно изобразить въ болѣе мрачныхъ краскахъ толпу, чѣмъ она изображена въ этой свободомыслящей драмѣ—и это сдѣлано, конечно, сознательно. Поэтъ стоитъ на томъ, что народъ не подготовленъ ни къ какой политической роли, что за нимъ нѣтъ ни воспитанія, ни образованія для надлежащаго ея выполненія.

Но несмотря на это, принципъ народовластія остается въ трагедіи нетронутымъ. Поэтъ не вымещаетъ на самомъ принципѣ негодности тѣхъ, кто въ данную минуту призванъ проводить его на дѣлѣ.

Какъ бы въ противовѣсъ неразвитому, но властному народу, поэтъ рисуетъ во весь ростъ фигуру посадника, выросшаго и воспитаннаго именно при этомъ вольномъ режимѣ. Истинный сынъ своей родины, отъ котораго не скрыты ея грѣхи и недостатки, онъ непоколебимо вѣритъ въ святость принципа того порядка, которому онъ служитъ:

Они вольны на вѣчѣ говорить,
А приговоръ когда постановили,
Онъ долженъ быть, какъ Божье слово, святъ!

—говоритъ посадникъ, отлично освѣдомленный насчетъ того, какія безтолковыя рѣчи ведутся на вѣчѣ. Временный безпорядокъ имѣетъ въ его глазахъ малое значеніе: ему дорогъ самый принципъ.

„Воля“ въ его пониманіи есть не та воля, которая шумитъ

горланитъ на площади, а воля, понятая какъ высшій
лгъ и самообузданіе личности передъ обществомъ. Воля!—
зоритъ онъ своему собесѣднику:

Великое ты выговорилъ слово;
А знаешь ли какой его есть толкъ?
Въ чемъ воля то? Въ томъ, что чужой мы власти
Не терпимъ надъ собой! Что мы съ князьями
По старинѣ ведемъ свой уговоръ:
Се будь твое, а се будь наше. Въ наше жъ
Ты, княже, не вступайся! А когда
Тотъ уговоръ забудетъ князь, ему
Мы кажемъ путь, другого жъ промышляемъ
Себѣ на столъ. Вотъ наша воля въ чемъ... и чтобы воля эта
Была крѣпка, и чтобъ никто не могъ
Надъ нами государемъ называться—
Мы Новгородъ Великій государемъ
Поставили, и головы послушно,
Свободныя, склонили передъ нимъ.
Вотъ наша воля! Правъ своихъ держаться,
Чужія чтить, блюсти законъ и правду,
Не прихоти княжія исполнять,
Но то чинить безропотно и свято,
Что Государь нашъ Новгородъ велитъ—
Вотъ воля въ чемъ! А чтобы всякій дѣлать
Воленъ былъ то, что въ голову взбредетъ—
Нѣтъ, то была бъ не воля—неурядье
То было бы! Когда бъ такую волю
Терпѣли мы, давно княжой бы стали
Мы вотчиной, иль раздѣлили бъ насъ
Между собою сосѣди!

X.

Самъ Алексѣй Толстой въ политическихъ своихъ убѣ-
еніяхъ былъ сторонникомъ монархіи единодержавной и
з только что приведенныя его рѣчи о народовластіи не
:утъ быть истолкованы какъ исповѣдь или какъ проповѣдь
:публиканскихъ или конституціонныхъ идей. Въ нихъ вы-
ізана только современная поэту мысль о привлеченіи на-
ца и общества къ участію въ дѣлахъ общественнаго упра-

вленія—мысль, частью осуществленная реформами императора Александра II, съ которымъ нашъ поэтъ былъ связанъ тѣсной личной дружбой и государственные планы котораго были ему хорошо извѣстны. Какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и въ этомъ, современная мысль поэта облеклась въ архаическую форму, и такъ какъ новгородскіе порядки въ нашей литературѣ издавна служили облаченіемъ для либеральныхъ идей, то и нашему художнику-археологу и либералу — не оставалось иного выбора

Но либерализмъ Толстого оставался все-таки строго монархическимъ. Князь—и затѣмъ царь—центральная фигура въ его стихахъ съ національной тенденціей.

Идея царской власти, какъ ее понималъ нашъ поэтъ, развита имъ полно и выяснена всесторонне въ его извѣстныхъ историческихъ трагедіяхъ. Но и въ балладахъ и въ пѣсняхъ Алексѣй Толстой часто возвращался къ этому вопросу, и въ немъ, какъ и въ другихъ вопросахъ, обнаружилъ ту умѣренность въ рѣшеніи, которая отличала всѣ его взгляды на современность.

Рѣшеніе въ данномъ случаѣ дано необычайно простое, съ тогдашней исторической истиной вполнѣ согласное. Единодержавный князь представленъ какъ самый либеральный человѣкъ своего времени и потому, конечно, и самый гуманный. Всѣмъ извѣстно, какія рѣзкія слова осужденія были сказаны нашимъ поэтомъ о царскомъ деспотизмѣ, понимаемомъ какъ произволъ державной личности. Не говоря о трагедіяхъ, гдѣ дана настоящая психопатологія деспотизма, и въ балладахъ поэтъ нерѣдко ставитъ его своей мишенью. Змѣй Тугаринъ грозитъ Россіи тѣмъ, что ея владыка станетъ надъ ней „ханомъ“

И въ теремѣ будетъ сидѣть онъ своемъ,
Подобенъ кумиру средь храма...

И Потокъ-Богатырь приходитъ въ ужасъ, когда на улицахъ Москвы видитъ, какъ

...идетъ караулъ,
Гонитъ палками встрѣчныхъ съ дороги;
Ѣдетъ царь на конѣ, въ зипунѣ изъ парчи,
А кругомъ съ топорами идутъ палачи,
Его милость сбираются тѣшить:
Тамъ кого-то рубить или вѣшать...

„Московскій ханъ", какъ понималъ его художникъ, былъ истиннымъ бичомъ Божіимъ за наши грѣхи, и пѣвецъ не упускалъ случая отомстить ему хотя бы и позднимъ мщеніемъ. Онъ посвятилъ цѣлый романъ его злодѣяніямъ, да и въ стихахъ не забылъ его. Разсказалъ онъ, какъ этотъ царь истязалъ Василія Шибанова, какъ убилъ невиннаго старицкаго воеводу, какъ пронзилъ своимъ жезломъ князя Репнина за то, что тотъ громогласно проклялъ его опричнину.

Но карая лицо, облеченное высшею властью, поэтъ оставилъ опять нетронутымъ самый принципъ власти. Устами самихъ пострадавшихъ произнесъ онъ этому принципу и оправданіе, и благословеніе. Князя Репнина заставилъ онъ передъ смертью выпить здравицу за православнаго царя, и Шибанова молиться за царя и за святую великую Русь.

На исторической личности московскаго владыки вымещалъ Алексѣй Толстой, какъ видимъ, свою злобу лишь противъ того, кто искажалъ дорогой ему принципъ.

Истиннымъ же носителемъ этого принципа сдѣлалъ онъ столь имъ любимаго князя Владиміра и его словами выразилъ онъ свою собственную мысль. Князь Владиміръ—вотъ тотъ либеральный и гуманный князь, который сумѣлъ сочетать въ себѣ столь трудно примиримые взгляды — взглядъ на власть какъ на силу надъ народомъ и какъ на долгъ передъ нимъ. Всѣми личными и семейными добродѣтелями наградилъ этого князя влюбленный въ него поэтъ, и ему въ уста вложилъ онъ одинъ знаменательный тостъ, который былъ бы совсѣмъ непонятенъ, если бы не заставлялъ насъ думать о годахъ, отъ приснопамятныхъ временъ Владиміра очень далекихъ. На пиру, среди русскихъ богатырей, князь сказалъ во всеуслышаніе:

Подайте мнѣ чару большую мою,
Ту чару, добытую въ сѣчѣ,
Добытую съ ханомъ хазарскимъ въ бою—
За русскій обычай до дна ее пью,
За древнее русское вѣче!
За вольный, за честный славянскій народъ,
За колоколъ пью Новограда,
И если онъ даже и въ прахъ упадетъ,
Пусть звонъ его въ сердцѣ потомковъ живетъ—
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

И народъ, оцѣнивъ великодушіе своего властителя, отвѣчаетъ ему „какъ плескъ лебединаго стада, какъ лѣтомъ изъ тучи ударившій громъ“:

За князя мы пьемъ!
Да правитъ по-русски онъ русскій народъ!
А хана намъ даромъ не надо!
И если настанетъ година невзгодъ,
Мы вѣримъ, что Русь ихъ побѣдно пройдетъ
Ой, ладо, ой, ладушко ладо!

Не есть ли обмѣнъ этихъ дипломатическихъ тостовъ—символическое выраженіе идеи единенія властителя съ народомъ—единенія, юридически, конечно, не оформленнаго, но такого, при которомъ обѣ стороны добровольно „сошлись въ любовь“, какъ говорилось на языкѣ далекаго вѣчевого времени?

И такого любовнаго разрѣшенія вопроса, конечно, не было въ тѣ годы, когда эти стихи были написаны: люди спорили о границахъ власти и о правахъ народа, спорили жестоко и кроваво и не могли помириться, и только одинъ поэтъ мирилъ ихъ въ своихъ мечтахъ, отъ жизни очень далекихъ, но все-таки жизненныхъ, такъ какъ они возникали на почвѣ раздумья надъ современнымъ ему государственнымъ порядкомъ.

XI.

Въ такихъ поэтическихъ образахъ, взятыхъ изъ далекаго рошлаго—выражалъ Алексѣй Толстой свои мысли и свои ужденія о современной ему жизни.

Онъ заставлялъ старину давать ложныя показанія—это езспорно, но зато въ этой поэтической лжи была заключена цѣлая оцѣнка современности, всѣхъ ея наиболѣе жгучихъ вопросовъ, которые стояли тогда на очереди: вопросовъ религіозныхъ, національныхъ, общественныхъ и политическихъ.

Эта оцѣнка была сдѣлана не богословомъ, не политикомъ, е ученымъ, но необычайно чуткимъ, гуманнымъ и очень мнымъ человѣкомъ, уже пожившимъ, много видавшимъ и алекимъ отъ всякихъ крайностей.

Тотъ, кто слѣдилъ за страстной схваткой теорій, убѣжденій и политическихъ программъ въ пятидесятыхъ и въ естидесятыхъ годахъ, — тотъ согласится, что сужденія высказанныя Алексѣемъ Толстымъ въ такой странной археологической формѣ — были въ основѣ своей либеральными и рогрессивными, а по характеру наиболѣе примиряющими миролюбивыми. Можно сказать, что они были средней пропорціональной между двумя противоположными направленіями — консервативнымъ и радикальнымъ.

Во вопросахъ религіи — проповѣдь гуманизма и внутренняго религіознаго убѣжденія не воинственнаго, не прикованаго къ догмѣ и терпимаго...

Въ вопросѣ національномъ—воззваніе къ чувству народаго достоинства, гордаго своей силой и выносливостью, и мѣстѣ съ тѣмъ миролюбиваго...

Въ вопросахъ общественныхъ и политическихъ — признаніе сильной и единой власти либерально настроенной, прислушивающейся къ свободному голосу народа...

Развѣ во всѣхъ этихъ общихъ сужденіяхъ поэта не вы-

сказана историческая истина его времени—истина, вокругъ которой шли ожесточенные споры, почти всегда ударявшіеся въ крайность? — И не удалось ли именно поэту — съ виду столь далекому отъ современныхъ волненій — выразить, хоть и иносказательно, ту правду, которая въ силу особыхъ психологическихъ и историческихъ условій тогда никакъ не могла найти себѣ ни въ теоріи, ни въ жизни полнаго исчерпывающаго и яснаго обнаруженія?

Если это такъ—то нашъ поэтъ былъ однимъ изъ самыхъ искреннихъ и вдохновенныхъ пѣвцовъ обновленной или, вѣрнѣе, обновляющейся Россіи.

1904.

Трилогія графа А. К. Толстого какъ національная трагедія.

I.

Прошло то время, когда мы, засматриваясь на литературныя богатства нашихъ сосѣдей, испытывали оскорбительное для нашего самолюбія острое чувство зависти. Конечно, и въ наше время мы все еще перелистываемъ Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера съ сердцемъ не совсѣмъ отъ этого чувства свободнымъ; но стоитъ намъ только вспомнить, съ какимъ уваженіемъ произносятся теперь всюду имена Тургенева, Толстого, Достоевскаго,—и сознаніе одержанной нами культурной побѣды должно смягчить то ощущеніе зависимости, которое почти всегда сопровождаетъ нашу мысль о Западѣ.

Надо помнить, однако, что несмотря на всѣ комплименты, какіе нашимъ писателямъ подчасъ расточаютъ наши сосѣди, они въ душѣ считаютъ насъ все еще варварами,—правда, даровитыми варварами, которымъ иногда снятся удивительно поэтичные сны, и которымъ случается иной разъ высказать очень глубокія мысли. И, дѣйствительно, поэтическое чувство и порой глубокая мысль—единственное оружіе, которымъ наша русская культура прокладываетъ себѣ дорогу на Западъ,—оружіе не подверженное случайной порчѣ и оружіе

мирное. Мы начали этотъ мирный захватъ Европы, той самой Европы, которая всегда такъ опасалась нашихъ военныхъ захватовъ.

Между нами и сосѣдями начинаетъ теперь устанавливаться все бо́льшая и бо́льшая нравственная и умственная солидарность, и наши писатели, отражая въ своихъ произведеніяхъ русскую жизнь, въ то же время становятся истолкователями общемірового смысла жизни. Романъ изъ русской жизни сталъ теперь важной страницей всеобщей исторіи, тогда какъ еще недавно онъ былъ лишь разсказомъ о томъ, что́ творилось въ одномъ малозамѣтномъ и малокультурномъ уголкѣ человѣческой жизни.

Но если нашъ романъ за послѣднее полстолѣтіе поднялся на такую высоту, при которой отраженная имъ жизнь пріобрѣтаетъ общемі́ровое значеніе, то о другихъ формахъ нашего художественнаго творчества нельзя сказать того же. Въ особенности бросается въ глаза то второстепенное значеніе, какое въ развитіи міровой литературы имѣетъ наша драма и, главнымъ образомъ, наша трагедія.

Наша драма отстала значительно отъ романа; въ ней нѣтъ того глубокаго философскаго, психологическаго и общественнаго смысла, которымъ такъ силенъ нашъ романъ, и театральные подмостки на серьезныя волненія нашего ума и сердца отзываются очень глухо. Быть можетъ, въ этомъ виновата случайность, т.-е. отсутствіе сильнаго таланта; быть можетъ, виноваты внѣшнія стѣсненія, для театра гораздо болѣе чувствительныя, чѣмъ для печатной книги; быть можетъ, театръ самъ по себѣ не допускаетъ такой полноты отраженія жизни и такого проникновенія въ ея глубь, какъ повѣсть, въ которой писатель и описываетъ, и изображаетъ, и разсуждаетъ—но фактъ несомнѣненъ: наша драма, для Запада не существующая, представляетъ и въ нашей жизни культурную и соціальную силу недостаточнаго размѣра.

Еще болѣе знаменателенъ тотъ фактъ, что русская жизнь не произвела ни одной истинно великой трагедіи—трагедіи

съ общечеловѣческимъ смысломъ. Объяснять отсутствіе такой трагедіи причинами случайными едва ли возможно; есть нѣчто въ общемъ ходѣ нашей жизни, что̀ не позволило талантамъ стать на ту высоту трагическаго міропониманія, которой достигали избранные умы и геніи, вышедшіе изъ иной среды, чѣмъ наша. Такимъ именамъ, какъ Эсхилъ, Софоклъ, Кальдеронъ, Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ намъ противопоставить некого.

Къ числу тѣхъ сторонъ человѣческой жизни, которыя слабо оттѣнены и обобщены въ поэтическомъ міросозерцаніи нашихъ художниковъ относится прежде всего трагическій смыслъ бытія вообще—тотъ самый смыслъ, который издавна тревожилъ человѣческій умъ и фантазію и который находилъ себѣ художественное выраженіе въ истинной „высокой“ трагедіи - философской, религіозной и символической. Трагическое пониманіе міропорядка, которое раскрывается передъ нами въ „Прометеѣ“, въ „Орестеѣ“, въ „Божественной Комедіи“, въ драмѣ „Жизнь есть сонъ“, въ „Гамлетѣ“, въ „Фаустѣ“, нами, конечно, такъ же усвоено, какъ усвоено многое чему мы у сосѣдей учились. Но этотъ скорбный итогъ мірового процесса, итогъ не безнадежный, а только лишь трагичный, для насъ пока—предметъ изученія и удивленія; въ немъ нѣтъ ничего нашего, ничего такого, что̀ вытекло бы изъ историческаго нашего опыта, было бы нами продумано, прочувствовано и, главное, выстрадано. Поэтому до созданія истинной трагедіи нашъ поэтическій геній и не возвысился, хотя трудно найти національный характеръ и народный образъ мыслей, болѣе склонный оттѣнять въ жизни именно ея печальную сторону, чѣмъ умъ и темпераментъ русскій. Сто̀итъ бросить хотя бы самый бѣглый взглядъ на исторію нашего самосознанія, какъ оно отразилось въ нашей словесности, чтобы увидать, насколько въ общемъ сознаніе зла, страхъ передъ нимъ и скорбь о немъ перевѣшиваютъ въ насъ довольство той наличной суммой добра, которую мы вокругъ себя находимъ. Тоска по лучшему, разочарованіе въ настоя-

щемъ, безпощадный самоанализъ и самоосужденіе, разныя формы скептицизма — все это нами извѣдано и испытано не хуже другихъ, и если, въ силу нѣкоторыхъ особенностей нашей гражданской жизни, мы во внѣшнемъ выраженіи этихъ печальныхъ, а частью гнѣвныхъ чувствъ, были обязаны соблюдать извѣстную мѣру, то такое воздержаніе въ словахъ не наноситъ ущерба глубинѣ самаго чувства и мысли.

Какъ бы то ни было, но въ нашемъ характерѣ и умѣ достаточно печали и грусти: на нихъ можно было бы построить цѣлое философское міросозерцаніе и народный геній могъ бы найти въ себѣ силу втѣснить это міросозерцаніе въ рамки художественной символической трагедіи.

Но такой трагедіи наша фантазія не создала, хотя мы къ этого рода творчеству не оставались равнодушны. Мы ревностно переводили греческую трагедію и передѣлывали ее; мы заимствовали у Франціи ея классическую трагедію и рядили ее также въ русскіе костюмы. Переводили мы прилежно и драмы Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона; не жалѣли труда и на переводы произведеній второстепенныхъ драматурговъ, — однимъ словомъ, мы обнаружили большую любовь къ драматическому и трагическому въ искуствѣ, въ особенности во времена пылкаго романтизма. Но самимъ намъ не удалось создать истинной трагедіи высокаго стиля. Этотъ пробѣлъ не заполненъ и понынѣ.

Надо думать, что время для такой философской трагедіи русской еще не наступило, и не наступило потому, что мы пока еще не обогатили исторію ни одной истинно трагической страницей, которая освѣтила бы съ новой стороны драму міровой жизни. Слишкомъ много у насъ еще впереди, чтобы останавливаться въ раздумьи передъ общимъ смысломъ того, что̀ есть жизнь въ ея конечномъ цѣломъ, и какой цѣной она покупается.

Во всей печали и грусти, которой бываетъ иногда такъ переполнено наше сердце, гораздо больше негодованія, чѣмъ смиренія передъ зломъ, гораздо больше затаенной на-

дежды, чѣмъ отказа отъ нея, и гораздо больше вѣры въ себя, чѣмъ покорности передъ неизбѣжностью. Все это вполнѣ понятно въ народѣ, который цѣлые вѣка только готовился къ сознательной жизни и потомъ съ необычайной быстротой сталъ усвоивать то, надъ чѣмъ другіе народы цѣлые вѣка думали. Очень многое—въ формѣ ли умозрительной истины, или въ формѣ облеченнаго въ образъ чувства—далось намъ безъ труда, почти что даромъ. Цѣна, которой такія мысли и чувства оплачиваются, осталась намъ неизвѣстна, и намъ самимъ еще не пришлось быть свидѣтелями или участниками событій, которыя своимъ трагизмомъ навели бы насъ на эти мысли и пробудили бы въ насъ эти чувства. Дѣйствительно, нужно было изжить цѣлую блестящую цивилизацію, вѣками слагавшуюся, сочетавшую необычайно тонко развитое эстетическое чувство съ глубокой философской мыслью и съ эстетичной религіей, цивилизацію, богатую самыми разнообразными формами гражданскаго и политическаго порядка, — надо было изжить такую культуру, чтобы создать „Прометея“ или „Эдипа царя“, и въ этихъ трагедіяхъ показать, какими страданіями искупается каждый шагъ прогресса и какъ ничтоженъ человѣкъ даже въ тѣ минуты, когда мнитъ себя всемогущимъ. Надо было выстрадать всю трагедію христіанства, присутствовать при крушеніи античнаго міра, преклониться передъ подвигами и самоистязаніемъ новой вѣры и, наконецъ, увидать все то же всемогущее зло, какъ оно въѣлось въ міровой порядокъ,—надо было все это испытать, чтобы въ „Божественной Комедіи“ Данте или въ драмахъ Кальдерона символизировать единоборство добра и зла и утѣшать людей—какъ утѣшалъ ихъ и авторъ „Прометея“ — картиной конечнаго торжества того, что они считаютъ и добрымъ, и святымъ, и справедливымъ. Такъ же точно нужно было быть свидѣтелемъ торжества критической свободной мысли, подо все подкапывающейся, не останавливающейся передъ традиціями религіозными, нравственными и философскими; нужно было испытать на себѣ самоуничи-

жающую власть свободнаго чувства, чтобы создать „Гамлета“ и въ этой интимной исповѣди признаться—какъ принижены жизнью и скованы и чувство, и умъ, и воля человѣка. Чтобы сдѣлать то же признаніе въ „Фаустѣ“, и изобразить вѣчный голодъ ума и сердца, эти истинно Танталовы муки человѣческаго духа и въ концѣ концовъ опять сказать ободряющее слово—для этого нужно было прожить XVIII-ый вѣкъ, содрогнуться передъ самохвальствомъ человѣческаго ума, понять всю тщету минутнаго удовлетворенія и сгорѣть отъ любви къ человѣку—слабому и ограниченному въ средствахъ, но неудержимо стремящемуся къ высшей цѣли. Наконецъ, чтобы имѣть и право, и силу сказать людямъ, насколько они далеки отъ того идеала, ради котораго они готовы всѣмъ пожертвовать, насколько опрометчива ихъ вѣра въ свой умъ и свое доброе сердце, какъ легко для нихъ паденіе съ высоты въ грязь, какъ они слабы, жалки, ничтожны и презрѣнны,—чтобы сказать все это не голословно, а рѣчью карающаго и плачущаго пророка, — для этого нужно было выстрадать всю великую трагедію конца XVIII вѣка и видѣть воочію, какъ временно погасъ ореолъ, окружающій святое имя человѣка.

Мы, русскіе, ничего подобнаго не испытали, не передумали глубоко и не выстрадали. Все это великое и трагическое въ жизни человѣчества было намъ пересказано и истолковано, какъ быль изъ жизни иныхъ временъ и иныхъ народовъ, для насъ чуждыхъ. Когда эти народы проходили черезъ самые критическіе моменты своего развитія и когда на ихъ исторіи можно было учиться трагизму жизни мы были еще варвары или полуцивилизованные люди: жить одной жизнью съ Европой мы начали лишь сравнительно очень недавно.

Мы были, такимъ образомъ, лишь отдаленными зрителями великой міровой драмы. Что же касается собственнаго историческаго опыта за всю нашу жизнь, то особенно выдающихся моментовъ, оттѣняющихъ идейный трагическій смыслъ

бытія, въ немъ почти что не было. Правда, мы прожили цѣлыя столѣтія въ борьбѣ, трудѣ и лишеніяхъ, но это были годы несложной будничной работы надъ самими собой и для себя самихъ, которая оставляла мало времени для раздумья надъ вопросомъ, каковъ конечный философскій смыслъ совершающагося историческаго процесса.

II.

Но если повседневная малоидейная работа помѣшала намъ обнаружить скорбную, но примиряющую мудрость, какой проникнута философская трагедія античная, средневѣковая и новая, то все же и въ нашей жизни могли найтись минуты грозныя и возвышенныя, и онѣ могли послужить художнику матеріаломъ если не для общеміровой трагедіи, то по крайней мѣрѣ для трагедіи національной.

На Западѣ мы имѣемъ очень много примѣровъ такихъ трагедій съ чисто національнымъ содержаніемъ. Къ ихъ числу надо, напримѣръ, отнести большинство пьесъ античнаго театра, всѣ эти драматизированные эпопеи, миѳы, легенды и страницы исторіи; всѣ историческія хроники Шекспира относятся къ этому роду творчества; сюда же можно зачислить и французскій классическій театръ, поскольку онъ является не простымъ подражаніемъ, а отраженіемъ современной французской жизни; драмы Гёте „Гецъ“ и „Эгмонтъ“, „Разбойники“, „Телль“ и „Валленштейнъ“ Шиллера, драмы Альфьери, Сильвіо Пеллико, Казиміра Делавиня, романтическій театръ Гюго и Дюма-отца могутъ быть также отнесены къ числу этихъ трагедій, въ которыхъ зритель сталкивался со своими предками въ самыя трагическія минуты ихъ личной и преимущественно національной жизни.

Наши русскіе писатели дѣлали также неоднократныя попытки создать такую національную трагедію. Сюжеты для нея поставляли наша древняя исторія, нерѣдко народныя преданія и историческія легенды. Но въ этой старинѣ,

истиннаго трагизма было немного, и потому приходилось его выдумывать. Вотъ почему въ нашей національной трагедіи придуманное и присочиненное всегда преобладало надъ истинно-народнымъ, вычитаннымъ художниками изъ самой жизни. Начиная съ трагедій Сумарокова, этихъ первыхъ попытокъ найти трагическое въ русской жизни, кончая въ наше время сочиненными историческими драмами, условность и подражаніе — отличительныя черты такихъ произведеній. Ни глубокой самобытной русской идеи, ни вѣрныхъ типовъ, ни народныхъ чувствъ съ ихъ національными особенностями не встрѣтимъ мы въ этихъ трагедіяхъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ, впрочемъ, извѣстныя, чисто внѣшнія достоинства.

Историкъ русскаго театра долженъ, однако, остановиться на двухъ попыткахъ, сдѣланныхъ въ этотъ родѣ, и, пожалуй, единственныхъ, въ которыхъ трагическое въ нашей національной жизни уловлено болѣе или менѣе вѣрно.

Первая изъ нихъ при своемъ появленіи возбудила большой восторгъ — то былъ „Борисъ Годуновъ“ Пушкина, увидѣвшій свѣтъ въ самые романтическіе годы нашей словесности, когда мы такъ желали имѣть самобытную трагедію съ яркой печатью истинной народности. Этимъ требованіямъ драма Пушкиня удовлетворяла лишь отчасти. Что изъ всѣхъ нашихъ трагедій „Борисъ Годуновъ“ была самая художественно законченная — объ этомъ не можетъ быть спора. Она выдѣлялась своими литературными достоинствами, и планировкой сценъ, и живостью діалога, и языкомъ, въ которомъ такъ удачно новое было слито съ архаическимъ. „Борисъ Годуновъ“ можетъ быть съ полнымъ правомъ названъ драматизированной эпопеей старины. Но эта драма все-таки трагедія изъ жизни единичнаго лица, а не трагедія жизни народной. Художникъ стремился не столько выразить трагическую идею нашей жизни въ эпоху царствованія Бориса, сколько занятъ былъ душой преступника, для котораго наступалъ день возмездія. Такая постановка драматическаго

дѣйствія можетъ быть очень трагична, и въ „Борисѣ“ трагизма много, но личность преступника какъ-то совсѣмъ заслоняетъ собой личность царя и ту идею власти, которую онъ воплощаетъ.

Итакъ, драму Пушкина едва ли можно признать за вполнѣ удавшійся опытъ русской національной трагедіи, т.-е. такой, въ которой національныя черты характера и народное міросозерцаніе давали бы себя чувствовать. Если предъявлять національной трагедіи именно эти требованія, то во всей нашей драматической литературѣ только одна „Трилогія“ Алексѣя Толстого можетъ — до извѣстной степени — имъ отвѣтить.

III.

„Трилогія“, какъ вообще многое, что̀ писано А. Толстымъ, совсѣмъ не оцѣнена по достоинству. Критика неохотно бралась за ея оцѣнку, и когда на это рѣшалась, то въ большинствѣ случаевъ выносила приговоръ строгій.

Отыскать слабыя стороны въ драмахъ А. Толстого — не трудно. Но если на эти же драмы посмотрѣть, какъ на первый опытъ и притомъ рѣшительный и смѣлый опытъ художника, не имѣвшаго ни предшественниковъ, ни сотрудниковъ въ своей работѣ, то „Трилогію“ А. Толстого придется признать однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ явленій нашей словесности, несмотря на многое неоригинальное въ драматическихъ положеніяхъ ея дѣйствующихъ лицъ. Но при оцѣнкѣ историческаго значенія „Трилогіи“ и при опредѣленіи того единственнаго въ своемъ родѣ мѣста, которое она занимаетъ въ нашемъ драматическомъ репертуарѣ,— нѣтъ необходимости особенно подробно вникать въ ея техническія несовершенства и ошибки, неизбѣжныя при всякомъ трудѣ надъ новымъ матеріаломъ или надъ новымъ способомъ его обработки.

Авторъ не пріискивалъ, впрочемъ, новаго матеріала. Онъ

взялъ старый, достаточно уже разработанный,—взялъ не за тѣмъ, чтобы облегчить себѣ работу, а потому, что во всей нашей исторіи, древней и новой, этотъ историческій матеріалъ представлялся наиболѣе интереснымъ и удобнымъ для обработки въ формѣ трагедіи. На эпоху царя Ивана Васильевича Грознаго, на царствованіе Годунова и на Смутное время было издавна обращено вниманіе нашихъ писателей. Еще задолго до Толстого вся фактическая сторона этихъ тревожныхъ лѣтъ нашей исторіи была использована въ романахъ, повѣстяхъ и драмахъ, написанныхъ и въ классическомъ, и въ сентиментальномъ, и въ романтическомъ стилѣ. Но никто до Толстого не далъ этому матеріалу такого идейнаго освѣщенія, и никто, обработывая его, не съумѣлъ такъ выдвинуть на первый планъ одну изъ самыхъ трагическихъ идей нашей русской жизни.

Дѣйствительно, эпоха царствованія Іоанна Грознаго и послѣдующіе за нею смутные годы—самая драматическая эпоха нашей старины. Трудно найти другую, въ которой было бы столько движенія и, главное, разнообразія въ движеніи, и которая была бы такъ богата типами со столь рѣзкой индивидуальностью, какъ почти всѣ дѣятели этой эпохи. Она — періодъ очень сильнаго соціальнаго броженія въ нашемъ обществѣ и потому довольно откровеннаго обнаруженія національныхъ самобытныхъ чувствъ и понятій.

Въ богатомъ и разнообразномъ матеріалѣ, который давали эти годы драматургу, Толстой остановилъ свое вниманіе на одной, на самой трагической идеѣ нашей жизни, а именно на идеѣ царской власти, проявляющейся въ единой внѣшней формѣ, при всемъ разнообразіи внутреннихъ формъ, какія ей придаетъ индивидуальность властителя. „Трилогія“ можетъ назваться настоящей національной трагедіей именно потому, что ея „паѳосъ“, если такъ можно выразиться, данъ въ изображеніи трагической судьбы одной идеи, выразившейся у насъ въ своей наиболѣе характерной и полной

формѣ и, кромѣ того, проникавшей собою русскую жизнь, какъ никакая другая идея. „Трилогія“ Толстого трагедія самодержавной царской власти, и главное дѣйствующее лицо ея не человѣкъ, а идея, воплощенная въ единичномъ избранникѣ.

Въ „Трилогіи“ Толстой остался вѣренъ общимъ романтическимъ пріемамъ своего творчества: для него не столько была важна реальная правда внѣшняя, сколько общая мысль поэтическаго замысла. При такомъ пріемѣ творчества удаленіе отъ житейской правды въ область символическаго обобщенія было неизбѣжно. Съ другой стороны, желаніе создать трагедію непремѣнно національную обязывало поэта позаботиться о „мѣстномъ колоритѣ“. Удержать этотъ мѣстный колоритъ въ основныхъ фигурахъ, въ которыхъ символизировалась сама идея трагедіи, было крайне трудно, и за исключеніемъ царя Ѳедора Іоанновича, въ которомъ автору удалось сочетать идейный символъ съ живой плотью, и который поэтому отлился въ истинно художественный типъ, остальныя главныя дѣйствующія лица, царь Иванъ Грозный и Борисъ Годуновъ — наполовину отвлеченные образы, а не люди. Густыми, мѣстными, иногда грубо-реальными красками пришлось вырисовывать характеры второстепенныхъ лицъ, а также сцены изъ народной жизни, почему въ „Трилогіи“ и получилось негармоничное смѣшеніе подчеркнутаго реализма въ деталяхъ съ символизмомъ главныхъ фигуръ. Царь Иванъ и царь Борисъ разсуждаютъ и говорятъ совсѣмъ не въ духѣ своего времени и рѣчью самого Толстого, тогда какъ всѣ окружающія лица силятся во что бы то ни стало подогнать свой образъ рѣчи и мысли подъ міросозерцаніе и языкъ XVI—XVII вѣка.

Помимо такого смѣшенія реальныхъ [или подъ археологическій реализмъ подогнанныхъ] деталей съ символическими образами главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ „Трилогіи“ попадается не мало чисто романтическихъ условностей и эффектовъ, которые на новизну претендовать не

могутъ. Въ драматической литературѣ Запада эти эффекты встрѣчаются въ изобиліи. Когда мы присутствуемъ при бесѣдѣ Іоанна съ волхвами, при таинственномъ разговорѣ этихъ волхвовъ съ Годуновымъ, съ которымъ они говорятъ той же загадочной рѣчью, какой нѣкогда говорили вѣдьмы съ Макбетомъ; когда мы слушаемъ ядовитыя издѣвательства шута надъ Грознымъ и на мгновеніе забываемъ, кто передъ нами — король Лиръ или царь Иванъ; когда затѣмъ ночью мы видимъ царя Бориса передъ пустымъ престоломъ, на которомъ ему чудится призракъ Дмитрія, и онъ, какъ лэди Макбетъ, блуждаетъ по палатамъ въ полусомнамбулическомъ состояніи; когда затѣмъ мы присутствуемъ при словесномъ турнирѣ герцога Христіана Датскаго и царевича Ѳедора, въ присутствіи неземной, нѣжной, сентиментальной Ксеніи; когда, наконецъ, мы слышимъ разговоръ царя Бориса съ царевичемъ Ѳедоромъ, который, подозрѣвая отца въ убійствѣ, какъ трагическій герой Шиллера или Виктора Гюго, щеголяетъ своимъ благородствомъ и отказывается принять державу,— то всѣ эти положенія, діалоги и монологи кажутся намъ чѣмъ-то очень знакомымъ и заимствованнымъ изъ стараго романтическаго репертуара. Но строго осуждать эти невольныя или вольныя заимствованія было бы несправедливо. Не въ нихъ—суть „Трилогіи“; она—въ основной трагической идеѣ, для бо́льшаго выясненія которой эти эффекты придуманы; и если они стары, они свое назначеніе все-таки выполняютъ; они держатъ зрителя въ повышенномъ, патетическомъ настроеніи.

Трагическая идея самодержавной царской власти представлена Толстымъ въ трехъ ея разновидныхъ проявленіяхъ, и во всѣхъ этихъ трехъ видахъ она умираетъ смертью высоко-трагичной. Она носитъ сама въ себѣ свое осужденіе, и авторъ, развертывая передъ нами картину ея агоніи, даетъ намъ ясно понять, что не въ этихъ формахъ,— въ которыхъ она проявлялась въ нашемъ національномъ прошломъ — должна она выражаться, если желаетъ избѣг-

уть катастрофы. Въ „Трилогіи“ передъ нами самъ вторъ—убѣжденный рыцарь монархической идеи и, вмѣстѣ ъ тѣмъ, человѣкъ шестидесятыхъ годовъ, такъ много дуавшій о возможности соглашенія принципа самодержавія ъ потребностями все болѣе и болѣе подроставшаго общества.

Современная поэту общественная мысль продиктоала ему основную идею его „Трилогіи“. А такъ какъ эта дея была одною изъ руководящихъ идей нашей національой жизни, то и „Трилогія“ Толстого является трагеіей національной, пока единственной, въ которой освѣщена е какая-нибудь случайность нашей исторической жизни. а оказанъ въ дѣйствіи одинъ изъ важнѣйшихъ рычаговъ, риводившихъ эту жизнь въ движеніе.

Идея самодержавной власти является въ „Трилогіи“ въ лѣдующихъ своихъ видахъ: въ „Смерти Іоанна Грознаго“—акъ жестокій и темный деспотизмъ при религіозной санціи; въ „Царѣ Ѳедорѣ“—какъ власть, опирающаяся на дно лишь религіозное и нравственное чувство, безъ подержки воли и ума,—и, наконецъ, въ „Царѣ Борисѣ“—какъ росвѣщенный деспотизмъ ума, безъ санкціи моральной. Во сѣхъ этихъ трехъ видахъ идея власти приводитъ своихъ осителей или къ гибели, или къ сознанію неисполненной адачи.

Въ драмѣ „Смерть Іоанна Грознаго“ грозный царь—ткровенный апологетъ единой власти. Царь Іоаннъ—фанаикъ ея; она вполнѣ отождествляется въ немъ съ его личостью: онъ можетъ сдѣлать со своимъ правомъ что̀ хоетъ, и даже отдать его кому хочетъ,—какъ, напр., въ миуту каприза онъ отдалъ его боярской думѣ. Онъ, правда, отовъ каяться передъ своими холопами,—но не потому, то онъ нуждается въ этомъ покаяніи именно передъ ними. Для всѣхъ людей у него есть только одно чувство—прерѣніе, презрѣніе даже къ тѣмъ, которыхъ онъ, повидиому, даритъ своей дружбой и довѣріемъ, а также и своей

любовью, какъ, напр., женщинъ. Судьи его дѣламъ нѣтъ, потому что нѣтъ судьи Богу, въ которомъ источникъ всякой власти. Нѣтъ для царя и совѣтчика. Онъ одинъ одаренъ орлинымъ взглядомъ; у другихъ—куриное око; онъ одинъ провидитъ, что̀ вдали, и вся заслуга его помощниковъ лишь въ томъ, что они исправно вершатъ его волю. Интересъ и выгода родины—и тѣ совпадаютъ въ его представленіи съ его собственной личностью: когда комета возвѣстила ему смерть, и когда онъ передъ кончиной спѣшитъ заключить невыгодный миръ съ внѣшними врагами, и ему напоминаютъ объ униженіи русской чести, онъ не признаетъ права на это чувство ни за кѣмъ, когда онъ — владыко—самъ добровольно унижается. А между тѣмъ не онъ ли въ наставленіи сыну даетъ самые гуманные совѣты? „Цари съ любовью, и съ благочестіемъ, и съ кротостью; не клади напрасно ни на кого ни казни ни опалы; не мсти по мнѣ моимъ врагамъ; блюди и милуй мачиху и будь за одинъ съ братомъ"... Такое наставленіе въ устахъ Іоанна очень характерно: оно показываетъ, что онъ признаетъ возможность совсѣмъ иной личной и государственной морали, и что если онъ придерживается своей, то не потому, что это единственная ему доступная и понятная мораль, а потому, что такова въ данномъ случаѣ его личная воля. Личная воля, личный произволъ—вотъ вся несложная государственная мудрость, которой руководится этотъ властитель.

Психическій міръ настоящаго историческаго Іоанна былъ, конечно, болѣе сложенъ, чѣмъ тотъ тайный міръ души истиннаго деспота, образъ котораго нарисовалъ нашъ художникъ; но трагическая идея самовластья, идея деспотизма, при религіозной санкціи, безъ санкціи моральной, — часто проявлявшаяся въ нашей жизни,—схвачена поэтомъ вѣрно въ ея сущности, хотя, можетъ быть, и не совсѣмъ вѣрно воплощена въ данномъ историческомъ лицѣ. Но драма Толстого была не столько трагедіей лица, сколько трагедіей именно идеи — исторической и національной, и въ этомъ

смыслѣ заключительныя слова боярина Захарьина, съ которыми онъ обращается къ мертвому Іоанну и къ Борису, забравшему власть въ свои руки: „вотъ самовластья кара“ — эти слова выражаютъ весь тайный смыслъ символической драмы. Сила въ такомъ ея обнаруженіи — хотѣлъ сказать авторъ — своего назначенія не исполнила; она, несмотря на свой гигантскій размахъ, не внесла никакого порядка въ жизнь, и въ минуту своего крушенія предоставила государство во власть новымъ случайностямъ.

Та же идея единой власти, но только совсѣмъ въ иномъ проявленіи, обрисована въ драмѣ „Царь Ѳедоръ Іоанновичъ“. Носитель этой идеи въ данномъ случаѣ — прямая противоположность деспота-владыки. Источникъ его власти — та же религіозная санкція, и кромѣ того санкція моральная, но безъ поддержки ума и воли, которые были такъ сильны въ Іоаннѣ. У Ѳедора пониманіе своего назначенія построено исключительно на томъ, что̀ ему подскажетъ его христіанское сердце. Онъ самъ признается въ этомъ очень откровенно. Своему первому совѣтнику онъ говоритъ: „вѣдай ты, какъ знаешь, государство — но когда надо вѣдать сердце человѣка, то здѣсь я больше смыслю. Меня во всѣхъ дѣлахъ сбить съ толку и обмануть не трудно; но когда нужно избрать межъ тѣмъ, что̀ бѣло и что́ черно, то въ этомъ я не обманусь, и мудрости не нужно тамъ, гдѣ приходится дѣлать по совѣсти“. Вся государственная программа Ѳедора сведена къ одному—къ мягкости и прощенію. Враговъ внутреннихъ для него нѣтъ, такъ какъ онъ не желаетъ ихъ видѣть; онъ самъ готовъ взять на себя даже государственное преступленіе Шуйскаго, лишь бы не быть обязаннымъ налагать за это преступленіе кару. Для него не существуетъ ни хитрости, ни дипломатіи. „Въ его душѣ — говоритъ Годуновъ—открытой недругу и другу, живетъ любовь, и благость, и молитва“,—но для чего вся эта благость и вся святость, когда у нихъ нѣтъ никакой иной опоры? И хитрый дипломатъ правъ, какъ государственный человѣкъ, для ко-

тораго благополучіе государства — первая задача всякой власти.

И Ѳедора тяготитъ эта власть, когда она требуетъ отъ него хоть малѣйшаго напряженія воли. А между тѣмъ онъ отнюдь не индифферентно относится къ своей задачѣ: онъ страдалецъ, минутами пессимистъ-мыслитель въ родѣ Гамлета, у котораго онъ заимствуетъ даже одну фразу. Княжнѣ Мстиславской, — потерявшей жениха, онъ говоритъ: „Да, княжна, да, постригись! уйди, уйди отъ міра! Въ немъ правды нѣтъ! Я отъ него и самъ бы хотѣлъ уйти—мнѣ страшно въ немъ!“

Быть можетъ, и этотъ образъ не соотвѣтствуетъ историческому лицу,—но зато основная трагическая идея получаетъ въ немъ новое освѣщеніе. Самъ авторъ, говоря о трагической винѣ Ѳедора, думаетъ, что она заключалась въ исполненіи власти при совершенномъ нравственномъ безсиліи. Вѣрнѣе было бы сказать: при безсиліи воли, — такъ какъ Ѳеодоръ силенъ сознаніемъ своей нравственной правоты, а она въ его глазахъ — вмѣстѣ съ религіей — была единственной санкціей его власти. Онъ готовъ отречься отъ своей власти, и если держится за нее, то въ силу сознанія своей обязанности стоять на указанномъ ему Богомъ мѣстѣ. Онъ, какъ и его отецъ, своего рода рыцарь идеи самовластія, но только не воинствующій фанатикъ, а рыцарь кающійся и молящійся. И что же? Вся эта нравственная чистота, — что дала она тѣмъ людямъ, надъ которыми, облеченная властью, поставлена? Какъ при царѣ Грозномъ благо государства отступало на задній планъ передъ личностью самого властителя, такъ и при Ѳеодорѣ, ангельски чистомъ и невинномъ, это благо — главная забота и оправданіе власти — не нашло себѣ осуществленія. Власть печалилась о неустройствѣ государства, но была безсильна сдѣлать что-нибудь для его оздоровленія.

Нужна была другая власть, сильная, энергичная и прогрессивная власть, которая отождествляла бы свою силу съ

силой государства, шла бы на встрѣчу назрѣвшимъ требованіямъ минуты, власть сильная умомъ и волей. Толстой изобразилъ намъ носителя такой власти въ царѣ Борисѣ. Ему придалъ онъ всѣ качества, отсутствіе которыхъ привело къ гибели его предшественниковъ, но зато онъ лишилъ эту власть одной изъ главныхъ опоръ — опоры нравственной санкціи. Погрѣшилъ ли Толстой противъ исторіи, признавъ въ Борисѣ убійцу и похитителя престола въ прямомъ смыслѣ, это—вопросъ спорный и къ развитію основной трагической идеи не относящійся. Сама идея могла имѣть такое обнаруженіе, и драматургъ былъ правъ.

Уже въ драмѣ „Царь Ѳедоръ“ личность Бориса обрисована вполнѣ ясно. Она — самая величественная фигура всей драмы, но пока еще не трагическая. Борисъ—единственный прогрессивный человѣкъ среди стараго московскаго режима. Онъ — врагъ всѣхъ тѣхъ, которые хотятъ „жизни новой свѣтлое теченіе отвлечь въ старое русло“. Онъ готовъ чтить въ своихъ врагахъ гражданскую доблесть. но не прощаетъ имъ того, что они идутъ избитою тропой, и того, что они—рабы преданія. Онъ понимаетъ, что при Ѳедорѣ, подъ сѣнью его пассивной и косной власти, такая традиція старины равносильна общественному застою. И Борисъ жестокъ въ своей борьбѣ съ врагами. Для него нѣтъ недозволенныхъ средствъ при той цѣли, которую онъ себѣ ставитъ. Эта цѣль двоякая: и личная, и государственная. Въ драмѣ „Царь Ѳедоръ“ личный интересъ Бориса тѣсно слитъ съ его общественными планами, но затѣмъ, когда Борисъ сталъ царемъ, этотъ личный интересъ просвѣщеннаго властителя отступаетъ совсѣмъ на второй планъ. И тѣмъ не менѣе, эта разумная и сильная власть обречена на гибель. И гибель эта высоко трагична потому, что жертвой ея становится человѣкъ, который во всѣхъ иныхъ смыслахъ, кромѣ нравственнаго, могъ бы по праву быть торжествующимъ героемъ. Властитель рѣдкаго политическаго ума и такта, какимъ онъ является въ знаменитой сценѣ пріема пословъ, царь Борисъ — просвѣщенный

и либеральный слуга государства. Онъ побѣдилъ. Никто — думаетъ онъ—не можетъ осудить его теперь за то, что онъ шелъ къ цѣли не прямой дорогой; никто не упрекнетъ его за то, что онъ заплатилъ за величіе Россіи чистотой своей души. Онъ совершилъ грѣхъ не даромъ и можетъ теперь идти стезею чистой; для правды и добра держитъ онъ теперь скипетръ — такъ разсуждаетъ онъ, не видя того врага, который долженъ разрушить всѣ его великіе замыслы. А замыслы эти, дѣйствительно, велики, судя по тому реформаторскому духу, какимъ они оживлены. Порядокъ внутри, порядокъ справедливый, направленный на выгоду всей земли, а не одного какого-нибудь сословія, порядокъ по тѣмъ временамъ даже гуманный, щадящій раба, насколько это возможно, — вотъ что желалъ осуществить этотъ узурпаторъ престола. Второй его заботой было связать съ Западомъ молодую Россію, которая должна стать рядомъ со своими сосѣдями, а въ будущемъ опередить ихъ. Онъ самъ подаетъ примѣръ такого единенія съ культурнымъ міромъ, онъ, который настолько либераленъ, что отказывается преслѣдовать людей за помыслы, уважаетъ чужую вѣру и въ свою собственную семью готовъ принять иностранца на правахъ сына.

И всѣ эти помыслы и начинанія не приносятъ никакого плода, и государство вновь гибнетъ, отданное во власть смутѣ и случайностямъ, и гибнетъ потому, что во всемъ этомъ величіи власти есть внутренняя ложь—нравственный грѣхъ, лежащій на душѣ властителя. Преступникомъ въ глазахъ народа царь не можетъ быть, — говоритъ Борисъ, начиная сознавать силу врага, который его одолѣваетъ; чистъ и безгрѣшенъ долженъ явиться царь, чтобы не только воля его вершилась безъ препинанія, но чтобы она жила въ послушныхъ сердцахъ, какъ святыня. „Господь караетъ ложь: отъ зла лишь зло родится; все едино: себѣ ли мы служить хотимъ, иль царству“, — говоритъ затравленный и умирающій царь, вступившій подъ конецъ жизни, изъ личныхъ и государственныхъ цѣлей, вновь на дорогу пытокъ и казней.

Въ такихъ послѣдовательныхъ обнаруженіяхъ предста-
илъ Алексѣй Толстой въ своей „Трилогіи“ трагическую идею
амодержавной власти. Сама идея этими тремя формами,
онечно, не исчерпана; но тотъ, кто знакомъ съ нашей исто-
іей, согласится, что изъ всѣхъ идей, управлявшихъ нашей
изнью, эта именно идея вмѣстѣ съ религіозной, тѣсно съ
ей связанной, была до сихъ поръ доминирующей, и, дѣй-
твительно, воплощалась нерѣдко въ тѣхъ формахъ, какія
оэтъ придалъ ей въ своей исторической хроникѣ.

Поэтому-то „Трилогія“ Толстого и можетъ быть на-
вана нашей первой національной трагедіей, въ которой
ѣйствующимъ лицомъ является наша самобытная жизнь,
редставленная въ формѣ развитія одной изъ главнѣйшихъ
дей, руководившихъ этой жизнью.

И кто, читая „Трилогію“, не вспомнитъ о тѣхъ годахъ,
огда она была написана [1865—1870], о годахъ, когда власть
е была деспотична по существу, когда она обладала твер-
ою волей и стремилась направить жизнь въ новое русло,
скупая этимъ не свои личные грѣхи, а грѣхи исторіи...

1902.

Графъ А. К. Толстой какъ сатирикъ.

I.

Алексѣй Толстой славился своимъ остроуміемъ.

Сарказмъ и юморъ были не простымъ придаткомъ къ богатству его духа. Способность видѣть смѣшную и нелѣпую сторону жизни, желаніе интересоваться ею были очень развиты въ немъ. Поэтъ, привыкшій понимать и жизнь личную, и жизнь всего міра, какъ процессъ цѣлесообразный, человѣкъ много думавшій надъ конечнымъ и временнымъ смысломъ бытія, онъ не могъ не спросить себя — какой же смыслъ кроется въ томъ, что́, повидимому, не имѣетъ никакого смысла или есть видимое отрицаніе тѣхъ основныхъ положеній добра, справедливости и истины, на которыхъ онъ строилъ свое патетическое міропониманіе? Онъ охотно иронизировалъ надъ жизнью, изъ патетическаго тона впадалъ въ тонъ шутовской, мѣшалъ серьезное съ легковѣснымъ, разрѣшалъ иногда глубокій вопросъ неожиданнымъ смѣхомъ.

Насмѣшка, иронія, шутка и смѣхъ — иногда смѣхъ ради смѣха — весь этотъ рядъ игривыхъ настроеній и мыслей, составляющихъ если не соль жизни, то, во всякомъ случаѣ, острую къ ней приправу, — въ полномъ собраніи сочиненій Толстого представленъ въ достаточно изящныхъ образчикахъ.

II.

Сатирическія и „легкія“ стихотворенія Толстого, — помимо значенія, которое они могутъ имѣть какъ матеріалъ для объясненія сложной психики поэта,—имѣютъ также немалую цѣну какъ образцы русской стихотворной сатиры и веселой, игривой пѣсни.

Они были написаны въ эпоху благопріятную [1855—70] для такихъ юмористическихъ пѣсенъ и риѳмой заостренныхъ сатиръ.

Со средины пятидесятыхъ годовъ, вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ говорить о серьезныхъ вещахъ, позволено было намъ и посмѣяться, и притомъ не въ кулакъ, не за спиной и не по поводу показаннаго пальца. Этой свободой смѣшливаго и остраго слова литература наша широко воспользовалась. Почти всѣ журналы имѣли тогда особые отдѣлы, въ которыхъ они прозой, вперемежку со стихами, язвили и смѣялись надъ тѣмъ, о чемъ серьезно трактовали въ руководящихъ статьяхъ и въ беллетристикѣ. Рѣдкій литераторъ, обладающій способностью писать стихи, упускалъ случай съострить или съязвить на тему самую современную. Труднѣйшія задачи общественной и даже политической жизни поясняліись такими картинками въ формѣ балладъ, посланій, пѣсенъ, поэмъ, монологовъ и діалоговъ, эпиграммъ и надписей съ сатирической начинкой.

Нельзя, однако, сказать, чтобы наше общественное движеніе тѣхъ годовъ отъ этой сатиры много выиграло. Недреманное око цензуры, несмотря на нѣкоторое ослабленіе своего зрѣнія въ эти годы, оставалось все-таки довольно зоркимъ, и сатирикъ принужденъ былъ сдерживать свой языкъ. Но и помимо этого, среди сатириковъ стихотворцевъ того времени не встрѣчалось людей, для которыхъ этотъ родъ творчества былъ бы истиннымъ поэтическимъ призваніемъ. Своего Беранже, Барбье, Джусти, своего Гейне мы не имѣли.

Мы брали въ данномъ случаѣ скорѣе количествомъ, чѣмъ качествомъ.

Число сатириковъ было въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, дѣйствительно, довольно внушительное.

И. И. Панаевъ,—извѣстный подъ псевдонимомъ „Новаго Поэта", — писалъ пародіи на нашихъ классиковъ и иногда позволялъ себѣ слегка касаться общественныхъ темъ въ очень деликатной и сдержаной формѣ, къ которой его пріучили литературные нравы сороковыхъ годовъ. Изысканный щеголь въ манерахъ, онъ и въ сатирѣ былъ изысканно вѣжливъ. Но сатира его была легкой causerie — и силы въ ней не было.

Н. Щербина, забывъ своихъ грековъ и римлянъ, на старости лѣтъ тоже записался въ сатирики. Онъ совсѣмъ отвыкъ отъ всякой античной граціи и спокойнаго созерцанія, былъ боленъ и сталъ желченъ. Общественныя дѣла и вопросы его интересовали мало, онъ былъ занятъ больше личностями, и по адресу почти всѣхъ тогдашнихъ писателей наговорилъ много остроумныхъ дерзостей въ формѣ эпиграммъ, посланій и характеристикъ. Особенно невоздержанъ былъ онъ въ своемъ раздраженіи противъ молодыхъ прогрессистовъ въ виду все болѣе и болѣе развивавшагося въ немъ эстетическаго консерватизма, который и обращалъ его сатиру часто въ простое брюзжаніе. Въ его сатирѣ была сила, но только сила чисто внѣшняго хлесткаго слова.

Б. Алмазовъ, большой эстетикъ и любитель романтическихъ темъ, также былъ унесенъ волной стихотворнаго обличенія. Въ выборѣ темъ, какъ человѣкъ молодой и пылкій, онъ былъ смѣлъ и обладалъ безспорнымъ даромъ— необычайно плавной и картинной рѣчи. Онъ былъ мастеръ не столько риѳмъ, сколько самаго стиха, и пародія давалась ему легко. За вычетомъ его нападокъ на самыя модныя и потому быстро испошлившіяся темы — въ родѣ бюрократизма вообще, взяточничества, лицемѣрія, празднаго либерализма, семейной неурядицы — его сатиры на тогдашнюю журнали-

гику и его мѣткія характеристики литературныхъ партій были цѣнной новинкой, возбуждавшей откровенный смѣхъ—смѣхъ отъ души, но въ сущности смѣхъ весьма невинный.

В. С. Курочкинъ—извѣстный редакторъ „Искры"—умѣлъ мѣшить лучше. Тоже виртуозъ стиха и риѳмы, онъ славился своими переводами, или, вѣрнѣе, переложеніями изъ Беранже, и самъ слѣдовалъ манерѣ своего учителя. Въ его стихахъ, въ общественномъ смыслѣ опять-таки весьма невинныхъ, много легкости и граціи, много даже нѣжныхъ оттѣнковъ, но удара настоящаго — нѣтъ. Меньше шаржа, чѣмъ у другихъ, и больше психологической мотивировки, меньше натурализма и больше игривости въ темахъ „вольныхъ", бо́льшая живость темпа—но опять все тѣ же ходячіе мотивы будничнаго обличенія, скользящаго лишь по поверхности жизни.

Тѣми же достоинствами и недостатками отличалась и сатира Д. Минаева. Въ риѳмахъ поразительно колоритная, въ стихѣ нѣсколько тусклая, эта сатира совсѣмъ уже не выходила за предѣлы ежедневной житейской суеты и никакихъ общихъ типовъ съ общественнымъ смысломъ не дала. Судя по нѣкоторымъ стихамъ, Минаевъ не имѣлъ даже смутнаго представленія объ общественномъ смыслѣ многихъ весьма для того времени характерныхъ событій. Онъ былъ мастеръ острыхъ словъ, но не острой мысли.

Можно пожалѣть, что „Гейне изъ Тамбова"—тогда очень популярный псевдонимъ и теперь не менѣе популярнаго П. И. Вейнберга — писалъ въ тѣ веселые годы такъ мало. Литераторъ съ большимъ вкусомъ и широкимъ литературнымъ образованіемъ, онъ забавлялъ своими остроумными и игривыми пѣснями, на которыхъ всегда лежала печать очень взыскательнаго вкуса. Пѣсни были вполнѣ невинныя, иногда на мелкую злобу дня, но самъ авторъ, кажется, и не требовалъ отъ нихъ бо́льшаго.

Популяренъ какъ обличитель былъ тогда и Розенгеймъ, а поэзію котораго такъ недовѣрчиво смотрѣли наши либе-

ралы. Они были правы: сатира и веселая пѣсня совсѣмъ не подходили къ складу души этого мирнаго, мечтательно настроеннаго патріота. Человѣкъ съ искренней любовью къ поэзіи, недурной техникъ стиха и, какъ говорятъ знавшіе его люди, человѣкъ необычайно добрый и мягкій, онъ былъ совсѣмъ въ своей сферѣ, когда касался религіозныхъ и военно-патріотическихъ темъ и не выходилъ изъ общихъ словъ и положеній, когда хотѣлъ своего читателя не растрогать, а натравить. Конечно, и ему, какъ опытному стихотворцу и литератору со вкусомъ, удавалось подчасъ написать удачное сатирическое стихотвореніе.

Тогда же начиналъ свою литературную дѣятельность и В. П. Буренинъ, обнаруживая въ первыхъ своихъ стихотвореніяхъ очень искусную грань стиха и большой даръ пародіи и комическаго таланта.

Къ этому перечню наиболѣе замѣтныхъ сатириковъ-стихотворцевъ и слагателей веселыхъ пѣсенъ нужно добавить и всѣхъ тѣхъ менѣе извѣстныхъ писателей, которые ютились при редакціяхъ сатирическихъ журналовъ и листковъ, столь тогда распространенныхъ. Эти сатирическіе журналы во главѣ съ „Искрой“ представляли въ ихъ совокупности безспорно извѣстную общественную силу. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ тѣ годы съ ней считались. „Искра“ и другіе листки внушали извѣстное безпокойство, можетъ быть даже страхъ, всѣмъ тѣмъ, кто безчинствовалъ довольно явно. Но при опредѣленіи литературной стоимости и общественнаго значенія нашей стихотворной сатиры пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ надо все-таки помнить, что прозаическіе фельетоны и статьи дѣйствовали успѣшнѣе и сильнѣе стихотворныхъ и что всѣ эти риѳмованныя сатирическія стрѣлы были сильны только въ ихъ скученности и при ихъ подавляющемъ количествѣ. Среди всѣхъ сатириковъ—крупнаго, истиннаго таланта, яркаго и бьющаго безъ промаха, не было. Онъ, по крайней мѣрѣ, незамѣтенъ въ тѣхъ стихахъ, которые проникли въ печать.

Всей этой мелкой сатирѣ, и прозаической, и въ особенности риѳмованной, недоставало глубины взгляда и широты размаха. Можетъ быть—помимо отсутствія сильныхъ талантовъ—это объясняется еще и тѣмъ, что самый родъ легкой, живой сатиры не имѣлъ у насъ непосредственнаго прошлаго и былъ въ Николаевское время низведенъ—по крайней мѣрѣ при гласномъ своемъ обнаруженіи—до самой плоской шутки и каламбура.

Установляя такую относительно невысокую стоимость нашей сатиры въ ея недавнемъ прошломъ, надо, однако, помнить, что все, что́ при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ и наличности талантовъ можно было сдѣлать—она сдѣлала. Она подбадривала по мѣрѣ силъ общественное настроеніе тѣхъ годовъ и веселила его. Этого нельзя сказать о той же стихотворной и легкой сатирѣ позднѣйшаго времени, которая свое подневольное положеніе вымещала почти исключительно на тёщахъ, зябнущихъ дачникахъ, пьяныхъ купцахъ, кокоткахъ и спящихъ думскихъ дѣятеляхъ.

III.

Въ числѣ вышепоименованныхъ сатириковъ-стихотворцевъ не названъ ни Некрасовъ, ни Добролюбовъ, ни А. Толстой. Они не подходятъ подъ общую норму. Ихъ выдѣляетъ прежде всего ихъ безспорно сильный и оригинальный талантъ, а затѣмъ и ихъ отношеніе, какъ сатириковъ, къ окружавшей ихъ дѣйствительности.

Сатирическій талантъ Некрасова — первоклассный, но только его стихи никакъ не могутъ быть отнесены въ разрядъ „легкой“ поэзіи. Правда, въ ранней юности, въ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ и затѣмъ въ послѣдніе годы [1870—1877] жизни Некрасовъ писалъ шутливые и остроумные памфлеты, но въ эпоху нашей общественной бури онъ былъ такъ серьезно и такъ печально настроенъ, что сатира его вмѣстѣ со Щедринской была крикомъ него-

дованія, злобной филиппикой, стономъ, воплемъ, чѣмъ угодно, но только не остроумной шуткой, хотя бы и съ очень полновѣснымъ содержаніемъ.

Въ своемъ журналѣ эту роль злого насмѣшника Некрасовъ предоставилъ Добролюбову, лишь изрѣдка приходя ему на помощь. И выборъ редактора былъ въ данномъ случаѣ необычайно удаченъ. „Свистокъ“ и его герой Конрадъ Лиліеншвагеръ, онъ же и Яковъ Хамъ и проч., были первыми піонерами настоящей общественной сатиры веселаго типа. Необычайная серьезность и дѣловитость Добролюбова не помѣшали расцвѣту его истинно сатирическаго таланта. Такъ много задатковъ широкой талантливости было въ этомъ человѣкѣ, который за свою краткую жизнь успѣлъ только намекнуть на то, что онъ былъ призванъ сказать и сдѣлать!

Извѣстно, какую сенсацію произвелъ „Свистокъ“ и сколь многихъ онъ озлобилъ. И было основаніе сердиться на него. Его никакъ нельзя было упрекнуть въ пустомъ шутовствѣ или въ легковѣсности — двухъ качествахъ, которыя въ другихъ сатирическихъ стихахъ могли всегда служить утѣшеніемъ для тѣхъ, въ кого сатира мѣтила. „Свистокъ“ въ шутливой формѣ трактовалъ о самыхъ коренныхъ вопросахъ тогдашней общественной жизни и злилъ многихъ людей своими справедливыми нападками на тѣ ихъ убѣжденія и чаянія, которыя, какъ имъ казалось, стояли внѣ всякаго выстрѣла. Кто поднялъ на смѣхъ пресловутую „гласность“, прикрывавшую все ту же традиціонную безгласность прежняго времени? Кто развѣнчалъ побѣдоносный „прогрессъ“, о которомъ такъ много было крику среди толченія на одномъ мѣстѣ или попытокъ идти вспять? Кто „созрѣвшимъ“ людямъ доказалъ, что они ребята? Кто мнимую ученость низвелъ на степень глупаго педантизма? Вообще, кто изъ современниковъ былъ такъ смѣлъ и кто былъ такъ зорокъ, что причину неустройствъ и золъ искалъ не во внѣшнихъ преградахъ, а въ самихъ людяхъ, призванныхъ на работу? Всѣ эти — теперь далеко не новыя мысли — показались въ

„Свисткѣ“ необычайно дерзкими именно потому, что въ нихъ была заключена правда темной стороны тогдашняго историческаго момента.

Въ сравненіи съ этими словами—съ виду столь шутливыми, а въ глубинѣ столь вѣскими—какъ мелки и незначительны должны были показаться преобладавшія тогда сатирическія обличенія взяточниковъ, неисправныхъ или слишкомъ старательныхъ администраторовъ, бюрократовъ, самодовольныхъ и недовольныхъ, невѣжественныхъ купцовъ, кулаковъ, эксплуататоровъ, ростовщиковъ, глупыхъ учителей, праздношатающихся кавалеровъ и дѣвицъ, гулякъ и камелій, хлыщей и либеральныхъ болтуновъ, т.-е. всѣхъ тѣхъ людей, отъ которыхъ можно было бы отмахнуться, еслибы общественное обновленіе шло дѣйствительно по пути, указанному Добролюбовымъ.

Съ шутливыхъ пѣсенъ этого суроваго критика надо начинать исторію нашей общественной легкой сатиры, облеченной въ игривую стихотворную форму, такъ какъ онъ, трезвый прозаикъ, владѣлъ и этой формой въ совершенствѣ.

Прямыхъ продолжателей Добролюбовъ не имѣлъ [Щедринъ попыталъ свои силы въ томъ же „Свисткѣ“, но стихи ему не давались], а всѣ его современники, какъ мы видѣли, избирали мишень болѣе легкую и близкую.

Исключеніемъ былъ лишь Алексѣй Толстой.

Онъ и въ этой области своего поэтическаго творчества, какъ во всѣхъ другихъ, сумѣлъ сохранить за собой особую позицію. Она была уже потому особая, что на ней не было знамени опредѣленной партіи. Большинство, если не всѣ изъ сатириковъ тѣхъ годовъ шли подъ флагомъ ясно-либеральнымъ. Либеральна, если ужъ употреблять это измотавшееся слово, была и основная тенденція сатиры Толстого, но что-то въ ней было особое, отличное отъ общепринятаго образца, что, вопреки всякой справедливости, утвердило во мнѣніи большинства понятіе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ ретроградnаго лагеря. Дѣйствительно, кто при словѣ „сатира

Толстого" не вспоминаетъ прежде всего „Потока Богатыря" и „Порой веселой мая"—этихъ двухъ самыхъ злыхъ пародій на нашихъ радикаловъ?

Такое ходячее мнѣніе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ, требуетъ не одной только оговорки, но коренной поправки.

IV.

Алексѣй Константиновичъ писалъ пародіи, шутки и сатиры при случаѣ, и съ нѣкоторой небрежностью относился къ этому своему дару. Если собрать все имъ написанное въ этомъ родѣ, то составится сборничекъ довольно тощій.

При составленіи такого сборника надо, однако, соблюдать большую осторожность. Извѣстность, которую пріобрѣлъ Толстой, какъ сатирикъ, заставила многихъ приписывать ему стихи, въ которыхъ онъ былъ невиновенъ. Такъ случилось, между прочимъ, со знаменитой „Ѳедорушкой", имѣвшей большой успѣхъ въ нелегальной печати *).

Шуточные стихи и сатиры Толстого, появляясь неожиданно, въ сроки иногда другъ отъ друга очень отдаленные, не объединены какой-нибудь общей тенденціей. Авторъ не дѣлалъ ихъ орудіемъ борьбы серьезной и обдуманной. Онъ шутилъ ими, такъ какъ, по собственному признанію, былъ „шутливъ отъ природы"; но, какъ у человѣка большого ума и остраго взгляда, его набѣжавшая шутка была часто и острѣе, и сильнѣе, чѣмъ сознательно написанная и продуманная сатира любого присяжнаго остроумца-обличителя.

---

*) «Я попался,—писалъ Толстой,—между двухъ огней, обвиняемый Л... и Т... въ революціонныхъ мысляхъ, а сапожниками-фельетонистами — въ ретроградныхъ... Оба противоположныя мнѣнія согласны въ томъ, что я виновенъ. Я — который пахну фіалками!.. Вы требуете, чтобы я публично отрекся отъ нѣкоторыхъ стихотвореній, приписываемыхъ мнѣ. Неужто же это все «Ѳедорушка», которую мнѣ прислали съ вопросомъ — моя ли она, или нѣтъ? — Нѣтъ, не моя; я никогда ничего не писалъ безъ подписи. Авторъ пишетъ дурные стихи и сваливаетъ ихъ мнѣ на плечи». [Письмо изъ Дрездена 1871 г., 20 декабря. «Вѣстникъ Европы» 1895, XI, стр. 184].

Собиратель и издатель шуточныхъ стиховъ Толстого неминуемо столкнется поэтому съ нѣкоторой трудностью, если пожелаетъ сгруппировать ихъ по содержанію, не придерживаясь внѣшняго хронологическаго порядка. Группировать плоды художественнаго каприза, дѣйствительно, нелегко. Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ съ перваго взгляда смысла не доищешься; есть и такіе, въ которыхъ за видимой безсмыслицей какъ будто что-то и кроется.

Оставимъ ихъ пока въ сторонѣ и обратимся къ тѣмъ, смыслъ которыхъ вполнѣ ясенъ.

V.

. . . . . .
Языкъ держать привыкъ я строго,
И повторяю каждый день:
Нѣтъ власти, аще не отъ Бога.
Не намъ понять высокихъ мѣръ,
Творцомъ внушаемыхъ вельможамъ;
Мы изъ исторіи примѣръ
На этотъ случай выбрать можемъ:
Передъ Шуваловымъ свой стягъ
Склонялъ великій Ломоносовъ —
Я жъ - другъ властей и вѣчный врагъ
Такъ-называемыхъ вопросовъ *).

„Врагъ такъ-называемыхъ вопросовъ“, не желающій критиковать распоряженія начальства, прикинулся большимъ скромникомъ. Именно, по самымъ знаменательнымъ вопросамъ своего времени наговорилъ Толстой много дерзостей и тѣмъ людямъ, которые, яко власть имущіе, эти вопросы рѣшали, и тѣмъ, которые не желали слышать ни о какомъ рѣшеніи, не отъ ихъ мудрости исходящемъ.

Толстому въ извѣстномъ лагерѣ всегда ставили въ упрекъ его отношеніе къ молодому поколѣнію прогрессистовъ шести-

*) Изъ шуточнаго стихотворенія «Посланіе къ Ѳ. М. Толстому». Красный-Рогъ, 1869, 14 января. «Русская Старина» 1887, т. LV, 144—5. Въ изданіи Маркса 1907 г., I, стр. 502.

десятыхъ годовъ. Упрекъ кажется вполнѣ основательнымъ, если не считаться съ условіями того времени, съ особымъ фанатичнымъ культомъ поэзіи, за права которой Толстой собственно и заступался, и—главное—если сбросить со счетовъ всѣ тѣ стихотворенія, въ которыхъ нашъ сатирикъ расправляется уже не съ молодежью, а съ ея самыми опредѣленными врагами. Если же со всѣми этими фактами посчитаться, то, можетъ быть, антипрогрессивные стихи Толстого окажутся совсѣмъ не столь виновными въ „непониманіи" серьезныхъ сторонъ тогдашняго общественнаго движенія.

Эти стихи столь извѣстны, что останавливаться на нихъ долго нѣтъ нужды. Да и всѣхъ-то этихъ стихотвореній—всего двѣ баллады и одна пѣсня.

Баллада „Порой веселой мая" заслужила вполнѣ справедливыя порицанія. Авторъ хотѣлъ поразить „россійскую коммуну" и разсказалъ ни съ чѣмъ несообразную сказку, въ которой вмѣсто острой мысли была лишь „легкая" мысль или просто легкомысліе. Свести обвиненія противъ матеріалистовъ, нигилистовъ, демагоговъ и анархистовъ къ тому, что эти люди хотятъ загадить все изящное въ жизни во имя общаго блаженства, — значило грѣшить произвольнымъ обобщеніемъ и умышленнымъ пренебреженіемъ къ сути дѣла, точно такъ же, какъ рекомендовать орденъ Станислава какъ панацею противъ ихъ разрушительныхъ тенденцій — значило сказать непристойность.

Впрочемъ, имѣемъ ли мы право относиться къ этой балладѣ серьезно, какъ къ ней обыкновенно относятся, когда порицаютъ за нее Толстого? Быть можетъ, — она самая обыкновенная бутада безъ всякой претензіи, шаржъ, прочитанный въ дружеской компаніи? Но одно въ этой балладѣ характерно, это—то, что сатирикъ не нашелъ иного обвиненія для ненавистныхъ ему людей, какъ обвиненіе во враждѣ къ искусству, точно у нихъ не было иныхъ грѣховъ, гораздо болѣе тяжкихъ въ общественномъ смыслѣ. Но въ Толстомъ былъ оскорбленъ не человѣкъ политической партіи, а эстетикъ.

Несравненно серьезнѣе и злѣе, и умнѣе, чѣмъ эта баллада, другая — извѣстный „Потокъ“, въ свое время пользовавшаяся огромнымъ успѣхомъ *).

Балладу эту нельзя считать чисто ретроградной по основной ея мысли. Она не имѣетъ никакого цвѣта и одинаково враждебно относится ко всѣмъ яркимъ краскамъ. Деспотизмъ и консерватизмъ въ ней осмѣяны такъ же злостно и остроумно, какъ и крайности либерализма худого тона. Нельзя въ самомъ дѣлѣ обвинить автора въ ретроградномъ образѣ мыслей только за то, что онъ не желаетъ видѣть въ отъявленномъ негодяѣ страдающаго меньшого брата, не желаетъ согласиться съ тѣмъ, что Господь Богъ есть видъ кислорода, не желаетъ на брюхѣ лежать передъ мужикомъ, и въ дѣвицахъ-медичкахъ желалъ бы найти больше вниманія къ ихъ туалету. Обвинить уже потому нельзя, что рядомъ съ этимъ либеральнымъ Петербургомъ достается и „ханской“ Москвѣ не меньше, и самъ авторъ откровенно признается, что онъ—сторонникъ и суда присяжныхъ, и мужика, который не пропиваетъ урожая, и сторонникъ здраваго русскаго вѣча. Онъ говоритъ даже больше: онъ соглашается, что и чепуху подчасъ пороть можно, и что въ этой чепухѣ попадаются иной разъ жемчужныя зерна, т.-е. онъ дѣлаетъ уступку, которую никогда не сдѣлалъ бы озлобленный сатирикъ и которую обязанъ сдѣлать справедливый историкъ.

Извѣстное стихотвореніе „Противъ теченія“, на которое также указываютъ какъ на собственное признаніе автора въ томъ, что онъ желалъ плыть противъ теченій своего времени, сатирой названо быть не можетъ. Это—прелестный гимнъ искусству въ мажорномъ тонѣ, и именно въ этомъ стихотвореніи раскрывается источникъ всего того раздраженія, которое охватывало поэта, когда онъ присматривался къ молодому поколѣнію своего времени. Онъ былъ сердитъ на

*) «Онъ имѣетъ громадный успѣхъ во всѣхъ слояхъ общества». «Письма Б. М. Маркевича къ А. К. Толстому», 119.

него, какъ художникъ, какъ прирожденный, фанатичный эстетикъ и философъ-идеалистъ, который боялся [совсѣмъ, впрочемъ, неосновательно] за судьбу „безконечныхъ“ началъ въ сердцѣ и сознаніи людей, слишкомъ занятыхъ будничными практическими вопросами.

Любопытно, что именно это стихотвореніе Толстого стало любимымъ нумеромъ на программахъ разныхъ литературно-музыкальныхъ вечеровъ, устраиваемыхъ молодежью. Совсѣмъ не замѣчая основной тенденціи стихотворенія [такъ она невинна], молодежь желала слышать въ немъ одинъ лишь призывъ къ борьбѣ за свои идеалы, и потому всегда рукоплескала словамъ:

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею.
На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
Выйдемъ торжественно съ нашей святынею.
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное,
Вѣрою въ наше святое значеніе—
Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное
Противъ теченія.

Быстрый подъемъ радикальной мысли и, главное, темперамента огорчалъ Толстого и сердилъ, во-первыхъ, какъ непріятный симптомъ не-критическаго и несвободнаго отношенія людей къ теоріи, которую они исповѣдуютъ, и, во-вторыхъ, главнымъ образомъ, какъ показатель упадка въ молодомъ поколѣніи эстетическаго пониманія и чувства.

Что Толстой именно какъ художникъ нападалъ на радикаловъ, уважалъ ихъ убѣжденія, но требовалъ критическаго и свободнаго къ нимъ отношенія—это онъ высказалъ очень ясно въ одномъ частномъ письмѣ къ Я. П. Полонскому. Рѣчь шла о томъ, какъ нѣмцы и какъ наша молодежь относятся къ одному и тому же ученію.

„Матеріалистическое направленіе здѣсь слабо,—писалъ Толстой.—Надъ Бюхнеромъ ученые смѣются. Я бы желалъ, чтобы наши нигилисты послушали здѣшнихъ ученыхъ. Отзывы ихъ о матеріализмѣ немножко бы отрезвили извѣ-

стный вамъ классъ людей... Когда я спросилъ, почему у Бюхнера столько изданій, мнѣ отвѣчали: „Извините за неучтивую правду, но его изданія только и идутъ въ Россію и въ Венгрію, въ полуобразованныя страны, а у насъ мода на этихъ господъ давно прошла, мы для матеріализма слишкомъ серьезны и слишкомъ уважаемъ науку, которая не должна переступать свои границы". Вотъ разница между людьми дѣйствительно либеральными и дѣйствительно учеными—и тѣми, которыхъ можно бы назвать у насъ: les parvenus de la science ou du liberalisme" *).

Очевидно, что именно это уваженіе къ серьезности, съ какой человѣкъ относится къ жизни, заставило Толстого сказать, какъ мы уже слышали, что онъ готовъ вступить въ серьезный споръ съ Базаровымъ и предложить ему свою дружбу.

Вѣроятно, однако, что онъ сталъ бы спорить съ Базаровымъ обо всемъ, но только не о Пушкинѣ и не объ искусствѣ. Толстой, какъ видно изъ его писемъ, не могъ объ искусствѣ говорить спокойно съ людьми даже менѣе радикальными. „Вся наша критика находится въ рукахъ одной клики, за рѣдкими и робкими исключеніями, — писалъ онъ раздраженно въ 1869 г.—Девизъ этой клики — *война искусству*. Будемъ обходиться и безъ ихъ мнѣнія" **).

И годомъ раньше онъ ту же мысль высказывалъ въ письмѣ къ Полонскому. „Мы съ вами — не послѣдніе могикане искусства — писалъ онъ. Оно не умретъ и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались разные Чернышевскіе, Писаревы, Стасовы, Корфы (?) и такъ далѣе, кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно рос-

*) Письмо изъ Дрездена 1868—71, «Русская Старина» 1884, XI, 195—6.

**) «Вѣстникъ Европы» 1895, XI, 166.

кошь и отнимаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ" *).

И вездѣ, и всегда такъ. Въ Толстомъ, когда онъ говоритъ о своемъ времени, возмущенъ прежде всего и почти исключительно художникъ. Публициста и политика въ его рѣчахъ совсѣмъ не слышно. Судитъ — поэтъ, онъ же и негодуетъ, и любитъ.

Когда его хорошій знакомый и даже другъ, Болеславъ Маркевичъ—авторъ романовъ съ несомнѣнной ретроградной тенденціей и одинъ изъ непримиримыхъ обличителей „нигилистовъ"—спрашивалъ Толстого, какое на него впечатлѣніе произвело одно изъ его боевыхъ твореній, Толстой не пошелъ дальше чисто литературной оцѣнки. Онъ говорилъ Маркевичу, что его „нигилистъ"—лицо, которое „живетъ и дышетъ", что онъ далъ образчикъ отличнаго физіологическаго этюда, но что слишкомъ много показалъ свою собственную физіономію и не былъ достаточно *объективенъ* **).

Когда Толстому попался въ руки романъ Клюшникова „Марево"—романъ также съ ясной обличительной и ретроградной тенденціей—то этотъ, въ художественномъ отношеніи слабый, разсказъ раздражилъ его необычайно: „Читаю теперь „Марево",—писалъ Толстой. Это чортъ знаетъ что. И талантъ есть, и нѣкоторыя удачныя описанія, и кое-какія хорошія выраженія, рядомъ съ сильнымъ лакействомъ... Все это вертится на недавнихъ событіяхъ, и потому какъ будто представляетъ какой-то интересъ. Авторъ перещеголялъ даже Кохановскую новостью языка... Клюшниковъ—человѣкъ съ настоящимъ талантомъ, но онъ имъ орудуетъ какъ акробатъ" ***).

Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ виденъ только художникъ, цѣнитель стиля и образовъ, а никакъ не публицистъ, еще

*) «Русская Старина» 1884, XI, 196.

**) «Вѣстникъ Европы» 1895 г., X, 649; 1897, VI, 633.

***) Письмо отъ 11 іюля 1864 г. изъ Карлсбада. «Вѣстникъ Европы» 1897, VI, 619.

симпатизирующій будто бы основной идеѣ такихъ боевыхъ романовъ.

Иногда, впрочемъ, нашъ эстетикъ, когда ему вдругъ невзначай случалось набрести на „нигилиста", пугался и готовъ былъ въ этомъ таинственномъ незнакомцѣ [а „нигилистъ" и въ шестидесятыхъ годахъ былъ для многихъ таинственной личностью] видѣть нѣчто страшное и стихійное. Есть въ перепискѣ Толстого по этому поводу очень характерныя строки, въ которыхъ такъ и чувствуешь, какъ эстетикъ содрогается передъ фантомомъ „нигилизма". „Шесть часовъ утра,—пишетъ Толстой. Я только-что выходилъ на балконъ, но ничего не могъ разсмотрѣть. Такой туманъ, что онъ даже помѣшалъ бы Ромео разсмотрѣть Джульетту на поларшина разстоянія. Пѣтухи на селѣ продолжаютъ орать вдалекѣ, но они ничего этимъ не доказываютъ. Точно конецъ свѣта, или Нифельгеймъ скандинавовъ. Ни дерева, ни повара на кухнѣ. Ничего. Это — идеалъ нигилистовъ; къ тому же, что-то сырое падаетъ вамъ на голову" *).

Но кто же они были, эти нигилисты, которые такъ пугали современниковъ и пугали тѣмъ сильнѣе, чѣмъ шире были толкованія этого загадочнаго понятія? Толстой стоялъ не одиноко, когда съ опасеніемъ слѣдилъ за развитіемъ ультра-радикальныхъ взглядовъ и настроеній, которые какъ будто предвѣщали, ну, если не конецъ свѣта, то вихрь отрицанія и разрушенія. И не одни консерваторы и поклонники уютной косности раздѣляли съ нимъ эти опасенія.

Чтобы вѣрно судить о томъ положеніи, какое Толстой занялъ по отношенію къ крайнимъ нашимъ партіямъ въ шестидесятыхъ годахъ, надо держать въ умѣ нѣсколько историческихъ справокъ; надо вспомнить, напр., какъ Герценъ отнесся къ „желчевикамъ" и какія колкости онъ говорилъ Чернышевскому, какъ Кавелинъ сравнивалъ Добролюбова съ очковой змѣей, какъ Тургеневъ непристойно

*) Письмо 1869 г. «Вѣстникъ Европы» 1895 г., XI, 172—3.

бранилъ того же Чернышевскаго и Добролюбова, какъ, наконецъ, Салтыковъ расправлялся съ „вислоухими“ изъ „Русскаго Слова“...

Если не упускать изъ виду этихъ историческихъ справокъ, то и сатиры Толстого не будутъ нуждаться въ оправданіи.

VI.

Но эти справки забываются; забываются и тѣ стихотворенія Толстого, тѣ его шутки и сатиры, которыя бьютъ по консервативному лагерю.

Политическая и общественная сатира Толстого захватывала сферу довольно широкую. Она мѣтила и въ нашъ государственный порядокъ, въ его цѣломъ, и въ опору этого порядка—въ бюрократическую машину. Конечно, общественный кругъ, въ которомъ поэтъ вращался, и возможность получить приглашеніе прочитать свои новые стихи въ аудиторіи особъ очень высоко поставленныхъ — держали языкъ поэта на привязи. Его сатира необычайно корректна и деликатна въ своихъ выраженіяхъ и очень тонка въ своихъ намекахъ. Но отъ этого сущность ея и сила не страдаютъ.

Припомнимъ нѣкоторыя изъ этихъ шутокъ.

Сколь многіе утѣшали себя, въ тѣ годы „прогресса“, нашей молодостью и видами на блестящее будущее, которое должно искупить весь безпорядокъ настоящаго! Эта была ходкая тогда тема. Она имѣла за собой долю правды, когда о ней говорили люди живого труда. Но вѣдь были другіе люди, которые на такой надеждѣ готовы были уснуть какъ на мягкой подушкѣ: отчего было не разбудить этихъ людей, хотя бы и очень радикальнымъ способомъ:

Сидитъ подъ балдахиномъ
Китаецъ Дцу-Кинь-Дцинь
И молвитъ мандаринамъ:
— Я главный мандаринъ.
Велѣлъ владыко края
Мнѣ вашъ спросить совѣтъ,
Зачѣмъ у насъ въ Китаѣ.
Досель порядка нѣтъ?—
Китайцы всѣ присѣли,
Задами потрясли,
Гласятъ:—Затѣмъ доселѣ
Порядка нѣтъ въ земли,

Ито мы вѣдь очень млады,
Намъ тысячъ пять лишь лѣтъ —
Затѣмъ у насъ нѣтъ складу,
Затѣмъ порядку нѣтъ.
Клянемся разнымъ чаемъ,
И желтымъ и простымъ,
Мы много обѣщаемъ
И много совершимъ.
— Мнѣ ваши рѣчи милы,
Отвѣтилъ Дцу-Кинь-Дцинь,
Я убѣждаюсь силой
Столь явственныхъ причинъ.
Подумаешь, пять тысячъ,
Пять тысячъ только лѣтъ!—
И приказалъ онъ высѣчь
Немедля весь совѣтъ *).

Другая шутка съ такой же граціей старалась разсѣять не менѣе опасную иллюзію—вѣру въ наше, какъ говорилось, культуртрегерство. Каткову, Черкасскому, Самарину и Марковичу посвящена эта милая пѣсня „объ арапахъ“ **).

Друзья, ура! Въ единство
Сплотимъ Святую Русь.
Различій, какъ безчинства,
Народныхъ я боюсь.
Катковъ сказалъ, что дескать
Терпѣть ихъ—это грѣхъ;
Ихъ надо тискать, тискать
Въ московскій обликъ всѣхъ.
Ядро у насъ Славяне,
Но есть и Вотяки,
Башкирцы и Армяне
И даже Калмыки,
Есть также и грузины,
Конвоя цвѣтъ и честь,
Есть латыши и фины
И шведы также есть.
Недавно и ташкентцы
Живутъ у насъ въ плѣну
Признаться ль?.. Есть и нѣмцы,
Но это entre-nous.
Страшась съ Катковымъ драки,
Я на ухо шепну,
Что есть у насъ Поляки,
Но также entre-nous.
И многими другими
Обиленъ нашъ запасъ;
Какъ жаль, что между ними
Араповъ нѣтъ у насъ!
Тогда бы князь Черкасской,
Усердіемъ великъ,
Имъ мазалъ бѣлой краской
Ихъ неуказный ликъ.
Съ усердьемъ столь же смѣлымъ
И съ помощью воды
Самаринъ теръ бы мѣломъ
Ихъ черные зады.
Катковъ, нашъ герцогъ Альба,
Имъ удлинялъ бы носъ;
Маркевичъ восклицалъ бы:
Осанна.. Аксіосъ!..

А можетъ быть, мы захотимъ послушать, какъ нашъ литераторъ дерзалъ писать своему непосредственному началь-

*) Въ письмѣ отъ 15 апрѣля 1869 г. «Вѣстникъ Европы» 1895 г., X, 657—8. Въ изданіи Маркса I, 495

**) «Русская Старина» 1887, LIII, 512—514. Сравн. также «Русская Старина» 1886, X, 233—4. Въ этой редакціи она названа «Единство». Въ изданіи Маркса I, 496.

ству—тогда лучше всего заглянуть въ посланіе Толстого начальнику по дѣламъ печати М. Н. Лонгинову, котор подозрѣвали въ желаніи оградить русскіе умы отъ собла дарвиновой теоріи.

Всходъ наукъ не въ нашей власти.
Мы ихъ зерна только сѣемъ.
И Коперникъ вѣдь отчасти
Разошелся съ Моисеемъ.
. . . . . .
Если-жъ ты допустишь здраво,
Что вольны въ наукѣ мнѣнья,
Твой контроль съ какого права?
Былъ ли ты при сотвореньи?
Почему-бъ не понемногу
Введены во бытіе мы?
Иль нехочешь ли ужъ Богу
Ты предписывать пріемы?
Способъ, какъ творилъ Создатель,
Что считалъ онъ болѣ кстати,—
Знать не можетъ предсѣдатель
Комитета о печати.
Ограничивать такъ смѣло
Всесторонность Божьей власти,—
Вѣдь такое, Миша, дѣло
Пахнетъ ересью отчасти.
Вѣдь подобные примѣры
Подавать неосторожно,
И тебя за скудость вѣры
Въ Соловки сослать бы можно...
Да и въ прошломъ нѣтъ причины
Намъ искать большого ранга,
И по мнѣ шматина глины
Не знатнѣй орангъ-утанга.
Но по мнѣ, положимъ, даже
Дарвинъ глупость поретъ просто,—
Вѣдь твое гоненье гаже
Всякихъ глупостей разъ во сто.
Нигилистовъ, что ли знамя
Видишь ты въ его системѣ?
Но, святая сила съ нами,
Что межъ Дарвиномъ и тѣми?
. . . . . .
Въ нихъ не знамя, а прямое
Подтвержденье дарвинизма,

И сквозятъ въ ихъ дикомъ строѣ
Всѣ симптомы атавизма
. . . . . .
Чѣмъ же Дарвинъ тутъ виновенъ?
Вѣрь мнѣ! гнѣвъ въ себѣ утиша,
Изъ-за взбалмошныхъ поповенъ
Не гони его ты, Миша!
. . . . . .
Съ Ломоносовымъ наука,
Положивъ у насъ зачатокъ,
Проникаетъ къ намъ безъ стука
Мимо всѣхъ твоихъ рогатокъ,
Льетъ на міръ потоки свѣта
И, слѣдя, какъ въ тьмѣ лазурной
Ходятъ Божіи планеты
Безъ инструкціи цензурной,—
Кажетъ намъ, какъ та же сила,
Вся въ иную плоть одѣта,
Въ область разума вступила,
Не спросясь у комитета.
Брось же, Миша, устрашенья!
У науки нравъ не робкій,
Не заткнешь ея теченья
Ты своей дрянною пробкой. *)

а же убійственная острота при удивительной деликат-
и и въ сатирахъ: „Сонъ статскаго совѣтника Попова“
усская исторія отъ Гостомысла“.

Сонъ Попова“—лучшая и самая художественная изъ
ъ нашихъ сатиръ-стихотвореній, направленныхъ про-
бюрократіи. Она кромѣ того—историческій документъ,
какъ главное дѣйствующее лицо списано съ натуры.
ь часто въ самомъ дѣлѣ можно было подслушать въ
оды такія „ясныя“ рѣчи либеральнаго начальства:

Искать себѣ не будемъ идеала,
Ни основныхъ общественныхъ началъ
Въ Америкѣ. Америка отстала:
Въ ней собственность царитъ и капиталъ.
Британія строй жизни запятнала
Законностью. А я ужъ доказалъ—
Законность есть народное стѣсненье,

) Въ изданіи Маркса I, 498.

Гнуснѣйшее межъ всѣми преступленье!
Нѣтъ, господа! Россіи предстоитъ,
Соединивъ прошедшее съ грядущимъ,
Создать, коль смѣю выразиться, видъ,
Который называется присущимъ
Всѣмъ временамъ, и, ставъ на свой гранитъ.
Имущимъ, такъ сказать, и неимущимъ
Открыть родникъ взаимнаго труда...
Надѣюсь, вамъ понятно, господа?

А страшное Третье Отдѣленіе, въ первый разъ по дающее на страницы литературы! Толстой былъ единств нымъ нашимъ сатирикомъ, который не остановился въ м чаніи передъ дверьми этого учрежденія. До насъ донесл даже рѣчи, которыя никогда не предназначались для печа Лазоревый полковникъ, утирая слезы, говорилъ несчастн Попову, заподозрѣнному въ либерализмѣ:

Но, юный другъ, для набожныхъ сердецъ
Къ отверженнымъ не можетъ быть презрѣнья,
И я хочу вамъ быть второй отецъ,
Хочу вамъ дать для жизни наставленье.
Заблудшихъ такъ приводимъ мы овецъ
Со дна трущобъ на чистый путь спасенья.
Откройтесь мнѣ, равно какъ на-духу:
Что̀ привело васъ къ этому грѣху?
Конечно, вы пришли къ нему не сами,
Характеръ вашъ невиненъ, чистъ и прямъ.
Я помню, какъ, дитей, за мотыльками
Порхали вы средь кашки по лугамъ...
Нѣтъ, юный другъ, вы ложными друзьями
Завлечены. Откройте же ихъ намъ.
Кто вольнодумцы? Всѣхъ ихъ назовите
И собственную участь облегчите.

И несчастный Поповъ не устоялъ:

Пошелъ строчить (какъ люди въ страхѣ гадки!)
Именъ невинныхъ цѣлые десятки:
Явились тутъ на нѣсколькихъ листахъ
Какой-то Шмидтъ, два брата Шилаковы,
Зерцаловъ, Палкинъ, Савичъ, Розенбахъ,
Потенчиковъ, Гудимъ-Бодай-Корова,
Делаверганжъ, Шульгинъ, Страженко, Драхъ,
Грай-Жеребецъ, Бабковъ, Ильинъ, Багровый,
Мадамъ Гриневичъ, Глазовъ, Рыбинъ, Штихъ,

Бурдюкъ-Лишай—и множество другихъ.
Поповъ строчилъ сплеча и безъ оглядки.
Попались въ списокъ лучшіе друзья...
Я повторяю:—какъ люди въ страхѣ гадки:
Начнутъ какъ Богъ, а кончутъ какъ свинья!

Но, къ счастію, всѣ друзья Попова остались цѣлы. Все это — и безштанный его либерализмъ, и пріемная министра, и лазоревый полковникъ, и недостойное поведеніе Попова въ Третьемъ Отдѣленіи, все было лишь сонъ, смѣшной, нелѣпый сонъ. Но чей же сонъ? Быть можетъ — Попова, но отнюдь не русскаго обывателя. Для него всѣ эти фантомы были дѣйствительностью.

Сатира Толстого иногда расширялась до цѣлой исторической картины, и художникъ, вопреки правилу Кузьмы Пруткова, хотѣлъ „объять необъятное". Въ 83-хъ куплетахъ начерталъ онъ русскую исторію отъ Гостомысла до Тимашева. Она имѣетъ свои литературныя достоинства, и нѣкоторыя характеристики русскихъ государей вышли достаточно юмористичны, но въ общемъ сатира слаба, именно въ виду отсутствія въ этихъ портретахъ рѣзкихъ чертъ того или другого историческаго характера.

Наиболѣе удачны характеристики Петра и Екатерины:

Царь Петръ любилъ порядокъ.
Почти какъ царь Иванъ.
И также былъ онъ сладокъ.
Порой бывалъ и пьянъ.
Онъ молвилъ: «Мнѣ васъ жалко,
Вы сгинете въ конецъ;
Но у меня есть палка,
И я вамъ всѣмъ отецъ.
Недалѣе какъ къ святкамъ
Я вамъ порядокъ дамъ».
И тотчасъ за порядкомъ
Уѣхалъ въ Амстердамъ.
Вернувшися оттуда,
Онъ гладко насъ обрилъ,
А къ святкамъ такъ, что чудо,
Въ голландцевъ нарядилъ.
Но это, впрочемъ, въ шутку,—
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.
Хотя силенъ ужъ очень,
Быть можетъ, былъ пріемъ;
А все-жъ довольно проченъ
Порядокъ былъ при немъ...
. . . . . .
Веселая царица
Была Елисаветъ:
Поетъ и веселится,
Порядку только нѣтъ.
Какая-жъ тутъ причина,
И гдѣ же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.

«Madame, при васъ на диво
Порядокъ зацвѣтетъ»,—
Писали ей учтиво
Вольтеръ и Дидеротъ,—

«Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорѣе дать свободу,
Скорѣй свободу дать».

«Messieurs,—имъ возразила
Она,—vous me comblez:»
И тотчасъ прикрѣпила
Украинцевъ къ землѣ *).

Впрочемъ, самое жало сатиры заключается не въ этихъ историческихъ портретахъ, а въ припѣвѣ, который подъ каждымъ изъ нихъ подписанъ: „Земля наша обильна, порядка-жъ нѣтъ какъ нѣтъ!“ На этихъ словахъ обрывается русская исторія въ 1868 году,—когда „порядокъ былъ водворенъ“ Тимашевымъ.

Но легко догадаться, что и послѣ Тимашева пѣсню можно было начать пѣть сначала.

VII.

Эти образцы политической и общественной сатиры Толстого показываютъ ясно, насколько вѣренъ остался онъ своему принципу свободы, издѣваясь надъ бюрократами и правителями и въ то же время глумясь надъ крайними радикалами. „Двухъ становъ не боецъ“, онъ и здѣсь стоялъ на нейтральной позиціи, тѣмъ болѣе, что къ сатирѣ своей онъ относился любовно, но не со страстью.

Его сатиры, дѣйствительно, продиктованы ему не гнѣвомъ, а его веселымъ нравомъ, и если онѣ, тѣмъ не менѣе, полны смысла, то потому, что писалъ ихъ выдающійся по уму человѣкъ.

Этотъ умъ блеститъ и въ чисто шуточныхъ стихотвореніяхъ Толстого.

Толстой писалъ ихъ много. Нѣкоторыя удостоились большой извѣстности, другія схоронены въ его частной пере-

*) Обѣ шутки «Сонъ Попова» и «Русская Исторія» напечатаны теперь въ изданіи Маркса.

скѣ и въ виду невѣроятной своей игривости, должно быть, когда печати не увидятъ.

Наиболѣе популярное изъ стихотвореній этого рода—звѣстная баллада о камергерѣ Деларю. Вспомнимъ ее:

Вонзилъ кинжалъ убійца нечестивый
Въ грудь Деларю.
Тотъ, шляпу снявъ, сказалъ ему учтиво:
«Благодарю».
Тутъ въ лѣвый бокъ ему кинжалъ ужасный
Злодѣй вогналъ,
А Деларю сказалъ: «Какой прекрасный
У васъ кинжалъ!»
Тогда злодѣй, къ нему зашедши справа,
Его пронзилъ,
А Деларю съ улыбкою лукавой
Лишь погрозилъ.
Истыкалъ тутъ злодѣй ему, пронзая,
Всѣ тѣлеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
Къ намъ въ три часа».
Злодѣй палъ ницъ и, слезъ проливши много,
Дрожалъ какъ листъ,
А Деларю: «Ахъ, встаньте, ради Бога!
Здѣсь полъ нечистъ!»
Но все у ногъ его въ сердечной мукѣ
Злодѣй рыдалъ,
А Деларю сказалъ, разставя руки:
«Не ожидалъ!
Возможно ль? Какъ?! Рыдать съ такою силой?
По пустякамъ?...
Я вамъ аренду выхлопочу, милый,—
Аренду вамъ!
Черезъ плечо дадутъ вамъ Станислава,
Другимъ въ примѣръ.
Я дать совѣтъ властямъ имѣю право:
Я камергеръ!
Хотите дочь мою просватать, Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вамъ тысячъ сто.
А вотъ пока вамъ мой портретъ на память,—
Пріязни въ знакъ.
Я не успѣлъ его еще обрамить,—
Пріймите такъ!»

Тутъ ѣдокъ сталъ и даже горче перца
Злодѣя видъ.
Добра за зло испорченное сердце—
Ахъ! не проститъ.
Высокій духъ посредственность тревожитъ,
Тьмѣ страшенъ свѣтъ.
Портретъ еще простить убійца можетъ,
Аренду-жъ нѣтъ.
Зажглась въ злодѣѣ зависти отрава
Такъ горячо,
Что, лишь надѣлъ мерзавецъ Станислава
Черезъ плечо—
Онъ окунулъ со злобою безбожной
Кинжалъ свой въ ядъ
И, къ Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга въ задъ!
Тотъ на полъ легъ, не въ силахъ, въ страшныхъ болѣхъ,
На кресло сѣсть.
Межъ тѣмъ злодѣй, отнявъ на антресоляхъ
У Дуни честь,—
Бѣжалъ въ Тамбовъ, гдѣ былъ, какъ губернаторъ,
Весьма любимъ.
Потомъ въ Москвѣ, какъ ревностный сенаторъ,
Былъ всѣми чтимъ.
Потомъ онъ членомъ сдѣлался совѣта
Въ короткій срокъ...
Какой примѣръ для насъ являетъ это,
Какой урокъ!

„Увѣряю васъ, — начинаетъ шутить по поводу этихъ строкъ другой большой нашъ остроумецъ Вл. С. Соловьевъ *), — что хотя это фарсъ по формѣ, но съ очень серьезнымъ и, главное, правдивымъ реальнымъ содержаніемъ. Во всякомъ случаѣ дѣйствительное отношеніе между добротою и злобою въ человѣческой жизни изображено этими шуточными стихотвореніями гораздо лучше, чѣмъ я могъ бы его изобразить своею серьезною прозою. И у меня нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что когда герои иныхъ всемірно знаменитыхъ романовъ, искусно и серьезно распахивающихъ психологическій черноземъ, будутъ только литературнымъ вос-

*) «Три разговора». Сочиненія, VIII, 532—4.

поминаніемъ для книжниковъ, — этотъ фарсъ, въ смѣшныхъ и дико каррикатурныхъ чертахъ затронувшій подпочвенную глубину нравственнаго вопроса, сохранитъ всю свою художественную и философскую правду... Деларю—живой человѣкъ, со всѣми человѣческими слабостями, и тщеславіемъ, и стяжательностью, а его фантастическая непроницаемость для злодѣйскаго кинжала есть лишь очевидный символъ его безпредѣльнаго добродушія. Также „злодѣй"—вовсе не ходячій экстрактъ порока, а обыкновенная смѣсь добрыхъ и злыхъ качествъ; но у него зло зависти засѣло въ самой глубинѣ души и вытѣснило все доброе на душевную эпидерму, такъ сказать, гдѣ доброта приняла видъ очень живой, но поверхностной чувствительности... Не добротѣ Деларю завидуетъ злодѣй,—онъ вѣдь и самъ можетъ быть добрымъ,—развѣ онъ не чувствовалъ своей доброты, когда „рыдалъ въ сердечной мукѣ"?—нѣтъ, онъ завидуетъ именно недостижимой для него бездонности и простой серьезности этой доброты... Развѣ это не реально, развѣ не такъ бываетъ въ живой дѣйствительности? Отъ одной и той же влаги живительнаго дождя растутъ и благотворныя силы въ цѣлебныхъ травахъ, и ядъ—въ ядовитыхъ. Также и дѣйствительное благодѣяніе въ концѣ концовъ увеличиваетъ добро въ добромъ и зло въ зломъ. Такъ должны ли мы, имѣемъ ли мы право всегда и безъ разбора давать волю своимъ добрымъ чувствамъ? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающихъ изъ доброй лейки ядовитыя травы въ саду, гдѣ гуляютъ ихъ дѣти? Дуня-то за что погибла, я васъ спрашиваю?"

Конечно все это бутада самой остроумной грани, и мысль Толстого, когда онъ писалъ свою балладу, никогда не шла такъ далеко въ своихъ выводахъ, какъ мысль его истолкователя. Но одинъ тотъ фактъ, что такая остроумная интерпретація возможна указываетъ на необычайную полновѣсность шутки. Тѣмъ хорошая шутка и бываетъ цѣнна, что изъ нея можно сдѣлать серьезный выводъ: серьезная проблема жизни показана своей изнанкой.

Нелегко найти такую изнанку жизни въ другомъ, тоже очень извѣстномъ, шуточномъ стихотвореніи Толстого: „Бунтъ въ Ватиканѣ".

„Сегодня буду читать [во дворцѣ] „Сонъ Попова", — пишетъ Толстой своей женѣ. — Императрица [Марія Александровна] просила меня серьезно ей прочесть „Бунтъ въ Ватиканѣ"; а такъ какъ я отказалъ наотрѣзъ, а m-me М. такъ настаивала, чтобы я ей его прочелъ, то я обѣщалъ ей это сдѣлать въ темной комнатѣ" *)...

Но еслибы нашелся остроумный истолкователь, то онъ могъ бы найти смыслъ и въ этомъ невѣроятномъ скандалѣ, который разыгрался въ Ватиканѣ, когда папскій хоръ кастратовъ пожелалъ уравнять себя во всѣхъ правахъ, обязанностяхъ и состояніяхъ съ своимъ прямымъ начальствомъ и не безъ нѣкотораго нравственнаго права спрашивалъ себя, почему бы самому папѣ не пѣть кантаты нѣжнымъ голосомъ?

Вообще, много веселыхъ минутъ могутъ подарить намъ эти шутки Толстого, вызывая въ насъ одинъ лишь смѣхъ, самый добродушный и невинный. Но передъ нѣкоторыми стихотвореніями мы все же остановимся въ раздумьи, пораженные однимъ страннымъ впечатлѣніемъ.

Есть стихотворенія очень смѣшныя, но положительно недоступныя пониманію; ключъ ли къ нимъ утратился, или они сочинены вообще во славу безсмыслицы, но только всякій комментаторъ рискуетъ очутиться въ глупомъ положеніи, если начнетъ изощрять свое остроуміе въ ихъ серьезномъ толкованіи.

Прочитаетъ онъ, напр., такую шутку:

«Вѣрь мнѣ, докторъ, кромѣ шутки—
Говорилъ разъ пономарь.—
Отъ крутыхъ яицъ въ желудкѣ
Образуется янтарь».

Врачъ скептическаго складу
Не любилъ духовныхъ лицъ
И, причетнику въ досаду,
Проглотилъ пятьсотъ яицъ.

*) «А ты все-таки не будешь знать, что̀ такое «Бунтъ въ Ватиканѣ». «Письма Толстого изъ S. Remo 24-го и 25-го января 1875 г.», «Вѣстникъ Европы 1897, VII, 122.

Стонъ и вопли! Всѣ рыдаютъ,
Пономарь звонитъ сплеча.
Это значитъ—погребаютъ
Вольнодумнаго врача.

Не прошли еще и сутки.
Молвитъ грустно пономарь:
«А ужъ въ докторскомъ желудкѣ,
Видно, сдѣлался янтарь!»

—и если онъ не вспомнитъ почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Кузьму Петровича Пруткова, то онъ напрасно истощитъ свой умъ въ догадкахъ и ничего не изъяснитъ себѣ въ такомъ стихотвореніи. Только широкое знакомство съ литературной дѣятельностью Кузьмы Пруткова поможетъ комментатору разгадать смыслъ такой видимой безсмыслицы.

Да и вообще, какъ можно говорить о сатирѣ Алексѣя Толстого, игнорируя стихи и изреченія столь близкаго его друга, какимъ былъ покойный директоръ Пробирной Палатки Кузьма Прутковъ?

VIII.

Прутковъ стяжалъ себѣ, какъ извѣстно, большую славу и популярность. Сочиненія его печатались охотно въ самомъ передовомъ журналѣ—въ „Современникѣ"—и имѣли такой громкій успѣхъ, что удостоивались нерѣдко контрафакціи. Ихъ знали наизусть; иногда въ серьезныхъ сочиненіяхъ на нихъ дѣлались ссылки; послѣ смерти автора, они издавались неоднократно и издаются до сего дня. Одно изъ нихъ даже попало на подмостки Александринскаго театра и было сыграно въ высочайшемъ присутствіи, хотя императоръ Николай Павловичъ и остался имъ очень недоволенъ. Вообще, славѣ Кузьмы Пруткова могъ позавидовать любой изъ самыхъ видныхъ нашихъ писателей.

Историкъ, служитель неподкупной истины, обязанъ, впрочемъ, не поддаваться увлеченію и безпристрастно оцѣнить какъ личность этого знаменитаго дѣятеля, такъ и стоимость его трудовъ, за которыми, каковы бы ни были ихъ погрѣшности, всегда сохранится одно значеніе—полная оригиналь-

ность и самобытность. Друзья, близко знавшіе Кузьму Пруткова, и среди нихъ и графъ Толстой, утверждаютъ, что онъ перенялъ отъ людей, имѣвшихъ въ литературѣ успѣхъ,— „смѣлость, самодовольство, самоувѣренность, даже наглость, и сталъ считать каждую свою мысль, каждое свое писаніе и изреченіе истиною, достойною оглашенія. Онъ счелъ себя сановникомъ въ области мысли и сталъ самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невѣжество, которыя иначе остались бы неизвѣстными внѣ стѣнъ Пробирной Палатки. Одобренный своими клевретами, онъ уже самъ сталъ требовать, чтобы его слушали, а когда его стали слушать, онъ выказалъ такое самоувѣренное непониманіе дѣйствительности, какъ будто надъ каждымъ его словомъ и произведеніемъ стоялъ ярлыкъ: „все человѣческое мнѣ чуждо".

Пусть будетъ такъ. Но, не взирая на всѣ свои недочеты какъ человѣка, Кузьма Прутковъ былъ все-таки настоящій писатель и человѣческое уже по одному тому было ему не чуждо, что многіе люди въ весьма критическихъ моментахъ своей жизни руководились его изреченіями и его мудростью—и продолжаютъ руководствоваться ею и теперь.

Свѣдѣнія о жизни этого замѣчательнаго человѣка очень неполны и отрывочны. Его ближайшіе друзья, издавая въ свѣтъ его сочиненія, снабдили ихъ вводной статьей, которая до сего дня остается единственнымъ надежнымъ источникомъ для его жизнеописанія, если не считать краткой поминки, напечатанной въ годъ его смерти его племянникомъ Каллистратомъ Ивановичемъ Шерстобитовымъ *).

Общій ходъ скромной жизни Пруткова представляется по этимъ даннымъ въ слѣдующемъ видѣ. Родился Кузьма Петровичъ въ 1803 г. недалеко отъ Сольвычегодска въ деревнѣ Тентелевой **).

---

*) «Современникъ» 1863, IV, «Свистокъ», 54—62.

**) Деревня малоизвѣстная, но пользовавшаяся, очевидно, дурной репутаціей, потому что современные Пруткову петербургскіе сановники гова-

Какъ протекало его дѣтство—неизвѣстно, и только въ 1820 г.*). мы застаемъ его въ гусарскомъ полку [и притомъ „лучшемъ“ полку] юнкеромъ. Поступилъ онъ въ военную службу, какъ утверждаютъ его друзья, только для мундира, и это, пожалуй, вѣрно, если вспомнить, какой ничтожный случай заставилъ его выйти въ отставку. А именно: въ ночь съ 10-го на 11-ое апрѣля 1823 года, возвратясь поздно домой съ товарищеской попойки и едва прилегши на койку, онъ увидѣлъ передъ собой голаго бригаднаго генерала въ эполетахъ. Это видѣніе такъ на него подѣйствовало, что онъ рѣшился перемѣнить военную службу на статскую и тотчасъ же опредѣлился по министерству финансовъ, въ Пробирную Палатку, гдѣ онъ и оставался до самой своей смерти; умеръ онъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника со старшинствомъ 15 лѣтъ $4^1/_2$ мѣсяцевъ, кавалеромъ Станислава первой степени послѣ 20-лѣтняго безукоризненнаго управленія Палаткой. Имѣлъ онъ также нѣсколько пожалованныхъ перстней.

Человѣкъ онъ былъ семейный и семейное счастье его составила нѣкая Антонида Платоновна Проклеветантова—очевидно, дворянскаго рода,—которая подарила ему свыше десяти человѣкъ дѣтей. Наружность его была некрасива, но выразительна. „Долго сохранится въ памяти—говорилъ К. И. Шерстобитовъ—его высокое, склоненное назадъ чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осѣненное поэтически-всклокоченными шанкретовыми съ просѣдью волосами; его мутный, нѣсколько прищуренный и презрительный взглядъ; его желто-каштановый цвѣтъ лица и рукъ; его змѣиная, саркастическая улыбка, всегда выказывавшая цѣлый рядъ, правда, почернѣвшихъ и порѣдѣвшихъ отъ табаку и времени, но все-таки большихъ и крѣп-

---

ривали часто: «Смотри ты у меня. Сошлю тебя въ Тентелеву деревню» [«Новое Время», № 2026, 1881 г.].

*) По свѣдѣніямъ Шерстобитова—въ 1816 г.

кихъ зубовъ; наконецъ, его вѣчно откинутая назадъ голова и нѣжно любимая имъ альмавива"...

О нравѣ Кузьмы Пруткова и объ его темпераментѣ свѣдѣнія у насъ не столь полныя, какъ объ его наружности. Онъ былъ рѣзокъ, рѣшителенъ, самоувѣренъ. „Въ этомъ отношеніи, какъ утверждаютъ его друзья, онъ былъ сыномъ своего времени, отличавшагося самоувѣренностью и неуваженіемъ препятствій. То было, какъ извѣстно, время знаменитаго ученія: „усердіе все превозмогаетъ". Въ словахъ Пруткова часто слышался не совѣтъ, не наставленіе, а—команда. Съ этими качествами можно было бы помириться, но друзья его утверждаютъ, хотя едвали основательно, что онъ былъ умственно ограниченъ и желалъ играть роль, на которую не имѣлъ права. Но эти же друзья признаютъ, что въ Кузьмѣ Петровичѣ сохранилось глубокое, прирожденное добродушіе, дѣлающее его невиннымъ во всѣхъ выходкахъ, и что потому онъ былъ и забавенъ, и симпатиченъ.

Образъ мыслей Кузьмы Петровича, при всей той свободѣ, съ какой онъ относился къ самымъ труднымъ вопросамъ бытія, былъ, какъ и надлежало ему быть, консервативный. Не могъ же онъ, питомецъ Николаевскаго режима, стать на сторону той новизны, которую на склонѣ лѣтъ своихъ онъ вокругъ себя видѣлъ? Но хоть онъ и не симпатизировалъ ей въ душѣ, онъ все-таки, по живости своей натуры, не могъ на нее не отозваться. „Въ періодъ подготовленія реформъ царствованія Александра II, разсказываютъ его друзья, онъ какъ бы растерялся. Сначала ему казалось, что изъ-подъ него уходитъ почва, и онъ сталъ роптать, повсюду крича о рановременности всякихъ реформъ, и о томъ, что онъ „врагъ всѣхъ такъ называемыхъ вопросовъ". „Однако, — продолжаютъ его коварные друзья свои разоблаченія,—потомъ, когда неизбѣжность реформъ сдѣлалась несомнѣнною, онъ самъ старался отличиться преобразовательными проектами, и сильно негодовалъ, когда

проекты его браковали, по ихъ очевидной несостоятельности. Онъ объяснялъ это завистью, неуваженіемъ опыта и заслугъ и сталъ впадать въ уныніе, даже приходить въ отчаяніе. Состояніе его духа отразилось, между прочимъ, въ извѣстномъ его стихотвореніи „Передъ моремъ житейскимъ", гдѣ онъ себя сравнивалъ съ кузнечикомъ, который скачетъ, а куда—не видитъ. Вскорѣ, однако, онъ успокоился, почувствовавъ вокругъ себя прежнюю атмосферу, и подъ собою — прежнюю почву. Онъ снова сталъ писать проекты, но уже „стѣснительнаго" направленія, и они принимались съ одобреніемъ. Это дало ему основаніе возвратиться къ прежнему самодовольству и ожидать значительнаго повышенія по службѣ.

И умеръ онъ, по свидѣтельству его племянника, „съ полнымъ сознаніемъ полезной и славной своей жизни, поручивъ передать публикѣ, что умираетъ спокойно, будучи увѣренъ въ благодарности и справедливомъ судѣ потомства"... И потомство оправдало его надежды.

Впрочемъ Кузьма Петровичъ и при жизни пользовался большимъ успѣхомъ. Если не считать злополучнаго провала его комедіи „Фантазія" на Александринской сценѣ [1851 года, 8-го января], то въ литературѣ ему везло, да и фіаско на сценѣ должно быть отнесено къ числу простыхъ случайностей, такъ какъ не выйди императоръ Николай Павловичъ изъ своей ложи до окончанія пьесы и не покажи онъ явно своего недовольства—пьеса, вѣроятно, имѣла бы тотъ же успѣхъ, какой вообще выпадалъ на долю большинства тогдашнихъ комедій.

Во всякомъ случаѣ, Кузьма Петровичъ долженъ былъ быть благодаренъ тѣмъ случайнымъ друзьямъ, съ которыми его свела судьба и которые настояли на томъ, чтобы онъ сталъ литераторомъ. Они, эти друзья,—истинные виновники и творцы его славы, они угадали сказывавшійся въ немъ талантъ писателя, и хоть они называли его „зазнавшимся неучемъ", но, очевидно, цѣнили въ немъ писателя, такъ

какъ хлопотали за него немало въ средѣ литераторовъ, и послѣ его смерти ревниво оберегали его память и его творенія отъ всякой поддѣлки.

Знакомство Пруткова съ его друзьями состоялось въ 1850 году. Друзья эти были—графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой и его два двоюродныхъ брата Алексѣй Михайловичъ и Владиміръ Михайловичъ Жемчужниковы. Имена эти говорятъ сами за себя, и понятно, почему Кузьма Петровичъ, при всемъ своемъ самомнѣніи, такъ покорно подчинялся ихъ вліянію. Всѣ они были люди поразительно остроумные, а двое изъ нихъ—А. Жемчужниковъ и гр. Толстой — истинные поэты. Кузьма Петровичъ не могъ этого не чувствовать и ввѣрялся ихъ руководству безропотно. При всей своей строгости къ нему и друзья его, съ своей стороны, должны были признать, что онъ не простой ученикъ, а писатель оригинальный. „Прутковъ, — сказалъ про него А. Жемчужниковъ,—удостоился занять въ литературѣ особое, собственно ему принадлежащее мѣсто“ *).

IX.

Эти слова справедливы не только въ отношеніи къ тому времени, когда Прутковъ выступалъ со своими произведеніями, но и въ отношеніи къ русской словесности вообще: и до сего дня его остроуміе остается единственнымъ по своей чеканкѣ. А въ пятидесятыхъ годахъ оно имѣло, кромѣ того, еще особое общественное значеніе.

Противъ всякой попытки навязать твореніямъ Кузьмы Пруткова какое-либо общественнное въ строгомъ смыслѣ значеніе—его друзья всегда возражали и самъ авторъ съ ними соглашался. Даже свою комедію „Фантазія“ онъ не желалъ признать сатирой на современные нравы, и жестоко высмѣялъ рецензента, который заговорилъ объ ея сатирическомъ смыслѣ.

*) «Новости» 1883, № 20

Но и друзья автора, и онъ самъ не совсѣмъ правы въ своемъ протестѣ. Положимъ, редакція „Современника", печатая произведенія Пруткова, всегда указывала читателю на безобидность его образа мыслей. Выпуская въ свѣтъ его „Пухъ и Перья", она говорила: „мы всѣ думаемъ, что общественные вопросы не перестаютъ волновать насъ, что волны возвышенныхъ идей растутъ и ширятся и совершенно затопляютъ луга поэзіи и вообще искусства. Но другъ нашъ Кузьма Прутковъ убѣжденъ совершенно въ противномъ. Онъ полагаетъ, что его остроумныя басни и звучныя стихотворенія могутъ и теперь увлечь массу публики" *).

Еще яснѣе высказывала свою мысль редакція, печатая извѣстную драму Пруткова „Черепословъ", „Поклонники искусства для искусства!—восклицала она.—Рекомендуемъ вамъ драму г. Пруткова. Вы увидите, что чистая художественность еще не умерла" **).

Однако у насъ есть свѣдѣнія, что эта чистая художественность причиняла редакціи иногда нѣкоторое безпокойство. Такъ И. И. Панаевъ вовсе не напечаталъ нѣкоторыхъ твореній Пруткова, переданныхъ ему для печати, и говорилъ, что въ этомъ ему препятствовали цензурныя условія; но Кузьма Петровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ, не вѣрилъ этому ***).

Наконецъ, нужно помнить, что въ 1863 году году Кузьма Петровичъ вступилъ рѣшительно на путь публицистики. Правда, послѣ перваго же опыта онъ отъ этой роли публициста отказался. И напрасно. Онъ въ этомъ первомъ публицистическомъ сочиненіи обнаружилъ сразу умъ большого государственнаго человѣка.

---

*) «Современникъ» 1860. Мартъ въ «Свисткѣ». «Замѣтка отъ редакціи».

**) «Современникъ» 1860 г. Май. «Еще произведеніе Пруткова съ обращеніемъ редакціи».

***) «Новое Время» 1881 г., № 2026. Дѣло идетъ о баснѣ «Звѣзда и Брюхо».

Такъ какъ этотъ опытъ—проектъ „о введеніи единомыслія въ Россіи“ *) — не вошелъ въ полное собраніе сочиненій Кузьмы Петровича, то мы приведемъ изъ него довольно пространную выписку. Она не нарушитъ порядка въ обзорѣ литературной дѣятельности Пруткова, потому что государственный этотъ проектъ стоитъ совсѣмъ одиноко въ ряду другихъ произведеній нашего автора.

Отставной поручикъ Воскобойниковъ, который огласилъ это твореніе Пруткова въ печати, говоритъ, что „Проектъ этотъ былъ написанъ въ 1859 году и на немъ имѣется помѣтка: „Подать въ одинъ изъ торжественныхъ дней на усмотрѣніе“. Но былъ ли проекъ поданъ и принятъ, Воскобойникову не было извѣстно по весьма малому его чину“.

Самый проектъ, за немногими сокращеніями, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

„Приступъ: Собственное мнѣніе. Да развѣ можетъ быть собственное мнѣніе у людей, неудостоенныхъ довѣріемъ начальства? Откуда оно возьмется и на чемъ основано? Еслибы писатели знали что-нибудь, ихъ призвали бы къ службѣ; но кто не служитъ, тотъ, значитъ, недостоинъ,—стало быть, и слушать его нечего. Съ этой стороны еще никто не колебалъ авторитетъ нынѣшнихъ писателей,—я *первый* [напереть, на то, что я первый; можетъ быть это откроетъ мнѣ карьеру].

„Трактатъ: Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибаться. Для осуществленія этого желанія необходимо держаться мнѣнія начальства; ибо—въ противномъ случаѣ—гдѣ ручательство, что составленное мнѣніе безошибочно? Но какъ узнать мнѣніе начальства? Намъ скажутъ: оно выражается въ принимаемыхъ имъ мѣрахъ. Это правда... гм!... нѣтъ, это неправда!... Правительство нерѣдко таитъ свои цѣли — изъ высшихъ государственныхъ соображеній, недоступныхъ пониманію большинства. Оно нерѣдко

*) «Современникъ» 1863 г., IV, 63—66.

доходитъ до результата рядомъ косвенныхъ мѣръ, повидимому противорѣчащихъ одна другой и даже не имѣющихъ между собой никакой связи, но въ дѣйствительности соединенныхъ секретными шалнерами одной государственной идеи, одного государственнаго плана, поражающаго умъ своею громадностью и послѣдствіями...

„Планъ этотъ открывается въ неотвратимыхъ результатахъ исторіи. Такъ, можетъ ли какой-либо подданный обсуждать правительственныя мѣропріятія, не владѣя ключомъ взаимной между ними связи? „Не по отдѣльнымъ частямъ, но по цѣлой совокупности водочерпательной машины суди о достоинствахъ сихъ частей"—такъ сказалъ я еще въ 1842 году сыну своему Ѳаддею, и до сего времени непреклонно убѣжденъ въ высокой справедливости этого изреченія... Гдѣ подданному уразумѣть всѣ эти причины, поводы, соображенія, разные виды съ одной стороны и усмотрѣніе съ другой, на основаніи коихъ принимаются правительственныя мѣры. Не понять и не уразумѣть ему ихъ, если они не будутъ указаны самимъ благодѣтельнымъ правительствомъ. Этому мы видимъ доказательства ежедневно, ежечасно, скажу—ежеминутно!! Вотъ причина, съ одной стороны, почему иные, даже самые благонамѣренные люди нерѣдко сбиваются съ толку злонамѣренными толкованіями; и почему, съ другой стороны многіе изъ вѣрноподданныхъ недостаточно противодѣйствуютъ распространяющимся лжемудрствованіямъ, не имѣя отъ правительства указанія, какого мнѣнія слѣдуетъ держаться? Положеніе ихъ самое тягостное, и даже смѣло скажу—вполнѣ невыносимое.

„Заключеніе: На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній, и принимая во вниманіе, съ одной стороны, явную необходимость установленія однообразной точки зрѣнія въ пространномъ нашемъ отечествѣ, съ другой же стороны, усматривая невозможность достиженія этой благой цѣли безъ учрежденія оффиціальнаго печатнаго органа,—нельзя, вмѣстѣ съ тѣмъ, не признать справедливымъ, что

въ этомъ именно заключается настоятельная потребность общества и существенное условіе его преуспѣянія и развитія... Будучи поддержанъ достаточнымъ содѣйствіемъ полицейской и административной властей, такой правительственный органъ служилъ бы надежной звѣздой, скажу – маякомъ или вѣхою для общественнаго мнѣнія. Такимъ образомъ, пагубная наклонность человѣческаго разума вѣчно обсуждать происходящее на всемъ земномъ кругѣ была бы направлена къ исключительному служенію правительственнымъ видамъ и цѣлямъ. По всѣмъ случаямъ, мѣрамъ и вопросамъ существовало бы одно господствующее мнѣніе, и если даже допустить, что нашлись бы злонамѣренные люди, которые были бы несогласны съ этимъ мнѣніемъ, то они, естественно, остереглись бы противорѣчить, дабы не выказать своей злонамѣренности. Съ другой стороны, истинно вѣрноподанные узнали бы наконецъ, какого мнѣнія имъ слѣдуетъ держаться для блага своего и своихъ присныхъ.

„Зная сердце человѣческое и господствующія черты русской народности, нѣтъ повода сомнѣваться въ достиженіи вышеизложенной цѣли. Дѣло только въ томъ, чтобы избранъ былъ редакторомъ достойный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, извѣстный своимъ усердіемъ и преданностью, пользующійся славою писателя и глубокаго мыслителя и готовый пренебречь, для пользы правительства, конечно за достаточное вознагражденіе, общественнымъ уваженіемъ и мнѣніемъ. Въ поощреніе его и въ примѣръ другимъ необходимо, кромѣ достаточнаго вознагражденія, отличать его чинами, орденскими украшеніями и особыми денежными наградами. Скромность, свойственная моему характеру, препятствуетъ мнѣ предложить личный свой трудъ въ этомъ дѣлѣ и разносторонніе свои познанія и способности, которыми, однако, я готовъ жертвовать до послѣдняго издыханія—если это будетъ согласно съ предначертаніями начальства,—для безкорыстной службы престолу отечества“.

На поляхъ этого трактата остались, кромѣ того, весьма

характерныя замѣтки Кузьмы Петровича, изъ которыхъ видно, между прочимъ, что онъ, исчисляя доходъ редакціи съ проектированнаго имъ оффиціальнаго изданія и предполагая пустить оное по дешевой цѣнѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ необходимымъ: 1) съ одной стороны, сдѣлать подписку на сіе изданіе обязательною для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ; 2) съ другой стороны — велѣть всѣмъ издателямъ и редакторамъ частныхъ печатныхъ органовъ перепечатывать руководящія статьи изъ оффиціальнаго органа, дозволяя себѣ только повтореніе и развитіе ихъ; 3) сверхъ того, наложить на нихъ денежные штрафы въ пользу редакціи оффиціальнаго органа за всѣ тѣ мнѣнія, кои окажутся противорѣчащими мнѣніямъ, признаваемымъ господствующими, и 4) вмѣстѣ съ вмѣнить всѣмъ начальникамъ отдѣльныхъ частей управленія въ обязанность неусыпно вести и постоянно сообщать въ одно центральное мѣсто списки всѣхъ служащихъ подъ ихъ вѣдомствомъ лицъ, съ обозначеніемъ: кто изъ нихъ какіе получаетъ журналы и газеты, и не получающихъ оффиціальнаго органа, какъ не сочувствующихъ благодѣтельнымъ видамъ правительства, отнюдь не повышать ни въ должности, ни въ чины и не удостоивать ни наградъ, ни командировокъ...

„Такимъ образомъ,—замѣчалъ Прутковъ,—правительство избѣгнетъ опасности ошибочно помѣщать свое довѣріе".

Всякій, даже самый строгій судья, долженъ признать, что въ этомъ проектѣ Кузьма Петровичъ обнаружилъ большое глубокомысліе, большой государственный умъ и, главное, прозрѣніе, не говоря уже о сатирической силѣ, которая своимъ размѣромъ и размахомъ напоминаетъ только-что распускавшуюся въ тѣ годы сатиру Щедрина.

Рьяные поклонники Пруткова могли бы даже заподозрить, что Щедринъ читалъ творенія Кузьмы Петровича и иногда поддѣлывался подъ его рѣчь. Взять хотя бы такой историческій анекдотъ, опубликованый Щедринымъ въ „Мысляхъ о градоначальническомъ единомысліи, а также о градона-

чальническомъ единовластіи и о прочемъ [„Исторія одного города“].

„Одинъ озабоченный градоначальникъ, вошедъ въ кофейную, спросилъ себѣ рюмку водки и, получивъ желаемое вмѣстѣ съ мѣдною монетою въ сдачу, монету проглотилъ, а водку вылилъ себѣ въ карманъ. Вполнѣ сему вѣрю, ибо при градоначальнической озабоченности подобныя пагубныя смѣшенія весьма возможны. Но при этомъ не могу не сказать: вотъ какъ градоначальники должны быть осторожны въ разсмотрѣніи своихъ собственныхъ дѣйствій“. Развѣ этотъ документъ не напоминаетъ извѣстныхъ „гисторическихъ матерьяловъ“ Ѳедота Кузьмича Пруткова, которые его внукъ—Кузьма Петровичъ—обработалъ для печати?

Во всякомъ случаѣ причислять Пруткова къ незлобивымъ служителямъ чистаго искусства нельзя, не нарушая справедливости; и мы сейчасъ постараемся доказать, что всѣ его произведенія — невинныя шутки порознь — въ общей ихъ массѣ были отнюдь не невинны, а таили въ себѣ ядъ, правда, весьма искусно скрытый.

X.

Сочиненія Кузьмы Пруткова пользуются и до сей поры такой извѣстностью, что рѣшительно нѣтъ надобности напоминать объ ихъ содержаніи; и историку остается лишь указать на главнѣйшія отличительныя свойства таланта автора, такъ какъ этотъ талантъ, при всей его популярности, все-таки пока оцѣненъ недостаточно.

Первое, что̀ въ этомъ талантѣ поражаетъ, это—его всеобъемлемость. Въ этомъ отношеніи Прутковъ имѣетъ только одного соперника—Пушкина. Широта таланта Кузьмы Петровича сказывается и на внѣшней формѣ его произведеній, и на внутреннемъ ихъ смыслѣ. Во всѣхъ родахъ и видахъ творчества онъ былъ одинаково хозяинъ.

Въ басняхъ онъ достойный соперникъ всѣхъ баснопис-

цевъ, начиная съ Эзопа; онъ даже выше ихъ, потому что у всѣхъ его предшественниковъ мораль обыкновенно вытекаетъ изъ общаго смысла, а у Пруткова эти двѣ части одного логическаго цѣлаго живутъ самостоятельно и свободная воля баснописца торжествуетъ надъ обиднымъ для человѣка и стѣснительнымъ сцѣпленіемъ посылокъ и выводовъ.

Кузьма Прутковъ не менѣе великъ и искусенъ во всѣхъ родахъ лирики. Какъ Пушкинъ или Гёте могли написать стихотвореніе въ любомъ стилѣ и въ духѣ любого поэта, такъ писалъ ихъ и Кузьма Петровичъ. Только зоилы могли назвать эти стихотворенія пародіями, но вѣдь зоилы бываютъ чѣмъ злѣе, тѣмъ необдуманнѣе. „Я никогда не писалъ пародій,—восклицалъ Прутковъ съ гордостью.—Откуда ты взялъ, будто я пишу пародіи? Я просто анализировалъ въ умѣ своемъ большинство поэтовъ, имѣвшихъ успѣхъ; этотъ анализъ привелъ меня къ синтезису, ибо дарованія, разсыпанныя между другими поэтами порознь, оказались совмѣщенными во мнѣ единомъ". И въ этихъ словахъ нѣтъ самохвальства.

Иногда въ двухъ, трехъ строфахъ Прутковъ умѣлъ схватить духъ писателя и его манеру. И не только творческая тайна современниковъ была ему вѣдома,—онъ улавливалъ и звуки поэзіи давно минувшей. Настоящіе испанскіе аллюры обнаружилъ онъ, напримѣръ, въ знаменитой балладѣ „Осада Памбы" и въ стихотвореніи: „Тихо надъ Альгамброй дремлетъ вся натура"; большое и тонкое пониманіе древности показалъ онъ въ извѣстныхъ стихахъ: „Философъ въ банѣ" и „Древней греческой старухѣ, еслибы она домогалась моей любви". Нѣкоторое родство съ античной древностью обнаруживаетъ и стихотвореніе: „Изъ терпѣнья, Катерина, ты выводишь наконецъ", — навѣянное, очевидно, Цицерономъ: „Quousque tandem, Catilina".

Еще бо̀льшимъ уваженіемъ къ таланту автора проникается читатель, когда отъ его лирики переходитъ къ его драматическимъ опытамъ. Прутковъ любилъ эту литератур-

ную форму и часто пользовался ею. Его можно съ полнымъ правомъ назвать новаторомъ въ этой области, такъ какъ имъ предвосхищенъ совсѣмъ особый родъ драматическихъ представленій, который лишь въ наше время достигъ настоящаго расцвѣта. Конечно, Кузьма Петровичъ не смогъ сразу проявить всей своей оригинальности и есть у него драматическія произведенія, въ которыхъ замѣтна еще чужая манера. Такъ, иногда въ нихъ видны слѣды вліянія античной трагедіи и современнаго водевиля, мистерій Байрона и драматическихъ фантазій Тимофеева. Но главная заслуга Кузьмы Пруткова въ томъ, что онъ первый насадилъ у насъ истинную „символическую" драму. Онъ самъ сознавалъ, что онъ созидаетъ нѣчто новое, и въ предисловіи къ своей мистеріи: „Опрометчивый турка, или пріятно ли быть внукомъ" отъ лица извѣстнаго писателя, подъ которымъ естественно разумѣлъ себя самого, говорилъ: „Драматическими представленіями условились называть представленія, которыя бываютъ на театрахъ; представленія подраздѣляются на многія отрасли, какъ-то: на комедіи, трагедіи, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хороводы. Мой товарищъ и я посвятили всю жизнь нашу и всѣ наши зрѣлыя лѣта на изобрѣтеніе новаго рода драматическаго представленія. Мы съ товарищемъ рѣшились назвать его, послѣ долгихъ соображеній,—скажу: страданій!—„естественно-разговорнымъ" представленіемъ... Пора намъ, русскимъ, ознаменовать перевалившійся за другую половину девятнадцатый вѣкъ—*новымъ словомъ* въ нашей литературѣ... Нужно ли повторять, что мы посвятили ему всю нашу жизнь и наши зрѣлыя лѣта? Кромѣ того, я отказался для него отъ выгодной партіи съ дочерью купца Громова, уступивъ ее другому моему товарищу". Въ этомъ предисловіи не все ясно: такъ, напр., роль, какую сыграла купчиха Громова въ исторіи развитія русской драмы, не опредѣлена съ точностью, да и слово „естественно-историческое представленіе"—очень туманно. Ясно только одно, что Кузьма Петровичъ вполнѣ сознавалъ, что въ своихъ драматическихъ опытахъ онъ со-

зидаетъ нѣчто „новое“. Онъ только не умѣлъ выразить словами, въ чемъ это новое заключается. Для насъ—современниковъ драмъ „мистическихъ“ и „символическихъ“, поэзіи, какъ принято говорить, „декадентской“—намъ тайна новаго слова въ драмахъ Пруткова извѣстна. Только улавливая ихъ „мистико-символическій“ смыслъ, въ нихъ можно прозрѣть кое-что сквозь капризный поэтическій туманъ, заволакивающій ихъ основную идею. Иначе все въ нихъ—и дѣйствіе, и положенія, и лица—представится какъ чистѣйшая фантасмагорія, какъ торжество самой откровенной чепухи и безсмыслицы, которую Прутковъ—какъ мудрецъ и мыслитель—долженъ былъ ненавидѣть.

И, дѣйствительно, каждая изъ пьесъ Пруткова ist nur ein Gleichniss – символъ, полный глубокаго смысла.

Мистерія „Сродство міровыхъ силъ“, гдѣ дѣйствующими лицами являются ровная долина, великій поэтъ, высокій дубъ, звѣзда небесная, звѣзда орденская, дупло, сова, веревка, полевая мышь, ночные часы, загробный міръ мелькомъ, альмавива..., т.-е., гдѣ царитъ полный хаосъ и смѣшаны всѣ элементы бытія, есть философская поэма съ пантеистическимъ смысломъ и съ вѣрой въ конечное установленіе порядка на мѣстѣ произвола. Эта, конечно, а не иная мысль выражена символически и въ образѣ поэта, который въ шестидесятыхъ годахъ, въ вѣкъ потопа и труса, огня и глада и прочихъ реформъ, направленныхъ на униженіе поэзіи и на дискредитированіе всѣхъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ,—рѣшилъ съ собой покончить, готовъ былъ повѣситься, стоя ногами на полномъ собраніи своихъ сочиненій, но былъ спасенъ ураганомъ, вырвавшимъ тотъ дубъ, на которомъ повисъ малодушный пессимистъ, не предусмотрѣвшій спасительнаго дѣйствія вихря, идущаго сверху.

„Опрометчивый турка“ не оконченъ и смыслъ его неясенъ, но очевидно, что драма должна была коснуться серьезнѣйшаго вопроса — о значеніи „неожиданностей“ въ жизни, судя потому, что главный ея интересъ сосредоточенъ 1) на

нѣкоемъ Иванѣ Семеновичѣ — человѣкѣ очень самонадѣянномъ, который погубилъ свою карьеру и чуть-чуть что не жизнь, задумавъ похвастаться передъ начальствомъ своимъ умѣніемъ играть на скрипкѣ безъ канифоли, и 2) на извѣстной г-жѣ Разорваки, у которой вдругъ совсѣмъ нежданно объявился внукъ турецкаго происхожденія.

Граціознѣйшая оперетта „Черепословъ или френологъ“— написана собственно не Кузьмой Петровичемъ, а его отцомъ [а имъ только издана] — и это подтверждается общимъ ея легкомысліемъ. Глубины въ ней нѣтъ никакой, и таинственный смыслъ вторженія гидропата Амаліи фонъ-Курцгалопа въ домъ френолога Шишкенгольма, равно какъ и неприличное поведеніе дочери френолога Лизы, которая, не дождавшись паданія театральной занавѣсы, раздѣвается и лѣзетъ въ купальный шкафъ — едва-ли когда-нибудь будутъ разгаданы.

Трудно уловима и основная идея знаменитой комедіи „Фантазія“, потерпѣвшей крушеніе на Александринской сценѣ. Кузьма Петровичъ придавалъ этой комедіи большое значеніе. Онъ былъ очень подавленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что представленіе ея на сценахъ было воспрещено по Высочайшему повелѣнію [9-го января 1851 г.]. „Публикѣ—говорилъ онъ—дозволено было видѣть эту комедію только *одинъ разъ*. А развѣ достаточно одного раза для оцѣнки произведенія, выходящаго изъ рядовыхъ? Сразу понимаются только явленія обыкновенныя, посредственность, пошлость. Едва ли кто оцѣнилъ бы Гомера, Шекспира, Бетховена, Пушкина, если бы произведенія ихъ было воспрещено прослушать болѣе одного раза“. Прутковъ негодовалъ на публику и говорилъ, что она обязана была раскусить, — между тѣмъ она вела себя легкомысленно, какъ толпа, хотя состояла наполовину изъ людей высшаго общества. Едва Государь съ явнымъ неудовольствіемъ изволилъ удалиться изъ ложи ранѣе конца пьесы, какъ публика стала шумѣть, кричать, шикать, свистать... Этого прежде не дозволялось! За это

прежде наказывали!..“ Авторъ былъ обиженъ и тѣми ругательными рецензіями, которыя появились въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Пьесу, конечно, не поняли потому, что взглянули на нее простыми глазами. Естественность и обыденность сценировки, и именно дачная обстановка Аграфены Панкратьевны Чурлиной, совсѣмъ реальныя физіономіи главныхъ дѣйствующихъ лицъ — Адама Либенталя, Ѳемистокла Разорваки, Касьяна Батогъ-Батыева, Мартына Кутило-Завалдайскаго, Георгія Безпардоннаго и Ѳирса Миловидова, наконецъ необычайная простота завязки — шесть жениховъ и одна невѣста, которая должна достаться тому изъ нихъ, кто найдетъ сбѣжавшую собаченку ея маменьки, — все заставляло публику предъявлять къ этой пьесѣ требованія строгаго реализма; и, конечно, глядя на всю ту неописуемую чепуху, которая происходила на сценѣ, публика могла считать себя обманутой. Но авторъ вовсе и не помышлялъ стоять на почвѣ трезваго реализма. Онъ имѣлъ въ умѣ нѣчто болѣе сложное и значительное, чѣмъ простую любовную канитель. На это указываетъ, напримѣръ, тотъ фактъ, что онъ пожелалъ, чтобы посреди сада, гдѣ происходитъ дѣйствіе, стояла бесѣдка очень узенькая, въ видѣ будки и на ней флагъ съ надписью: „Что̀ наша жизнь?“. Скрытая мысль автора проглядываетъ еще яснѣе въ странномъ желаніи заполнить сцену не только людьми, но и животными, — правда, очень благородными. Въ спискѣ дѣйствующихъ лицъ фигурируютъ, какъ извѣстно, моська съ кличкой „Фантазія“, моська, похожая на Фантазію, пудель, датскій догъ, собачка малаго размѣра и незнакомый бульдогъ. Такое обиліе собакъ не можетъ быть простой случайностью, — на что указываютъ, кромѣ того, и ихъ клички, несовсѣмъ обычныя, какъ-то: „Фантазія“, „Утѣшительный“ и „Космополитъ“. Заслуживаетъ замѣчанія также, что всѣ эти собаки зачислены въ разрядъ дѣйствующихъ лицъ „безъ рѣчей“, а кучера, повара, ключницы и казачки, тоже дѣйствующіе въ пьесѣ „безъ

рѣчей",—поименованы особо. На всемъ этомъ лежитъ печать какой-то символичности, которая въ свое время не ускользнула отъ вниманія театральнаго цензора. Желая, насколько это было въ его силахъ, помочь зрителю истолковать пьесу въ ея истинномъ символическомъ смыслѣ, онъ вычеркнулъ въ ней всѣ слова, которыя надлежитъ понимать всегда въ смыслѣ прямомъ, а не въ переносномъ, какъ, напримѣръ, слова: „князь", „нѣмецъ", „брандмейстеръ", „серьезный чиновникъ", „подчиненный", „безстыдникъ", „жандармъ" и друг. И все-таки ключъ отъ этой „Фантазіи" унесенъ Кузьмой Петровичемъ съ собой въ могилу!

Озадачилъ онъ читателя и еще въ одной пьесѣ, которая, къ сожалѣнію, не попала въ полное собраніе его сочиненій. Пьеса эта—„Любовь и Силинъ", драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ—была напечатана въ сатирическомъ журналѣ „Развлеченіе" въ 1861 г. *). Въ ней авторъ достигъ высшей степени иносказанія, и къ тому же умышленно пожелалъ отвести глаза читателю отъ истиннаго своего намѣренія. Онъ самъ увѣрялъ читателя, что „сюжетъ имъ заимствованъ изъ обыденной жизни", но уже одинъ перечень дѣйствующихъ лицъ можетъ показать, сколь все въ этомъ твореніи необыденно и необычайно. Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ, близъ катакомбъ. Драматическая завязка заключается въ томъ, что директоръ губернской мужской гимназіи усмотрѣлъ въ младшемъ классѣ никѣмъ дотолѣ невиданнаго воспитанника Ванюшу, и на спросъ о немъ всѣ единогласно отозвались, что онъ — не кто иной, какъ всѣмъ извѣстный „финикъ". Это бы еще ничего, но этотъ самый финикъ оказывается древлянскаго происхожденія и притомъ сыномъ нѣкоей вдовы Кислозвѣздовой — „нѣмой и страстной", которая даръ слова можетъ получить только въ объятіяхъ любви... И съ этимъ можно было бы помириться; можно даже разобраться въ странныхъ извивахъ мысли и замыслахъ рус-

*) «Развлеченіе» 1861, № 18.

скаго дворянина Силина, который одержимъ страстью говорить по-французски, и потому проводитъ время въ зазубриваніи вокабулъ: „ломъ — человѣкъ“, „ламъ — душа“, „патисери — пирожное“, „просто серизъ — вишня“; но чего никто никогда не пойметъ, такъ это — вторженія и въ безъ того запутанное дѣйствіе двухъ уроженцевъ благородной Гишпаніи. Сильва донъ-Алоизо де-Мерзавецъ и его спутница, донна Ослабелла, окончательно путаютъ всѣ разсчеты и соображенія самаго проницательнаго комментатора.

Таковы заслуги Кузьмы Петровича передъ русской риѳмованной рѣчью — въ ея эпической и лирической формѣ — и таковы его попытки сказать новое слово со сцены.

XI.

Кузьма Петровичъ стяжалъ себѣ, помимо славы писателя, еще и большую извѣстность, какъ мыслитель. Мы обязаны ему, напр., изданіемъ цѣлой серіи историческихъ матеріаловъ, собранныхъ его дѣдомъ. Помимо силы чувствъ и свѣжести впечатлѣній, какія въ нихъ отмѣчаетъ ихъ издатель, они для историка Екатерининскаго царствованія весьма большое подспорье. Не то чтобы въ нихъ были отмѣчены какія-нибудь изъ ряда вонъ выходящія знаменательныя событія той эпохи,—нѣтъ. Дѣдъ Кузьмы Петровича собиралъ исключительно анекдоты. Но по этимъ анекдотамъ очень удобно судить о вкусахъ литературныхъ и иныхъ того времени; а извѣстно, что иногда любимый и ходячій анекдотъ опредѣляетъ эти вкусы лучше чѣмъ сухое и добросовѣстное изслѣдованіе. Такъ, напримѣръ, придворная французская рѣчь, тогда столь распространенная, передана намъ удивительно образно въ репликахъ генералъ-аншефа X, который передъ каждымъ изъ дому своего выѣздомъ по нѣскольку французскихъ реченій затверживалъ, вродѣ, напр.: „не плезантѣ жамѣ авекъ лѣ фамъ донъ лимажинасіонъ ансесаманъ траваль“. Такъ же точно и ходкая тогда сентимен-

тальная рѣчь ни въ одномъ романѣ не достигала такой законченности, какъ въ словахъ, съ которыми нѣкій швабъ обратился къ своей возлюбленной, когда она съ аппетитомъ ѣла жареную бекасину: „О! Амалія!—сказалъ онъ:—еслибъ я былъ бекасиною, то, уповаю, всю тарелку вашу своими внутренностями черезъ край переполнилъ бы“. Есть люди мало свѣдущіе, которымъ такіе анекдоты покажутся смѣшными, но серьезный историкъ ихъ оцѣнитъ.

Съ подобающей серьезностью должно отнестись и къ „мыслямъ и афоризмамъ“ самого Пруткова; совѣтъ этотъ, впрочемъ, излишенъ, такъ какъ эти „плоды раздумья“ нашего писателя давно оцѣнены по достоинству и къ нимъ привыкли относиться съ тѣмъ же уваженіемъ, съ какимъ цитируютъ мысли Власа Паскаля, Ларошфуко, Ривароля, Лихтенбергера и другихъ всемірно извѣстныхъ „максимистовъ“.

Кузьма Петровичъ вполнѣ оправдываетъ такое почетное родство. Его афоризмы блестятъ двумя неоцѣненными качествами — глубиной мысли и необычайной ясностью выраженія.

Нанижемъ нѣсколько такихъ жемчужинъ мысли на одну нитку—и какое спокойное и ясное міросозерцаніе передъ нами предстанетъ! „Полезнѣе пройти путь жизни, чѣмъ всю вселенную“; „Смерть для того поставлена въ концѣ жизни, чтобы удобнѣе къ ней приготовиться“; „Гдѣ начало того конца, которымъ оканчивается начало?“; „Никто не обниметъ необъятнаго“; „Всякая вещь есть форма проявленія безпредѣльнаго разнообразія“; „Еслибы все прошедшее было настоящимъ, а настояще продолжало существовать на ряду съ будущимъ, кто былъ бы въ силахъ разобрать: гдѣ причины и гдѣ послѣдствія?“...

И между тѣмъ какая иногда попадается проницательность въ рѣшеніи труднѣйшихъ психологическихъ задачъ!—„Женатый повѣса воробью подобенъ“; „Не все стриги, что растетъ“; „И устрица имѣетъ враговъ“; „Многіе люди по-

добны колбасамъ: чѣмъ ихъ начинятъ, то и носятъ въ себѣ"; „Чувствительный человѣкъ подобенъ сосулькѣ: пригрѣй его—онъ растаетъ"; „Спеціалистъ подобенъ флюсу: полноста его одностороння"; „Любой фатъ подобенъ трясогузкѣ"; „Дѣвицы вообще подобны шашкамъ: не всякой удается, но всякой желается попасть въ дамки".

Наконецъ, нельзя же отказать въ большомъ общественномъ чутьѣ человѣку консервативнаго образа мыслей, который писалъ: „Не будь портныхъ, — скажи: какъ различилъ бы ты служебныя вѣдомства?"; „Камергеръ рѣдко наслаждается природою"; „На чужія ноги лосины не натягивай"; „Спокойствіе многихъ было бы надежнѣе, еслибы дозволено было относить всѣ непріятности на казенный счетъ"; „Чрезмѣрный богачъ, не помогающій бѣднымъ, подобенъ здоровенной кормилицѣ, сосущей съ аппетитомъ собственную грудь у колыбели голодающаго дитяти"...

Друзья Кузьмы Петровича, А. и В. Жемчужниковы и А. Толстой, обнаружили недостойную ихъ благороднаго сердца зависть, когда говорили, что ихъ пріятель былъ неучъ, зазнавшійся писатель, который любилъ командовать, не имѣя на то права.

Мы убѣдились, что Кузьма Петровичъ имѣлъ всѣ права занять самое почетное мѣсто въ исторіи нашей словесности... а между тѣмъ съ нимъ случилась великая непріятность. Не только качества его ума и сердца, не только его слава, какъ писателя... но... но самое его существованіе въ мірѣ стало вдругъ почему-то подвергаться сомнѣнію...

XII.

Упорные слухи не только о мнимомъ талантѣ Пруткова, но и о мнимомъ его бытіи понудили одного изъ близкихъ его друзей выступить въ его защиту и рѣшиться на крайнее средство—печатно заявить, что всѣ сомнѣнія въ его реальномъ существованіи бросаютъ тѣнь не только на самого по-

чтеннаго писателя, но и на его ближайшее начальство. „Подумали ли они [т.-е. люди, одержимые скептицизмомъ],—писалъ пріятель Пруткова,—подумали ли они, въ какое положеніе они ставятъ все управленіе министерства финансовъ, увѣряя, будто Кузьма Прутковъ не существовалъ? Да кто же тогда былъ столь долго предсѣдателемъ Пробирной Палатки, производился въ чины даже за отличіе и получалъ жалованье?“ *).

Но и это основательное замѣчаніе не убѣдило скептиковъ, и нынѣ можно утверждать уже съ полной достовѣрностью, что Кузьма Петровичъ — истинно миѳъ, и всѣ его произведенія—сплошная мистификація! Кузьму Пруткова выдумали, окрестили, всѣ сочиненія за него написали и даже портретъ намалевали три большихъ шутника и остроумца—два брата Жемчужниковыхъ и гр. А. К. Толстой,—въ пятидесятыхъ годахъ люди еще молодые, про которыхъ тогдашній московскій генералъ-губернаторъ Закревскій могъ бы сказать, что они—„на все способны“.

Историку тяжело, конечно, вычеркивать Кузьму Петровича изъ списка почтенныхъ дѣятелей на поприщѣ литературы, но онъ можетъ утѣшиться тѣмъ, что оставшееся послѣ Кузьмы Пруткова литературное наслѣдство все-таки существуетъ и со страницъ русской словесности не исчезнетъ; даже больше—потребуетъ отнынѣ къ себѣ истинно серьезнаго отношенія въ виду популярности литературныхъ именъ тѣхъ лицъ, которыя въ веселую минуту позволили себѣ съ легковѣрнымъ читателемъ такую милую шутку.

Сознавая всю серьезность задачи, мы и постараемся теперь опредѣлить то мѣсто, которое въ исторіи русской сатиры должно быть отведено твореніямъ Пруткова. Но прежде — нѣсколько словъ о самой миѳической личности автора.

---

*) «Новое Время» 1881, № 2026.

XIII.

Исторія кружка, въ которомъ родился и воспитался Кузьма Прутковъ, къ сожалѣнію, почти совсѣмъ не извѣстна и, вѣроятно, никогда не станетъ извѣстна, если А. М. Жемчужниковъ — и нынѣ во славу нашей словесности здравствующій—ее не разскажетъ при случаѣ. Подождемъ этого случая, а пока мы можемъ установить только одинъ фактъ.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ Алексѣй Толстой и два его двоюродныхъ брата, А. и В. Жемчужниковы, прославились шуточными стихотвореніями, съ которыми мы теперь достаточно знакомы; славились они, кромѣ того, какъ невѣроятные проказники. Они составляли тогда интимный веселый кружокъ, нѣсколько напоминавшій молодую компанію двадцатыхъ годовъ, въ которой куралесили Пушкинъ и Нащокинъ, или тридцатыхъ годовъ, когда въ этой роли весельчаковъ и проказниковъ выступали Лермонтовъ и Столыпинъ. Въ чемъ заключались продѣлки друзей Кузьмы Пруткова—въ точности неизвѣстно, но продѣлокъ, которыя имъ приписывались, столь много и такъ онѣ экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всѣхъ этихъ шалостяхъ и неповинны [а это возможно], то одинъ тотъ фактъ, что ихъ считали способными на такія выходки, уже показываетъ, какого о нихъ были мнѣнія.

Не разбираясь въ томъ, гдѣ истина, гдѣ вымыселъ, что было на самомъ дѣлѣ, а что измышлено, приведемъ кое-какіе разсказы, о которыхъ говорилось, что они передаютъ достовѣрныя событія изъ жизни этихъ веселыхъ пріятелей.

Разсказывали, напр., что они, катаясь за городомъ, брали съ собой въ сани большой шестъ и, вплотную подъѣзжая къ тротуару, держали его горизонтально такъ, что вся шедшая по тротуару публика должна была при ихъ проѣздѣ прыгать. Разсказываютъ, какъ одинъ изъ нихъ ночью,

въ мундирѣ флигель-адъютанта, объѣздилъ всѣхъ главныхъ архитекторовъ города С.-Петербурга съ приказаніемъ явиться утромъ во дворецъ въ виду того, что Исаакіевскій соборъ провалился, и какъ былъ разсерженъ императоръ Николай Павловичъ, когда услыхалъ столь дерзкое предположеніе.

Говорятъ, что одинъ изъ нихъ въ театрѣ умышленно наступилъ на ногу одному высокопоставленному лицу, къ которому потомъ ходилъ въ каждый пріемный день извиняться, пока тотъ его не выгналъ.

Утверждаютъ, что они въ день коронаціи Александра Николаевича распрягли лошадей у кареты испанскаго посланника [посланника тогда единственной дружественной намъ державы], провезли ее нѣкоторое пространство и затѣмъ бросили на произволъ судьбы.

Говорили, что одинъ изъ нихъ на пари остановилъ одного знаменитаго нѣмецкаго трагика, когда тотъ игралъ „Гамлета“; а именно, когда трагикъ началъ читать монологъ: „Sein oder nicht sein?“ — Кузьма Прутковъ закричалъ ему изъ перваго ряда креселъ: „Warten Sie!“—и сталъ рыться въ огромномъ словарѣ, желая знать, что̀ значитъ слово „sein“.

Разсказываютъ, что въ одномъ публичномъ мѣстѣ, присутствуя при разговорѣ двухъ лицъ, которыя спорили о вредѣ куренія табаку, на замѣчаніе одного изъ нихъ: „вотъ я курю съ дѣтства и мнѣ теперь шестьдесятъ лѣтъ“, Кузьма Прутковъ, не будучи съ нимъ знакомъ, глубокомысленно ему замѣтилъ: „а еслибы вы не курили, то вамъ теперь было бы восемьдесятъ“ — чѣмъ повергъ почтеннаго господина въ большое недоумѣніе. Говорятъ, что однажды, при разъѣздѣ изъ театра, на глазахъ испуганнаго швейцара, Кузьма Прутковъ усадилъ въ свою четырехмѣстную карету пятнадцать сѣдоковъ, въ чемъ однако никакого чуда не заключалось, такъ какъ каждый изъ влѣзавшихъ въ карету, захлопнувъ одну дверку, незамѣтно вылѣзалъ изъ другой.

Иногда Кузьма Прутковъ позволялъ себѣ тревожить ночной покой обывателей, а именно, прочитавъ въ газетахъ, что кто-то ищетъ себѣ попутчика для поѣздки заграницу, онъ ночью въ четыре часа поднялъ разсчетливаго путешественника съ постели, и заявилъ ему, что, къ сожалѣнію, съ нимъ никакъ ѣхать не можетъ.

Въ своемъ шутовствѣ Кузьма Прутковъ, какъ утверждаютъ, бывалъ иногда даже достаточно неприличенъ. Одного своего знакомаго провинціала, пріѣхавшаго первый разъ въ Петербургъ, онъ взялся будтобы свести въ баню и привезъ въ частный домъ, гдѣ предоставилъ въ его распоряженіе гостиную для раздѣванья — чѣмъ наивный посѣтитель и воспользовался къ неописанному ужасу невзначай взошедшаго хозяина.

Много ходитъ подобнаго рода разсказовъ о продѣлкахъ Кузьмы Пруткова, продѣлкахъ невиннаго, но все-таки вызывающаго свойства. Совершалъ ли онъ ихъ на самомъ дѣлѣ, то неизвѣстно, но на всѣхъ этихъ шалостяхъ лежитъ та же печать невиннаго шутовства, которое составляетъ отличительный признакъ и всѣхъ стихотвореній Кузьмы Петровича.

Можно ли, однако, сказать, что стихотворенія Пруткова были только лишь шалостью?

XIV.

Стихи Пруткова писались сообща тремя друзьями иногда всѣми вмѣстѣ, иногда порознь, подъ однимъ псевдонимомъ. Уже въ 1874 г. А. Жемчужниковъ говорилъ, что долю участія каждаго изъ нихъ въ твореніяхъ Пруткова опредѣлить трудно *).

Доля А. Толстого будетъ когда-нибудь выдѣлена **), но въ

*) Письмо въ редакцію «Спб. Вѣдомостей» 1874 г., № 37.

**) Во всякомъ случаѣ она была больше той, которая указана въ изданіи Маркса.

данномъ случаѣ это несущественно. Велика ли эта доля, или мала—все равно А. Толстой былъ участникомъ въ созданіи особаго жанра стихотворной шутки.

Этотъ жанръ имѣетъ безспорную историческую цѣнность. Прежде всего—цѣнность необычайно оригинальную.

Кузьма Прутковъ—явленіе единственное въ своемъ родѣ; у него нѣтъ ни предшественниковъ, ни послѣдователей.

Въ дореформенное время было у насъ въ обращеніи немало стиховъ весьма игриваго свойства. Ходили по рукамъ необычайно умныя, убійственныя по своему удару эпиграммы и пародіи, иногда съ глубокимъ общественнымъ смысломъ. Пушкинъ былъ на нихъ большой мастеръ и имѣлъ достойнаго соперника въ князѣ Вяземскомъ. Обращались поэты съ этимъ оружіемъ осторожно, съ разсчетомъ, вполнѣ зная ему цѣну. Ихъ „вольные“ стихи мѣтили нерѣдко въ серьезную цѣль, перелетая черезъ цензурную преграду. Серьезность такихъ стихотвореній нисколько не умалялась той циничной приправой, на которую авторы иногда не скупились. Существовалъ въ дореформенное время и чисто циничный родъ легкихъ стихотвореній. Имъ не брезгали ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Наконецъ встрѣчалась и сатира нравовъ, тоже въ очень легкой формѣ, и большимъ мастеромъ такой сатиры былъ извѣстный Мятлевъ.

Со всѣми этими видами острой и игривой шутки стихи Кузьмы Пруткова не имѣютъ ничего общаго.

О политической тенденціи у Пруткова нѣтъ и помину, и игривость его и вольность совсѣмъ не подходятъ подъ понятіе цинизма. У Пруткова нѣтъ ничего боевого, ничего строго продуманнаго,—какъ нѣтъ ничего грубаго и сальнаго. Его шутка построена на алогичномъ, иногда просто безсмысленномъ, сплетеніи мыслей и чувствъ человѣческихъ.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ она возникла и въ началѣ шестидесятыхъ замолкла, уступивъ свое мѣсто обличительной сатирѣ въ стихахъ, на которую она также совсѣмъ не похожа.

Творенія Пруткова остались въ литературѣ какъ единичный памятникъ, связанный съ извѣстнымъ историческимъ моментомъ, и очевидно, что эта связь была не случайная, хотя сами творцы этихъ стихотвореній о ней, можетъ быть, и не думали. Они упорно утверждали, что въ ихъ шуткахъ нѣтъ ничего серьезнаго, что они „въ виду“ ничего не имѣли, кромѣ шутки. Этому можно повѣрить, нисколько не умаляя значенія того факта, что ихъ шалости оказались характернымъ проявленіемъ русскаго остроумія въ самое глухое время—наканунѣ боевого и гласнаго обличенія.

Въ дни заката Николаевскаго режима, который былъ, или долженъ былъ быть, осуществленіемъ строжайшаго порядка и дисциплины, въ годы, когда все должно было совершаться „съ дозволенья“, въ періодъ полнаго торжества „благонравія“—ворвалась въ русскую литературу эта струя задорнаго, бѣшенаго веселья и шутовства.

Шутники ни на кого и ни на что не намекали, никакихъ пародій и сатиръ съ обличеніемъ не писали, никакой критики переживаемаго историческаго момента себѣ не позволяли, и обнаружили съ полной откровенностью только одну способность—шутовское, озорническое отрицаніе всякаго порядка въ мозгахъ и чувствахъ. Поставить здравый смыслъ вверхъ дномъ, съ серьезнымъ видомъ нести неописуемую чепуху, играть на каламбурахъ, подрывать довѣріе къ естественному теченію вещей, кувыркаться въ сужденіяхъ—вотъ что̀ нравилось этимъ остроумнымъ людямъ въ моментъ, когда всѣ кругомъ только и думали о томъ, какъ бы помолчать, выразиться поосторожнѣе, не оскобрить этикета и движеніями своими не подать повода заподозрить ихъ въ намѣреніи нарушить общественную тишину и порядокъ. Кузьма Прутковъ шутилъ, озорничалъ, гаерничалъ, паясничалъ и не замѣчалъ самъ, что онъ—историческая фигура.

Но не успѣлъ онъ вдоволь нашалиться, какъ такому беззаботному, самодовольному, самолюбующемуся веселію уже

не было мѣста въ жизни. Кузьма Петровичъ понялъ эт
засѣлъ за „Проектъ объ установленіи единомыслія въ I
сіи". Онъ помирился съ тѣмъ, что молодость его прош
и что повторяться не слѣдуетъ...

1906.

Приложеніе

Воспоминанія

о

Василіи Петровичѣ Преображенскомъ.

1864—1900.

Смерть Василія Петровича Преображенскаго [скончался весной 1900 г.] была признана большой утратой. Это признаніе высказывалось всѣми, кто въ телеграммахъ или некрологахъ говорилъ о покойномъ. Едва ли, однако, тѣ свѣдѣнія, которыя сообщались въ этой краткой вѣсти объ его смерти, достаточны, чтобы людямъ, незнавшимъ Василія Петровича лично, дать понятіе о томъ, чѣмъ онъ былъ для общества, которое его окружало.

Было сказано, что онъ состоялъ многіе годы сначала негласнымъ, затѣмъ гласнымъ редакторомъ единственнаго у насъ философскаго журнала, что онъ рудоводилъ имъ очень умѣло, что, наконецъ, онъ самъ, хотя и рѣдко, выступалъ въ этомъ журналѣ со своимъ словомъ, всегда вѣскимъ, умнымъ и строго научнымъ. Все это правда; и если говорить о заслугахъ Василія Петровича передъ русской наукой, то, конечно, придется указать прежде всего на его редакторство, упомянутъ о сочиненіяхъ Лейбница, объ Этикѣ Спинозы и другихъ философскихъ книгахъ, имъ изданныхъ, придется говорить объ его самостоятельныхъ этюдахъ о Шо-

пенгауэрѣ и Ничше, наконецъ о его остроумныхъ критическихъ замѣткахъ, разсѣянныхъ въ библіографическомъ отдѣлѣ „Вопросовъ Философіи и Психологіи“. Если оцѣнить всѣ эти труды по достоинству, то окажется, что въ лицѣ покойнаго мы потеряли хорошаго работника-изслѣдователя, умѣлаго издателя-редактора, остроумнаго и осторожнаго критика. Каждая изъ этихъ ролей, выполненныхъ имъ при большой глубинѣ и разносторонности мысли, достаточно, повидимому, опредѣляетъ величину понесенной утраты,—но тѣ, которые знали близко покойнаго, не согласятся, что именно этими трудами исчерпывается все его значеніе, какъ личности и дѣятеля. Его научная работа представляется мнѣ однимъ изъ многихъ, но далеко не единственнымъ проявленіемъ его духа.

Василій Петровичъ не принадлежалъ къ числу убѣжденныхъ проповѣдниковъ какой-нибудь опредѣленной философской доктрины; онъ не былъ бойцомъ, вербующимъ въ свой станъ; связнаго, оригинальнаго міросозерцанія, приведеннаго въ строгую систему и объединяющаго одной идеей всѣ явленія духовной и матеріальной жизни у него, сколько я знаю, не было; но у него помимо цѣлаго ряда самостоятельно выработанныхъ отдѣльныхъ взглядовъ на различные вопросы жизни и духа была неоцѣненная способность понимать всякое міровоззрѣніе, на какое бы сопротивленіе мысли оно въ немъ самомъ ни наталкивалось. Такихъ міровоззрѣній онъ изучилъ очень много, отъ древнѣйшихъ до новѣйшихъ, по оригиналамъ, и если онъ не примкнулъ ни къ одному изъ нихъ и числа ихъ не умножилъ, то взамѣнъ этого всегда могъ свободно, безъ предубѣжденія, любую философскую мысль провѣрять ей противоположной или дополнять и пояснять ей сходной.

Василій Петровичъ дѣлился своими сужденіями и взглядами охотно со всѣми, кто съумѣлъ подойти къ нему на болѣе или менѣе близкое разстояніе. Скажу тутъ же кстати, что это не всегда бывало легко для желающихъ. Онъ былъ

очень требователенъ къ людямъ умѣлъ довольствоваться самимъ собою и за людьми не ухаживалъ; но кого онъ дарилъ своей дружбой или просто вниманіемъ, тотъ всегда бывалъ въ выигрышѣ. Я убѣжденъ, что именно въ этомъ раздариваніи своихъ духовныхъ богатствъ людямъ, способнымъ пустить ихъ въ оборотъ, въ этомъ возбужденіи критической мысли въ чужой головѣ заключалась главнымъ образомъ его общественная заслуга.

Онъ любилъ спорить и говорить на самыя разнообразныя темы; любилъ заставлять противника озираться, любилъ выбивать его изъ позиціи, и удары его бывали иногда безпощадны. Такъ, разговаривая, споря и шутя, появлялся этотъ человѣкъ въ самыхъ различныхъ кругахъ Москвы, за предѣлы которой онъ только одинъ разъ въ жизни выѣхалъ. Отбывъ указанное число часовъ въ Городской Думѣ, гдѣ онъ служилъ, повидавъ людей, онъ уединялся въ своемъ маленькомъ кабинетѣ, гдѣ изъ двухъ книжныхъ шкаповъ на него смотрѣли всѣ мудрецы міра, тщательно имъ собранные въ лучшихъ изданіяхъ. Онъ велъ съ ними долгую бесѣду и, судя по маргинальнымъ замѣткамъ, очень придирчивую бесѣду. Изъ этихъ единоборствъ онъ выходилъ бодрымъ, безъ поврежденій, хотя боролся нерѣдко съ богами и затѣмъ самъ шелъ состязаться съ простыми смертными. Ученый философъ безъ каѳедры, редакторъ журнала, въ которомъ онъ самъ писалъ очень мало, остроумный спорщикъ въ избранномъ кругу—онъ былъ явленіемъ довольно оригинальнымъ. Чтобы вполнѣ оцѣнить его умственную силу, нужно было не столько его читать, сколько съ нимъ поспорить, а онъ любилъ діалогъ, предпочитая его монологу не въ примѣръ многимъ русскимъ образованнымъ людямъ; не любилъ онъ только партнера безъ репликъ, и скудоуміе сосѣда ему языка не развязывало именно потому, что онъ не былъ проповѣдникомъ какой-либо опредѣленной доктрины.

Объ этомъ своеобразномъ человѣкѣ, личность и слово

котораго, какъ я знаю, благотворно повліяли на весьма многихъ лицъ, мнѣ хотѣлось бы вспомнить. Я прошу только извинить меня, если, говоря о Василіи Петровичѣ, мнѣ придется упоминать о другихъ лицахъ, для читателя совсѣмъ не интересныхъ, но съ которыми онъ неизбѣжно долженъ встрѣтиться, такъ какъ именно въ кругу этихъ лицъ и на ихъ глазахъ покойный росъ и развивался.

Я познакомился съ Василіемъ Петровичемъ осенью 1881 года на кладбищѣ Покровскаго монастыря. Хоронили моего отца, извѣстнаго ученаго слависта; нѣсколько студентовъ, моихъ товарищей по первому курсу, пожелали почтить его память и незваные пришли на его похороны. Свое участіе въ этомъ, для нихъ совсѣмъ чужомъ, горѣ они выразили тѣмъ, что предложили мнѣ свою дружбу. Василій Петровичъ былъ въ числѣ этихъ первыхъ лицъ, которыхъ я встрѣтилъ на самомъ порогѣ университета и съ которыми вступилъ въ новую жизнь. Не въ одиночку, а сразу, цѣлымъ кружкомъ, начали мы эту жизнь въ стѣнахъ университета.

Мы сблизились чрезвычайно быстро, несмотря на разницу въ темпераментахъ и въ семейныхъ и школьныхъ традиціяхъ, и мы жили очень замкнуто, довольствуясь другъ другомъ. Стоя вдали отъ многихъ студенческихъ интересовъ, мы всецѣло отдались только одному увлеченію, очень неопредѣленному и туманному, но крѣпко насъ связавшему. Это было увлеченіе наукой. Кто она была въ своей сущности, эта строгая наука и что она могла дать намъ для жизни—это, конечно, намъ было неясно; но мы довольствовались тѣмъ, что она существовала передъ нами въ видѣ университетскаго зданія и профессоровъ, которые въ опредѣленные часы разносили ее по разнымъ аудиторіямъ. Университетъ мы посѣщали ревностно, всѣхъ профессоровъ слушали внимательно и старались записать каждое ихъ слово; съ благоговѣніемъ воспринимали мы все, что намъ давалось во имя знанія, и цѣнили мы это знаніе ради него

самого, не пытаясь связать его съ окружающей насъ жизнью. Университетъ съ своей стороны сдѣлалъ все, чтобы съ перваго же курса вселить и поддержать въ насъ эту любовь ко всѣмъ отраслямъ науки безразлично. Онъ сдѣлалъ это, конечно, безъ умысла, просто,—поручивъ на первомъ же курсѣ преподаваніе цѣлому ряду выдающихся профессоровъ, которые заставляли насъ перекочевывать изъ одной аудиторіи въ другую и думать, что изъ всѣхъ наукъ самая интересная именно та, которую намъ въ данный часъ преподавалъ тотъ или другой учитель.

В. И. Герье читалъ намъ римскую исторію и, слушая этотъ курсъ, въ которомъ съ научной строгостью подобранный матеріалъ такъ гармонично сочетался со стройной формой, иногда холодной, но всегда пластичной, слушая этотъ разсказъ, всегда сказанный съ каѳедры, а не прочитанный, мы готовы были поклясться, что во всемъ свѣтѣ одинъ только civis romanus имѣетъ всѣ права на наши умственныя и сердечныя симпатіи... Но лекція кончалась и черезъ четверть часа передъ нами воскресала наша родная старина. Оцѣнить все научное значеніе курса В. О. Ключевскаго мы, конечно, тогда не могли; но передъ нами былъ художникъ, до виртуозности доводившій образность своей рѣчи. Эта рѣчь, безстрастная гдѣ нужно и спокойная, мѣстами нервная и часто и умѣло пересыпанная ироніей, рѣчь, отливавшая особымъ лишь ей свойственнымъ блескомъ, кружила намъ голову. Всѣ детали нашей древне-русской жизни—географическое положеніе, этнографическій составъ, обычаи, религія, юридическія отношенія, государственный порядокъ и внѣшняя политика—слагались передъ нами въ одну общую картину съ поразительнымъ колоритомъ, свѣтотѣнью и распредѣленіемъ главныхъ фигуръ на первомъ планѣ,—и, наивные, мы думали, какъ хорошо было бы придти профессору на помощь нашей работой, и съ энтузіазмомъ начинали сами рыться въ лѣтописяхъ, актахъ и старыхъ книгахъ. Исторію древней русской литературы

читалъ намъ Н. С. Тихонравовъ. Сподобиться увидать Тихонравова на каѳедрѣ было не такъ легко; онъ появлялся на ней неожиданно, послѣ довольно долгихъ промежутковъ; но когда бы онъ ни приходилъ, аудиторія была полна и ждала его, хотя бы ей приходилось ждать его по мѣсяцу. Тихонравовъ цѣнилъ это вниманіе и умѣлъ вознаграждать насъ за наше терпѣніе. И онъ принадлежалъ къ числу лицъ, которымъ дана власть воскрешать мертвыхъ. Въ его рукахъ всѣ эти протертые пергаменты, которые онъ нерѣдко приносилъ съ собой на каѳедру, становились живой плотью, и на лекціяхъ его достигалась полная иллюзія: онъ такъ умѣлъ спрятать свою собственную личность за тѣмъ памятникомъ, который комментировалъ, что мы сами становились какъ бы участниками тѣхъ событій, о которыхъ этотъ памятникъ разсказывалъ, и раздѣляли то міровоззрѣніе, которое вычитывалъ для насъ профессоръ изъ совершенно неудобочтимыхъ рукописей. Его притягательной силы хватило на то, чтобы засадить насъ за разные люцидаріи, физіологи, азбуковники, гадательныя книги и пчелы, и мы, предоставленные собственнымъ силамъ, съ невѣроятнымъ трудомъ, спотыкаясь на каждомъ шагу о непонятные слова и намеки, ломились сквозь эти дебри древнерусской мысли и языка, и этотъ трудъ не утомлялъ, а бодрилъ насъ. Большой интересъ вызывалъ въ насъ также и В. Ѳ. Миллеръ, который намъ читалъ самую древнѣйшую исторію Востока и исторію открытія и интерпретаціи клинообразныхъ надписей. Лекціи были очень живо сказаны, очень содержательны и подкупали насъ своей новизной. Василій Петровичъ питалъ къ нимъ особенную нѣжность. Даже классики, эти безъ вины виноватые, которые въ университетѣ расплачиваются за первородный грѣхъ гимназическихъ учителей или, вѣрнѣе, гимназическаго устава, даже они нашли въ насъ ревностныхъ слушателей, опять-таки потому, что были люди большого ума и таланта. Съ Г. А. Ивановымъ мы охотно вникали въ тонкости стилистики Цицерона, и съ А. Н.

Шварцемъ поправляли англійскихъ комментаторовъ Демосфена. Ѳ. Е. Коршу полагалось читать древнегреческій языкъ; но онъ повѣрилъ намъ на слово, что мы его знаемъ и лекціи его обратились въ блестящія экскурсіи въ область археологіи, этнографіи и философіи языковѣдѣнія.

Такими профессорами были мы окружены на первомъ же курсѣ. Намъ были такимъ образомъ предложены самыя изысканныя научныя яства, и мы, голодные, на нихъ накинулись. Кто что успѣвалъ схватить, тотъ то и схватывалъ. Общіе выводы, которые давали намъ наши профессора, лежали конечно выше нашей провѣрки, и потому если мы хотѣли идти за нашими учителями, мы, волей-неволей, должны были начать съ частностей. Въ такіе частные, другъ съ другомъ не связанные научные вопросы мы всѣ и закопались.

Василій Петровичъ, который потомъ умѣлъ такъ методично и правильно насыщать свою умную голову всяческими свѣдѣніями, укладывавшимися въ ней въ необычайномъ порядкѣ и всегда связанными прочными нитями его собственной мысли—на первомъ курсѣ вмѣстѣ съ нами совершилъ эту научную экскурсію по всѣмъ отраслямъ знанія, такъ же какъ и мы наивно увѣренный въ томъ, что въ какую бы щель умъ человѣческій ни заползъ, онъ все равно совершаетъ великій актъ священнослуженія наукѣ. По такимъ щелямъ мы всѣ тогда размѣстились; кто потратилъ цѣлую зиму на греческую грамматику Meyer'a, кто детально изслѣдовалъ Девгеніево дѣяніе, кто застрялъ на русскихъ отреченныхъ книгахъ, кто на судьбѣ пелазговъ. Василій Петровичъ и я, мы принялись ревностно за изученіе миѳологіи. Я располагалъ отличной библіотекой моего отца, гдѣ былъ собранъ богатѣйшій матеріалъ по фолклору на всѣхъ языкахъ, и мы читали, читали запоемъ все, что попадало подъ руку.

Василій Петровичъ всегда любилъ образы и краски, лю-

билъ „пахучую“ рѣчь и потому немудрено, что красивая и нарядная наука о народномъ вымыслѣ привлекла къ себѣ сразу его вниманіе. Какъ часто потомъ, когда критическое отношеніе ко всѣмъ вопросамъ духа и жизни приводило его въ тревогу, любилъ онъ возвращаться къ сказкѣ и миѳу, къ преданіямъ и видѣніямъ, но уже не въ ученыхъ книгахъ, а въ музыкѣ Берліоза и Вагнера, въ картинахъ символистовъ, въ романахъ и стихахъ старыхъ и новыхъ романтиковъ. На первомъ курсѣ Василій Петровичъ приступилъ къ изученію миѳологіи не въ интересахъ эстетики, а, конечно, строгой науки; прилежно собиралъ литературу предмета и углубился въ чтеніе книгъ и статей, гдѣ эти живые вымыслы народной фантазіи были хорошо высушены, расчленены на части и каталогизированы. Въ его бумагахъ нашлись многочисленныя выписки изъ прочитанныхъ имъ тогда книгъ, и по нимъ мы можемъ видѣть, что эти экскурсіи въ область фолклора и миѳологіи обошлись ему не дешево. Внимательно съ конспектомъ читалъ онъ труды Аѳанасьева, Порфирьева, Буслаева, Ореста Миллера, Тихонравова, Александра Веселовскаго и многихъ другихъ. Всѣ эти прочитанныя книги остались въ дальнѣйшемъ безъ употребленія, такъ какъ научныя симпатіи Василія Петровича быстро и рѣзко измѣнились.

Изъ всѣхъ насъ онъ первый перешелъ отъ работы надъ вопросами частными къ систематическому ознакомленію съ вопросами самаго общаго характера, но на прощаніи со своими недавними занятіями онъ, какъ бы желая показать всѣмъ намъ наглядно, въ какую глушь научныхъ пустынь можно забраться, написалъ самостоятельное изслѣдованіе по египтологіи, сочиненіе, къ которому мы были преисполнены великаго уваженія. Оно касалось вопроса о національности нѣкоихъ гиксовъ, вторгнувшихся въ Египетъ во время правленія XIII-ой или XIV-ой династій. Сочиненіе предназначалось для прочтенія въ одномъ изъ засѣданій научно-лите-

ратурнаго общества, которое нашъ кружокъ основалъ на второмъ курсѣ университета.

Ничто, я думаю, не говоритъ такъ ясно о самонадѣянной нашей любви къ наукѣ, какъ именно исторія этого общества, умершаго, однако, отъ истощенія силъ черезъ полгода послѣ своего рожденія. Много было хорошихъ сторонъ въ этой затѣѣ, и главная заслуга ея передъ нами была въ миніатюрѣ та же, что и заслуга вавилонскаго столпотворенія передъ человѣчествомъ. Вслѣдствіе смѣшенія языковъ и полнѣйшаго взаимнаго непониманія наше дерзостное предпріятіе рухнуло. А предпріятіе было дерзостное. Я думаю, что такого студенческаго общества, какъ наше, никогда еще не существовало. Обыкновенно, когда студенчество складывается въ кружки, оно это дѣлаетъ съ какой нибудь опредѣленной программой, въ большинствѣ случаевъ ради самообразованія, для выработки міросозерцанія — какъ принято говорить. Въ такихъ кружкахъ бываютъ свои запѣвалы, свои идолы и фетиши, бываетъ какая-нибудь книга, въ которую вѣруютъ или которую разносятъ; въ нихъ почти всегда царитъ единодержавіе того или другого автора или лица: вотъ почему польза отъ такихъ кружковъ несомнѣнна; плохо ли, хорошо ли, но они полируютъ мысль, которая находится въ постоянномъ треніи съ другими мыслями, вѣрными или нелѣпыми—все равно, но такими, которыя она способна такъ или иначе оцѣнивать. Въ нашемъ кружкѣ никакого единодержавія не было, а царила полная вольница; всѣ мы сразу произвели себя въ генералы отъ науки и начали просвѣщать другъ друга, рѣшая труднѣйшіе и притомъ очень спеціальные научные вопросы. Каждый референтъ угощалъ ближняго результатомъ своихъ „научныхъ“ работъ, для него одного интересныхъ, а другимъ непонятныхъ. Общей мысли, вокругъ которой могли бы сгруппироваться эти работы, не было и спорить поэтому было не о чемъ. Нѣсколько вечеровъ провели мы въ положеніи истукановъ, слушая рефераты на темы о паденіи Царе-

града и объ отраженіи сего событія въ русской литературѣ, о родовомъ бытѣ у славянъ, объ учрежденіи Ареопага въ Аѳинахъ, о подлинности законодательства Ликурга, о національности гиксовъ и еще о чемъ-то, не помню. Эта забава, которая должна была дать полное удовлетвореніе нашему самолюбію молодыхъ ученыхъ, стоила намъ очень дорого. Цѣлые недѣли и мѣсяцы уходили на изготовленіе этихъ тяжеловѣсныхъ и негодныхъ орудій науки. Взять хотя бы работу Василія Петровича, которая сохранилась въ его бумагахъ. Чего только ни читалъ онъ для нея, и Іосифа Флавія, и Моро де Жонесса, и Шампольліона, и Масперо, и Ленормана, и все это, какъ гласятъ выставленные въ концѣ реферата тезисы, для того, чтобы сказать, что доказательства, приводимыя Моро де Жонессомъ въ пользу кельтическаго происхожденія гиксовъ, неосновательны, что гиксы племя не однородное, что по скульптурнымъ памятникамъ на почвѣ нижняго Египта судить о національности гиксовъ нельзя и что, наконецъ, народность этихъ массъ пока опредѣлить невозможно. Всѣ эти осторожные и отрицательные выводы очень характерны для Василія Петровича—будущаго скептика.

Общество скоро окончило свое существованіе какъ научное и превратилось въ литературныя бесѣды. Замѣчу кстати, что изъ всѣхъ насъ одному только Василію Петровичу удалось за это время сдѣлать нѣчто безусловно полезное. Онъ перевелъ книгу Дельбрюка „Введеніе въ науку о языкѣ“ для напечатанія въ воронежскихъ „Филологическихъ Запискахъ“ Хованскаго.

Василію Петровичу не было еще 17 лѣтъ, когда онъ вошелъ въ кругъ тѣхъ занятій и вопросовъ, отъ которыхъ потомъ и не отступалъ до самой смерти. Онъ сталъ заниматься вопросами философіи, психологіи и эстетики. Легко усвоивалъ онъ этотъ новый научный матеріалъ и быстро умѣлъ оріентироваться въ этой пока ему еще совсѣмъ неизвѣстной области именно потому, что для этихъ занятій

голова его была создана. Мы очень скоро почувствовали на себѣ ясность и силу его мысли. Эта мысль шла такимъ быстрымъ шагомъ, что угоняться за ней намъ было совершенно невозможно, тѣмъ болѣе, что, не слѣдуя его примѣру, мы продолжали копаться все въ тѣхъ же спеціальныхъ вопросахъ какого-нибудь курсового предмета. Нашъ же товарищъ былъ совершенно поглощенъ теоретической постановкой философскихъ проблемъ и изученіемъ исторіи философіи по главнымъ руководствамъ. Охотно дѣлился онъ съ нами своими впечатлѣніями о прочитанныхъ книгахъ, которыхъ мы пока не читали, и мыслями, о которыхъ мы еще тогда не думали. Я не преувеличу, если скажу, что онъ въ это время замѣнялъ намъ общеобразовательную книгу.

Василій Петровичъ былъ, конечно, самъ себѣ обязанъ и интересомъ къ умозрительнымъ наукамъ и успѣхомъ, съ какимъ онъ преодолѣвалъ ихъ. Любовь къ этимъ наукамъ была въ немъ даромъ природы: онъ родился съ философской головой, какъ другіе родятся математиками, музыкантами или вообще художниками; что же касается направленія, въ которомъ онъ шелъ, то и здѣсь, какъ я его понимаю, онъ руководствовался собственнымъ чутьемъ, а не указательнымъ перстомъ профессора, хотя все-таки нельзя отрицать того, что первый толчокъ его философская мысль получила на лекціяхъ М. М. Троицкаго — этого послѣдняго защитника умиравшаго позитивизма.

М. М. Троицкій читалъ намъ логику, психологію и затѣмъ исторію философіи. Неоцѣненный преподаватель логики и психологіи, онъ былъ, однако, совсѣмъ не на своемъ мѣстѣ какъ истолкователь и судья философскихъ системъ въ ихъ общемъ составѣ, т.-е. именно того отдѣла философской науки, которая для студентовъ должна имѣть первенствующее значеніе, какъ способная открыть сразу наиболѣе широкіе философскіе горизонты. Такіе горизонты на лекціяхъ Троицкаго не открывались, несмотря на чрезвычайно ясную и прозрачную атмосферу, которая насъ на этихъ лекціяхъ окружала.

Происходило это оттого, что, во-первыхъ, самъ профессоръ этими общими взглядами, этими краеугольными камнями философскихъ системъ мало интересовался и, во-вторыхъ, оттого, что онъ признавалъ въ мірѣ право на существованіе только за той мыслью, которая для всѣхъ была ясна какъ день, въ которой не было ничего спорнаго, которая была недвижима въ своей непоколебимой истинности и чужда всякаго броженія. Профессоръ, знакомя насъ съ чужими мыслями, стремился приблизить ихъ къ своему идеалу и такъ вываривалъ ихъ и очищалъ въ своей головѣ, что онѣ становились удивительно прозрачны; но все органически живое было въ нихъ убито. Въ своемъ изложеніи философскихъ ученій онъ не оставлялъ ни одной сколько-нибудь сложной мысли, не упростивъ ее до неузнаваемости и такъ утрамбовывалъ для нашей мысли дорогу, что самыя хитрыя системы съ ихъ недосягаемыми вершинами и безднами казались намъ совсѣмъ гладкой плоскостью. Мы бывали въ восторгѣ отъ этой ясности и намъ нравилось пристрастное отношеніе профессора ко всѣмъ ученіямъ, въ которыхъ онъ находилъ или чуялъ метафизическія предпосылки и надъ которыми онъ такъ остроумно издѣвался. Къ тому же Троицкій царилъ тогда надъ нами безъ оппонентовъ: вокругъ насъ не было лицъ, слово которыхъ могло бы оспаривать нашего профессора. Книжки Кавелина о психологіи и этикѣ, обращенныя прямо къ намъ, т.-е. къ молодежи, были для насъ очень трудны въ виду крайне отвлеченной постановки тѣхъ вопросовъ, въ которыхъ мы желали всего больше ясности. Имя Каринскаго до насъ не долетало въ тѣ годы; о Гротѣ, который потомъ появился въ Московскомъ университетѣ, мы еще почти ничего не слыхали, да и его самого въ то время не сразилъ еще тотъ „ударъ благодати“, послѣ котораго онъ возсталъ метафизикомъ. Ближе къ намъ стоялъ В. С. Соловьевъ тогда еще молодой авторъ двухъ диссертацій, которыми открывается новая эра русскаго философскаго идеализма. Эти диссертаціи прошли однако какъ-то мимо насъ, и первая

книга Владиміра Сергѣевича, которая попала къ намъ въ руки, были его „Чтенія о Богочеловѣчествѣ“. Они поразили насъ своимъ мистико-религіознымъ туманомъ, и мы были тогда настолько самоувѣренны и юны, что не хотѣли признать за такимъ туманомъ законнаго права на существованіе въ жизни. Итакъ, возраженій тому позитивизму, который къ намъ говорилъ съ каѳедры, мы не слыхали. Добавлю, наконецъ, что направленіе, котораго придерживался Троицкій, находило себѣ большую поддержку въ недавнемъ прошломъ и въ современномъ намъ теченіи русской общественной мысли. Въ годы нашего студенчества традиціи шестидесятыхъ и въ особенности семидесятыхъ годовъ были въ полной силѣ. Ихъ поддерживала публицистика, ряды которой тогда еще не порѣдѣли. Изъ гимназіи мы вышли съ хорошимъ знаніемъ беллетристики и критики шестидесятыхъ годовъ и съ кое-какимъ чтеніемъ переводной ученой литературы, въ которой имена Дарвина, Спенсера, Льюиса, Милля и Конта попадались намъ очень часто. Читали мы эти книжки, конечно, бѣгло и не систематично, но все-таки у насъ образовался нѣкоторый запасъ стереотипныхъ философскихъ понятій, которыя мы и пускали въ ходъ, когда какой-нибудь общій вопросъ начиналъ насъ тревожить. Эта маленькая философская аптечка, въ которой были собраны всѣ, какъ намъ казалось, необходимыя снадобья, чтобы держать наши головы въ подобающемъ гигіеническомъ состояніи, была очень незамысловата. Всего какимъ-нибудь десяткомъ категорическихъ сужденій ограждали мы нашъ умъ отъ разныхъ искушеній мысли. Всѣ вопросы трансцендентные мы просто признавали праздными и всякую „метафизику“ [слово, смыслъ котораго былъ для насъ теменъ] мы какъ-то пассивно не любили. Такая самовольная расправа со многими основными вопросами жизни и духа могла бы быть уравновѣшена въ насъ иными интересами, которые были также завѣщаны намъ нашимъ недавнимъ прошлымъ. Я говорю объ интересахъ общественно политическихъ. Но къ этой благотворной и

вѣчной сторонѣ движенія шестидесятыхъ годовъ,—сторонѣ, которая съ лихвой покрываетъ всѣ ея теоретическія ошибки, мы оставались тогда какъ-то равнодушны, не идя дальше благопристойно-либеральной морали, въ которой было больше эгоизма, чѣмъ альтруизма.

Василій Петровичъ, какъ показываютъ уцѣлѣвшія его гимназическія сочиненія, вынесъ изъ школы также хорошее знакомство съ публицистикой шестидесятыхъ годовъ; но и онъ, и пожалуй больше, чѣмъ его товарищи, оставался пока равнодушенъ къ ея общественнымъ тенденціямъ. Къ ея же философскимъ принципамъ онъ вернулся на третьемъ курсѣ, чтобы начать подробный ихъ пересмотръ.

Частью подъ вліяніемъ Троицкаго, частью подъ впечатлѣніемъ недавняго чтенія, онъ обратился къ непосредственному знакомству съ позитивной философіей. Такъ какъ Василій Петровичъ тогда предложилъ мнѣ заниматься по его программѣ, убѣждая меня не отдавать всего моего времени на рѣшеніе вопроса о заселеніи Мореи турками, вопроса, который я тогда принималъ очень близко къ сердцу, то я могу теперь съ приблизительной точностью возстановить эту программу. Нашъ товарищъ поставилъ себѣ цѣлью изучить по главнѣйшимъ оригинальнымъ памятникамъ все движеніе позитивной мысли, начиная съ Бэкона. Бэконъ былъ изученъ въ подлинникѣ по Fowler'овымъ комментаріямъ; прочитанъ былъ Локкъ и всего больше времени было отдано на чтеніе Юма, Essays котораго Василій Петровичъ даже началъ переводить и для которыхъ мы съ нимъ уже подыскивали издателя. Затѣмъ слѣдовало изученіе очень подробное почти всѣхъ сочиненій Льюиса, Милля, всѣхъ томовъ Спенсера, кромѣ „Основъ Біологіи“. Одновременно читались послѣдніе тома курса позитивной философіи Конта и въ заключеніе книга Ланге, которая, кажется, сразу отбила у моего товарища охоту читать самихъ матеріалистовъ. Выполненію этой широкой программы Василій Петровичъ посвятилъ два оставшіеся года своей университетской жизни.

Несмотря на всѣ эти занятія, которыя очевидно свидѣтельствовали о томъ, что извѣстное философское міросозерцаніе Василію Петровичу нравилось, я все-таки, припоминая наши тогдашніе разговоры съ нимъ, не могу даже для того времени назвать его убѣжденнымъ сторонникомъ позитивизма. Ему импонировала безспорно логичность и простота мысли этихъ поклонниковъ и пропагандистовъ „оскорбительной ясности“ въ философіи; онъ любилъ иногда повторять и развивать ту или другую прочитанную имъ страницу, направленную противъ разныхъ метафизическихъ фантомовъ, уснащивая доводы автора своими собственными шутками и остротами. Онъ учился у этихъ людей логикѣ и критикѣ, но отнюдь не догмѣ и былъ всегда самодоволенъ и радъ, когда могъ ихъ побить ихъ же оружіемъ. Когда онъ нападалъ въ ихъ ученіи на какое-нибудь догматическое положеніе или выводъ, которые становились въ прямое или скрытое противорѣчіе съ требованіями строгой эмпиріи и „опытнаго метода“, онъ бывалъ отмѣнно доволенъ, какъ будто поймалъ подозрѣваемаго имъ человѣка съ поличнымъ.

Я помню, какъ непріятно меня поражало такое неуважительное и, какъ мнѣ казалось, полное самомнѣнія отношеніе ученика къ учителямъ; я видѣлъ извѣстное оригинальничанье и бравурство въ этомъ желаніи моего товарища непремѣнно не согласиться съ читаемымъ, не подозрѣвая тогда, что въ этомъ желаніи онъ былъ не воленъ. Я думалъ, что онъ играетъ въ красивую игру скептика; но это была не игра, а сама натура. И позднѣе, когда онъ изучалъ философскія системы діаметрально противоположныя позитивизму, онъ обнаружилъ то же недовѣріе, то же нежеланіе отдать себя въ плѣнъ какому бы то ни было ученію.

Во всѣхъ вопросахъ, гдѣ разумъ является единоличнымъ судьей, Василій Петровичъ былъ скептикъ, неисправимый скептикъ, и этотъ скептицизмъ бывалъ для него иногда источникомъ сильной душевной тревоги; онъ его преждевременно старилъ, понижалъ въ немъ творческую способ-

ность и предрасполагалъ къ пессимизму. Тѣ, кто зналъ Василія Петровича еще совсѣмъ молодымъ, еще въ тѣ годы, когда жизнь его не помяла, могутъ припомнить, какъ склоненъ былъ онъ выдвигать печальную сторону жизни въ ущербъ радостной и какъ много иронiи и сарказма бывало въ его рѣчахъ и вообще въ его взглядахъ. Одно это ироническое отношеніе къ самымъ серьезнымъ вопросамъ жизни показываетъ какъ мало самоувѣренности и убѣжденности пріобрѣлъ онъ въ своихъ тогдашнихъ философскихъ занятіяхъ позитивизмомъ. Онъ чувствовалъ свое безсиліе дать какой-либо положительный или отрицательный отвѣтъ на многіе коренные вопросы и потому минутами вознаграждалъ себя за это безсиліе ироническимъ къ нимъ отношеніемъ. Онъ иронизировалъ, а не отшучивался, такъ какъ всегда его иронія проникала въ глубь вопроса, а не скользила по его поверхности. Ему доставляло мучительное наслажденіе выворотить иногда на изнанку всю ткань чужихъ или своихъ собственныхъ мыслей,—вотъ почему онъ такъ любилъ Гейне, этого съ отчаянія смѣющагося человѣка и вотъ почему въ другія минуты онъ любилъ Паскаля, этого съ отчаянія вѣрующаго.

Скептикъ отъ рожденія, Василій Петровичъ упорно разыскивалъ своихъ родственниковъ по духу во всѣхъ странахъ и у всѣхъ народовъ. Сочиненія Бейля, Монтеня, Юма, Вольтера, Ларошфуко занимали въ его библіотекѣ цѣлую полку, надъ которой мы шутя хотѣли выставить черную доску съ надписью „venena". Своего рода разыскиваніемъ отдаленнаго предка была и цѣлая историко-философская работа, которую предпринялъ покойный на третьемъ курсѣ, думая воспользоваться ею для кандидатской диссертаціи. Онъ занялся вопросомъ о генезисѣ и развитіи скептической философіи въ древности и главнымъ образомъ сочиненіями Секста Эмпирика. Приготовленія для этой работы были сдѣланы большія, литература вопроса была тщательно подобрана; но прочитавъ ее всю, Василій Петровичъ увидалъ, что подъ какого-то

нѣмца, который всю свою жизнь убилъ на Секста, не подкопаешься и потому работу бросилъ; онъ самъ не любилъ повторяться, не любилъ и повторять другихъ. Вмѣсто этой темы для кандидатской диссертаціи была выбрана другая. Это была работа уже не историческая, а чисто критическая. Она касалась конечнаго вопроса о реальности нашего знанія, поставленнаго Спенсеромъ въ VII-й части его Психологіи. Этой диссертаціи я не читалъ, и она кажется исчезла изъ унивеситетскаго архива; но отзывъ проф. Троицкаго, которому она была подана, показываетъ, что Василій Петровичъ остался себѣ и въ данномъ случаѣ вѣренъ. „Послѣ весьма тонкой оцѣнки ученія Спенсера,—говоритъ профессоръ въ своемъ отзывѣ,—авторъ приходитъ къ выводу, что конечный вопросъ поставленъ Спенсеромъ неясно и что эта неяность дѣлаетъ невозможнымъ и самое рѣшеніе вопроса. Обращая особенное вниманіе на полемику Спенсера по данному вопросу съ Беркли, Юмомъ и Кантомъ, г. Преображенскій, не защищая вѣрности ученія этихъ мыслителей, старается освободить послѣднія отъ упрековъ въ непослѣдовательности и нелѣпости, которыми ихъ осыпаетъ Спенсеръ".

Оба вывода свидѣтельствуютъ, какъ видимъ, о томъ, что молодой философъ—судья ученаго спора, призналъ обѣ стороны виноватыми.

За эту работу Василій Петровичъ былъ оставленъ при университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію.

Студенческіе годы для него кончились. Что же въ итогѣ дало ему это время? Для философскаго образованія было сдѣлано много, хотя и въ одномъ направленіи. Изучена была цѣлая стадія, черезъ которую прошла философская мысль въ Европѣ. На этихъ позитивныхъ ученіяхъ, въ которыхъ такъ блистали трезвыя, хотя и односложныя мысли, была изощрена способность трезво и ясно мыслить. Былъ сдѣланъ широкій запасъ всевозможныхъ знаній изъ всѣхъ областей вѣдѣнія, знаній, которыя эти ученія привлекали въ

доказательство своихъ выводовъ, начиная съ физіологіи и біологіи, кончая политической экономіей и соціологіей. Опасности запутаться въ сѣтяхъ чистыхъ отвлеченностей болѣе не существовало, но не существовало также и основныхъ началъ, на которыхъ можно было бы построить единое и связное міровоззрѣніе. Скептикъ продолжалъ преобладать въ Василіи Петровичѣ надъ догматикомъ, и тягота этой скептической мысли давала себя чувствовать. Ему, стоящему лицомъ къ лицу всегда съ великими загадками жизни, было куда труднѣе, чѣмъ другимъ его товарищамъ, головы которыхъ были заняты вопросами чисто спеціальными.

Не знаю до какой высокой степени взвинтилъ бы этотъ скептицизмъ его ироническое отношеніе къ жизни, если бы не существовало одной области духовныхъ интересовъ, которымъ онъ отдавался совсѣмъ, какъ влюбленный отдается своей страсти. Къ философскимъ вопросамъ его отношеніе было совсѣмъ не страстное; онъ относился къ нимъ слишкомъ разсудочно, съ излишкомъ недовѣрія, безъ достаточной нѣжности. Въ Василіи Петровичѣ, какъ въ философѣ, всегда чувствовался не увлеченный человѣкъ, а опекунъ весьма осторожный. Отъ этой суровой недовѣрчивости онъ освобождался и непосредственному чувству позволялъ овладѣвать собой только тогда, когда входилъ въ сферу интересовъ чисто художественныхъ, когда сталкивался съ міромъ искусства, въ которомъ острый умъ есть всегда желанный придатокъ, но отнюдь не главный рычагъ, приводящій въ движеніе духовную силу человѣка.

Нашъ товарищъ былъ очень чуткій эстетикъ и любилъ забываться въ художественномъ наслажденіи. Искусство какъ-то разобщало его съ внѣшней жизнью и, сколько я могъ замѣтить, онъ на такое разобщеніе не жаловался и даже любилъ его. Чѣмъ романтичнѣе было искусство, чѣмъ произвольнѣе обращалось оно съ матеріаломъ, который ему даетъ жизнь, тѣмъ болѣе оно ему нравилось; онъ не любилъ, чтобы искусство покрывалось всецѣло жизнью; онъ отыски-

валъ въ немъ чего-то надъ или рядомъ съ жизнью стоящаго. Реализмъ и натурализмъ онъ цѣнилъ, но только въ самыхъ геніальныхъ созданіяхъ Флобера, Мопассана, Гауптмана, Достоевскаго или Толстого. Къ Золя онъ относился очень сдержанно; но сказка Гоффманна оставалась всегда его любимымъ чтеніемъ. Онъ былъ въ душѣ неисправимый романтикъ, и этотъ романтизмъ сердца независимо отъ скептицизма ума понижалъ въ его глазахъ стоимость многихъ житейскихъ вопросовъ, очень важныхъ и серьезныхъ.

Въ данномъ случаѣ Василій Петровичъ не составлялъ среди насъ исключенія. Всѣ мы, когда были студентами, цѣнили искусство значительно выше жизни и любили его какъ тихую и счастливую пристань, гдѣ мы могли отдохнуть отъ неиспытанныхъ страданій, неизвѣданныхъ страстей и вопросовъ, которые насъ не тревожили. Такой чрезмѣрный культъ романтическаго искусства былъ отчасти слѣдствіемъ того затишья въ студенческой жизни, какое наступило въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Это было тяжелое время страховъ, подозрѣній и строгостей. Студенческая жизнь, въ концѣ семидесятыхъ годовъ столь шумная, плелась какъ-то вяло въ то четырехлѣтіе [1881—1885], которое мы провели въ университетѣ. Конечно, внѣ университета, въ частныхъ студенческихъ кружкахъ, тамъ были свои общественные широкіе интересы; но въ стѣнахъ университета эти движенія отражались мало; а такъ какъ тѣ кружки были очень замкнутые и притомъ въ то время крайне на сторожѣ, то мы и не имѣли случая соприкасаться съ ними, тѣмъ болѣе, что сами этого случая не искали.

Когда къ концу университетской жизни мы стали нѣсколько поправляться отъ ученаго маразма, въ который впали, и когда явилась потребность взглянуть на жизнь съ болѣе широкой точки зрѣнія, то міръ искусства оказался единственнымъ, который на первыхъ порахъ вполнѣ удовлетворилъ насъ. Ревностно принялись мы за изученіе памятниковъ иностранной словесности подъ руководствомъ на-

шего же товарища Г. А. Рачинскаго и тогда уже обладавшаго широкимъ литературнымъ образованіемъ. Я говорю „памятниковъ", потому что мы читали почти исключительно авторовъ прежнихъ поколѣній, преимущественно французскихъ и нѣмецкихъ романтиковъ. Нашъ менторъ, ярый проповѣдникъ „искусства для искусства" и самъ романтикъ по духу, укрѣпилъ насъ въ нашей любви къ романтикѣ и вообще къ идеализму въ искусствѣ и скоро рядомъ съ нашей наукой, вопреки нашему предубѣжденію противъ всего сверхчувственнаго и фантастическаго, возникъ поэтическій міръ видѣній, созданный фантазіей Гюго, Готье, Мюссе, Виньи, Байрона, Шелли, Гете, Шиллера, Гоффманна, Тика, Гейне и другихъ. Гете мы тогда больше увлекались, чѣмъ Шиллеромъ, Buch der Lieder знали наизусть, а изъ отечественныхъ поэтовъ, кромѣ классиковъ, предпочитали другимъ Фета, Майкова и Алексѣя Толстого. Василій Петровичъ дѣлилъ тогда съ нами эти вкусы и сильнѣе, чѣмъ кто-либо изъ насъ, полюбилъ романтическія высоты, чтобы никогда уже болѣе не разлюбить ихъ. Онъ позволялъ себѣ, правда, въ иныя злыя мгновенія, по примѣру своего любимца Гейне, безпощадно иронизировать надъ своими богами, но лишь затѣмъ, чтобы въ первую минуту тоски или тревоги начать вновь убирать ихъ алтари цвѣтами. Въ моментъ, когда критическая работа мысли умолкала, въ его голову толпой врывались всякіе романтическіе фантомы, которые, глумясь надъ категоріями пространства и времени, созидали въ ней свой призрачный міръ; и Василій Петровичъ любилъ эту игру фантазіи, любилъ какъ игру, которая удовлетворяла его эстетическое чувство, и именно эстетическое, а не какое-нибудь иное.

Этотъ эстетизмъ съ своей стороны нерѣдко усиливалъ въ немъ его и безъ того большую склонность къ пессимистической оцѣнкѣ явленій жизни. Понятно, что, ощущая на себѣ болѣзненную силу такого печальнаго взгляда на міръ, Василій Петровичъ дорожилъ всякимъ случаемъ, чтобы уми-

ротворить его художественными впечатлѣніями или парализовать его въ себѣ какими-нибудь средствами. Въ поискахъ за такими средствами и впечатлѣніями онъ доходилъ иногда до того, что по рецепту Боделэра готовъ былъ создавать для себя „искусственный рай“ тѣми же способами, къ какимъ прибѣгалъ этотъ несчастный эстетикъ.

Но къ такимъ наркотическимъ средствамъ можно было и не прибѣгать. Москва помимо нихъ представляла въ то время рѣдкое сочетаніе соблазновъ для любителя искусства, и на эти соблазны мы всѣ были очень падки. И прежде всего театръ. Его исторію узнали мы на лекціяхъ нашего профессора Н. И. Стороженки, большого театрала, который въ своихъ чтеніяхъ давалъ намъ не только историческую картину развитія театра, но и знакомилъ насъ съ пріемами эстетической критики. Мы были такимъ образомъ подготовлены къ тому, что мы видѣли на сценѣ нашего Малаго театра, гдѣ мы бывали чуть ли не семь разъ въ недѣлю. На этихъ подмосткахъ передъ нами проходила вся „Легенда вѣковъ“, созданная великими художниками и истолкованная лучшими талантами. Классическій репертуаръ преобладалъ въ то время надъ современнымъ, и театръ, въ особенности московскій, не превращался въ хронику семейныхъ будничныхъ непріятностей и скандаловъ. Мы смотрѣли на трагедіи Шекспира, Лопе де-Вега, Кальдерона, Гете, Шиллера, Гюго, Грильпарцера и передъ нами воскресала вся міровая жизнь, преображенная и просвѣтленная. Театръ пріучалъ насъ съ высоты смотрѣть на эту жизнь, очищая и подавляя наши страсти, и если какая страсть тогда была въ нашемъ сердцѣ, она была такъ невинна и такъ поэтична, и предметомъ ея былъ трагическій паѳосъ, воплощенный въ лицѣ Маріи Николаевны Ермоловой. Онъ, этотъ паѳосъ, или, вѣрнѣе, она была предметомъ нашего поклоненія и спасибо ей за то, что ея устами всегда говорила самая возвышенная мораль, и личная, и общественная, о которой мы тогда такъ мало думали. Пріѣзжали и иностранные гости, и это былъ для

насъ великій праздникъ, веселіе котораго раздѣляли и наши профессора. Ихъ обступали мы въ узкихъ коридорахъ какого-нибудь невзрачнаго театра, и эти бесѣды, веденныя запросто съ П. Г. Виноградовымъ, В. И. Герье, А. Н. Веселовскимъ и Н. И. Стороженкомъ,—бесѣды, въ которыя иногда какъ вихрь врывался со своимъ юношески восторженнымъ словомъ незабвенный С. А. Юрьевъ, бывали прекраснымъ комментаріемъ къ тому, что творилось на сценѣ. А творилось на ней дѣйствительно таинство искусства и жрецами его были Поссартъ, Барнай, Росси, Сальвини, всѣ эти Dei gratia таны Гламисскіе и Кавдорскіе, короли англійскіе, шотландскіе, испанскіе, наслѣдные принцы датскіе, и прочая и прочая. Много было испытано минутъ великаго и высокаго наслажденія. Музыка шла на смѣну театра. Тотъ, кто помнитъ музыкальную Москву восьмидесятыхъ годовъ съ концертами всѣхъ знаменитостей міра, съ частыми пріѣздами Антона Рубинштейна, съ симфоническимъ оркестромъ, который говорилъ, пѣлъ и живописалъ подъ палочкой Эрдмансдерфера, тотъ самъ знаетъ, какъ можно было промѣнять міръ дѣйствительности на міръ звуковъ.

Василій Петровичъ страстно любилъ музыку. Самъ онъ игралъ недурно и немало потратилъ времени на изученіе теоріи музыки и ея исторіи... и если чѣмъ можно было обезоружить этого спорщика и парализовать его натискъ сразу—такъ это какой-нибудь музыкальной фразой, случайно или нарочно взятой на рояли; какъ бы онъ взволнованъ и возбужденъ ни былъ, онъ замолкалъ и начиналъ прислушиваться.

О внѣшнихъ условіяхъ жизни моего товарища за это время мнѣ приходится сказать немного. Жилъ онъ очень скромно, сначала въ домѣ своего отца, извѣстнаго ученаго протоіерея церкви св. Ѳедора Студита, потомъ, послѣ ссоры съ отцомъ, жилъ одинъ. Матеріальное положеніе было совсѣмъ не блестящее. Давалъ онъ частные уроки, и заработанные гроши уплывали очень быстро на книги и билеты въ театры и концерты. Однообразно текла его жизнь. Уни-

верситетъ, товарищескій кругъ, вечернія развлеченія, два три знакомыхъ дома дѣлили попеременно всѣ его часы, кромѣ тѣхъ, которые онъ проводилъ за книгой. Къ концу университетскихъ лѣтъ и въ непосредственно за ними слѣдовавшіе годы въ этой жизни произошли, однако, значительныя перемѣны. Кругъ знакомыхъ расширился. Чтобы имѣть болѣе постоянный заработокъ, чѣмъ тотъ, который ему давали уроки, Василій Петровичъ взялъ на себя корректорскій трудъ „Юридическаго Вѣстника“, и эта работа ввела его въ новую область знанія и сблизила съ цѣлымъ рядомъ умственно сильныхъ людей, которые входили въ составъ Юридическаго Общества. Онъ самъ былъ скоро избранъ въ дѣйствительные члены этого общества, часто посѣщалъ засѣданія, и бесѣда съ книгами, которыя говорятъ, но не отвѣчаютъ, дополнялась для него теперь бесѣдой съ живыми умами, отъ частаго соприкосновенія съ которыми его умъ сталъ пріобрѣтать особую многогранную шлифовку. Въ это же приблизительно время былъ онъ приглашенъ въ сотрудники „Русской Мысли“ по библіографическому отдѣлу и встрѣча съ новымъ контингентомъ лицъ, весьма разнообразныхъ, была опять умственнымъ пріобрѣтеніемъ. Наконецъ, въ Москвѣ стали поговаривать объ основаніи философскаго общества. За выполненіе этого плана взялись ревностно М. М. Троицкій и пріѣхавшій тогда въ Москву Н. Я. Гротъ, и когда это общество сформировалось, то оно соединило въ себѣ все, что было въ Москвѣ выдающагося по уму и таланту. Философы-спеціалисты, историки, словесники, юристы, медики, математики, естественники, публицисты и художники—всѣ вошли въ широко открытыя двери этого общества, о которомъ на первыхъ порахъ говорила вся Москва и которое, въ свою очередь, за всю Москву говорило. Василій Петровичъ вошелъ однимъ изъ первыхъ въ число членовъ этого общества, чтобы скоро занять въ немъ мѣсто члена совѣта и редактора издаваемаго при обществѣ философскаго журнала. Онъ нашелъ, наконецъ,

то дѣло, которое, повидимому, его удовлетворяло. Среди новыхъ товарищей онъ сразу занялъ вполнѣ независимое положеніе, несмотря на свои юные годы; и онъ работалъ, работалъ упорно и успѣшно и могъ осязать плоды этой работы. Такимъ первымъ зрѣлымъ плодомъ самостоятельной мысли было написанное имъ тогда разсужденіе на тему о теоріи познанія Шопенгауэра.

Я произнесъ имя того философа, который въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ если не учителемъ, то самымъ любимымъ собесѣдникомъ моего товарища.

Къ Шопенгауэру Василій Петровичъ подошелъ не прямо, какъ подходятъ иногда любители, увѣренные, что въ книжной лавкѣ можно купить себѣ любое міросозерцаніе. Онъ шелъ къ нему путемъ долгимъ и труднымъ.

Оставленный при университетѣ по каѳедрѣ философіи, онъ запасся программой къ магистерскому экзамену. Въ числѣ тѣхъ вопросовъ, съ которыми надлежало ознакомиться, была, конечно, исторія древнегреческой философіи, которую надлежало изучить документально, въ подлинникахъ. Василій Петровичъ изучалъ ее въ продолженіе двухъ лѣтъ, и не было ни одного болѣе или менѣе извѣстнаго сочиненія по Платону и въ особенности по Аристотелю, которое бы не нашлось въ его библіотекѣ и не было испещрено его отмѣтками. Въ программу входилъ также и въ большой дозѣ Кантъ, къ детальному изученію котораго въ университетѣ Василій Петровичъ еще не приступалъ; входило, наконецъ, и изученіе Декарта, Спинозы и Лейбница. О томъ, какъ сознательно и умѣло работалъ нашъ товарищъ надъ этой программой, говорятъ написанныя имъ въ то время критическія статьи и изданныя подъ его редакціей книги.

Едва ли я ошибусь, однако, если скажу, что во всѣхъ изучаемыхъ имъ системахъ самое дорогое для него была ихъ архитектоника, искусство, съ какимъ онѣ были построены. Нельзя отрицать, что движенія и извороты чело-

вѣческой мысли могутъ представлять совсѣмъ самостоятельный интересъ, помимо потребности признать эти мысли правыми или ихъ отвергнуть; и я думаю, что именно таково было отношеніе Василія Петровича ко всѣмъ метафизическимъ ученіямъ, да и къ отдѣльнымъ сужденіямъ многихъ лицъ о разныхъ вопросахъ, тѣмъ самымъ сужденіямъ, которыя ему, какъ редактору, приходилось размѣщать на страницахъ философскаго журнала. Я знаю навѣрное, что со многими статьями, напечатанными въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи", онъ былъ совершенно не согласенъ, что не мѣшало ему восхищаться ими, какъ созданіями человѣческаго ума. Такъ было съ нѣкоторыми статьями В. С. Соловьева, Б. Н. Чичерина и другихъ.

Мысль въ трагической борьбѣ съ тайными жизни, усилія этой мысли, ея напряженіе, ея полетъ и, наконецъ, проникновеніе въ область вѣчной неизвѣстности, вѣчнаго невѣдѣнія и мрака, куда она вноситъ свой собственный свѣтъ,—вотъ то зрѣлище, которое Василій Петровичъ любилъ созерцать въ исторіи человѣческаго мышленія. Если бы его спросили, существуютъ ли тѣ міры, которое этой мыслью созданы, имѣютъ ли всѣ эти идеи какое-либо бытіе, помимо предполагаемаго, я думаю, онъ отвѣтилъ бы ни „нѣтъ", ни „да", а „не знаю". Ясно ему было только одно, что мысль человѣческая, какъ и фантазія, обладаетъ удивительнымъ даромъ творчества, что она—художникъ и что созерцаніе этого творчества есть великое духовное наслажденіе, которое, замѣчу кстати, отнюдь не упраздняетъ чувства неудовлетворенности и тяготы, испытываемыхъ каждымъ человѣкомъ передъ вопросомъ, на который у него нѣтъ опредѣленнаго отвѣта.

Изъ всѣхъ этихъ системъ и ученій, съ которыми теперь пришлось Василію Петровичу знакомиться подробно, онъ сдѣлалъ самую долгую стоянку на ученіи Канта. Иначе и быть не могло, такъ какъ въ сочиненіяхъ этого философа рѣшались вопросы, наиболѣе тревожившіе нашего скептика.

За отсутствіемъ какихъ-либо положительныхъ данныхъ, мнѣ трудно опредѣлить, въ какой степени нашъ товарищъ могъ быть названъ кантіанцемъ; но несомнѣнно, что ученіе Канта оказало сильное вліяніе на направленіе его мысли въ области вопросовъ нравственныхъ.

Ученіе это, какъ извѣстно, отводило человѣку необычайно активную роль въ окружающей его жизни. Всѣ представленія человѣка и всѣ его понятія имѣли своимъ источникомъ его самого и ему же должна была принадлежать и иниціатива всѣхъ его поступковъ. Отъ бесѣды съ Кантомъ человѣкъ выросталъ въ своихъ собственныхъ глазахъ именно какъ *активная* сила, не подавленная и не приниженная другой силой, внѣ или рядомъ съ нимъ стоящей.

Василій Петровичъ при своемъ созерцательномъ умѣ, нѣсколько пассивной натурѣ и чрезмѣрно развитомъ эстетическомъ чувствѣ цѣнилъ до сихъ поръ недостаточно высоко это волевое начало въ жизни. Кантъ былъ первымъ, который въ своемъ ученіи о морали, въ своихъ полемическихъ брошюрахъ по разнымъ общественнымъ вопросамъ заставилъ нашего эстетика и созерцателя подумать о томъ, чѣмъ должна быть воля въ жизни, но все-таки не за Кантомъ послѣдовалъ Василій Петровичъ на первыхъ порахъ въ своихъ этическихъ взглядахъ. Въ вопросѣ о томъ, каково должно быть его отношеніе къ внѣшнему міру не какъ къ объекту знанія или предмету для эстетическаго созерцанія, а какъ къ явленіямъ, требующимъ оцѣнки нравственной, онъ избралъ себѣ въ руководители Шопенгауэра.

Въ системѣ Шопенгауэра крылись для него, дѣйствительно, наибольшіе соблазны, и привлекла она его къ себѣ, конечно, не своими метафизическими предпосылками.

Что касается основного положенія системы Шопенгауэра, его ученія о волѣ, то, думается мнѣ, это ученіе убѣждало покойнаго не больше и не меньше, чѣмъ всѣ иныя рѣшенія конечныхъ вопросовъ. Но для нашего скептика и эстетика прелесть системы заключалась не въ этомъ. Отсут-

ствіе непонятно-абструзнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ полнота глубокомыслія и широта взгляда безъ особенно замѣтной натяжки объясняющая всѣ явленія жизни, — дѣлали эту систему очень привлекательной для ума, любящаго ясность. Общее художественное ея построеніе и художественное выполненіе деталей, этихъ блестящихъ экскурсій въ область познаваемаго, равно какъ и непознаваемаго, придавали системѣ красоту настоящаго произведенія искусства, не говоря уже о томъ, какой тончайшій анализъ самой идеи красоты былъ данъ въ ея эстетикѣ. Помимо всего этого система плѣняла своей основной глубоко-трагической и возвышенной мыслью, своимъ ученіемъ объ иллюзорности явленій жизни и связаннымъ съ ней преклоненіемъ передъ таинственнымъ и безмолвнымъ началомъ, своимъ взглядомъ на жизнь, какъ на сонъ, на наши страсти и аффекты, какъ на проявленіе непроницаемой высшей воли, которая въ конечномъ итогѣ, какъ греческая судьба, творитъ свою расправу надъ міромъ. Особой приманкой этой системы была также ея пантеистическая окраска, придающая столь мягкій колоритъ многимъ самымъ острымъ вопросамъ жизни. Наконецъ, и этическая проблема была поставлена Шопенгауэромъ такъ, что именно его рѣшеніе должно было всего больше нравиться натурамъ, одареннымъ способностью большого самоуглубленія и не привыкшимъ принимать близко къ сердцу вопросы чисто-житейскіе. Политико-общественная мораль, которой Василій Петровичъ пока еще мало интересовался, была Шопенгауэромъ очень обезцѣнена, низведена на степень одного изъ тѣхъ иллюзорныхъ явленій, погоня за которыми не уменьшаетъ мірового страданія и не обѣщаетъ въ будущемъ прироста счастія. Мораль личная была понята главнымъ образомъ какъ самоусовершенствованіе умственное, возводящее человѣка все выше и выше по ступенямъ созерцанія до буддійскаго идеала спокойнаго созерцателя, одержавшаго полную побѣду надъ всѣми аффектами сердца. Нѣкоторая аристократическая черствость этой морали была

смягчена у Шопенгауэра ученіемъ о состраданіи, о невольной симпатіи, которой объединены всѣ люди. Категорическій императивъ Канта, неизвѣстно откуда возникшій, передъ sic volo sic jubeo котораго человѣку свободному нельзя безропотно склониться, являлся у Шопенгауэра смягченнымъ до степени природнаго инстинкта, не повиноваться которому невозможно.

Для практической этики самого Василія Петровича весь вопросъ заключался теперь въ томъ, насколько пассивно онъ отдастся этому инстинкту, не распространяя его дѣйствія за черту, указанную учителемъ, или насколько активно начнетъ онъ развивать его въ себѣ, онъ, который въ это время, какъ я уже замѣтилъ, сталъ цѣнить волевое активное начало въ жизни дороже, чѣмъ цѣнилъ его раньше.

Оставаясь все тѣмъ же эстетикомъ, онъ, дѣйствительно, переставалъ видѣть смыслъ жизни въ одномъ лишь спокойствіи или въ тревогѣ чистаго созерцанія. Работа ума и эстетическая эмоція, замкнутыя въ своихъ лишь сферахъ, перестали удовлетворять его и чтобы ощущаемый имъ импульсъ къ дѣйствію былъ плодотворенъ и могъ быть на что-нибудь направленъ, для этого нужно было рѣшить въ ту или другую сторону рядъ вопросовъ чисто-практическихъ, усвоить себѣ болѣе или менѣе опредѣленные взгляды на общество, среди котораго онъ жилъ, на свои обязанности не какъ мыслителя только, но и какъ дѣятеля. Впитавъ въ себя всю поэзію Шопенгауэровскихъ мыслей, нужно было отступить отъ морали квіэтизма, которая была заключена въ нихъ въ такой большой дозѣ. И Василій Петровичъ сталъ отступать. Онъ обратился къ изученію практической этики во всѣхъ ея отрасляхъ. Начиная съ сочиненій по антропологіи, этнографіи и естественнымъ наукамъ, въ которыхъ говорилось о зарожденіи этическихъ понятій и нормъ, кончая этическими ученіями, гдѣ преимущественно оттѣнялась соціально-политическая сторона современности, всѣ наиболѣе замѣтныя книги были имъ изучены. Скоро

вошло въ кругъ его занятій и историческое изученіе самыхъ новѣйшихъ политико-общественныхъ движеній. Я помню, какъ я былъ пораженъ, когда послѣ двухъ лѣтъ разлуки, при случаѣ коварно затѣялъ съ нимъ споръ о соціализмѣ, который Василій Петровичъ очень не жаловалъ. Для этого спора я былъ, какъ мнѣ казалось, вооруженъ недурно оружіемъ новаго образца. При спорѣ обнаружилось однако, что оно было старое и что самыя новѣйшія западныя изобрѣтенія въ этой области были уже усвоены моимъ противникомъ. Пусть Василію Петровичу споръ со мной и былъ легокъ, но онъ мнѣ показалъ, что въ группировкѣ интересовъ, которыми жилъ мой товарищъ, произошли важныя перемѣщенія.

Не чувствуя въ себѣ достаточно вѣры, чтобы войти въ лоно какой-нибудь системы идеалистической или позитивной, эстетикъ для себя самого, онъ становился ближе къ людямъ. Онъ сталъ болѣе внимательно присматриваться къ той жизни, которая лежала передъ нимъ какъ осязаемый и безспорный фактъ, движущаяся и созданная усиліями человѣческой воли, безразлично свободна ли эта воля илинѣтъ, и онъ сталъ пріучатъ себя цѣнить ея явленія съ точки зрѣнія понятія о нравственномъ долгѣ, каково бы ни было его происхожденіе.

Одно событіе, впрочемъ, отдалило его отъ людей на нѣкоторое время: это былъ трагическій исходъ его семейнаго счастія.

Въ 1888 году Василій Петровичъ женился на нашей общей знакомой Анастасіи Алексѣевнѣ Лавровой. Мы всѣ были очень рады за нашего друга. Студенческое его одиночество внушало намъ нѣкоторое опасеніе, такъ какъ мы не безъ основанія думали, что оно только усилитъ въ немъ пессимистическое и ироническое отношеніе къ жизни. Семья должна была вовлечь его въ новыя заботы, нелегкія при его матеріальномъ положеніи; но она могла смягчить, если такъ можно выразиться, его общественный темпераментъ.

Намъ очень нравилась его невѣста, именно ея сердечными качествами. И эту Анастасію Алексѣевну, которую мы провожали такъ радостно на тройкахъ въ свадебную поѣздку на станцію Химки, мы снесли два года спустя на нашихъ рукахъ въ могилу. Василію Петровичу было 26 лѣтъ; онъ остался вдовцомъ съ двумя дѣтьми. Говорить о его положеніи нѣтъ нужды, и самъ онъ послѣ этого несчастія какъ-то боялся говоритъ о женѣ и дѣтяхъ.

Горе иногда ожесточаетъ человѣка, ожесточаетъ его и постоянная мелкая борьба за существованіе. Надо имѣть особую психическую организацію для того, что удары житейскихъ невзгодъ повышали въ человѣкѣ его способность любовно и снисходительно относиться къ ближнему. Такой всепрощающей души въ нашемъ товарищѣ не было и если онъ для близкихъ лицъ оставался попрежнему любящимъ и на самопожертвованіе готовымъ другомъ, то на жизнь и на людей вообще онъ въ это время сталъ смотрѣтъ съ нѣкоторой вызывающей строгостью и иногда очень желчные афоризмы пессимиста и даже мизантропа поражали его собесѣдниковъ.

Въ эти тяжелые дни своей жизни онъ очень усердно читалъ Гюйо. Сердечныя и гуманныя слова этого идеалиста вновь примирили его съ людьми и наложили на нѣкоторое время свой мягкій отпечатокъ на его мысли.

Больше поэтъ, чѣмъ строгій философъ, послѣдователь эволюціонной теоріи, которую онъ стремился украсить своими поэтическими надеждами и чаяніями своего гуманнаго сердца, Гюйо имѣлъ на насъ рѣшительное и весьма благотворное вліяніе. Глубокомысленной критикъ утилитарной морали, тогда весьма авторитетной и распространенной, самый убѣжденный и искренній проповѣдникъ общественнаго чувства и альтруизма въ религіи, морали и эстетикѣ, Гюйо напоминалъ своими соціальными утопіями нѣмецкихъ гуманистовъ конца прошлаго столѣтія. Въ его трудахъ мы имѣли предъ собой сочетаніе научнаго и безстрастнаго раз-

сужденія съ самой теплой вѣрой въ высокое назначеніе человѣка и вообще всей міровой жизни.

Тѣ сомнѣнія мысли и сердца, чрезъ которыя прошелъ Гюйо, прежде чѣмъ онъ остановился на понятіи объ „экспансивной“ жизни, на которомъ и построилъ все свое ученіе о морали, эстетикѣ и религіи, были хорошо знакомы Василію Петровичу. И въ немъ, какъ въ Гюйо, боролся позитивистъ и эволюціонистъ съ платоникомъ и кантіанцемъ. Не будучи въ состояніи согласовать эти точки зрѣнія, въ особенности въ области моральныхъ вопросовъ, Василій Петровичъ обрадовался данному у Гюйо рѣшенію, которое, сохраняя за научнымъ методомъ все его значеніе, не навязывало бытію произвольно и извнѣ какой-либо этической цѣли, но показывало, какъ неизбѣжно и просто такая этическая цѣль достигалась путемъ естественнаго развитія и расширенія жизни во всѣхъ ея направленіяхъ. Что особенно нравилось нашему товарищу въ этомъ ученіи, это была попытка построить гуманную мораль „безъ санкціи и принужденія“—попытка освободить волю человѣка отъ всякаго долга и заставить ее самое свободно уберегать себя отъ всякаго эгоистическаго произвола, который есть отрицаніе жизни, какъ ее понималъ Гюйо. Василій Петровичъ на нѣкоторое время принялъ всѣ эти мысли любовно къ свѣдѣнію.

Гюйо умеръ очень рано, едва успѣвъ высказать все то, что ему — юношѣ — казалось истиной. Своимъ послѣдователямъ онъ оставилъ неблагодарный трудъ — провѣрять его взгляды на явленіяхъ реальной дѣйствительности. Такъ какъ ученіе Гюйо не было плодомъ лишь теоретическихъ выкладокъ и сочетаніемъ однихъ понятій, а ссылалось на научные факты, данные въ опытѣ, то естественно, что сама дѣйствительность должна была говорить за или противъ него. Василій Петровичъ, который, какъ я уже замѣтилъ, началъ тогда детально знакомиться съ реальной сущностью переживаемаго историческаго момента, предпринялъ этотъ

трудъ провѣрки и пришелъ къ выводу, что факторы нашей матеріальной и духовной жизни словъ Гюйо не оправдываютъ и что наша религія, мораль и эстетика едва ли такъ непринужденно служатъ повышенію въ людяхъ общественнаго чувства.

Ученіе Гюйо стало скоро для него дорогимъ воспоминаніемъ, и его мыслями завладѣлъ Фридрихъ Ничше. Такой крутой поворотъ не былъ неожиданностью.

Трудно было найти человѣка, который имѣлъ бы такъ мало вѣры въ грядущее и былъ такъ слабо предрасположенъ къ разнымъ догадкамъ о будущемъ строѣ нашей жизни, какъ Василій Петровичъ. Его осторожный до нельзя придирчивый умъ скорѣе готовъ былъ помириться съ безпощадной и безвыходной критикой существующаго, чѣмъ позволить мечтѣ о желаемомъ овладѣть собою. Онъ предпочиталъ лучше совсѣмъ не говорить о дѣйствительности, чѣмъ подгонять подъ свой соціальный идеалъ философское міросозерцаніе, какъ это сдѣлалъ Гюйо. И кромѣ этого, когда онъ сталъ пристальнѣе вглядываться въ окружающую жизнь, она слишкомъ непріятно поразила его многими своими сторонами; и въ немъ такъ возмутился моралистъ и эстетикъ, что онъ никакъ не могъ остановиться на томъ примиренномъ и въ концѣ концовъ оптимистическомъ взглядѣ на міръ и человѣка, который ему на время у Гюйо понравился. Вернуться къ старому—къ чистому созерцанію или исканію эстетическихъ эмоцій — было уже невозможно; увѣренности въ неизбѣжности эволюціи соціальныхъ чувствъ въ человѣчествѣ не было; оставалось одно—при столькихъ сомнѣніяхъ спасти въ себѣ хоть вѣру въ единичнаго исключительнаго человѣка, въ которомъ смѣлость и глубина ума, свобода чувствъ и сила воли были бы соединенны въ одно гармоничное цѣлое. Если нельзя было всему роду обѣщать достиженіе совершенства, то можно было надѣяться, что хоть единичныя особи до него достигнутъ — и Ничше помогъ Василію Петровичу укрѣпить въ себѣ эту надежду.

Въ то время, когда Василій Петровичъ писалъ свою статью „О нравственномъ ученіи Ничше", имя этого мыслителя было совсѣмъ неизвѣстно русскому читателю. Теперь оно на устахъ у всѣхъ; „ничшеанцевъ" расплодилось у насъ великое множество. Тѣ, которыхъ иногда мутитъ отъ сознанія собственнаго своего нравственнаго ничтожества, тѣ, у кого разгулялись всевозможные аппетиты, иногда очень низменные, всѣ недовольные существующимъ и ищущіе чего-то, въ чемъ сами не даютъ себѣ отчета, всѣ нервно развинченныя натуры съ тяготѣніемъ къ прекрасному, но безъ способности создавать его, тѣ, наконецъ, которымъ вообще сосѣдство ближняго не позволяетъ размахнуться, какъ бы имъ хотѣлось,—всѣ теперь вмѣсто того, чтобы называть себя настоящимъ именемъ, предпочитаютъ говорить, что они „ничшеанцы"... Рѣдко имя крупнаго человѣка было такъ опошлено, какъ имя Ничше. Вотъ почему, говоря о Преображенскомъ, какъ о послѣдователѣ Ничше, я очень опасаюсь, какъ бы читатель, незнавшій покойнаго лично, не перенесъ на него невольно нѣкоторыхъ чертъ, которыя онъ могъ подмѣтить у своихъ „ничшеанствующихъ" знакомыхъ. Василій Петровичъ былъ первый, который попытался научно и безпристрастно освѣтить нѣкоторыя стороны ученія Ничше и въ этой научной строгости заключается все достоинство его статьи, равно какъ и ея историческое значеніе для развитія идей Ничше у насъ въ Россіи.

Любовь къ Ничше была у моего товарища не простой любовью читателя къ писателю съ которымъ онъ согласенъ въ мысляхъ; въ ней было нѣчто большее—была примѣсь сантиментальности. Единственная поѣздка за границу, которую успѣлъ совершить Василій Петровичъ, была задумана имъ съ цѣлью посѣтить тѣ мѣста, гдѣ проживалъ несчастный мыслитель и въ особенности высоты Энгадина, гдѣ ему приходили въ голову наиболѣе смѣлыя мысли. Это путешествіе было своего рода паломничествомъ.

Ничше не только мыслитель, но прежде всего поэтъ;

мысль и образы въ его рѣчи сплетены нераздѣльно, и богатства красокъ въ этихъ картинахъ всегда хватаетъ настолько, чтобы и старой и общеизвѣстной мысли придать красоту новизны и неожиданнаго открытія Если Гюйо замѣнялъ философскую аргументацію лирическими отступленіями, то ученіе Ничше все сплошь — лирика восторженной и негодующей души, умѣющей говорить и языкомъ идиллій, и грозной филиппики и, наконецъ, апокалипсическаго экстаза. Со времени Гейне Германія не имѣла писателя, который бы умѣлъ такъ насмѣхаться словомъ, такъ грозить и сражаться имъ. Какъ бы мы ни возражали противъ мыслителя, но читая Ничше, мы обезоружены поэтомъ. Обезоруженъ былъ вполнѣ и Василій Петровичъ.

Но за фантастическимъ образомъ сверхчеловѣка нашъ товарищъ признавалъ кромѣ того большое культурное значеніе и видѣлъ въ немъ пугало для нѣкоторыхъ весьма въ жизни нежелательныхъ умственныхъ и нравственныхъ искривленій.

Со свойственнымъ ему умѣніемъ всегда добираться до зерна истины, заключенной въ томъ или иномъ ученіи, Василій Петровичъ отстаивалъ слова Ничше одинаково противъ нападокъ на нихъ во имя прописной морали, какъ и противъ ихъ опошленія голословнымъ признаніемъ ихъ безъ надлежащей критики. Для него эти слова были старой новинкой — развитіемъ и повтореніемъ мыслей, съ которыми онъ встрѣчался у Штирнера и Ренана, Вагнера и др., но повтореніемъ, какъ ему казалось, сказаннымъ очень кстати, въ моментъ, который требовалъ такого сильнаго и жестокаго слова.

Если свести всѣ размышленія Ничше о сверхчеловѣкѣ, объ альтруизмѣ и эгоизмѣ и о происхожденіи человѣческой совѣсти къ самому простому положенію, то всѣ эти заманчивые софизмы и афоризмы окажутся поэтическимъ славословіемъ силы человѣческой воли, всепобѣждающей и автономной. Бо́льшаго поклонника индивидуализма, чѣмъ Ничше,

XIX вѣкъ не создалъ: въ представленіи этого поэта воскресъ въ единомъ идеальномъ образѣ миѳическій герой, который на всю вселенную готовъ былъ смотрѣть какъ на арену для своихъ подвиговъ, конечной цѣлью которыхъ была его слава и прославленіе всего человѣчества въ немъ, какъ въ самомъ совершенномъ типѣ. Идеаломъ Ничше былъ уже не индійскій мудрецъ Шопенгауэра, а воинъ завоеватель, покоритель слабыхъ и сильныхъ, покоритель не во имя какой-нибудь идеи, которая имъ владѣетъ, а во имя своей собственной власти и главнымъ образомъ своей красоты. Что въ основѣ всего этого фантастическаго типа лежало прежде всего неудовлетворенное эстетическое чувство самого Ничше, болѣзненно въ немъ развитое быть можетъ вслѣдствіе нравственныхъ разочарованій,—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться; но Василій Петровичъ цѣнилъ мыслителя не только за его страданія какъ художника. Онъ привѣтствовалъ въ его словахъ прежде всего апоѳеозъ человѣческой воли, которая, какъ ему казалось, нуждается теперь въ такомъ беззастѣнчивомъ напоминаніи о своей власти и силѣ.

Историческій моментъ, переживаемый нами, нашелъ въ Василіи Петровичѣ, дѣйствительно, очень строгаго судью—рѣшительнаго врага буржуазнаго строя жизни и буржуазнаго строя мысли, при которомъ человѣческая воля усыплена всевозможными традиціями религіозными, политическими, общественными и семейными, которыя она не хочетъ нарушать только потому, что такое нарушеніе можетъ въ матеріальномъ смыслѣ невыгодно отозваться на человѣкѣ; съ другой стороны, Василій Петровичъ былъ и рѣшительнымъ противникомъ соціалистическихъ тенденцій нашего вѣка, усматривая въ нихъ стремленіе закрѣпостить нашу волю, прикрѣпить ее къ извѣстному неподвижному строю жизни, въ которомъ будетъ тѣсно и мыслямъ, и чувствамъ, и гдѣ идолъ общаго регламентированнаго благополучія потребуетъ страшныхъ жертвъ и ограниченій отъ

всякой сильной личности. Такое отвращеніе передъ буржуазной косностью и такой страхъ передъ соціалистической нивеллировкой достаточно объясняютъ, почему мирный и совсѣмъ не воинственный Василій Петровичъ такъ любилъ этого condottiere современнаго аристократизма — Фридриха Ницше. Онъ измѣрялъ его значеніе не созидающей силой, присущей его фантазіи, а силой разрушающей, которой такъ вооружена его критика общественно-политическихъ порядковъ нашего времени. И Василій Петровичъ былъ убѣжденъ, что онъ вѣрно понимаетъ Ницше, и любилъ приводить тѣ мѣста изъ его книгъ, гдѣ Ницше, проповѣдуя безграничное самовластіе человѣческой воли, говорилъ о своей „любви“ къ людямъ. Пусть попытка мыслителя написать Prolegomena къ новой этикѣ и произвести переоцѣнку всѣхъ нравственныхъ цѣнностей не привела къ установленію осуществимыхъ нормъ новой жизни, пусть это ученіе казнило вмѣстѣ со многимъ ошибочнымъ въ нашей ходячей морали и много вѣрнаго и здраваго, пусть, наконецъ, оно приносило историческую правду въ жертву чрезмѣрно развитому чувству красоты—все же эти слова были бичомъ всякаго стаднаго чувства, принижающаго человѣческое достоинство; и Василій Петровичъ, видя какихъ невѣроятныхъ размѣровъ достигало это стадное чувство въ нашемъ обществѣ, готовъ былъ помириться съ отрицаніемъ его, доводившимъ человѣка до другой крайности. Онъ, такимъ образомъ, при всемъ своемъ преклоненіи передъ Ницше, не терялъ никогда соціальной почвы подъ ногами и стоялъ, конечно, совсѣмъ не въ ряду тѣхъ лицъ, которыя вычитывали въ книгахъ Ницше лишь откровеніе эстетизма и полнаго общественнаго индифферентизма.

И, дѣйствительно, въ послѣдніе годы своей жизни Василій Петровичъ становился особенно раздражителенъ и нервенъ, и не могъ подавить въ себѣ этой нервности всякій разъ, когда разговоръ касался нашихъ русскихъ общественныхъ дѣлъ и вопросовъ. Онъ шелъ имъ навстрѣчу весьма

неохотно, но все таки шелъ. Не всегда могъ онъ переносить эти вопросы съ практической почвы на чисто теоретическую, и иногда представлялась прямая необходимость столкнуться съ ними лицомъ къ лицу. Эта необходимость сердила Василія Петровича, и политика дня встрѣчала въ немъ почти всегда судью несдержаннаго или не въ должной мѣрѣ насмѣшливаго. Всего больше не любилъ онъ поспѣшнаго, чисто словеснаго рѣшенія трудныхъ житейскихъ задачъ, и всегда отвертывался отъ показного либерализма; онъ искалъ въ людяхъ убѣжденій, купленныхъ долгой работой мысли.

Въ послѣдніе годы его жизни въ немъ самомъ происходила такая упорная, долгая и не всѣмъ видная работа, направленная на оцѣнку нашихъ общественныхъ условій, и она, конечно, не переполняла его сердца аркадскимъ благодушіемъ. Разрозненныхъ мыслей его по этимъ вопросамъ я приводить не стану; укажу только въ заключеніе на то, какъ за эти годы распредѣлились его симпатіи между русскими писателями. Прежде его любимцемъ былъ Тургеневъ. Онъ перечиталъ его три раза на студенческой скамьѣ и никакъ не могъ налюбоваться духовнымъ аристократизмомъ этого миролюбиваго прогрессиста и художника, его умѣньемъ, не теряя дѣйствительности изъ виду, смотрѣть съ высоты на нее. Теперь его любимыми писателями стали Герценъ и Щедринъ, страницы изъ которыхъ онъ заучивалъ наизусть. Въ Герценѣ, при умышленномъ желаніи, можно было еще любить и аристократа, и эстетика, и индивидуалиста; но любить Щедрина нельзя было иначе, какъ до извѣстной степени проболѣвъ вмѣстѣ съ нимъ всѣми самыми прозаическими, острыми и хроническими болѣзнями нашей современности... и всѣ, кто стоялъ близко къ Василію Петровичу въ послѣдніе годы его жизни, могли замѣтить, какъ болѣзненно на немъ отзывались безчисленные реальные факты нашей жизни, въ которыхъ онъ видѣлъ частичное или полное осуществленіе кулачнаго права или въ ко-

торыхъ улавливалъ тенденцію сильныхъ разыграть такъ или иначе роль сверхчеловѣка передъ ближнимъ.

Все это показываетъ, сколько броженія было еще въ этой душѣ, сколько задатковъ для жизни...

Случайно оборвалась эта жизнь, и въ минуту самую невыгодную для нашего друга,—когда онъ, во всеоружіи философскаго знанія, съ богатѣйшимъ запасомъ эстетическихъ впечатлѣній, сталъ искать смысла жизни въ разгадкѣ той нравственной проблемы, которую она ставитъ.

Онъ не успѣлъ сдѣлать для разрѣшенія этой проблемы всего, на что его уполномочивала сила его ума и чувства, и все-таки исчезновеніе этой силы было признано всѣми, кто съ ней сталкивался, большой утратой. Этого достаточно для человѣка, имя котораго ни съ однимъ громкимъ и виднымъ общественнымъ дѣломъ не было связано.

И если говорить объ общественной заслугѣ покойнаго, то ее надо искать въ тѣхъ сѣменахъ мысли, которыя онъ бросалъ на своемъ пути. Онъ не давалъ спать уму ближняго. Стоя внѣ всякихъ партій въ вопросахъ, и философскихъ, и общественныхъ, свободный мыслитель—онъ занималъ своего рода единственное мѣсто среди окружающаго его общества, разъединеннаго вѣрованіями, тенденціями и убѣжденіями. Онъ являлся примирителемъ между враждующими сторонами и работалъ на пользу соціальнаго мира тѣмъ, что разносторонностью и глубиной своего ума и образованія заставлялъ каждаго человѣка извѣстнаго направленія отдавать должное той долѣ истины, которая заключалась въ направленіи противоположномъ.

Для жизни нужны глубоко вѣрующіе и непоколебимо убѣжденные люди: она движется ихъ борьбой. Но и убѣжденія и вѣра даются человѣку не сразу; они всегда плодъ весьма долгихъ колебаній и внутреннихъ безмолвныхъ споровъ съ самимъ собою. Встрѣтиться въ эти минуты раздумья съ умственной силой, не подчиненной намъ и несо-

гласной съ нами, и безкорыстно ищущей добра и истины—великое благо.

Есть много убѣжденныхъ дѣятелей въ разныхъ областяхъ нашей жизни, для которыхъ встрѣча съ Василіемъ Петровичемъ была такой благой встрѣчей...

1900.